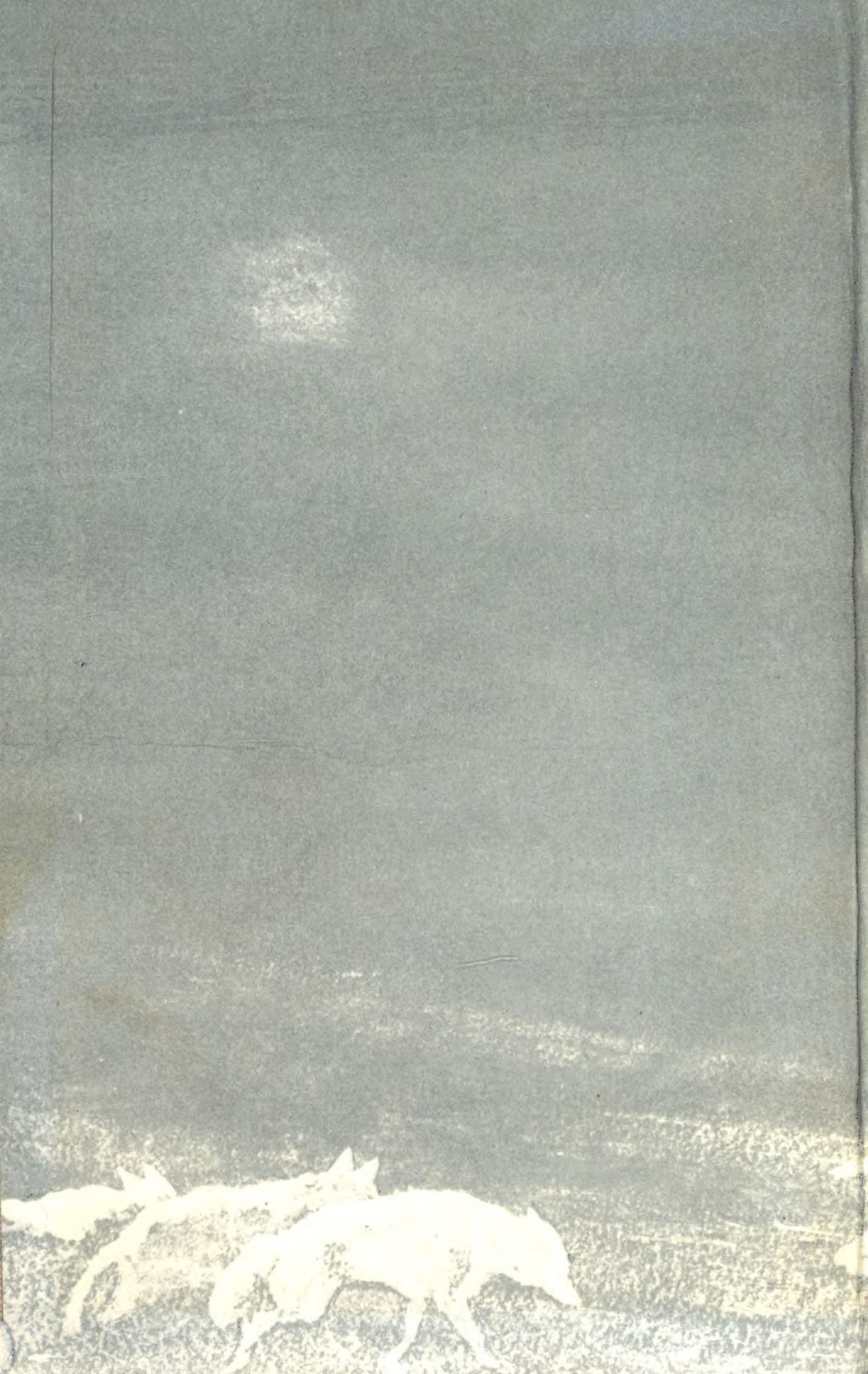
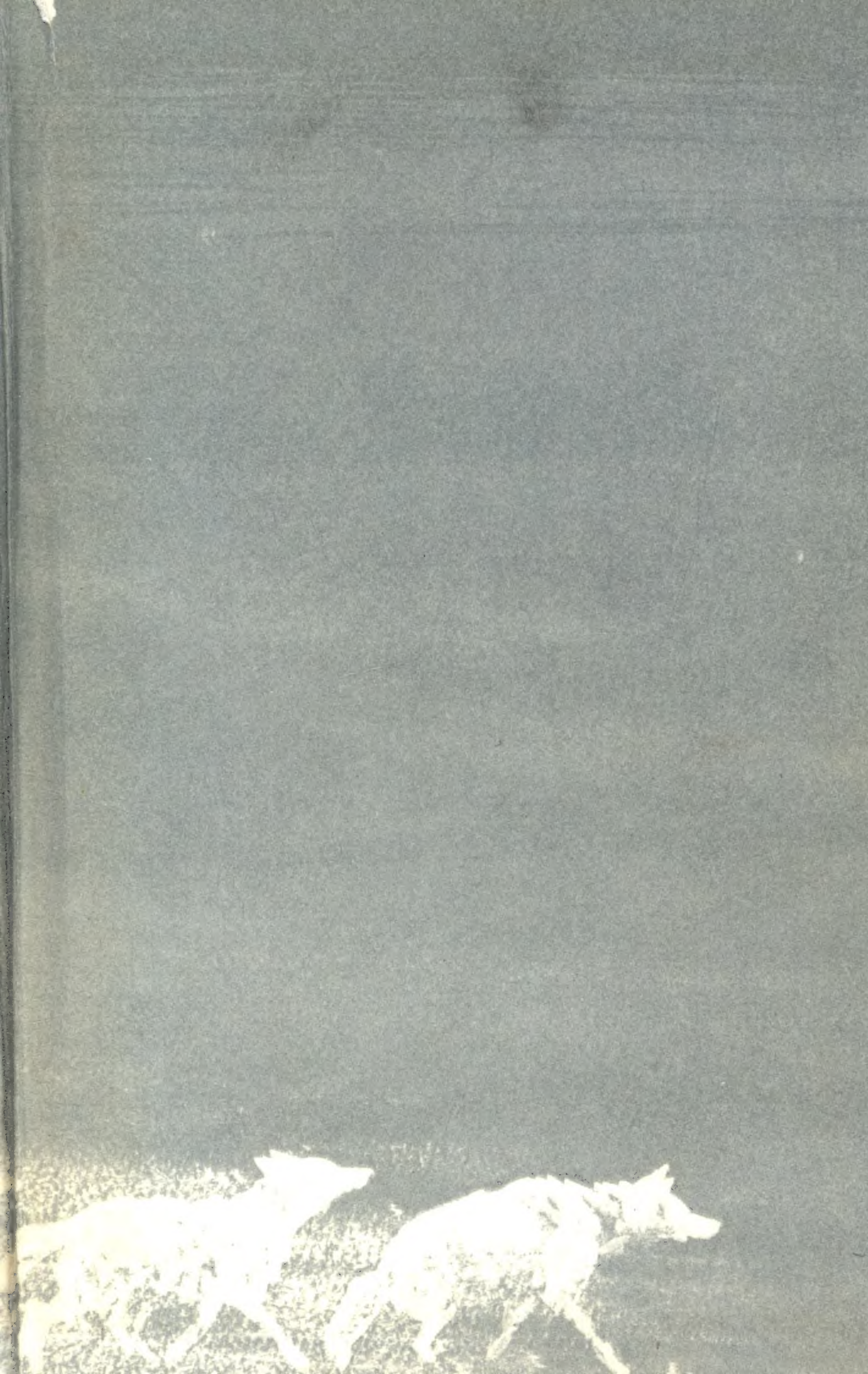


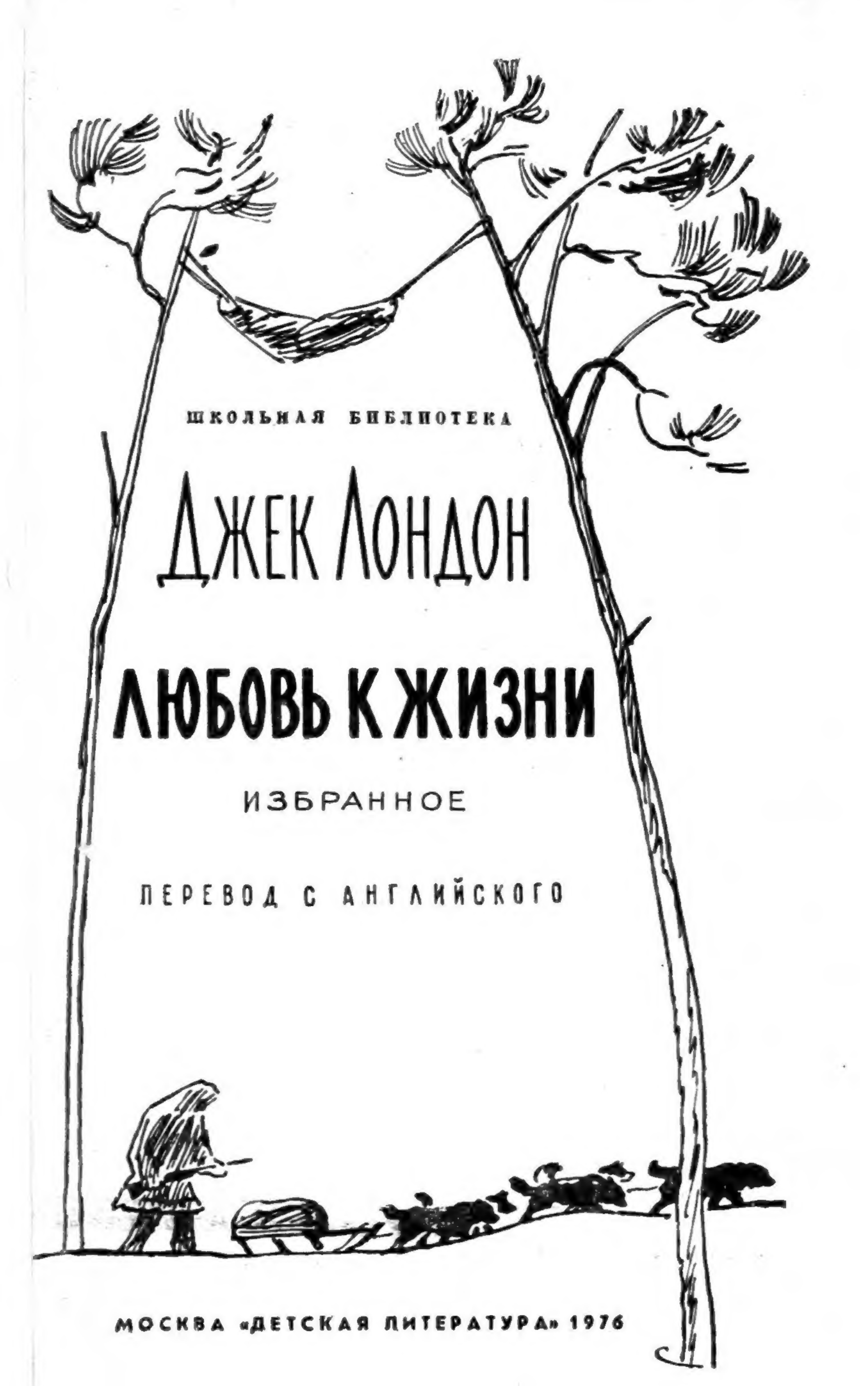
ДЖЕК ЛОНДОН

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ








ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДЖЕК ЛОНДОН
ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ
ИЗБРАННОЕ
ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1976

И (Амер)
Л 76

ВТОРОЕ,
ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ

Предисловие
Бориса Полевого

Составление и послесловие
Виля Быкова

Рисунки
В. Цигаля

Л $\frac{70803-328}{М101(03)76}$ 405—76

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ДЖЕКЕ ЛОНДОНЕ

Когда Владимир Ильич Ленин был тяжело болен, прикован к постели и не мог сам уже читать, близкие читали ему вслух книги, которые он особенно любил. Одним из таких произведений, прочитанных по его просьбе, был рассказ американского писателя Джека Лондона, называвшийся «Любовь к жизни». Рассказ этот читали ему несколько вечеров, и, по воспоминаниям Надежды Константиновны Крупской, он ему «понравился чрезвычайно».

Это повествование о золотодобытчике, который больным, с поврежденной ногой, брошенный товарищем, пересекает снежную пустыню, один на один борется с грозными силами природы. Борется и побеждает. Замечательной силы рассказ! И, кажется мне, не случайно в труднейшие часы своей жизни Владимир Ильич, знавший творчество Лондона, просил прочесть именно это произведение о мужестве, о непреклонной целеустремленности Человека, о торжестве человеческой воли, ибо и сам Владимир Ильич был до последней своей минуты таким же мужественным, непреклонным, целеустремленным и его воля в те последние дни его жизни неизменно торжествовала над страшной болезнью, приковавшей его к постели, лишившей возможности читать, писать и говорить.

Рассказ как бы нес в себе концентрированный заряд силы, бодрости, веру в победу Человека над природой, над обстоятельствами и над самим собой. Да, и над самим собой.

И сейчас вот, когда мне предстоит рекомендовать молодым читателям книгу избранных рассказов Джека Лондона, я прежде всего вспомнил именно этот рассказ, «Любовь к жизни», рассказ, который поразил меня когда-то в ранней юности. Как мне теперь кажется, это произведение может служить ключом ко всему лучшему из того, что

есть в творчестве этого весьма популярного американского писателя.

Творчество Джека Лондона велико и многообразно. Сотни рассказов, очерков, эссе, корреспонденций и статей. Десятки романов и повестей. Множество литературных героев вывел он на страницах своих книг, причем вышли они к читателю не безликой толпой, но каждый имеет свое лицо, свой характер, свою судьбу и свою классовую сущность. Сочинения Лондона поражают многообразием тем и сюжетов.

И все же думается мне, что лучшее и наиболее характерное для писателя — это книги о простых американцах, борющихся в жесточайших условиях капиталистического общества за свое место в жизни, побеждающих все и всяческие преграды, книги о людях с твердой волей, сильным характером, не склоняющих головы в самых трудных обстоятельствах. Это прежде всего персонажи его северных рассказов, открывших писателя для Соединенных Штатов, для России, для Европы и для всего мира.

Джек Лондон прожил жизнь бурную, нелегкую и удивительную. Пасынок бедного фермера Джона Лондона, он с детских лет зарабатывал себе на хлеб, меняя одну профессию на другую. Чернорабочий на консервной фабрике, на электростанции, на джутовом заводе. Плавал матросом на шхуне, был «устричным пиратом» в одной из бухт близ Сан-Франциско. Месяцы тяжелой, изнуряющей работы сменялись в жизни юноши месяцами вынужденной безработицы. Он участвовал в знаменитом в свое время походе безработных на Вашингтон. В поисках хлеба скитался по своей стране, по Канаде. Сидел в тюрьме за бродяжничество, не раз арестовывался и за свои социалистические взгляды. В дни «золотой лихорадки», охватившей Америку, был золотоискателем, а потом военным корреспондентом в дни русско-японской войны.

И вся эта нелегкая жизнь снабдила его массою впечатлений, познакомила с героями его будущих произведений, которых он, как бы взяв за руку, смело выводит одного за другим на страницы своих книг, принесших впоследствии автору всемирную славу.

Накопив жизненные наблюдения, ощутив в себе тягу к литературному труду, «паренек из Фриско», как он называет себя в одном из рассказов, решает, именно решает стать интеллигентом и, как он выражается социалистиче-

ской терминологией тех дней, «...продавать не силу своих мышц, а изделие своего мозга». В маленькой комнатушке под крышей он дни и ночи проводит над книгами, голодает, холодает и, как Горький у нас, вопреки всему, упрямо карабкается к вершинам знаний. Именно сочетание обширных наблюдений, сочетание знания жизни со знаниями, почерпнутыми из книг, приводит Лондона к социалистам тех дней. Ни на день не прекращая учебу, он участвует в собраниях, митингах, заводит дружбу с революционно настроенными рабочими и интеллигентами, людьми с сильным характером и бодрым духом, которые со временем становятся героями таких его книг, как «Сон Дебса», «По ту сторону черты», «Железная пята», весьма боевых книг тех уже давних дней.

И все-таки, думается мне, настоящей школой писателя было его путешествие на Север, на Аляску, куда он, захваченный «золотой лихорадкой», объявшей Америку в конце прошлого века, отправляется на поиски золота и счастья. Там, в тяжелейших условиях, он постиг самую глубинную суть жесточайшей системы свободного предпринимательства, при которой единицы несказанно богатеют, а сотни, тысячи нищают и даже гибнут. Он сам пережил все то, что так хорошо описал в своих рассказах: и ужас одиночества, и беспощадную жестокость борьбы людей за обладание богатством, силу дружбы и коллектива, и благородное трудовое братство коренных жителей американского Севера, загнанных туда наступлением капитализма. В результате его поездки кожаный мешочек, взятый им с собой для золотого песка, был выброшен за ненадобностью. Он был пуст, когда «парень из Фриско», продав последнее из того, что у него было, сел на пароход, идущий обратным рейсом.

Джек Лондон, преодолев все трудности, расплатившись за свое путешествие жестокой цингой, не нашел ни крупинки золота, зато в голове, в памяти своей он увозил то, что было куда дороже желтого металла, за который на его глазах погибло столько людей. Он вез глубокое знание жизни. Он вез целые россыпи человеческих характеров, раскрывшихся перед ним в этом беспримерном походе за богатством. Он вез удивительные сюжеты, которые подглядел в жизни и услышал в часы бесконечной полярной ночи. Его острая память сохранила встречи, беседы, картины северной природы, случаи торжества и поражений

человека в борьбе за жизнь. Но главное, год, проведенный на Севере, укрепил в нем веру в Человека, веру в товарищество, в дружбу, научил его показывать те поразительные высоты, на которые способен подняться человек в борьбе с силами природы и жестокостью социальных условий.

В начале века он, как бы по свежим следам, начал реализовывать запасы своих наблюдений. В 1900 году вышел первый сборник его рассказов, «Сын волка». Через год — второй, «Бог его отцов», еще через год — третий, «Дети мороза». Эти правдивые рассказы, посвященные жителям Аляски, бурно ворвались в американскую литературу тех дней и принесли «парню из Фриско» известность и славу.

Мысленно путешествуя по собранию сочинений Джека Лондона, как мне кажется, можно отчетливо увидеть, что творчество его особенно сильно и ярко, когда он как бы почерпывает свои сюжеты из жизни. В поисках этих сюжетов и характеров писатель неутомим. В этом отношении примечательна история его книги «Люди бездны» — одно из сильнейших его произведений. В начале этого века Лондон попадает в Англию, в те дни одну из самых богатейших и могущественнейших держав мира. Он уже известный писатель. В Европе его широко издают, читают и знают. Он состоятельный человек и приезжает на Британские острова с корреспондентским билетом одной из солиднейших газет.

Но, попав в Лондон, он переодевается в лохмотья и на несколько недель как бы опускается на дно в трущобном районе Лондона Ист-Энд. И тут он не только наблюдает, он переживает вместе с жителями окружающих кварталов то, что тщательно прячется за кулисами богатейшего, благоустроеннейшего, застывшего в своем самодовольстве Лондона. Из-под пера его выходит книга, показывающая ужасающие картины нищеты и бесправия, невежества и распада загнивающего, но столь респектабельно выглядевшего английского общества. Выходит яростная, гневная книга, обличающая самодовольный британский капитализм. И книга эта, правдивая от начала до конца, подкупающая этой своей правдивостью, поражает не только читателей Нового Света, но и самих англичан. «...Янки открыл для нас кулисы нашего дома...» — пишет о ней в «Манчестер Гардиен» прогрессивный английский критик тех дней. И закономерно, что именно в Англии эта книга

американца встречает особое внимание читателей. На этом примере, как мне кажется, можно видеть непреходящую силу произведений Лондона и источники этой силы.

Но на том же примере, думается мне, можно видеть и слабости творчества этого писателя. Когда в конце своей жизни он, уже шумно знаменитый, очень обеспеченный человек, начинает писать произведения из жизни людей другого мира и переносит свое внимание с больших жизненных арен в тесные семейные мирки, старается поспеть в ногу с модой и даже сочиняет киносценарий «Сердца трех», его произведения теряют свою привлекательную, мобилизующую силу. Мастерство остается прежним: отлично построенный сюжет, ограненные характеры, хороший язык. Но в этих произведениях он уже не борец, не человек, живущий активной жизнью, а как бы сторонний наблюдатель, смотрящий на жизнь со слабой скептической улыбкой. И сами произведения эти лишены его страстности, энергии, глубины чувств.

Говоря о творчестве этого любимейшего моего западного писателя, книги которого были и для меня литературной школой, особенно хочу сказать о романе Лондона «Мартин Иден», который, хотя он и не включен в этот сборник, я все же советую молодым читателям найти и прочесть. Нетрудно угадать, что в этом романе Лондон рассказал о себе, о своей жизни, о своем взлете, о трагедии своего разочарования. Рабочий паренек, моряк, проживший большую, трудную жизнь и обладающий писательским даром, ценой невероятных лишений и упорнейшего труда сам овладевает высотами буржуазной культуры, становится признанным писателем, богатым человеком, добивается ответной любви хорошей девушки из буржуазной семьи, достигает всего, о чем мечтал, и, разочаровавшись, переживает кризис творчества и свой конфликт в стране, где гений и чувства превращены в разменную монету. Трагической гибелью своего героя Мартина Идена автор как бы провидит судьбу своих честных собратьев по перу, в том числе и свой собственный конец, ибо по весьма распространенной версии в расцвете своей силы Джек Лондон покончил жизнь самоубийством.

Прочтите, обязательно прочтите эту книгу, и тогда вы лучше и глубже поймете рассказы, включенные в сборник, который вы сейчас держите в руках.

И в заключение хочу сделать уже личное и, как мне кажется, характерное замечание. Не могу не вспомнить, как в середине пятидесятых годов, прилетев в Соединенные Штаты в первой делегации советских журналистов, мы с представителем Госдепартамента, прикрепленного к нашей делегации, верстали программу нашего путешествия. И среди первого, что мы попросили, было посещение дома Джека Лондона, «дома Волка», который, как мы знали, сохранился где-то в Калифорнии.

— Лондона? Кто такой этот Джек Лондон? — переспросил наш американский собеседник.

— Как кто? Знаменитый американский писатель,— в семь голосов ответили мы.

— Лондон... Джек Лондон,— наморщив лоб, вспоминал наш собеседник. И вдруг воскликнул: — Ах, да! Этот парень из Фриско? Он? Да? Моряк в седле?[1] Неужели у вас еще читают его книги?

Собеседник наш был человек образованный, и удивление его просто поразило нас. Но в том, что в современной Америке, охваченной своими сегодняшними бедами и заботами, этот писатель, глашатай социалистических идей, певец простых, мужественных, сильных людей, ныне не популярен и в то же время знаем у нас, что мы — люди социалистического мира — любим, читаем, изучаем его произведения, как мне кажется, есть своя закономерность.

Ведь Джек Лондон в лучших своих произведениях был борцом за счастье простых людей, прививал читателям презрение к духу наживы, стяжательства, к капиталистической системе в целом, боролся с капитализмом и пусть смутно, пусть по-своему провидел социализм. И вот мы помним, читаем и знаем его, в то время как капиталистическая Америка, погруженная в свои заботы и страхи, старается не вспоминать мощный и своеобразный голос «парня из Фриско».

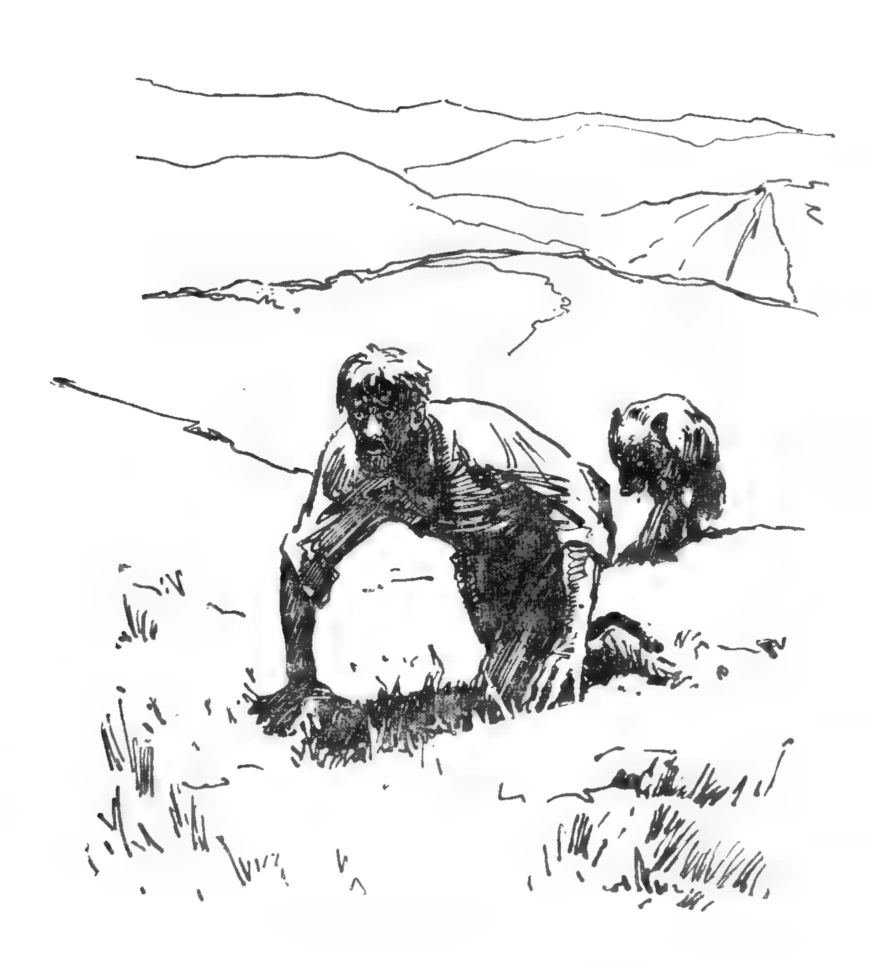
Борис Полевой

---

[1] Так называется книга американского биографа Джека Лондона Ирвинга Стоуна.



РАССКАЗЫ





ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Прихрамывая, они спускались к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность — след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, схваченные ремнями. Каждый нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз.

— Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике,— сказал один.

Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пенившуюся по камням, ничего ему не ответил.

Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная, как лед,— такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору.

Второй путник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова,— он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и поглядел на своего спутника: тот все так же шел вперед, даже не оглядываясь.

Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул:

— Слушай, Билл, я вывихнул ногу!

Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и, хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя.

Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше. Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кончиком языка.

— Билл! — крикнул он.

Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ долго следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой линии горизонта, образованной гребнем невысокого холма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он остался один после ухода Билла.

Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видное сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без видимых границ и очертаний. Опираясь на одну ногу всей своей тяжестью, путник достал часы. Было уже четыре. Последние недели две он сбился со счета; стоял конец июля или начало августа, и он знал, что солнце должно находиться на северо-западе. Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими мрачными хол-

мами, лежит Большое Медвежье озеро и что в том же направлении проходит по канадской равнине страшный путь Полярного круга. Речка, посреди которой он стоял, была притоком реки Коппермайн, и Коппермайн течет также на север и впадает в залив Коронации, в Северный Ледовитый океан. Сам он никогда не бывал там, но видел однажды эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Он снова окинул взглядом тот круг вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселая. Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линией. Ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни,— и в его глазах появилось выражение страха.

— Билл! — прошептал он и повторил опять: — Билл!

Он присел на корточки посреди мутного ручья, словно бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с плеском упало в воду. Это заставило его опомниться. Он пересилил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду, нашарил ружье, потом передвинул тюк ближе к левому плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу, и медленно и осторожно пошел к берегу, морщась от боли.

Он шел не останавливаясь. Не обращая внимания на боль, с отчаянной решимостью, он торопливо взбирался на вершину холма, за гребнем которого скрылся Билл,— и сам он казался еще более смешным и неуклюжим, чем хромой, едва ковылявший Билл. Но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет. На него снова напал страх, и, снова поборов его, он передвинул тюк еще дальше к левому плечу и, хромая, стал спускаться вниз.

Дно долины было болотистое, вода пропитывала густой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала из-под ног, и подошва с хлюпаньем отрывалась от влажного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник перебирался от озерка к озерку по камням, торчавшим во мху, как островки.

Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что еще немного — и он подойдет к тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое озеро Титчинничили, что на местном языке означает: «Страна Маленьких Палок». А в озеро впадает ручей, и вода в нем не

мутная. По берегам ручья растет камыш — это он хорошо помнил,— но деревьев там нет, и он пойдет вверх по ручью до самого водораздела. От водораздела начинается другой ручей, текущий на запад; он спустится по нему до реки Диз и там найдет свой тайник под перевернутым челноком, заваленным камнями. В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удочек и маленькая сеть — все нужное для того, чтобы добывать себе пропитание. А еще там есть мука — правда, немного, и кусок грудинки, и бобы.

Билл подождет его там, и они вдвоем спустятся по реке Диз до Большого Медвежьего озера, а потом переправятся через озеро и пойдут на юг, все на юг, пока не доберутся до реки Макензи. На юг, все на юг,— а зима будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и дни станут холодней,— на юг, к какой-нибудь фактории Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья и где сколько хочешь еды.

Вот о чем думал путник, с трудом пробираясь вперед. Но, как ни трудно ему было идти, еще труднее было уверить себя в том, что Билл его не бросил, что Билл, конечно, ждет его у тайника. Он должен был так думать, иначе не имело никакого смысла бороться дальше,— оставалось только лечь на землю и умереть. И, в то время как тусклый диск солнца медленно скрывался на северо-западе, он успел рассчитать — и не один раз — каждый шаг того пути, который предстоит проделать им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы. Он снова и снова перебирал мысленно запасы пищи в своем тайнике и запасы на складе Компании Гудзонова залива. Он ничего не ел уже два дня, но еще дольше он не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту,— оставалось только горькое жесткое семя. Он знал, что ими не насытишься, но все-таки терпеливо жевал, потому что надежда не хочет считаться с опытом.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о камень, пошатнулся и упал от слабости и утомления. Он лежал на боку довольно долго, не шевелясь; потом высвободился из ремней, неловко приподнялся и сел. Еще не стемнело, и в сумеречном свете он стал шарить среди камней, собирая клочки сухого мха. Набрав целую охапку, он развел костер — тлеющий, дымный костер — и поставил на него котелок с водой.

Он распаковал тюк и прежде всего сосчитал, сколько у него спичек. Их было шестьдесят семь. Чтобы не ошибиться, он пересчитывал три раза. Он разделил их на три кучки и каждую завернул в пергамент; один сверток он положил в пустой кисет, другой — за подкладку изношенной шапки, а третий — за пазуху. Когда он проделал все это, ему вдруг стало страшно: он развернул все три свертка и снова пересчитал. Спичек было по-прежнему шестьдесят семь.

Он просушил мокрую обувь у костра. От мокасин остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки прохудились насквозь, и ноги у него были стерты до крови. Лодыжка сильно болела, и он осмотрел ее: она распухла, стала почти такой же толстой, как колено. Он оторвал длинную полосу от одного одеяла и крепко-накрепко перевязал лодыжку, оторвал еще несколько полос и обмотал ими ноги, заменив этим носки и мокасины, потом выпил кипятку, завел часы и лег, укрывшись одеялом.

Он спал как убитый. К полуночи стемнело, но ненадолго. Солнце взошло на северо-востоке, вернее, в той стороне начало светать, потому что солнце скрывалось за серыми тучами.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он посмотрел на серое небо и почувствовал, что голоден. Повернувшись и приподнявшись на локте, он услышал громкое фырканье и увидел большого оленя, который настороженно и с любопытством смотрел на него. Олень был от него шагах в пятидесяти, не больше, и ему сразу представился запах и вкус оленины, шипящей на сковородке. Он невольно схватил незаряженное ружье, прицелился и нажал курок. Олень всхрапнул и бросился прочь, стуча копытами по камням.

Он выругался, отшвырнул ружье и со стоном попытался встать на ноги. Это удалось ему с большим трудом и не скоро. Суставы у него словно заржавели, и согнуться или разогнуться стоило каждый раз большого усилия воли. Когда он наконец поднялся на ноги, ему понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться и стать прямо, как полагается человеку.

Он взобрался на небольшой холмик и осмотрелся кругом. Ни кустов, ни деревьев — ничего, кроме серого моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны, серые озерки и серые ручьи. Небо тоже было серое. Ни солнеч-

ного луча, ни проблеска солнца! Он потерял представление, где находится север, и забыл, с какой стороны он пришел вчера вечером. Но он не сбился с пути. Это он знал. Скоро он придет в Страну Маленьких Палок. Он знал, что она где-то налево, недалеко отсюда — быть может, за следующим пологим холмом.

Он вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному; проверил, целы ли все три свертка со спичками, но не стал их пересчитывать. Однако он остановился в раздумье над плоским, туго набитым мешочком из оленьей кожи. Мешочек был невелик, он мог поместиться между ладонями, но весил пятнадцать фунтов — столько же, сколько все остальное,— и это его тревожило. Наконец он отложил мешочек в сторону и стал свертывать тюк; потом взглянул на мешочек, быстро схватил его и вызывающе оглянулся по сторонам, словно пустыня хотела отнять у него золото. И, когда он поднялся на ноги и поплелся дальше, мешочек лежал в тюке у него за спиной.

Он свернул налево и пошел, время от времени останавливаясь и срывая болотные ягоды. Нога у него одеревенела, он стал хромать сильнее, но эта боль ничего не значила по сравнению с болью в желудке. Голод мучил его невыносимо. Боль все грызла и грызла его, и он уже не понимал, в какую сторону надо идти, чтобы добраться до Страны Маленьких Палок. Ягоды не утоляли грызущей боли, от них только щипало язык и нёбо.

Когда он дошел до небольшой ложбины, навстречу ему с камней и кочек поднялись белые куропатки, шелестя крыльями и крича: «кр-кр-кр...» Он бросил в них камнем, но промахнулся. Потом, положив тюк на землю, стал подкрадываться к ним ползком, как кошка подкрадывается к воробьям. Штаны у него порвались об острые камни, от колен тянулся кровавый след, но он не чувствовал этой боли — голод заглушал ее. Он полз по мокрому мху; одежда его намокла, тело зябло, но он не замечал ничего, так сильно терзал его голод. А белые куропатки всё вспархивали вокруг него, и наконец это «кр-кр» стало казаться ему насмешкой; он выругал куропаток и начал громко передразнивать их крик.

Один раз он чуть не наткнулся на куропатку, которая, должно быть, спала. Он не видел ее, пока она не вспорхнула ему прямо в лицо из своего убежища среди камней. Как ни быстро вспорхнула куропатка, он успел схватить

ее таким же быстрым движением — и в руках у него осталось три хвостовых пера. Глядя, как улетает куропатка, он чувствовал к ней такую ненависть, будто она причинила ему страшное зло. Потом он вернулся к своему тюку и взвалил его на спину.

К середине дня он дошел до болота, где дичи было больше. Словно дразня его, мимо прошло стадо оленей, голов в двадцать,— так близко, что их можно было подстрелить из ружья. Его охватило дикое желание бежать за ними, он был уверен, что догонит стадо. Навстречу ему попалась черно-бурая лисица с куропаткой в зубах. Он закричал. Крик был страшен, но лисица, отскочив в испуге, все же не выпустила добычи.

Вечером он шел по берегу мутного от извести ручья, поросшего редким камышом. Крепко ухватившись за стебель камыша у самого корня, он выдернул что-то вроде луковицы, не крупнее обойного гвоздя. Луковица оказалась мягкая и аппетитно хрустела на зубах. Но волокна были жесткие, такие же водянистые, как ягоды, и не насыщали. Он сбросил свою поклажу и на четвереньках пополз в камыши, хрустя и чавкая, словно жвачное животное.

Он очень устал, и его часто тянуло лечь на землю и уснуть; но желание дойти до Страны Маленьких Палок, а еще больше голод не давали ему покоя. Он искал лягушек в озерах, копал руками землю, в надежде найти червей, хотя знал, что так далеко на Севере не бывает ни червей, ни лягушек.

Он заглядывал в каждую лужу и наконец с наступлением сумерек увидел в такой луже одну-единственную рыбку величиной с пескаря. Он опустил в воду правую руку по самое плечо, но рыба от него ускользнула. Тогда он стал ловить ее обеими руками и поднял всю муть со дна. От волнения он оступился, упал в воду и вымок до пояса. Он так замутил воду, что рыбку нельзя было разглядеть, и ему пришлось дожидаться, пока муть осядет на дно.

Он опять принялся за ловлю и ловил, пока вода опять не замутилась. Больше ждать он не мог. Отвязав жестяное ведерко, он начал вычерпывать воду. Сначала он вычерпывал с яростью, весь облился и выплескивал воду так близко к луже, что она стекала обратно. Потом стал черпать осторожнее, стараясь быть спокойным, хотя сердце у него сильно билось и руки дрожали. Через полчаса в луже почти не осталось воды. Со дна уже ничего нельзя

было зачерпнуть. Но рыба исчезла. Он увидел незаметную расщелину среди камней, через которую рыбка проскользнула в соседнюю лужу, такую большую, что ее нельзя было вычерпать и за сутки. Если б он заметил эту щель раньше, он с самого начала заложил бы ее камнем и рыба досталась бы ему.

В отчаянии он опустился на мокрую землю и заплакал. Сначала он плакал тихо, потом стал громко рыдать, будя безжалостную пустыню, которая окружала его; и долго еще он плакал без слез, сотрясаясь от рыданий.

Он развел костер и согрелся, выпив много кипятку, потом устроил себе ночлег на каменистом выступе, так же как и в прошлую ночь. Перед сном он проверил, не намокли ли спички, и завел часы. Одеяла были сырые и холодные на ощупь. Вся нога горела от боли, как в огне. Но он чувствовал только голод, и ночью ему снились пиры, званые обеды и столы, заставленные едой.

Он проснулся озябший и больной. Солнца не было. Серые краски земли и неба стали темней и глубже. Дул резкий ветер, и первый снегопад выбелил холмы. Воздух словно сгустился и побелел, пока он разводил костер и кипятил воду. Это повалил мокрый снег большими влажными хлопьями. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но снег валил все гуще и гуще, застилая землю, и наконец весь собранный им мох отсырел и костер погас.

Это было ему сигналом снова взвалить тюк на спину и брести вперед, неизвестно куда. Он уже не думал ни о Стране Маленьких Палок, ни о Билле, ни о тайнике у реки Диз. Им владело только одно желание: есть! Он помешался от голода. Ему было все равно, куда идти, лишь бы идти по ровному месту. Под мокрым снегом он ощупью искал водянистые ягоды, выдергивал стебли камыша с корнями. Но все это было пресно и не насыщало. Дальше ему попалась какая-то кислая на вкус травка, и он съел, сколько нашел, но этого было очень мало, потому что травка стлалась по земле и ее нелегко было найти под снегом.

В ту ночь у него не было ни костра, ни горячей воды, и он залез под одеяло и уснул тревожным от голода сном. Снег превратился в холодный дождь. Он то и дело просыпался, чувствуя, что капли дождя падают на его лицо. Наступил день — серый день без солнца. Дождь перестал. Теперь чувство голода у путника притупилось. Осталась тупая, ноющая боль в желудке, но это его не очень мучило.

Мысли у него прояснились, и он опять думал о Стране Маленьких Палок и о своем тайнике у реки Диз.

Он разорвал остаток одного одеяла на полосы и обмотал стертые до крови ноги, потом перевязал больную ногу и приготовился к дневному переходу. Когда дело дошло до тюка, он долго глядел на мешочек из оленьей кожи, но в конце концов захватил и его.

Дождь растопил снег, и только верхушки холмов оставались белыми. Проглянуло солнце, и путнику удалось определить страны света, хотя теперь он знал, что сбился с пути. Должно быть, блуждая в эти последние дни, он отклонился слишком далеко влево. Теперь он свернул вправо, чтобы выйти на правильный путь.

Муки голода уже притупились, но он чувствовал, что ослаб. Ему приходилось часто останавливаться и отдыхать, собирая болотные ягоды и луковицы камыша. Язык у него распух, стал сухим, словно шерстистым, и во рту был горький вкус. А больше всего его донимало сердце. После нескольких минут пути оно начинало безжалостно стучать, а потом словно подскакивало и мучительно трепетало, доводя его до удушья и головокружения, чуть не до обморока.

Около полудня он увидел двух пескарей в большой луже. Вычерпать воду было немыслимо, но теперь он стал спокойнее и ухитрился поймать их жестяным ведерком. Они были с мизинец длиной, не больше, но ему не особенно хотелось есть. Боль в желудке все слабела, становилась все менее острой, как будто желудок дремал. Он съел рыбок сырыми, старательно их разжевывая, и это было чисто рассудочным действием. Есть ему не хотелось, но он знал, что это нужно, чтобы остаться в живых.

Вечером он поймал еще трех пескарей, двух съел, а третьего оставил на завтрак. Солнце высушило изредка попадавшиеся клочки мха, и он согрелся, вскипятив себе воды. В этот день он прошел не более десяти миль, а на следующий, двигаясь только когда позволяло сердце, не больше пяти. Но боли в желудке уже не беспокоили его; желудок словно уснул. Местность была ему теперь незнакома, олени попадались все чаще и волки тоже. Очень часто их вой доносился до него из пустынной дали, а один раз он видел трех волков, которые, крадучись, перебегали ему дорогу.

Еще одна ночь, и наутро, образумившись наконец, он

развязал ремешок, стягивавший кожаный мешочек. Из него желтой струйкой посыпался крупный золотой песок и самородки. Он разделил золото пополам; одну половину спрятал на видном издалека выступе скалы, завернув в кусок одеяла, а другую всыпал обратно в мешочек. Свое последнее одеяло он тоже пустил на обмотки для ног. Но ружье он все еще не бросал, потому что в тайнике у реки Диз лежали патроны.

День выдался туманный. В этот день в нем снова пробудился голод. Путник очень ослабел, и голова у него кружилась так, что по временам он ничего не видел. Теперь он постоянно спотыкался и падал и однажды свалился прямо на гнездо куропатки. Там было четыре только что вылупившихся птенца, не старше одного дня; каждого хватило бы только на глоток; и он съел их с жадностью, запихивая в рот живыми; они хрустели у него на зубах, как яичная скорлупа. Куропатка-мать с громким криком летала вокруг него. Он хотел подшибить ее прикладом ружья, но она увернулась. Тогда он стал бросать в нее камнями и перебил ей крыло. Куропатка бросилась от него прочь, вспархивая и волоча перебитое крыло, но он не отставал.

Птенцы только раздразнили его голод. Неуклюже подскакивая и припадая на больную ногу, он то бросал в куропатку камнями и хрипло вскрикивал, то шел молча, угрюмо и терпеливо поднимаясь после каждого падения, и тер рукой глаза, чтобы отогнать головокружение, грозившее обмороком.

Погоня за куропаткой привела его в болотистую низину, и там он заметил человеческие следы на мокром мху. Следы были не его — это он видел. Должно быть, следы Билла. Но он не мог остановиться, потому что белая куропатка убегала все дальше. Сначала он поймает ее, а потом уже вернется и рассмотрит следы.

Он загнал куропатку, но и сам обессилел. Она лежала на боку, тяжело дыша, и он, тоже тяжело дыша, лежал в десяти шагах от нее, не в силах подползти ближе. А когда он отдохнул, она тоже собралась с силами и упорхнула от его жадно протянутой руки. Погоня началась снова. Но тут стемнело, и птица скрылась. Споткнувшись от усталости, он упал с тюком на спине и поранил себе щеку. Он долго не двигался, потом повернулся на бок, завел часы и пролежал так до утра.

Опять туман. Половину одеяла он израсходовал на обмотки. Следы Билла ему не удалось найти, но теперь это было неважно. Голод упорно гнал его вперед. Но что, если... если Билл тоже заблудился? К полудню он совсем выбился из сил. Он опять разделил золото, на этот раз просто высыпав половину на землю. К вечеру он выбросил и другую половину, оставив себе только обрывок одеяла, жестяное ведерко и ружье.

Его начали мучить навязчивые мысли. Почему-то он был уверен, что у него остался один патрон,— ружье заряжено, он просто этого не заметил. И в то же время он знал, что в магазине нет патрона. Эта мысль неотвязно преследовала его. Он боролся с ней часами, потом осмотрел магазин и убедился, что никакого патрона в нем нет. Разочарование было так сильно, словно он и в самом деле ожидал найти там патрон.

Прошло около получаса, потом навязчивая мысль вернулась к нему снова. Он боролся с ней и не мог ее побороть и, чтобы хоть чем-нибудь помочь себе, опять осмотрел ружье. По временам рассудок его мутился, и он продолжал брести дальше бессознательно, как автомат; странные мысли и нелепые представления точили его мозг, как черви. Но он быстро приходил в сознание — муки голода постоянно возвращали его к действительности. Однажды его привело в себя зрелище, от которого он тут же едва не упал без чувств. Он покачнулся и зашатался, как пьяный, стараясь удержаться на ногах. Перед ним стояла лошадь. Лошадь! Он не верил своим глазам. Их заволакивал густой туман, пронизанный яркими точками света. Он стал яростно тереть глаза и, когда зрение прояснилось, увидел перед собой не лошадь, а большого бурого медведя. Зверь разглядывал его с недружелюбным любопытством.

Он уже вскинул было ружье, но быстро опомнился. Опустив ружье, он вытащил охотничий нож из шитых бисером ножен. Перед ним было мясо и — жизнь. Он провел большим пальцем по лезвию ножа. Лезвие было острое, и кончик тоже острый. Сейчас он бросится на медведя и убьет его. Но сердце заколотилось тук-тук-тук, словно предостерегая, потом бешено подскочило кверху и затрепетало; лоб сдавило, словно железным обручем, и в глазах потемнело.

Отчаянную храбрость смыло волной страха. Он так слаб — что будет, если медведь нападет на него? Он выпря-

мился во весь рост как можно внушительнее, выхватил нож и посмотрел медведю прямо в глаза. Зверь неуклюже шагнул вперед, поднялся на дыбы и зарычал. Если бы человек бросился бежать, медведь погнался бы за ним. Но человек не двинулся с места, осмелев от страха; он тоже зарычал, свирепо, как дикий зверь, выражая этим страх, который неразрывно связан с жизнью и тесно сплетается с ее самыми глубокими корнями.

Медведь отступил в сторону, угрожающе рыча, в испуге перед этим таинственным существом, которое стояло прямо и не боялось его. Но человек все не двигался. Он стоял как вкопанный, пока опасность не миновала, а потом, весь дрожа, словно в лихорадке, повалился на мокрый мох.

Собравшись с силами, он пошел дальше, терзаясь новым страхом. Это был уже не страх голодной смерти: теперь он боялся умереть насильственной смертью, прежде чем последнее стремление сохранить жизнь заглохнет в нем от голода. Кругом были волки. Со всех сторон в этой пустыне доносился их вой, и самый воздух вокруг дышал угрозой так неотступно, что он невольно поднял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище колеблемой ветром палатки.

Волки по двое и по трое то и дело перебегали ему дорогу. Но они не подходили близко. Их было не так много; кроме того, они привыкли охотиться на оленей, которые не сопротивлялись им, а это странное животное ходило на двух ногах и, должно быть, царапалось и кусалось.

К вечеру он набрел на кости, разбросанные там, где волки настигли свою добычу. Час тому назад это был живой олененок, он резво бегал и мычал. Человек смотрел на кости, дочиста обглоданные, блестящие и розовые, оттого что в их клетках еще не угасла жизнь. Может ли быть, что к концу дня и от него останется не больше? Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Умереть — уснуть. Смерть — это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать?

Но он недолго рассуждал. Вскоре он уже сидел на корточках, держа кость в зубах и высасывая из нее последние частицы жизни, которые еще окрашивали ее в розовый цвет. Сладкий вкус мяса, еле слышный, неуловимый, как воспоминание, доводил его до бешенства. Он стиснул зубы крепче и стал грызть. Иногда ломалась кость, иногда его

зубы. Потом он стал дробить кости камнем, размалывая их в кашу, и глотал с жадностью. Второпях он попадал себе по пальцам и все-таки, несмотря на спешку, находил время удивляться, почему он не чувствует боли от ударов.

Наступили страшные дни дождей и снега. Он уже не помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пускался в путь. Шел, не разбирая времени, и ночью и днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед, когда угасавшая в нем жизнь вспыхивала и разгоралась ярче. Он больше не боролся, как борются люди. Это сама жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он не страдал больше. Нервы его притупились, словно оцепенели; в мозгу теснились странные видения, радужные сны.

Он не переставая сосал и жевал раздробленные кости, которые подобрал до последней крошки и унес с собой. Больше он уже не поднимался на холмы, не пересекал водораздела, а брел по отлогому берегу большой реки, которая текла по широкой долине. Перед его глазами были только видения. Его душа и тело шли рядом, и все же порознь — такой тонкой стала нить, связывающая их.

Он пришел в сознание однажды утром, лежа на плоском камне. Ярко светило и пригревало солнце. Издали ему слышно было мычание оленят. Он смутно помнил дождь, ветер и снег, но сколько времени его преследовала непогода — два дня или две недели,— он не знал.

Долгое время он лежал неподвижно, и щедрое солнце лило на него свои лучи, напитывая теплом его жалкое тело. «Хороший день»,— подумал он. Быть может, ему удастся определить направление по солнцу. Сделав мучительное усилие, он повернулся на бок. Там, внизу, текла широкая, медлительная река. Она была ему незнакома, и это его удивило. Он медленно следил за ее течением, смотрел, как она вьется среди голых, угрюмых холмов, еще более угрюмых и низких, чем те, которые он видел до сих пор. Медленно, равнодушно, без всякого интереса он проследил за течением незнакомой реки почти до самого горизонта и увидел, что она вливается в светлое, блистающее море. И все же это его не взволновало. «Очень странно,— подумал он,— это или мираж, или видение, плод расстроенного воображения». Он еще более убедился в этом, когда увидел корабль, стоявший на якоре посреди блистающего моря. Он закрыл глаза на секунду и снова открыл их. Странно, что видение не исчезает! А впрочем, нет ни-

чего странного. Он знал, что в сердце этой бесплодной земли нет ни моря, ни кораблей, так же как нет патронов в его незаряженном ружье.

Он услышал за своей спиной какое-то сопение — не то вздох, не то кашель. Очень медленно, преодолевая крайнюю слабость и оцепенение, он повернулся на другой бок. Поблизости он ничего не увидел и стал терпеливо ждать. Опять послышалось сопение и кашель, и между двумя островерхими камнями, не больше чем шагах в двадцати от себя, он увидел серую голову волка. Уши не торчали кверху, как это ему приходилось видеть у других волков, глаза помутнели и налились кровью, голова бессильно понурилась. Волк, верно, был болен: он все время чихал и кашлял.

«Вот это, по крайней мере, не кажется»,— подумал он и опять повернулся на другой бок, чтобы увидеть настоящий мир, не застланный теперь дымкой видений. Но море все так же сверкало в отдалении, и корабль был ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он закрыл глаза и стал думать — и в конце концов понял, в чем дело. Он шел на северо-восток, удаляясь от реки Диз, и попал в долину реки Коппермайн. Эта широкая медлительная река и была Коппермайн. Это блистающее море — Ледовитый океан. Этот корабль — китобойное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки Макензи, оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту Компании Гудзонова залива, которую видел когда-то, и все стало ясно и понятно.

Он сел и начал думать о самых неотложных делах. Обмотки из одеяла совсем износились, и ноги у него были содраны до живого мяса. Последнее одеяло было израсходовано. Ружье и нож он потерял. Шапка тоже пропала и вместе с ней спички, спрятанные под подкладку, но спички в кисете за пазухой, завернутые в пергамент, остались целы и не отсырели. Он посмотрел на часы. Они все еще шли и показывали одиннадцать часов. Должно быть, он не забывал заводить их.

Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на страшную слабость, он не чувствовал никакой боли. Есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприятна ему, и все, что он ни делал, делалось им по велению рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими ступни. Ведерко он почему-то не бросил: надо будет выпить кипятку,

прежде чем начать путь к кораблю,— очень тяжелый, как он предвидел.

Все его движения были медленны. Он дрожал, как в параличе. Он хотел набрать сухого мха, но не смог подняться на ноги. Несколько раз он пробовал встать и в конце концов пополз на четвереньках. Один раз он подполз очень близко к больному волку. Зверь неохотно посторонился и облизнул морду, насилу двигая языком. Человек заметил, что язык был не здорового красного цвета, а желтовато-бурый, покрытый полузасохшей слизью.

Выпив кипятку, он почувствовал, что может подняться на ноги и даже идти, хотя силы его были почти на исходе. Ему приходилось отдыхать чуть не каждую минуту. Он шел слабыми, неверными шагами, и такими же слабыми, неверными шагами тащился за ним волк. И в эту ночь, когда блистающее море скрылось во тьме, человек понял, что приблизился к нему не больше чем на четыре мили.

Ночью он все время слышал кашель больного волка, а иногда крики оленят. Вокруг была жизнь, но жизнь, полная сил и здоровья, а он понимал, что больной волк тащится по следам больного человека в надежде, что этот человек умрет первым. Утром, открыв глаза, он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Зверь, похожий на заморенную унылую собаку, стоял, понурив голову и поджав хвост. Он дрожал на холодном ветру и угрюмо оскалил зубы, когда человек заговорил с ним голосом, упавшим до хриплого шепота.

Взошло яркое солнце; и все утро путник, спотыкаясь и падая, шел к кораблю на блистающем море. Погода стояла прекрасная. Это началось короткое бабье лето северных широт. Оно могло продержаться неделю, могло кончиться завтра или послезавтра.

После полудня он напал на след. Это был след другого человека, который не шел, а тащился на четвереньках. Он подумал, что это, возможно, след Билла, но подумал вяло и равнодушно. Ему было все равно. В сущности, он перестал что-либо чувствовать и волноваться. Он уже не ощущал боли. Желудок и нервы словно дремали. Однако жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела гибнуть; и потому, что она не хотела гибнуть, человек все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипяток и следил за больным волком, не спуская с него глаз.

Он шел по следам другого человека, того, который тащился на четвереньках, и скоро увидел конец его пути: обглоданные кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап. Он увидел туго набитый мешочек из оленьей кожи — такой же, какой был у него,— разорванный острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя его ослабевшие пальцы не в силах были удержать такую тяжесть. Билл не бросил его до конца. Ха-ха! Он еще посмеется над Биллом. Он останется жив и возьмет мешочек на корабль, который стоит посреди блистающего моря. Он засмеялся хриплым, страшным смехом, похожим на карканье ворона, и больной волк вторил ему, уныло подвывая. Человек сразу замолчал. Как же он будет смеяться над Биллом, если это Билл, если эти бело-розовые, чистые кости — все, что осталось от Билла?

Он отвернулся. Да, Билл его бросил, но он не возьмет золота и не станет сосать кости Билла. А Билл стал бы, будь Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше.

Он набрел на маленькое озерко. И, наклонившись над ним в поисках пескарей, отшатнулся, словно ужаленный. Он увидел свое лицо, отраженное в воде. Это отражение было так страшно, что пробудило даже его отупевшую душу. В озерке плавали три пескаря, но оно было велико, и он не мог вычерпать его до дна; он попробовал поймать рыб ведерком, но в конце концов бросил эту мысль. Он побоялся, что от усталости упадет в воду и утонет. По этой же причине он не отважился плыть по реке на бревне, хотя бревен было много на песчаных отмелях.

В этот день он сократил на три мили расстояние между собой и кораблем, а на следующий день — на две мили; теперь он полз на четвереньках, как Билл. К концу пятого дня до корабля все еще оставалось миль семь, а он теперь не мог пройти и мили в день. Бабье лето еще держалось, а он то полз на четвереньках, то падал без чувств, и по его следам все так же тащился больной волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны до живого мяса и ступни тоже, и хотя он оторвал две полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный след тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то, он увидел, что волк с жадностью лижет этот кровавый след, и ясно представил себе, каков будет его конец, если он сам не убьет волка. И тогда началась самая жестокая борьба, какая только бывает в жизни: больной человек на четвереньках и больной волк, ко-

вылявший за ним,— оба они, полумертвые, тащились через пустыню, подстерегая друг друга.

Будь то здоровый волк, человек не стал бы так сопротивляться, но ему было неприятно думать, что он попадет в утробу этой мерзкой твари, почти падали. Ему стало противно. У него снова начинался бред, сознание туманили галлюцинации, и светлые промежутки становились всё короче и реже.

Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то дыхание над самым ухом. Волк отпрыгнул назад, споткнулся и упал от слабости. Это было смешно, но человек не улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже не имел над ним власти. Но мысли его на минуту прояснились, и он лежал, раздумывая. До корабля оставалось теперь мили четыре, не больше. Он видел его совсем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым парусом, рассекавшую сверкающее море. Но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и относился к этому спокойно. Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него слишком многого. Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней.

Он закрыл глаза и бесконечно бережно собрал все свои силы. Он крепился, стараясь не поддаваться чувству дурноты, затопившему, словно прилив, все его существо. Это чувство поднималось волной и мутило сознание. Временами он словно тонул, погружаясь в забытье и силясь выплыть, но каким-то необъяснимым образом остатки воли помогли ему снова выбраться на поверхность.

Он лежал на спине неподвижно и слышал, как хриплое дыхание волка приближается к нему. Оно ощущалось все ближе и ближе, время тянулось без конца, но человек не пошевельнулся ни разу. Вот дыхание слышно над самым ухом. Жесткий, сухой язык царапнул его щеку, словно наждачной бумагой. Руки у него вскинулись кверху — по крайней мере, он хотел их вскинуть,— пальцы согнулись, как когти, но схватили пустоту. Для быстрых и уверенных движений нужна сила, а силы у него не было.

Волк был терпелив, но и человек был терпелив не меньше. Полдня он лежал неподвижно, борясь с забытьем и сторожа волка, который хотел его съесть и которого он съел бы сам, если бы мог. Время от времени волна забытья

захлестывала его, и он видел долгие сны; но все время, и во сне и наяву, он ждал, что вот-вот услышит хриплое дыхание и его лизнет шершавый язык.

Дыхание он не услышал, но проснулся оттого, что шершавый язык коснулся его руки. Человек ждал. Клыки слегка сдавили его руку, потом давление стало сильнее — волк из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго подстерегал. Но и человек ждал долго, и его искусанная рука сжала волчью челюсть. И в то время как волк слабо отбивался, а рука так же слабо сжимала его челюсть, другая рука протянулась и схватила волка. Еще пять минут, и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не хватало силы, чтобы задушить волка, но человек прижался лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и человек почувствовал, что в горло ему сочится теплая струйка. Это было мучительно, словно ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только усилием воли он заставлял себя терпеть. Потом человек перекатился на спину и уснул.

На китобойном судне «Бедфорд» ехало несколько человек из научной экспедиции. С палубы они заметили какое-то странное существо на берегу. Оно ползло к морю, едва передвигаясь по песку. Ученые не могли понять, что это такое, и, как подобает естествоиспытателям, сели в шлюпку и поплыли к берегу. Они увидели живое существо, но вряд ли его можно было назвать человеком. Оно ничего не слышало, ничего не понимало и корчилось на песке, словно гигантский червяк. Ему почти не удавалось продвинуться вперед, но оно не отступало и, корчась и извиваясь, продвигалось вперед шагов на двадцать в час.

Через три недели, лежа на койке китобойного судна «Бедфорд», человек со слезами рассказывал, кто он такой и что ему пришлось вынести. Он бормотал что-то бессвязное о своей матери, о Южной Калифорнии, о домике среди цветов и апельсиновых деревьев.

Прошло несколько дней, и он уже сидел за столом вместе с учеными и капитаном в кают-компании корабля. Он радовался изобилию пищи, тревожно провожал взглядом каждый кусок, исчезавший в чужом рту, и его лицо выражало глубокое сожаление. Он был в здравом уме, но чувствовал ненависть ко всем сидевшим за столом. Его мучил страх, что еды не хватит. Он расспрашивал о запасах провизии повара, юнгу, самого капитана. Они без конца успо-

каивали его, но он никому не верил и тайком заглядывал в кладовую, чтобы убедиться собственными глазами.

Стали замечать, что он поправляется. Он толстел с каждым днем. Ученые качали головой и строили разные теории. Стали ограничивать его в еде, но он все раздавался в ширину, особенно в поясе.

Матросы посмеивались. Они знали, в чем дело. А когда ученые стали следить за ним, им тоже стало все ясно. После завтрака он прокрадывался на бак и, словно нищий, протягивал руку к кому-нибудь из матросов. Тот ухмылялся и подавал ему кусок морского сухаря. Человек жадно хватал кусок, глядел на него, как скряга на золото, и прятал за пазуху. Такие же подачки, ухмыляясь, давали ему и другие матросы.

Ученые промолчали и оставили его в покое. Но они осмотрели незаметно его койку. Она была набита сухарями. Матрац был полон сухарей. Во всех углах были сухари. Однако человек был в здравом уме. Он только принимал меры на случай голодовки — вот и все. Ученые сказали, что это должно пройти. И это действительно прошло, прежде чем «Бедфорд» стал на якорь в гавани Сан-Франциско.

ЧЕРЕЗ СТРЕМНИНЫ К КЛОНДАЙКУ

Мы спешили. Все спешили. Спешка типична для «золотой лихорадки», а для клондайкской лихорадки 97-го года особенно. Октябрь был на носу, земля покрылась снегом, река вот-вот грозила замерзнуть, а до Доусона все еще было далеко — несколько сот миль на север.

Никогда за всю историю Севера никто не рисковал так безрассудно, и никогда еще туда не проникали более отчаянные люди. Ветераны Клондайка — те самые, которые принесли ошеломляющие вести и тяжелые мешочки арктического золота, которые, собственно, и были виновниками охватившей всю страну азартной погони, высмеяли наше заявление о том, что мы пронесем снаряжение через перевалы и сплавим его в лодках до Доусона этой же осенью. Но мы все же это сделали, и, когда в самый разгар снежного бурана и ледяного затора несколько тысяч нас при-

было в Доусон, старожилы ахнули. Прекрасно представляя невероятные трудности подобного путешествия в это время года, они и вообразить не могли, что кто-нибудь на него отважится и тем более успешно его завершит.

Понятно, часть из нас погибла по дороге, другая была затерта льдами, тысячи изможденных, потерявших веру в свои силы вернулись с перевалов назад, но наша группа оказалась в числе тех, кому повезло. Мы знали, на что идем, и в нас была крепка решимость, начав путь, пройти его до конца. Дав вам понятие об этом, я приступаю теперь к рассказу о Бокс-каньоне и стремнинах Белой Лошади.

Для того чтобы вы поняли, с каким благоговением относятся к этим местам старожилы, приведу цитату из Майнера У. Брукса, аляскинского пионера,— в пути мы не раз обращались к его книге.

«Если путешественник — опытный гребец, он сможет провести свою лодку по каньону и причалить к правому берегу. Если же нет, то ему надлежит переправить лодку волоком. Отсюда на протяжении двух миль до начала стремнин Белой Лошади ему следует держаться левого берега. Большая осторожность необходима при достижении места причала выше Белой Лошади. В случае низкой воды лодку можно спустить с помощью веревки, но, если вода высока, ее нужно перетащить волоком».

Река Шестидесятой Мили, которая, собственно, является верховьем Юкона, вытекает из озера Марш и имеет в ширину от одной восьмой до четверти мили. Она глубока и стремительна — судите сами, сколько воды она несет. То она разливается на сотню ярдов, огибает мысок, образуя довольно тихую заводь, где еще можно пристать, то мчится, стиснутая до восьмидесяти футов скалистыми стенами гор. Вся эта огромная масса воды, зажатая в узкой теснине, развивает чудовищную скорость, бурлит вся в водоворотах, вздымающихся, словно стены волн. Наткнувшись на препятствия, середина сдавленной скалами стремнины подымается, как хребет высотой футов шесть — восемь, его называют гребнем.

Каньон тянется милю. Примерно на полпути стены по обеим сторонам его раздвигаются, образуя гигантскую круглую чашу. Врывающийся в нее поток создает могучий водоворот. Говорят, когда-то два шведа попали в этот водоворот. Лодка у них была крепкая, и поначалу они пытались выбраться, но, потерпев неудачу, принялись то вы-

черпывать воду, то молиться, положившись на счастливый случай. Целых четыре часа их крутило и вертело, а потом какой-то непостижимый каприз вод вынес их в каньон целыми и невредимыми, если не считать нервного потрясения.

Привязав нашу лодку «Красавица Юкона» перед порогами Бокса, мы — я и три моих товарища — отправились на разведку. Сотни золотоискателей тащили свое снаряжение на себе. Для нас это означало бы два дня изнурительного пути, тогда как, если бы мы попытали счастья и решились проскочить, все дело заняло бы только две минуты. По нашему обычаю, мы проголосовали, и второй способ был принят единодушно.

Я надежно закрепил рулевое весло, чтобы его не вырвало, рассадил своих товарищей — ведь я был капитаном. Искушенный в странствиях по Южной Америке и уже поплававший на лодках, Меррит Слопер вооружился гребком и занял место на носу. «Сухопутные моряки» Томпсон и Гудман, не имевшие до этой поездки понятия о гребле, были посажены на весла. Для ясности необходимо добавить, что, помимо людей, наша двадцатисемифутовая лодка несла еще свыше пяти тысяч фунтов багажа и, следовательно, не обладала запасом столь необходимой для подобного предприятия плавучести.

— Держитесь гребня! — крикнули нам с берега, когда мы отчалили.

Несмотря на быстрое течение, поверхность воды казалась спокойной и отливала масляным блеском, но стоило нам очутиться в пасти Бокса, как река мгновенно превратилась в сорвавшийся с цепи хаос. Опасаясь, что гребцы упустят весла или совершат еще какую-нибудь роковую ошибку, я велел убрать весла.

Все происходило с чудовищной быстротой. Какой-то миг я видел фигуры людей, наблюдавших за нами с окрестных скал, мчащиеся мимо, подобно двум экспрессам-близнецам, каменные стены; но затем сосредоточил все силы на том, чтобы удержаться на гребне. Он весь был в зубцах упругих волн, на которые перегруженная, неуклюжая лодка не могла взобраться — она пронзала их носом. Я поймал себя на том, что, несмотря на страшную опасность, улыбаюсь нелепым антраша, которые выделывал примостившийся на носу Слопер. Он как сумасшедший работал своим гребком, но всякий раз, когда он делал ис-

полинский замах, корма проваливалась в яму между волнами, нос взмывал вверх, и Слопер черпал воздух. При следующем взмахе нос исчезал под водой, которая вот-вот грозила смыть гребца, весившего всего-то сотню фунтов. Но он не терял присутствия духа и выдержки. Внезапно Слопер обернулся и что-то встревоженно крикнул,— слова его потонули в оглушительном реве волн. В следующее мгновение мы соскользнули с гребня. Вода со всех сторон хлынула в лодку: подхваченная водоворотом, она вот-вот готова была стать поперек течения. Это означало гибель. Я изо всех сил налегал на весло, так что оно затрещало; в тот же миг сломался гребок Слопера.

Мы стремительно неслись вниз, не более чем в двух ярдах от стены. Не раз казалось, что наши расчеты с жизнью покончены. Но, поднявшись почти боком на гребень, лодка в конце концов перепрыгнула через гигантскую волну и, как ядро из пушки, вырвалась в водоворот гигантской чаши.

Отдав приказ спустить весла, чтобы выровнять лодку, и внимательно следя за игрой течения, я мог теперь перевести дух, но тут нас унесло в другую половину каньона. Нас снова швыряло слева направо и справа налево через гребень, но теперь это было не более как повторение испытанного прежде, и несколько секунд спустя «Красавица Юкона» мягко стукнулась о берег. Милю по каньону мы проделали за две минуты по часам.

Слопер и я отправились по берегу назад и проскочили с лодкой одного нашего приятеля, что было довольно рискованным предприятием, так как суденышко это — длиною-то всего двадцать два фута — было перегружено, как и наше. Потом мы вычерпали воду и, минуя остовы разбитых лодок — свидетельство гибели многих смельчаков, пронеслись мили две по «обычным» порогам до начала стремнин Белой Лошади.

Белая Лошадь опаснее Бокса. До нас ее никто не проходил: все попытки оканчивались трагически. Здесь было принято переносить не только снаряжение, но даже и лодки тащить волоком с помощью еловых жердей. Однако мы спешили и к тому же были ободрены предыдущей удачей, поэтому ни на фунт не облегчили лодки.

Самый опасный участок стремнин находится в дальнем их конце и за пенистые вздымленные волны назван Гривой. Скалистый порог, перегораживающий реку на три

четверти, бросает могучий водный поток на правый берег, откуда его вновь отбрасывает на левый, и этот водоворот куда более опасен, чем водоворот Бокс-каньона.

Как только мы оказались на Гриве, «Красавица Юкона» запрыгала, будто забыв о тяжелом грузе: она то почти отрывалась от воды, то глубоко погружалась в провалы между волнами. До сих пор не могу понять, как случилось, что я потерял контроль над управлением лодки. Боковая струя увлекла корму, и лодка стала поворачиваться боком. Затем мы соскочили в водоворот (тогда я этого не понял). Слопер сломал второй гребок, и вода снова окатила его с ног до головы.

Учтите, что мы двигались со скоростью скаковой лошади, и все эти события заняли вдесятеро меньше времени, чем рассказ о них. Грозя утопить нас, вода со всех сторон хлынула в лодку. «Красавицу Юкона» несло прямо на скалы левого берега, и, хотя я налегал на рулевое весло так, что оно трещало, мне не удалось повернуть лодку по течению. С откоса нас пытались сфотографировать, но напрасно: из-за нашей бешеной скорости им удавалось схватить лишь картину разъяренной воды да летящие клочья пены.

Берег был угрожающе близок, а лодка все упрямилась. Но тут я наконец сообразил, что борюсь с водоворотом, и мгновенно навалился на весло с противоположной стороны. Лодка подалась. Следуя за направлением потока, она повернулась носом против течения. Гибель, казалось, была так близка, что Слопер выпрыгнул на камень, но, увидев, что мы проскочили, он снова кувырком свалился в лодку, словно на комету.

Хотя нас по-прежнему увлекал бешеный водоворот, мы вздохнули свободнее. По завершении круга нас опять выбросило на Гриву. И на этот раз, проскочив ее, мы благополучно пристали к берегу тихой заводи.

БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ

— Кармен и двух дней не протянет.

Мэйсон выплюнул кусок льда и уныло посмотрел на несчастное животное, потом, поднеся лапу собаки ко рту,

стал опять скусывать лед, намерзший большими шишками у нее между пальцев.

— Сколько я ни встречал собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились,— сказал он, покончив со своим делом, и оттолкнул собаку.— Они чахнут и в конце концов издыхают под таким бременем. Ты видел, чтобы с собакой, которую зовут попросту Касьяр, Сиваш или Хаски, приключилось что-нибудь неладное? Никогда! Посмотри на Шукума, он...

Раз! Отощавший пес взметнулся, белые зубы едва не впились Мэйсону в горло.

— Ты что это придумал?

Сильный удар по уху рукояткой бича опрокинул собаку в снег; она судорожно вздрагивала, с клыков у нее капала желтая слюна.

— Я говорю, посмотри на Шукума. Шукум маху не даст. Бьюсь об заклад, он съест Кармен к концу недели.

— А я,— сказал Мэйлмют Кид, повертывая хлеб, оттаивающий у костра,— бьюсь об заклад, что мы сами съедим Шукума, прежде чем доберемся до места. Что ты на это скажешь, Руфь?

Индианка бросила в кофе кусочек льда, чтобы осела гуща, перевела взгляд с Мэйлмюта Кида на мужа, затем на собак, но ничего не ответила. Столь очевидная истина не требовала подтверждения. Другого выхода им не оставалось. Впереди двести миль по непроложенному пути, еды хватит всего на шесть дней, а для собак и совсем ничего нет.

Оба охотника и женщина придвинулись к костру и принялись за скудный завтрак. Собаки лежали в упряжке, так как это была короткая дневная стоянка, и завистливо следили за каждым их глотком.

— С завтрашнего дня никаких завтраков,— сказал Мэйлмют Кид,— и не спускать глаз с собак; они совсем от рук отбились, того и гляди, бросятся на нас, если подвернется удобный случай.

— А ведь когда-то я был главой методистской общины и преподавал в воскресной школе!

И, неизвестно к чему объявив об этом, Мэйсон погрузился в мечтательное созерцание своих мокасин, от которых шел пар. Руфь вывела его из задумчивости, налив ему чашку кофе.

— Слава богу, что у нас есть плиточный чай. Я видел,

как чай растет, дома, в Теннесси. Чего бы я теперь не дал за горячую кукурузную лепешку!.. Не горюй, Руфь, еще немного, и тебе не придется больше голодать, да и мокасины не надо будет носить.

При этих словах женщина перестала хмуриться, и глаза ее засветились любовью к ее белому господину — первому белому человеку, которого она встретила, первому мужчине, который показал ей, что на женщину можно смотреть не только как на животное или вьючную скотину.

— Да, Руфь,— продолжал ее муж на том условном языке, на котором они только и могли объясняться друг с другом,— вот скоро мы выберемся отсюда, сядем в лодку белого человека и поедем к Соленой Воде. Да, плохая вода, бурная вода,— целые водяные горы пляшут вверх и вниз. А как ее много, как долго по ней ехать! Едешь десять снов, сорок снов,— для большей наглядности он отсчитывал количество дней на пальцах,— и все время вода, плохая вода. Потом приедем в большое селение, народу много, все равно как мошкары летом. Вигвамы вот какие высокие — в десять, двадцать сосен! Эх!

Он замолчал, не находя слов, и бросил умоляющий взгляд на Мэйлмюта Кида, потом старательно стал показывать руками, как это будет высоко, если поставить одну на другую двадцать сосен. Мэйлмют Кид насмешливо улыбнулся, и глаза Руфи расширились от удивления и счастья: она думала, что муж шутит, и такая милость радовала ее бедное женское сердце.

— А потом сядем в... ящик и — пифф! — поехали.— В виде пояснения Мейсон подбросил в воздух пустую кружку и, ловко поймав ее, закричал: — И вот — пафф! — уже приехали. О великие шаманы! Ты едешь в форт Юкон, а я еду в Арктик-Сити — двадцать пять снов. Длинная веревка оттуда сюда, я хватаюсь за эту веревку и говорю: «Алло, Руфь! Как живешь?» А ты говоришь: «Это ты, муженек?» Я говорю: «Да». А ты говоришь: «Нельзя печь хлеб: больше соды нет». Тогда я говорю: «Посмотри в чулане, под мукой. Прощай!» Ты идешь в чулан и берешь сколько нужно соды. И все время ты в форте Юкон, а я — в Арктик-Сити! Вот они какие, шаманы!

Руфь так простодушно улыбнулась этой волшебной сказке, что мужчины покатились со смеху. Шум, поднятый дерущимися собаками, оборвал рассказы о чудесах далекой страны. И к тому времени, когда драчунов разняли, жен-

щина уже успела увязать нарты, и все было готово, чтобы двинуться в путь.

— Вперед, Лысый! Эй, вперед!

Мэйсон ловко щелкнул бичом и, когда собаки начали потихоньку повизгивать, натягивая постромки, уперся в поворотный шест [1] и сдвинул с места примерзшие нарты. Руфь следовала за ним со второй упряжкой, а Мэйлмют Кид, помогший ей тронуться, замыкал шествие. Сильный и даже грубый человек, способный свалить быка одним ударом, он не мог бить несчастных собак и по возможности щадил их, что погонщики делают редко. Иной раз Мэйлмют Кид чуть не плакал от жалости, глядя на них.

— Ну, вперед, хромоногие! — пробормотал он после нескольких тщетных попыток сдвинуть тяжелые нарты.

Наконец его терпение было вознаграждено, и, повизгивая от боли, собаки бросились догонять своих собратьев.

Разговоры смолкли. Трудный путь не допускает такой роскоши. А езда на Севере — тяжкий, убийственный труд. Счастлив тот, кто ценою молчания выдержит день такого пути, и то еще по проложенной тропе.

Но нет труда изнурительнее, чем прокладывать дорогу. На каждом шагу широкие плетеные лыжи проваливаются и ноги уходят в снег по самое колено. Потом надо осторожно вытаскивать ногу — отклонение от перпендикуляра на ничтожную долю дюйма грозит бедой,— пока поверхность лыжи не очистится от снега. Тогда шаг вперед — и начинаешь поднимать другую ногу, тоже по меньшей мере на пол-ярда. Кто проделывает это впервые, тот свалится от изнеможения через сто ярдов, даже если у него все сойдет благополучно и он не зацепит одной лыжей за другую и не растянется во всю длину, доверившись предательскому снегу. Кто сумеет за весь день ни разу не попасть под ноги собакам, тот может с чистой совестью и с величайшей гордостью забираться в спальный мешок; а тому, кто пройдет двадцать снов по великой северной тропе, могут позавидовать и боги.

День клонился к вечеру, и, подавленные величием Белого Безмолвия, путники молча делали свое дело. У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури,

---

[1] Поворотный шест — прикрепленный сбоку у передка толстый шест, с помощью которого направляют нарты.

ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее — Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ясно, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек, оробев, пугается звука собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, понимая, что жизнь его не более чем жизнь червя. Сами собой возникают странные мысли, тайна вселенной ищет своего выражения. И на человека находит страх перед смертью, перед богом, перед всем миром, а вместе со страхом надежда на воскресение и жизнь и тоска по бессмертию — тщетное стремление плененной материи; вот тогда-то человек и остается наедине с богом.

Так день клонился к вечеру. Русло реки вдруг сделало крутой поворот, и Мэйсон, чтобы срезать угол, направил свою упряжку через узкий перешеек. Но собаки не могли взять подъем. Нарты сползали вниз, несмотря на то что Руфь и Мэйлмют Кид подталкивали их сзади. Еще одна отчаянная попытка; несчастные, ослабевшие от голода животные напрягли последние силы. Выше, еще выше — нарты выбрались на высокий берег. Но вожак потянул упряжку вправо, и нарты наехали на лыжи Мэйсона. Последствия были печальные: Мэйсона сбило с ног, одна из собак упала, запутавшись в постромках, и нарты покатились вниз по откосу, увлекая за собой всю упряжку.

Хлоп! Хлоп! Бич так и свистел в воздухе, и больше всех досталось упавшей собаке.

— Перестань, Мэйсон! — вступился Мэйлмют Кид.— Она, несчастная, и так при последнем издыхании. Постой, мы сейчас припряжем моих.

Мэйсон выждал, когда тот кончит говорить, взмахнул рукой — и длинный бич снова обвился вокруг тела провинившейся собаки. Кармен — это было она — жалобно взвизгнула, зарылась в снег, потом повернулась на бок.

Это была трудная, тягостная минута для путников. Издыхает собака, ссорятся двое друзей. Руфь озабоченно переводила взгляд с одного на другого. Но Мэйлмют Кид сдержал себя, хотя глаза его и выражали горький упрек, и, наклонившись над собакой, обрезал постромки. Никто не проронил ни слова. Упряжки спарили, подъем был взят; нарты снова двинулись в путь. Кармен из последних сил

тащилась позади. Пока собака может идти, ее не пристреливают, у нее остается последний шанс на жизнь: дотащиться до стоянки, а там, может быть, люди убьют лося.

Раскаиваясь в своем поступке, но из упрямства не желая сознаться в этом, Мэйсон шел впереди и не подозревал о надвигающейся опасности. Они пробирались сквозь густой кустарник в низине. Футах в пятидесяти в стороне высилась старая сосна. Века стояла она здесь, и судьба веками готовила ей такой конец — ей, а может быть, заодно и Мэйсону.

Он остановился завязать ослабнувший ремень на мокасине. Нарты стали, и собаки молча легли на снег. Вокруг стояла зловещая тишина; холод и безмолвие заморозили сердце и сковали дрожащие уста природы. В воздухе пронесся вздох; они не услышали, а, скорее, ощутили его как предвестника движения в этой неподвижной пустыне. И вот огромное дерево, склонившееся под бременем лет и тяжестью снега, сыграло свою последнюю роль в трагедии жизни. Мэйсон услышал предостерегающий треск, хотел было отскочить в сторону, но не успел он выпрямиться, как дерево придавило его, ударив по плечу.

Внезапная опасность, мгновенная смерть — как часто Мэйлмют Кид сталкивался с тем и другим! Еще дрожали иглы сосны, а он уже успел отдать приказание женщине и кинуться на помощь. Индианка тоже не упала без чувств и не стала проливать ненужные слезы, как это сделали бы многие из ее белых сестер. По первому слову Мэйлмюта Кида она всем телом налегла на приспособленную в виде рычага палку, ослабляя тяжесть и прислушиваясь к стонам мужа, а Мэйлмют Кид принялся рубить дерево топором. Сталь весело звенела, вгрызаясь в промерзший ствол, и каждый удар сопровождался натужным, громким выдохом Мэйлмюта Кида.

Наконец Кид положил на снег жалкие останки того, что так недавно было человеком. Но страшнее мучений его товарища были немая скорбь в лице женщины и ее взгляд, исполненный и надежды и отчаяния. Сказано было мало: жители Севера рано познают тщету слов и неоценимое благо действий. При температуре в шестьдесят пять градусов ниже нуля человеку нельзя долго лежать на снегу. С нарт срезали ремни и несчастного Мэйсона закутали в звериные шкуры и положили на подстилку из веток. За-

пылал костер; на топливо пошло то самое дерево, что было причиной несчастья. Над костром устроили примитивный полог — натянули кусок парусины, чтобы он задерживал тепло и отбрасывал его вниз,— способ, хорошо известный людям, которые учатся физике у природы.

Те, кто не раз делил ложе со смертью, узнают ее зов. Мэйсон был страшным образом искалечен. Это стало ясно даже при беглом осмотре. Перелом правой руки, бедра и позвоночника; ноги парализованы; вероятно, повреждены и внутренние органы. Только редкие стоны несчастного свидетельствовали о том, что он еще жив.

Никакой надежды; сделать ничего нельзя. Медленно подкрадывалась безжалостная ночь. Руфь встретила ее со стоицизмом отчаяния, свойственным ее народу; на бронзовом лице Мэйлмюта Кида прибавилось еще несколько морщин. В сущности, меньше всего страдал Мэйсон — он перенесся в Западный Теннесси, к Великим Туманным Горам, и вновь переживал свое детство. И трогательно звучала мелодия давно забытого южного говора, когда он бредил о купанье в озерах, об охоте на енота и набегах за арбузами. Для Руфи это были только невнятные звуки, но Кид понимал все и сочувствовал каждому слову, как только может сочувствовать тот, кто долгие годы был лишен всего, что зовется цивилизацией.

Утром умирающий пришел в себя. И Мэйлмют Кид наклонился к нему, стараясь уловить его шепот.

— Помнишь, как мы встретились на Танане?.. Четыре года минет в ближайший ледоход... Тогда я не так уж любил ее, просто она была хорошенькая... вот и увлекся. А потом я привязался к ней. Она мне была хорошей женой, всегда поддерживала в трудную минуту. А уж что касается нашего промысла, ты сам знаешь — равной ей не сыскать... Помнишь, как она переплыла пороги Оленьего Рога и сняла нас с тобой со скалы, да еще под градом пуль, хлеставших по воде? А голод в Нуклукайто? А как она бежала по льдинам, торопилась скорее передать нам вести? Да, Руфь была мне хорошей женой — лучшей, чем та, другая... Ты не знал, что я был женат? Я не говорил тебе? Да, попробовал раз стать женатым человеком... дома, в Штатах. Оттого-то и попал сюда. А ведь вместе росли. Уехал, чтобы дать ей повод к разводу. Она его получила.

Но Руфь — дело другое. Я думал покончить здесь со всем и уехать в будущем году вместе с ней. Но теперь

поздно об этом говорить. Не отправляй Руфь назад к ее племени, Кид. Слишком трудно ей будет там. Подумай только: почти четыре года есть с нами бобы, бекон, хлеб, сушеные фрукты — и после этого опять рыба да оленина! Узнать нашу более легкую жизнь, привыкнуть к ней, а потом вернуться к старому. Ей будет трудно. Позаботься о ней, Кид... Почему бы тебе... да нет, ты всегда сторонился женщин... Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родине, помоги ей вернуться.

Ребенок... он еще больше сблизил нас, Кид. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кид! Плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь. А если девочка... нет, этого не может быть... Продай мои шкуры: за них можно выручить тысяч пять, и еще столько же у меня за Компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдает... Дай ему хорошее образование... А главное, Кид, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку.

Моя песенка спета, Кид. В лучшем случае — три или четыре дня. Вам надо идти дальше! Помни: это моя жена, мой сын... Господи! Только бы мальчик! Не оставайтесь со мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего!

— Дай мне три дня! — взмолился Мэйлмют Кид.— Может быть, тебе станет легче; еще неизвестно, что будет.

— Нет.

— Только три дня.

— Уходите!

— Два дня.

— Это моя жена и мой сын, Кид, не проси меня.

— Один день!

— Нет! Я приказываю!

— Только один день! Мы как-нибудь протянем с едой; а может быть, я подстрелю лося.

— Нет! Ну ладно: один день, и ни минуты больше. И еще, Кид: не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. Помни!.. Плоть от плоти моей, а я его не увижу... Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней... Скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай!

Кид, постой... надо копать выше. Я намывал там каждый раз центов на сорок. И вот еще что, Кид...

Тот наклонился ниже, ловя последние, едва слышные слова,— признание умирающего, смирившего свою гордость.

— Прости меня... ты знаешь за что... за Кармен.

Оставив плачущую женщину подле мужа, Мэйлмют Кид натянул на себя парку[1], надел лыжи, прихватил ружье и скрылся в лесу. Он не был новичком в борьбе с суровым Севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика — три жизни против одной, обреченной. Но Мэйлмют Кид колебался. Пять лет крепли узы дружбы, связывавшей его с Мэйсоном,— в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнение. Так прочна была их связь, что он часто чувствовал смутную ревность к Руфи, с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо разорвать собственной рукой.

Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося, но, казалось, вся дичь покинула страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвратился с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг.

Подбежав к стоянке, Мэйлмют Кид увидел, что индианка отбивается топором от окружившей ее рычащей своры. Собаки нарушили железный закон своих хозяев и набросились на съестные припасы. Кид поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и опускались, попадая то в цель, то мимо; гибкие тела метались из стороны в сторону, дико сверкали глаза, слюна капала с оскаленных морд. Человек и зверь исступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой.

Весь запас вяленой рыбы был уничтожен, и на дальнейший путь в двести с лишком миль осталось не более пяти фунтов муки. Руфь вернулась к мужу, а Мэйлмют Кид

[1] Па́рка — верхняя меховая одежда.

освежевал одну из собак, череп которой был проломлен топором, и нарубил кусками еще теплое мясо. Все куски он спрятал в надежное место, а шкуру и требуху бросил недавним товарищам убитого пса.

Утро принесло новые заботы. Собаки начали грызться между собой. Вся свора набросилась на Кармен, которая все еще цеплялась за жизнь. Посыпавшиеся на них удары бича не помогли делу. Собаки взвизгивали и припадали к земле, но только тогда разбежались, когда от Кармен не осталось и следа — ни костей, ни шкуры, ни шерсти.

Мэйлмют Кид принялся за работу, прислушиваясь к бреду Мэйсона, который снова был в Теннесси, снова вел яростные споры с друзьями юности.

Сосны стояли близко, и Мэйлмют Кид быстро делал свое дело. Руфь наблюдала, как он сооружает нечто вроде тех хранилищ, что устраивают охотники, желая уберечь припасы от росомах и собак. Он нагнул верхушки двух сосенок почти до земли и связал их ремнями из оленьей кожи. Затем, ударами бича заставив собак смириться, запряг их в нарты и погрузил туда все, кроме шкур, в которые был закутан Мэйсон. Его он обвязал ремнями, прикрепив концы их к верхушкам сосен. Один взмах охотничьего ножа — и сосны выпрямятся и поднимут тело высоко в воздух.

Руфь безропотно выслушала последнюю волю мужа. Бедняжку не надо было учить послушанию. Еще девочкой она вместе со всеми женщинами своего племени преклонялась перед господином всего живущего — перед мужчиной, которому не подобает прекословить. Кид не препятствовал взрыву горя, когда Руфь поцеловала мужа,— ее народ не знает такого обычая,— потом отвел ее к передним нартам и помог надеть лыжи. Как слепая, она машинально взялась за шест, взмахнула бичом и, понукая собак, двинулась в путь. Тогда он вернулся к Мэйсону, впавшему в беспамятство, и долго, после того как Руфь скрылась из виду, сидел у костра, ожидая смерти друга и моля, чтобы она пришла скорее.

Нелегко оставаться наедине с горестными мыслями среди Белого Безмолвия. Безмолвие мрака милосердно, оно как бы защищает человека, окутывая его своим покровом и сострадая ему; прозрачная чистота и холод Белого Безмолвия под стальным небом безжалостны.

Прошел час, два — Мэйсон все не умирал. В полдень

солнце, не показываясь над горизонтом, озарило небо красноватым светом, но он вскоре померк. Мэйлмют Кид встал, заставил себя подойти к Мэйсону и огляделся по сторонам. Белое Безмолвие словно издевалось над ним, и его охватил страх. Раздался короткий выстрел; Мэйсон взлетел ввысь, в свою воздушную гробницу, а Мэйлмют Кид, нахлестывая собак, во весь опор помчался прочь по снежной пустыне.

КОСТЕР

День едва занимался, холодный и серый — очень холодный и серый,— когда человек свернул с тропы, проложенной по замерзшему Юкону, и стал подыматься на высокий берег, где едва заметная тропинка вела на восток сквозь густой ельник. Подъем был крутой, и, взобравшись наверх, он остановился перевести дух, а чтобы скрыть от самого себя эту слабость, деловито посмотрел на часы. Стрелки показывали девять. Солнца не было — ни намека на солнце в безоблачном небе, и поэтому, хотя день выдался ясный, все кругом казалось подернутым неуловимой дымкой, словно прозрачная мгла затемнила дневной свет. Но человека это не тревожило. Он привык к отсутствию солнца. Оно давно уже не показывалось, и человек знал, что пройдет еще несколько дней, прежде чем лучезарный диск на своем пути к югу подымется над горизонтом и мгновенно скроется из глаз.

Человек посмотрел через плечо в ту сторону, откуда пришел. Юкон, раскинувшись на милю в ширину, лежал под трехфутовым слоем льда. А лед был прикрыт такою же толстой пеленой снега. Девственно белый покров ложился волнистыми складками в местах ледяных заторов. К югу и к северу, насколько хватал глаз, была сплошная белизна; только очень тонкая темная линия, обогнув поросший ельником остров, извиваясь, уходила на юг и, так же извиваясь, уходила на север, где исчезала за другим поросшим ельником островом. Это была тропа, снежная тропа, проложенная по Юкону, которая тянулась на пятьсот миль к югу до Чилкутского перевала, Дайи и Соленой Воды, и на семьдесят миль к северу до Доусона, и еще на тысячу миль дальше до Нулато и до Сент-Майкла на Беринговом море — полторы тысячи миль снежного пути.

Но все это — таинственная, уходящая в бесконечную даль снежная тропа, чистое небо без солнца, трескучий мороз, необычайный и зловещий колорит пейзажа — не пугало человека. Не потому, что он к этому привык. Он был чечако, новичок в этой стране, и проводил здесь первую зиму. Просто он, на свою беду, не обладал воображением. Он зорко видел и быстро схватывал явления жизни, но только явления, а не их внутренний смысл. Пятьдесят градусов ниже нуля означало восемьдесят с лишним градусов мороза. Такой факт говорил ему, что в пути будет очень холодно и трудно, и больше ничего. Он не задумывался ни над своей уязвимостью, ни над уязвимостью человека вообще, способного жить только в узких температурных границах, и не пускался в догадки о возможном бессмертии или о месте человека во вселенной. Пятьдесят градусов ниже нуля предвещали жестокий холод, от которого нужно оградиться рукавицами, наушниками, мокасинами и толстыми носками. Пятьдесят градусов ниже нуля были для него просто пятьдесят градусов ниже нуля. Мысль о том, что это может означать нечто большее, никогда не приходила ему в голову.

Повернувшись лицом к тропинке, он задумчиво сплюнул длинным плевком. Раздался резкий внезапный треск, удививший его. Он еще раз сплюнул. И опять, еще в воздухе, раньше чем упасть на снег, слюна затрещала. Человек знал, что при пятидесяти градусах ниже нуля плевок трещит на снегу, но сейчас он затрещал в воздухе. Значит, мороз стал еще сильнее; насколько сильнее — определить трудно. Но это неважно. Цель его пути — знакомый участок на левом рукаве ручья Гендерсона, где его поджидают товарищи. Они пришли туда с берегов Индейской реки, а он пошел в обход, чтобы посмотреть, можно ли будет весной переправить сплавной лес с островов на Юконе. Он доберется до лагеря к шести часам. Правда, к этому времени уже стемнеет, но там его будут ждать товарищи, ярко пылающий костер и горячий ужин. А завтрак здесь — он положил руку на сверток, оттопыривавший борт меховой куртки; завтрак был завернут в носовой платок и засунут под рубашку. Иначе лепешки замерзнут. Он улыбнулся про себя, с удовольствием думая о вкусном завтраке: лепешки были разрезаны вдоль и переложены толстыми ломтями поджаренного сала.

Он вошел в густой еловый лес. Тропинка была еле

видна. Должно быть, здесь давно никто не проезжал — снегу намело на целый фут, и он радовался, что не взял нарт, а идет налегке и что вообще ничего при нем нет, кроме завтрака, завязанного в носовой платок. Очень скоро он почувствовал, что у него немеют нос и скулы. Мороз нешуточный, что и говорить, с удивлением думал он, растирая лицо рукавицей. Густые усы и борода предохраняли щеки и подбородок, но не защищали широкие скулы и большой нос, вызывающе выставленный навстречу морозу.

За человеком по пятам бежала ездовая собака местной породы, рослая, с серой шерстью, ни внешним видом, ни повадками не отличавшаяся от своего брата, дикого волка. Лютый мороз угнетал животное. Собака знала, что в такую стужу не годится быть в пути. Ее инстинкт вернее подсказывал ей истину, чем человеку его разум. Было не только больше пятидесяти градусов, было больше шестидесяти, больше семидесяти. Было ровно семьдесят пять градусов ниже нуля. Так как точка замерзания по Фаренгейту находится на тридцать втором градусе выше нуля, то было полных сто семь градусов мороза. Собака ничего не знала о термометрах. Вероятно, в ее мозгу отсутствовало ясное представление о сильном холоде—представление, которым обладает человеческий мозг. Но собаку предостерегал инстинкт. Ее охватывало смутное, но острое чувство страха; она понуро шла за человеком, ловя каждое его движение, словно ожидая, что он вернется в лагерь или укроется где-нибудь и разведет костер. Собака знала, что такое огонь, она жаждала огня, а если его нет — зарыться в снег и, свернувшись клубочком, сберечь свое тепло.

Пар от дыхания кристаллической пылью оседал на шерсти собаки; вся морда, вплоть до ресниц, была густо покрыта инеем. Рыжая борода и усы человека тоже замерзли, но их покрывал не иней, а плотная ледяная корка, и с каждым выдохом она утолщалась. К тому же он жевал табак, и намордник изо льда так крепко стягивал ему губы, что он не мог сплюнуть, и табачный сок примерзал к нижней губе. Ледяная борода, плотная и желтая, как янтарь, становилась все длинней; если он упадет, она, точно стеклянная, рассыплется мелкими осколками. Но этот привесок на подбородке не смущал его. Такую дань в этом краю платили все жующие табак, а ему уже дважды пришлось делать переходы в сильный мороз. Правда, не в та-

кой сильный, как сегодня, однако спиртовой термометр на Шестидесятой Миле в первый раз показывал пятьдесят, а во второй — пятьдесят пять градусов ниже нуля.

Несколько миль он шел лесом по ровной местности, потом пересек поле и спустился к узкой замерзшей реке. Это и был ручей Гендерсона; отсюда до развилины оставалось десять миль. Он посмотрел на часы. Было ровно десять. Он делает четыре мили в час, значит, у развилины будет в половине первого. Он решил отпраздновать там это событие — сделать привал и позавтракать.

Собака, уныло опустив хвост, покорно поплелась за человеком, когда тот зашагал по замерзшему руслу. Тропа была ясно видна, но следы последних проехавших по ней нарт дюймов на десять занесло снегом. Видимо, целый месяц никто не проходил здесь ни вверх, ни вниз по течению. Человек уверенно шел вперед. Он не имел привычки предаваться размышлениям, и сейчас ему решительно не о чем было думать, кроме как о том, что, добравшись до развилины, он позавтракает, а в шесть часов будет в лагере среди товарищей. Разговаривать было не с кем, и все равно он не мог бы разжать губы, скованные ледяным намордником. Поэтому он продолжал молча жевать табак, и его янтарная борода становилась все длиннее.

Время от времени в его мозгу всплывала мысль, что мороз очень сильный, такой сильный, какого ему еще не приходилось переносить. На ходу он то и дело растирал рукавицей щеки и нос. Он делал это машинально, то одной рукой, то другой. Но стоило ему только опустить руку, и в ту же секунду щеки немели, а еще через одну секунду немел кончик носа. Щеки будут отморожены, он знал это и жалел, что не запасся повязкой для носа, вроде той, которую надевал Бэд, собираясь в дорогу. Такая повязка и щеки защищает от мороза. Но это, в сущности, не так важно. Ну, отморозит щеки, что ж тут такого? Поболят и перестанут, вот и все; от этого еще никто не умирал.

Хотя человек шел, ни о чем не думая, он зорко следил за дорогой, отмечая каждое отклонение русла, все изгибы, повороты, все заторы сплавного леса, и тщательно выбирал место, куда поставить ногу. Однажды, огибая поворот, он шарахнулся в сторону, как испугавшаяся лошадь, сделал крюк и вернулся обратно на тропу. Он знал, что ручей Гендерсона замерз до самого дна — ни один ручей не устоит перед арктической зимой, но он знал и то, что есть

ключи, которые бьют из горных склонов и протекают под снегом, по ледяной поверхности ручья. Самый лютый мороз бессилен перед этими ключами, и он знал, какая опасность таится в них. Это были ловушки. Под снегом скоплялись озерца глубиной в три дюйма, а то и в три фута. Иногда их покрывала ледяная корка в полдюйма толщиной, а корку, в свою очередь, покрывал снег. Иногда ледяная корка и вода перемежались, так что если путник проваливался, он проваливался постепенно и, погружаясь все глубже и глубже, случалось, промокал до пояса.

Вот почему человек так испуганно шарахнулся. Он почувствовал, что наст подается под ногами, и услышал треск покрытой снегом ледяной корки. А промочить ноги в такую стужу не только неприятно, но и опасно. В лучшем случае это вызовет задержку, потому что придется разложить костер, чтобы разуться и высушить носки и мокасины. Оглядев русло реки и берега ее, он решил, что ключ бежит справа. Он постоял немного в раздумье, потирая нос и щеки, потом взял влево, осторожно ступая, перед каждым шагом ногой проверяя крепость наста.

Миновав опасное место, он засунул в рот свежую порцию табака и зашагал дальше со скоростью четырех миль в час.

В ближайшие два часа он несколько раз натыкался на такие ловушки. Обычно его предостерегал внешний вид снежного покрова: снег над озерцами был ноздреватый и словно засахаренный. И все-таки один раз он чуть было не провалился, а в другой раз, заподозрив опасность, заставил собаку идти вперед. Собака не хотела идти. Она пятилась назад до тех пор, пока человек не подогнал ее пинком. И тогда она быстро побежала по белому сплошному снегу; вдруг ее передние лапы глубоко ушли в снег; она забарахталась и вылезла на безопасное место. Мокрые лапы мгновенно покрылись льдом. Собака стала торопливо лизать их, стараясь снять ледяную корку, потом легла в снег и принялась выкусывать лед между когтями. Она делала это, повинуясь инстинкту. Если оставить лед между когтями, то лапы будут болеть. Она этого не знала, она просто подчинялась таинственному велению, идущему из сокровенных глубин ее существа. Но человек знал, ибо составил себе суждение об этом на основании опыта, и, скинув рукавицу с правой руки, он помог собаке выломать кусочки льда. Пальцы его оставались неприкрытыми не больше

минуты, и он поразился, как быстро они закоченели. Мороз нешуточный, что и говорить. Он поспешил натянуть рукавицу и начал яростно колотить рукой по груди.

К двенадцати часам стало совсем светло. Но солнце, совершая свой зимний путь, слишком далеко ушло к югу и не показывалось над горизонтом. Горб земного шара заслонял солнце от человека, который шел, не отбрасывая тени, по руслу ручья Гендерсона под полдневным безоблачным небом. В половине первого, минута в минуту, он достиг развилины ручья. Он порадовался тому, что так хорошо идет. Если не убавлять хода, то к шести часам наверняка можно добраться до товарищей. Он расстегнул куртку, полез за пазуху и достал свой завтрак. Это заняло не больше пятнадцати секунд, и все же его пальцы онемели. Он несколько раз сильно ударил голой рукой по ноге. Потом сел на покрытое снегом бревно и приготовился завтракать. Но боль в пальцах так скоро прошла, что он испугался. Не успев поднести лепешку ко рту, он опять заколотил рукой по колену, потом надел рукавицу и оголил другую руку. Он взял ею лепешку, поднес ко рту, хотел откусить, но не мог — мешал ледяной намордник. Как же это он забыл, что нужно разложить костер и оттаять у огня. Он засмеялся над собственной глупостью и тут же почувствовал, что пальцы левой руки коченеют. И еще он заметил, что пальцы ног, которые больно заныли, когда он сел, уже почти не болят. Он не знал, отчего проходит боль, оттого ли, что ноги согрелись, или оттого, что они онемели. Он пошевелил пальцами в мокасинах и решил, что это онемение.

Ему стало не по себе, и торопливо натянув рукавицу, он поднялся с бревна. Потом зашагал взад и вперед, сильно топая, чтобы отогреть пальцы ног. Мороз нешуточный, что и говорить, думал он. Тот старик с Серного ручья не соврал, когда рассказывал, какие здесь бывают холода. А он еще посмеялся над ним! Никогда не нужно быть слишком уверенным в себе. Что правда, то правда — мороз лютый. Он топтался на месте и молотил руками, пока возвращающееся тепло не рассеяло его тревоги. Потом вынул спички и начал раскладывать костер. Топливо было под рукой — в подлесок во время весеннего разлива нанесло много валежника. Он действовал осторожно, бережно поддерживая слабый огонек, пока костер не запылал ярким пламенем. Ледяная корка на его лице растаяла, и, греясь у костра, он

позавтракал. Он перехитрил мороз хотя бы на время. Собака, радуясь огню, растянулась у костра как раз на таком расстоянии, чтобы пламя грело ее, но не обжигало.

Кончив есть, человек набил трубку и спокойно, не спеша, выкурил ее. Потом натянул рукавицы, поплотнее завязал тесемки наушников и пошел по левому руслу ручья. Собака была недовольна — она не хотела уходить от костра. Этот человек явно не знал, что такое мороз. Может быть, все поколения его предков не знали, что такое мороз в сто семь градусов. Но собака знала, все ее предки знали, и она унаследовала от них это знание. И она знала, что не годится быть в пути в такую лютую стужу. В эту пору надо лежать, свернувшись клубочком, в норке под снегом, дожидаясь, пока безбрежное пространство, откуда идет мороз, не затянется тучами. Но между человеком и собакой не было дружбы. Она была рабом, трудом которого он пользовался, и не видела от него другой ласки, кроме ударов бича и хриплых угрожающих звуков, предшествующих ударам бича. Поэтому собака не делала попыток поделиться с человеком своими опасениями. Она не заботилась о его благополучии; ради своего блага не хотела она уходить от костра. Но человек свистнул и заговорил с нею голосом, напомнившим ей о биче, и собака, повернувшись, пошла за ним по пятам. Человек сунул в рот свежую жвачку и начал отращивать новую янтарную бороду. От его влажного дыхания усы, брови и ресницы мгновенно заиндевели. На левом рукаве ручья Гендерсона, по-видимому, было меньше горных ключей, и с полчаса путник не видел угрожающих признаков.

А потом случилась беда. На ровном сплошном снегу, где ничто не предвещало опасности, где снежный покров, казалось, лежал толстым, плотным слоем, человек провалился. Здесь было не очень глубоко. Он промочил ноги до середины икр, пока выбирался на твердый наст.

Эта неудача разозлила его, и он выругался вслух. Он надеялся в шесть часов уже быть в лагере среди товарищей, а теперь запоздает на целый час, потому что придется разложить костер и высушить обувь. Иначе нельзя при такой низкой температуре,— это, по крайней мере, он знал твердо. Он повернул к высокому берегу и вскарабкался на него. В молодом ельнике, среди кустов, нашлось хорошее топливо — не только прутья и ветки, но и много сухих сучьев и высохшей прошлогодней травы. Он бросил на

снег несколько палок потолще, чтобы дать костру прочное основание и чтобы слабое, еще не разгоревшееся пламя не погасло в растаявшем под ним снегу. Потом достал из кармана завиток березовой коры и поднес к нему спичку. Кора вспыхнула, как бумага. Положив ее на толстые сучья, он стал подкладывать в огонь сухие травинки и самые тонкие сухие прутики.

Он работал медленно и осторожно, ясно понимая грозившую ему опасность. Мало-помалу, по мере того как пламя разгоралось, он стал подкладывать сучки потолще. Он сидел в снегу на корточках, выдергивал хворостинки из кустарника и клал их в костер. Он знал, что должен с первого раза развести костер. Когда термометр показывает семьдесят пять ниже нуля, человек должен без задержки разжечь костер, если у него мокрые ноги. Если ноги у него сухие, он может пробежать с полмили и восстановить кровообращение. Но никакой пробежкой не восстановишь кровообращение в мокрых, коченеющих ногах при семидесяти пяти градусах ниже нуля. Как быстро ни беги, мокрые ноги будут только еще пуще мерзнуть.

Все это человек знал. Тот старик с Серного ручья говорил ему об этом осенью, и теперь он оценил его совет. Он уже не чувствовал своих ног. Чтобы разложить костер, ему пришлось снять рукавицы, и пальцы тотчас же онемели. Быстрая ходьба со скоростью четырех миль в час заставляла его сердце накачивать кровью все сосуды на поверхности тела. Но как только он остановился, действие насоса ослабело. Полярный холод обрушился на незащищенную точку земного шара, и человек, находясь в этой незащищенной точке, принял на себя всю силу ударов. Кровь в его жилах отступала перед ними. Кровь была живая, так же как его собака, и, так же, как собаку, ее тянуло спрятаться, укрыться от страшного холода. Пока он делал четыре мили в час, кровь волей-неволей приливала к конечностям, но теперь она отхлынула, ушла в тайники его тела. Пальцы рук и ног первые почувствовали отлив крови. Мокрые ноги коченели все сильнее, пальцы оголенных рук все сильнее мерзли, хотя он еще мог двигать ими. Нос и щеки уже мертвели, и по всему телу, не согреваемому кровью, ползли мурашки.

Но он спасен. Пальцы ног, щеки и нос будут только обморожены, ибо костер разгорается все ярче. Теперь он подбрасывал ветки толщиной с палец. Еще минута, и уже

можно будет класть сучья толщиной с запястье, и тогда он скинет мокрую обувь и, пока она будет сохнуть, отогреет ноги у костра, после того, конечно, как разотрет их снегом. Костер удался на славу. Он спасен. Он вспомнил советы старика на Серном ручье и улыбнулся. Как упрямо он уверял, что никто не должен один пускаться в путь по Клондайку, если мороз сильнее пятидесяти градусов. И что же? Лед под ним проломился, он совсем один и все-таки спасся. Эти бывалые старики, подумал он, частенько трусливы, как бабы. Нужно только не терять головы, и все будет в порядке. Настоящий мужчина всегда справится один. Но странно, что щеки и нос так быстро мертвеют. И он никак не думал, что руки подведут его. Он едва шевелил пальцами, с большим трудом удерживая в них сучья, и ему казалось, что руки где-то очень далеко от него и не принадлежат его телу. Когда он дотрагивался до сучка, ему приходилось смотреть на руку, чтобы убедиться, что он действительно подобрал его. Связь между ним и кончиками его пальцев была прервана.

Но все это неважно. Перед ним костер, он шипит и потрескивает, и каждый пляшущий язычок сулит жизнь. Он принялся развязывать мокасины. Они покрылись ледяной коркой, толстые шерстяные носки, словно железные ножницы, сжимали икры, а завязки мокасин походили на клубок побывавших в огне, исковерканных стальных прутьев. С минуту он дергал их онемевшими пальцами, потом, поняв, что это бессмысленно, вытащил нож.

Но он не успел перерезать завязки — беда случилась раньше. Это была его вина, вернее, его оплошность. Напрасно он разложил костер под елью. Следовало разложить его на открытом месте. Правда, так было удобнее вытаскивать хворост из кустарника и прямо класть в огонь. Но на ветках ели, под которой он сидел, скопилось много снегу. Ветра не было очень давно, и на вершине дерева лежал снег. Каждый раз, когда человек выдергивал хворост из кустов, ель слегка сотрясалась — едва заметно для него, но достаточно сильно, чтобы вызвать катастрофу. Одна из верхних ветвей сбросила свой груз снега. Он упал на ветви пониже, увлекая за собой их груз. Так продолжалось до тех пор, пока снег не посыпался со всего дерева. Этот снежный обвал внезапно обрушился на человека и на костер, и костер погас! Там, где только что горел огонь, лежал свежий слой рыхлого снега.

Человеку стало страшно. Словно он услышал свой смертный приговор. С минуту он сидел не шевелясь, пристально глядя на засыпанный снегом костер. Потом вдруг сделался очень спокоен. Быть может, старик с Серного ручья все-таки был прав. Будь у него спутник, ему не грозила бы опасность — спутник развел бы костер. Что ж, значит, надо самому сызнова приниматься за дело, и на этот раз не должно быть ошибок. Даже если ему удастся развести огонь, он, вероятно, лишится нескольких пальцев на ногах. Ноги, должно быть, сильно обморожены, а новый костер разгорится не скоро.

Таковы были его мысли, но он не предавался им в бездействии. Он усердно работал, пока они мелькали у него в голове. Он сделал новое основание для костра, теперь уже на открытом месте, где ни одна предательская ель не могла загасить его. Потом набрал прошлогодней травы и сушняку из подлеска. Пальцы его не двигались, поэтому он не выдергивал отдельные веточки, а собирал их горстями. Попадалось много гнилушек и комков зеленого мха, которые для костра не годились, но другого выхода у него не было. Он работал методически, даже набрал охапку толстых сучьев, чтобы подкладывать в огонь, когда костер разгорится. А собака сидела на снегу и неотступно следила за человеком тоскливым взглядом, ибо она ждала, что он даст ей огонь, а огня все не было.

Приготовив топливо, человек полез в карман за вторым завитком березовой коры. Он знал, что кора в кармане, и, хотя не мог осязать ее пальцами, все же слышал, как она шуршит под рукой. Сколько он ни бился, он не мог схватить ее. И все время его мучила мысль, что ноги у него коченеют сильней и сильней. От этой мысли становилось нестерпимо страшно, но он отгонял ее и преодолевал страх. Он зубами натянул рукавицы и, сначала сидя, а потом стоя, принялся изо всех сил размахивать руками, колотить ими по бедрам, а собака сидела на снегу, обвив пушистым волчьим хвостом передние лапы, насторожив острые волчьи уши, и пристально глядела на человека. И человек, размахивая руками и колотя ладонями по бедрам, чувствовал, как в нем поднимается жгучая зависть к животному, которому было тепло и надежно в его природном одеянии.

Немного погодя он ощутил первые отдаленные признаки чувствительности в кончиках пальцев. Слабое по-

калывание становилось все сильнее, пока не превратилось в невыносимую боль, но он обрадовался ей. Он скинул рукавицу с правой руки и вытащил кору из кармана. Голые пальцы тотчас же снова онемели. Потом он достал связку серных спичек. Но леденящее дыхание мороза уже сковало его пальцы. Пока он тщетно старался отделить одну спичку, вся связка упала в снег. Он хотел поднять ее, но не мог. Омертвевшие пальцы не могли ни нащупать спички, ни схватить их. Он старался не спешить. Он заставил себя не думать об отмороженных ногах, скулах и носе и сосредоточил все внимание на спичках. Он следил за движением своей руки, пользуясь зрением вместо осязания, и, увидев, что пальцы обхватили связку, сжал их, вернее, захотел сжать; но сообщение было прервано, и пальцы не повиновались его воле. Он натянул рукавицу и яростно начал бить рукой по бедру. Потом обеими руками сгреб спички вместе со снегом себе на колени. Но этого было мало.

После долгой возни ему удалось зажать спички между ладонями и поднести их ко рту. Лед затрещал, разламываясь, когда он нечеловеческим усилием разжал челюсти. Он втянул нижнюю губу, приподнял верхнюю и зубами стал отделять спичку. Наконец это удалось, и спичка упала ему на колени. Но и этого было мало. Он не мог подобрать ее. Потом выход нашелся. Он схватил спичку зубами и стал тереть о штанину. Раз двадцать провел он спичкой по бедру, раньше чем она зажглась. Когда пламя вспыхнуло, он, все еще держа спичку в зубах, поднес ее к березовой коре. Но едкий дым горящей серы попал ему в ноздри и в легкие, и он судорожно закашлялся. Спичка упала в снег и погасла.

Старик был прав, подумал он, подавляя отчаяние: если температура ниже пятидесяти градусов, нужно идти вдвоем. Он снова заколотил руками, но они не оживали. Тогда он зубами стащил рукавицы с обеих рук. Подхватил ладонями всю связку спичек. Мышцы предплечья не замерзли, и, напрягая их, он крепко сжал спички в ладонях. Потом провел всей связкой по штанине. Вспыхнуло яркое пламя — семьдесят серных спичек запылали как одна! И ни малейшего ветра, можно было не опасаться, что ветер задует огонь. Он отвернул голову, чтобы не вдохнуть удушливый дым, и поднес пылающую связку к березовой коре. Вдруг он почувствовал, что пальцы пра-

вой руки оживают. Запахло горелым мясом. Где-то глубоко под кожей он ощущал жжение. Потом жжение превратилось в острую боль. Но он терпел, стиснув зубы, неловко прижимая горящие спички к коре; его собственные руки заслоняли пламя, и кора не вспыхивала.

Наконец, когда боль стала нестерпима, он разжал руки. Пылающая связка с шипением упала в снег, но кора уже горела. Он начал подкладывать в огонь сухие травинки и тончайшие прутики. Выбирать топливо он не мог, потому что ему приходилось поднимать его ладонями. Замечая на хворосте налипший мох или труху, он отгрызал их зубами. Он бережно и неловко выхаживал огонь. Огонь — это жизнь, и его нельзя упускать. Отлив крови от поверхности тела вызвал озноб, и движения человека становились все более неловкими. И вот большой ком зеленого мха придавил едва разгорающийся огонек. Он хотел сбросить его, но руки дрожали от озноба, и он, ковырнув слишком глубоко, разрушил слабый зародыш костра: тлеющие травинки и прутики рассыпались во все стороны. Он хотел снова сложить их, но, как ни старался, не мог преодолеть дрожи, и крохотный костер разваливался. Хворостинки одна за другой, пыхнув дымком, погасали. Податель огня не выполнил своей задачи. Когда человек с равнодушием отчаяния посмотрел вокруг, взгляд его случайно упал на собаку, сидевшую в снегу напротив него, по другую сторону остатков костра; сгорбившись, она беспокойно ерзала, поднимая то одну, то другую переднюю лапу, и выжидательно, с тоской смотрела на него.

Вид собаки навел его на безумную мысль. Он вспомнил рассказ о человеке, который был застигнут пургой и спасся тем, что убил вола и забрался внутрь туши. Он убьет собаку и погрузит руки в ее теплое тело, чтобы они согрелись и ожили. Тогда он разложит новый костер. Он заговорил с собакой, подзывая ее; но его голос звучал боязливо, и это испугало животное, потому что человек никогда не говорил с ней таким голосом. Что-то было неладно, врожденная подозрительность помогла ей почуять опасность,— она не знала, какая это опасность, но где-то в глубине ее сознания зашевелился смутный страх перед человеком. Она опустила уши и еще беспокойнее заерзала, переступая передними лапами, но не трогалась с места. Тогда человек стал на четвереньки и пополз к

собаке. Это еще больше испугало ее, и она опасливо подалась в сторону.

Человек сел на снегу, стараясь вернуть себе спокойствие. Потом зубами стянул рукавицы и встал. Прежде всего он посмотрел вниз, чтобы убедиться, что он действительно стоит, потому что его онемевшие ноги не чувствовали земли. Стоило ему стать на ноги, как подозрения собаки рассеялись; а когда он повелительно заговорил с ней голосом, напомнившим ей о биче, она выполнила привычный долг и подошла к нему. Как только она очутилась в двух шагах от него, самообладание покинуло человека. Он бросился на собаку — и искренне удивился, когда оказалось, что руки его не могут хватать, пальцы не сгибаются и не держат. Он забыл, что они отморожены и все больше и больше мертвеют. Но в ту же секунду, прежде чем собака успела убежать, он стиснул ее в объятиях. Потом сел на снег, прижимая ее к себе, а животное вырывалось, рыча и взвизгивая.

Но это было все, что он мог сделать: сидеть в снегу и сжимать собаку в объятиях. Он понимал, что ему не убить ее. Это было невозможно. Своими бессильными руками он не мог ни ударить ее ножом, ни задушить. Он выпустил ее, и собака кинулась прочь, поджав хвост и все еще рыча. В двадцати шагах она остановилась и с любопытством, подняв уши, оглянулась на него. Он искал глазами свои руки и, только скользнув взглядом от локтя к запястью, нашел их. Странно, что приходится полагаться на зрение, чтобы найти свои руки. Он начал неистово размахивать ими, колотя себя ладонями по бедрам. Через пять минут кровь быстрее побежала по жилам, и озноб прекратился. Но кисти рук по-прежнему не действовали; у него было такое ощущение, словно они гирями висят на запястьях,— откуда взялось это ощущение, он не мог бы сказать.

Гнетущая мысль о близости смерти смутно и вяло шевельнулась в его мозгу. Но тотчас же этот неопределенный страх превратился в мучительное сознание опасности: речь шла уже не о том, отморозит ли он пальцы на руках и ногах, и даже не о том, лишится ли он рук и ног,— теперь это был вопрос жизни и смерти, и надежды на спасение почти не было. Его охватил панический ужас. Он повернулся и побежал по занесенной снегом тропе. Собака последовала за ним. Он бежал без мысли, без цели, во вла-

сти такого страха, какого ему еще никогда не приходилось испытывать. Мало-помалу, спотыкаясь и увязая в снегу, он снова начал различать окружающее — берега реки, заторы сплавного леса, голые осины, небо над головой. От бега ему стало легче. Он уже не дрожал от холода. Может быть, если и дальше бежать, ноги отойдут; может быть, он даже сумеет добежать до лагеря, где его ждут товарищи. Конечно, несколько пальцев на руках и ногах пропали, и лицо обморожено, но товарищи позаботятся о нем и спасут, что еще можно спасти. И в то же время рассудок говорил ему, что никогда он не доберется до товарищей, что до лагеря слишком далеко, что ноги его слишком закоченели и что скоро он будет мертв и недвижим. Но он не позволял этой мысли всплыть на поверхность и отказывался верить ей. Иногда она вырывалась наружу и требовала внимания, но он отталкивал ее и изо всех сил старался думать о другом.

Его удивляло, что он вообще может бежать, потому что ноги совсем омертвели и он не чувствовал, как они несут его тяжесть и как касаются земли. Тело словно скользило по поверхности, не задевая ее. Он как-то видел на картинке крылатого Меркурия, и ему пришло в голову, что, должно быть, у Меркурия было такое же ощущение, когда он скользил над землей.

В его плане добежать до лагеря имелся существенный изъян; у него не было сил выполнить его. Он то и дело оступался, потом ноги у него стали заплетаться, и наконец он свалился в снег. Встать он уже не мог. Надо посидеть и отдохнуть, решил он, а потом просто пойти шагом. Посидев и отдышавшись, он почувствовал, что хорошо согрелся. Его не трясло, и по всему телу даже разливалась приятная теплота. Но, дотронувшись до щек и носа, он убедился, что они все еще бесчувственны. Даже от бега они не отошли. Потом его поразила мысль, что отмороженная площадь тела, вероятно, становится все больше. Он хотел отогнать эту мысль, забыть ее, старался думать о другом; он понимал, что это внушает ему ужас, и боялся поддаться ужасу. Но мысль не уходила, она сверлила мозг, пока он не увидел себя полностью закоченевшим. Это было свыше его сил, и он снова как безумный бросился бежать по снежной тропе. Потом перешел на шаг, но мысль о том, что он замерзнет насмерть, подгоняла его.

А собака неотступно бежала за ним по пятам. Когда он упал во второй раз, она села против него, обвив хвостом передние лапы, зорко и настороженно приглядываясь к нему. Увидев собаку, которой было тепло и надежно в ее шкуре, он пришел в ярость и до тех пор ругал и проклинал ее, пока она не повесила уши, словно прося прощения. На этот раз озноб возобновился быстрее, чем после первого падения. Мороз брал верх над ним, вползал в его тело со всех сторон. Он принудил себя встать, но, пробежав не больше ста футов, зашатался и со всего роста грохнулся оземь. Это был его последний приступ страха. Отдышавшись и придя в себя, он сел на снег и стал готовиться к тому, чтобы встретить смерть с достоинством. Впрочем, он думал об этом не в таких выражениях. Он говорил себе, что нет ничего глупее, чем бегать, как курица с отрезанной головой,— почему-то именно это сравнение пришло ему на ум. Ну что же, раз все равно суждено замерзнуть, то лучше уж держать себя пристойно. Вместе с внезапно обретенным покоем пришли первые предвестники сонливости. Неплохо, подумал он, заснуть насмерть. Точно под наркозом. Замерзнуть вовсе не так страшно, как думают. Бывает смерть куда хуже.

Он представил себе, как товарищи завтра найдут его, и вдруг увидел самого себя: он идет вместе с ними по тропе, разыскивая свое тело. И вместе с ними он огибает поворот дороги и видит себя лежащим на снегу. Он отделился от самого себя и, стоя среди товарищей, смотрел на свое распростертое тело. А мороз нешуточный, что и говорить. Вот вернусь в Штаты и расскажу дома, что такое настоящий холод, подумал он. Потом ему пригрезился старик с Серного ручья. Он ясно видел его: тот сидел, греясь у огня, и спокойно покуривал трубку.

— Ты был прав, старый хрыч, безусловно прав,— пробормотал он, обращаясь к старику.

Потом он погрузился в такой сладостный и успокоительный сон, какого не знавал за всю свою жизнь. Собака сидела против него и ждала. Короткий день угасал в долгих, медлительных сумерках. Костра не предвиделось, да и опыт подсказывал собаке, что не бывает так, чтобы человек сидел на снегу и не разводил огня. Когда сумерки сгустились, тоска по огню с такой силой овладела собакой, что она, горбясь и беспокойно переступая лапами, тихонько заскулила и тут же прижала уши в ожидании сер-

дитого окрика. Но человек молчал. Тогда собака заскулила громче. Потом, подождав еще немного, подползла к человеку и почуяла запах смерти. Собака попятилась от него, шерсть у нее встала дыбом. Она еще помедлила, протяжно воя под яркими звездами, которые кувыркались и приплясывали в морозном небе. Потом повернулась и быстро побежала по снежной тропе к знакомому лагерю, где были другие податели корма и огня.

ТЫСЯЧА ДЮЖИН

Дэвид Расмунсен отличался предприимчивостью и, как многие, даже менее заурядные люди, был одержим одной идеей. Вот почему, когда трубный глас Севера коснулся его ушей, он решил спекулировать яйцами и все свои силы посвятил этому предприятию. Он произвел краткий и точный подсчет, и будущее заискрилось и засверкало перед ним всеми цветами радуги. В качестве рабочей гипотезы можно было допустить, что яйца в Доусоне будут стоить не дешевле пяти долларов за дюжину. Отсюда неопровержимо следовало, что на одной тысяче дюжин в Столице Золота можно будет заработать пять тысяч долларов.

С другой стороны, следовало учесть расходы, и он их учел, как человек осторожный, весьма практический и трезвый, неспособный увлекаться и действовать очертя голову. При цене пятнадцать центов за дюжину тысяча дюжин яиц обойдется в сто пятьдесят долларов — сущие пустяки по сравнению с громадной прибылью. А если предположить — только предположить — такую баснословную дороговизну, что на дорогу и провоз яиц уйдет восемьсот пятьдесят долларов, все же, после того как он продаст последнее яйцо и ссыплет в мешок последнюю щепотку золотого песка, на руках у него останется чистых четыре тысячи.

— Понимаешь, Альма,— высчитывал он вслух, сидя с женой в уютной столовой, заваленной картами, правительственными отчетами и путеводителями по Аляске,— понимаешь ли, расходы по-настоящему начинаются только с Дайи, а на дорогу до Дайи за глаза хватит пяти-

десяти долларов, даже если ехать первым классом. Ну-с, от Дайи до озера Линдерман индейцы-носильщики берут по двенадцати центов с фунта, то есть двенадцать долларов с сотни фунтов, а с тысячи — сто двадцать долларов. У меня будет, скажем, полторы тысячи фунтов, это обойдется в сто восемьдесят долларов; прикинем что-нибудь для верности — ну, хотя бы в двести. Один приезжий из Клондайка заверял меня честным словом, что лодку на Линдермане можно купить за триста долларов. Он же говорил, что нетрудно подыскать двух пассажиров, по сто пятьдесят долларов с головы,— значит, лодка обойдется даром, а кроме того, они будут помогать в пути. Ну... вот и все. В Доусоне я выгружаю яйца прямо на берег. Ну-ка, сколько же это всего получается?

— Пятьдесят долларов от Сан-Франциско до Дайи, двести от Дайи до Линдермана, за лодку платят пассажиры,— значит, всего двести пятьдесят,— быстро подсчитала жена.

— Да еще сто на одежду и снаряжение,— радостно подхватил муж,— значит, пятьсот останется про запас, на экстренные расходы.

Альма пожала плечами и подняла брови. Если просторы Севера могут поглотить человека и тысячу дюжин яиц, они смогут поглотить и все его достояние. Так она подумала, но не сказала ничего. Она слишком хорошо знала Дэвида Расмунсена и потому предпочла промолчать.

— Если даже положить вдвое больше времени — на случайные задержки,— то на всю поездку уйдет два месяца. Подумай только, Альма! Четыре тысячи в два месяца! Не чета какой-то несчастной сотне в месяц, что я теперь получаю. Мы отстроимся заново, попросторнее, с газом во всех комнатах, с видом на море; а коттедж я сдам и из этих денег буду платить налоги, страховку и за воду, да и на руках кое-что останется. А может, еще нападу на жилу и вернусь миллионером. Скажи-ка, Альма, как потвоему, ведь подсчет самый умеренный?

И Альма могла по совести ответить, что да. А кроме того, разве не привез один ее родственник — правда, очень дальний, паршивая овца в семействе и лодырь, каких мало,— разве не привез он с таинственного Севера на сто тысяч золотого песка, не говоря уж о половинном пае на ту яму, из которой его добывали?

Соседний бакалейщик очень удивился, когда Дэвид Расмунсен, его постоянный покупатель, стал взвешивать яйца на весах в конце прилавка. Но еще больше удивился сам Расмунсен, обнаружив, что дюжина яиц весит полтора фунта,— значит, тысяча дюжин будет весить полторы тысячи фунтов! На одежду, одеяла и посуду не остается ровно ничего, не говоря уж о провизии, которая понадобится на дорогу. Все его расчеты рухнули, и он уже собирался высчитывать все сначала, как вдруг ему пришло в голову взвесить яйца помельче.

«Крупные они или мелкие, а дюжина есть дюжина»,— весьма здраво заметил он про себя и, прикинув на весах дюжину мелких яиц, нашел, что они весят фунт с четвертью.

Вскоре по городу Сан-Франциско забегали озабоченные посыльные, и комиссионные конторы были удивлены неожиданным спросом на яйца весом не более двадцати унций дюжина.

Расмунсен заложил свой маленький коттедж за тысячу долларов, отправил жену гостить к ее родным, бросил работу и уехал на Север. Чтобы не выходить из сметы, он решился на компромисс и взял билет во втором классе, где из-за наплыва пассажиров было хуже, чем на палубе, и поздним летом, бледный и ослабевший, высадился со своим грузом в Дайе. Однако твердость походки и аппетит вернулись к нему в самом скором времени. Первый же разговор с индейцами-носильщиками укрепил его физически и закалил морально. Они запросили по сорок центов с фунта за переход в двадцать восемь миль, и не успел Расмунсен перевести дух от изумления, как цена дошла до сорока трех. Наконец пятнадцать дюжих индейцев, сговорившись по сорок пять центов, стянули ремнями его тюки, но тут же снова развязали их, потому что какой-то крез из Скагуэя в грязной рубахе и рваных штанах, который загнал своих лошадей на Белом перевале и теперь делал последнюю попытку добраться до Доусона через Чилкут, предложил им по сорок семь.

Но Расмунсен проявил выдержку и за пятьдесят центов нашел носильщиков, которые двумя днями позже доставили его товар в целости и сохранности к озеру Линдерман. Однако пятьдесят центов за фунт — это тысяча долларов за тонну, и после того как полторы тысячи фунтов съели весь его запасный фонд, он долго сидел на мысу

Тантала, день за днем глядя, как свежевыстроганные лодки одна за другой отправляются в Доусон. Надо сказать, что весь лагерь, где строились лодки, был охвачен тревогой. Люди работали как бешеные, с утра до ночи, напрягая все силы,— конопатили, смолили, сколачивали в лихорадочной спешке, которая объяснялась очень просто. С каждым днем снеговая линия спускалась все ниже и ниже с оголенных вершин, ветер налетал порывами, неся с собой то изморозь, то мокрый, то сухой снег, а в тихих заводях и у берегов нарастал молодой лед и с каждым часом становился все толще. Каждое утро измученные работой люди смотрели на озеро, не начался ли ледостав. Ибо ледостав означал бы, что надеяться больше не на что,— а они надеялись, что, когда на озерах закроется навигация, они уже будут плыть вниз по быстрой реке.

Душа Расмунсена терзалась тем сильнее, что он обнаружил трех конкурентов по яичной части. Правда, один из них, коротенький немец, уже разорился вчистую и, ни на что больше не рассчитывая, сам тащил обратно последние тюки товара; зато у двух других лодки были почти готовы, и они ежедневно молили бога торговли и коммерции задержать еще хоть на день железную руку зимы. Но эта железная рука уже сдавила страну. Снежная пурга заносила Чилкут, люди замерзали насмерть, и Расмунсен не заметил, как отморозил себе пальцы на ногах. Подвернулся было случай устроиться пассажиром в лодке, которая, шурша галькой, как раз отчаливала от берега, но надо было дать двести долларов наличными, а денег у него не осталось.

— Я так думаль, вы погодить немножко,— говорил ему лодочник-швед, который именно здесь нашел свой Клондайк и оказался достаточно умен, чтобы понять это,— совсем немножко погодить, и я вам сделай очень хороший лодка, верный слово.

Положившись на это слово, Расмунсен вернулся к озеру Кратер и там повстречал двух газетных корреспондентов, багаж которых был рассыпан по всему перевалу, от Каменного Дома до Счастливого Лагеря.

— Да,— сказал он значительно.— У меня тысяча дюжин яиц уже доставлена к озеру Линдерман, а сейчас там кончают конопатить для меня лодку. И я считаю, что это еще счастье. Сами знаете, лодки нынче нарасхват, их ни за какие деньги не достанешь.

Корреспонденты с криком и чуть ли не с дракой стали навязываться Расмунсену в попутчики, махали у него перед носом долларовыми бумажками и совали в руки золотые. Он не желал ничего слушать, однако в конце концов поддался на уговоры и нехотя согласился взять корреспондентов с собой за триста долларов с каждого. Деньги они ему заплатили вперед. И покуда оба строчили в свои газеты сообщения о добром самаритянине, везущем тысячу дюжин яиц, этот добрый самаритянин уже торопился к шведу на озеро Линдерман.

— Эй, вы! Давайте-ка сюда эту лодку,— приветствовал он шведа, позвякивая корреспондентскими золотыми и жадно оглядывая готовое суденышко.

Швед флегматично смотрел на него, качал головой.

— Сколько вам за него должны уплатить? Триста? Ладно, вот вам четыреста. Берите.

Он совал деньги шведу, но тот только пятился от него.

— Я думаль, нет. Я говориль ему, лодка готовый, можно брать. Вы погодить немножко...

— Вот вам шестьсот. Хотите берите, хотите нет. Последний раз предлагаю. Скажите там, что вышла ошибка.

Швед заколебался и наконец сказал:

— Я думаль, да.

И после этого Расмунсен видел его только один раз — когда он, отчаянно коверкая язык, пытался объяснить другим заказчикам, какая вышла ошибка.

Немец сломал ногу, поскользнувшись на крутом горном склоне у Глубокого озера, и, распродав свой товар по доллару за дюжину, на вырученные деньги нанял индейцев-носильщиков нести себя обратно в Дайю. Но остальные два конкурента отправились следом за Расмунсеном в то же утро, когда он со своими попутчиками отчалил от берега.

— У вас сколько? — крикнул ему один из них, худенький и маленький янки из Новой Англии.

— Тысяча дюжин,— с гордостью ответил Расмунсен.

— Ого! А у меня восемь сотен. Давайте спорить, что я обгоню вас.

Корреспонденты предлагали Расмунсену денег взаймы, но он отказался, и тогда янки заключили пари с последним из конкурентов, могучим сыном волны, море и сушу видавшим, который обещал показать им настоящую работу, когда понадобится. И показал, поставив большой брезентовый парус, отчего носовая часть лодки то и дело окуналась

в воду. Он первым вышел из озера Линдерман, но не пожелал идти волоком и посадил перегруженную лодку на камни среди клокочущих порогов. Расмунсен и янки, у которого тоже было двое пассажиров, перетащили груз на плечах, а потом перевели лодки порожняком через опасное место в озеро Беннет.

Беннет — это озеро в двадцать пять миль длиной, узкая и глубокая воронка в горах, игралище бурь. Расмунсен переночевал на песчаной косе в верховьях озера, где было много других людей и лодок, направлявшихся к северу наперекор арктической зиме. Поутру он услышал свист южного ветра, который, набравшись холода среди снежных вершин и оледенелых ущелий, был здесь ничуть не теплее северного. Однако погода выдалась ясная, и янки уже огибал крутой мыс на всех парусах. Лодка за лодкой отплывали от берега, и корреспонденты с воодушевлением взялись за дело.

— Мы его догоним у Оленьего перевала,— уверяли они Расмунсена, когда паруса были поставлены и «Альму» в первый раз обдало ледяными брызгами.

Расмунсен всю свою жизнь побаивался воды, но тут он вцепился в рулевое весло, стиснул зубы и словно окаменел. Его тысяча дюжин была здесь же, в лодке, он видел ее перед собой, прикрытую багажом корреспондентов, и в то же время, неизвестно каким образом, он видел перед собой и маленький коттедж, и закладную на тысячу долларов.

Холод был жестокий. Время от времени Расмунсен вытаскивал рулевое весло и вставлял другое, а пассажиры сбивали с весла лед. Водяные брызги замерзали на лету, и косая нижняя рея быстро обросла бахромой сосулек. «Альма» билась среди высоких волн и трещала по всем швам, но, вместо того чтобы вычерпывать воду, корреспондентам приходилось рубить лед и бросать его за борт. Отступать было уже нельзя. Началось отчаянное состязание с зимой, и лодки одна за другой бешено мчались вперед.

— М-мы не с-сможем остановиться даже ради спасения души! — крикнул один из корреспондентов, стуча зубами, но не от страха, а от холода.

— Правильно! Держи ближе к середине, старик! — подтвердил другой.

Расмунсен ответил бессмысленной улыбкой. Скованные морозом берега были словно в мыльной пене, и, чтобы уйти от крупных валов, только и оставалось держаться

ближе к середине озера — больше не на что было надеяться. Спустить парус — значило дать волне нагнать и захлеснуть лодку. Время от времени они обгоняли другие суденышки, бившиеся среди камней, а одна лодка у них на глазах налетела на пороги. Маленькая шлюпка позади, в которой сидело двое, перевернулась кверху дном.

— Г-гляди в оба, старик! — крикнул тот, что стучал зубами.

Расмунсен ответил улыбкой и еще крепче ухватился за руль коченеющими руками. Двадцать раз волна догоняла квадратную корму «Альмы» и выносила ее из-под ветра, так что парус начинал полоскаться, и каждый раз, напрягая все свои силы, Расмунсен снова выравнивал лодку. Улыбка теперь словно примерзла к его лицу, и растревоженные корреспонденты смотрели на него со страхом.

Они пролетели мимо одинокой скалы, торчавшей в ста ярдах от берега. С вершины, заливаемой волнами, кто-то окликнул их диким голосом, на мгновение пересилив шум бури. Но в следующий миг «Альма» уже пронеслась дальше, и скала осталась позади, чернея среди волнующейся пены.

— С янки покончено! А где же моряк?— крикнул один из пассажиров.

Расмунсен посмотрел через плечо и поискал глазами черный парус. С час назад этот парус вынырнул из серой мглы с наветренной стороны, и теперь Расмунсен то и дело оглядывался и видел, что парус все близится и растет. Моряк, должно быть, успел заделать пробоины и теперь наверстывал потерянное время.

— Смотрите, нагоняет!

Оба пассажира перестали скалывать лед и тоже следили за черным парусом. Двадцать миль озера Беннет остались позади — было где разгуляться буре, подбрасывая водяные горы к небесам. То низвергаясь в бездну, то взлетая ввысь, словно дух бури, моряк промчался мимо. Огромный парус, казалось, подхватывал лодку с гребней волн, отрывал ее от воды и с грохотом швырял в зияющие провалы между волнами.

— Волне его не догнать.

— Сейчас з-зароется н-носом в воду!

В ту же минуту черный брезент закрыло высоким гребнем. Вторая и третья волна прокатились над этим местом,

но лодка больше не появлялась. «Альма» промчалась мимо. Всплыли обломки весел, доски от ящиков. Высунулась рука из воды, косматая голова мелькнула на поверхности, ярдах в двадцати от «Альмы».

На время все замолкли. Как только показался другой берег озера, волны стали захлестывать лодку с такой силой, что корреспонденты уже не скалывали лед, а энергично вычерпывали воду. Даже и это не помогало, и, посоветовавшись с Расмунсеном, они принялись за багаж. Мука, бекон, бобы, одеяла, керосинка, веревка — все, что только попадалось под руку, полетело за борт. Лодка сразу отозвалась на это — она черпала меньше воды и легче шла вперед.

— Ну и хватит! — сурово прикрикнул Расмунсен, как только они добрались до верхнего ящика с яйцами.

— Как бы не так! К черту! — огрызнулся тот, что стучал зубами. Оба они пожертвовали всем своим багажом, кроме записных книжек, фотоаппарата и пластинок. Корреспондент нагнулся, ухватился за ящик с яйцами и начал вытаскивать его из-под веревок.

— Брось! Брось, тебе говорят!

Расмунсен умудрился как-то выхватить револьвер и целился, локтем придерживая руль. Корреспондент вскочил на банку; он стоял пошатываясь, его лицо исказила злобная и угрожающая гримаса.

— Боже мой!

Это крикнул второй корреспондент, бросившись ничком на дно лодки. «Альму», о которой Расмунсен почти забыл в эту минуту, подхватил и завертел водоворот. Парус заполоскался, рея со страшной силой рванулась вперед и столкнула первого корреспондента за борт, переломив ему позвоночник. Мачта с парусом тоже рухнула за борт. Волна хлынула в лодку, потерявшую направление, и Расмунсен бросился вычерпывать воду.

В следующие полчаса мимо них пролетело несколько лодок, и маленьких, и таких, как «Альма», но все они, гонимые страхом, могли только мчаться вперед. Наконец десятитонный барк, рискуя погибнуть сам, спустил паруса с наветренной стороны и, тяжело повернувшись, подошел к «Альме».

— Назад! Назад! — завопил Расмунсен.

Но низкий планшир его лодки уже терся со скрежетом о грузный барк, и оставшийся в живых корреспондент

карабкался на высокий борт. Расмунсен, словно кошка, сидел над своей тысячей дюжин на носу «Альмы», онемевшими пальцами стараясь связать два конца.

— Полезай! — закричал ему с барка человек с рыжими бакенами.

— У меня здесь тысяча дюжин яиц! — крикнул он в ответ.— Возьмите меня на буксир! Я заплачу!

— Полезай! — закричали ему хором.

Высокая волна с белым гребнем встала над самым барком и, перехлестнув через него, наполовину затопила «Альму». Люди махнули рукой и, выругав Расмунсена как следует, подняли парус. Расмунсен тоже выругался в ответ и опять принялся вычерпывать воду. Мачта с парусом еще держалась на фалах и действовала как якорь, помогая лодке сопротивляться волнам и ветру.

Тремя часами позже, весь закоченев, выбившись из сил и бормоча как помешанный, но не бросая вычерпывать воду, Расмунсен пристал к скованному льдом берегу близ Оленьего перевала. Правительственный курьер и метис-проводник вдвоем вывели его из полосы прибоя, спасли весь его груз и вытащили «Альму» на берег. Эти люди ехали из Доусона в рыбачьей лодке, но задержались в пути из-за бури. Они приютили Расмунсена на ночь в своей палатке. Наутро путники двинулись дальше, но Расмунсен предпочел задержаться со своей тысячей дюжин яиц. И после этого по всей стране пошла молва о человеке, который везет тысячу дюжин яиц. Золотоискатели, добравшиеся до места накануне ледостава, принесли с собой слух о том, что он в пути. Поседевшим старожилам с Сороковой Мили и из Серкла, ветеранам с железными челюстями и заскорузлыми от бобов желудками при одном звуке его имени смутно, как сквозь сон, вспоминались цыплята и свежая зелень. Дайя и Скагуэй живо интересовались им и расспрашивали о нем каждого путника, одолевшего перевалы, а Доусон — золотой Доусон, стосковавшийся по яичнице, волновался и тревожился и жадно ловил каждый слух об этом человеке.

Ничего этого Расмунсен не знал. На другой день после крушения он починил «Альму» и двинулся дальше. Резкий восточный ветер с озера Тагиш дул ему в лицо, но он взялся за весла и мужественно греб, хотя лодку то и дело относило назад, да вдобавок ему приходилось скалывать лед с обмерзших весел. Как полагается, «Альму» выбро-

сило на берег у Винди-Арм; три раза подряд Расмунсена захлестывало волнами на Тагише и прибивало к берегу, а на озере Марш его захватил ледостав. «Альму» затерло льдом, но яйца остались целы. Он волок их две мили по льду до берега и там устроил потайной склад, который местные старожилы показывали желающим и через несколько лет после этого.

Пять сотен миль обледенелой земли отделяли его от Доусона, а водный путь был закрыт. Но Расмунсен с каким-то окаменелым выражением лица пустился обратно через озеро пешком. Что ему пришлось вытерпеть во время пути, имея при себе только одеяло, топор да горсточку бобов, не дано знать простому смертному. Понять это может лишь путешественник по Арктике. Достаточно сказать, что на Чилкуте его застала пурга, и врач в Оленьем Поселке отнял ему два пальца на ноге. Однако Расмунсен не сдался и после этого; до пролива Пюджет он мыл посуду на «Павоне», а оттуда до Сан-Франциско шуровал уголь на пассажирском пароходе.

Совсем одичавшим и опустившимся человеком ввалился он в банкирскую контору, волоча ногу по блестящему паркету, и попросил денег под вторую закладную. Его впалые щеки просвечивали сквозь редкую бороду, глаза ушли глубоко в орбиты и горели холодным огнем, руки огрубели от холода и тяжелой работы, под ногти черной каймой забилась грязь и угольная пыль. Он бормотал что-то невнятное про яйца, торосистый лед, ветры и течения, но, когда ему отказались дать больше тысячи, речь его потеряла всякую связность, и можно было разобрать только, что дело идет о собаках и корме для собак, а также о мокасинах, лыжах и зимних тропах. Ему дали полторы тысячи, то есть гораздо больше, чем можно было дать под его коттедж, и все вздохнули с облегчением, когда он, с трудом подписав свою фамилию, вышел из комнаты.

Спустя две недели Расмунсен перевалил через Чилкут с тремя упряжками, по пяти собак в каждой. Одну упряжку вел он сам, остальные — два индейца-погонщика. У озера Марш они разобрали тайник и погрузили яйца на нарты. Но тропа еще не была проложена. Расмунсен ступил на лед, и на его долю пришелся труд утаптывать снег и пробиваться через ледяные заторы на реках. На привале он часто видел позади дым костра, поднимавшийся тонкой струйкой в чистом воздухе, и удивлялся, почему это люди

не стараются обогнать его. Он был новичком в этих местах и не понимал, в чем дело. Не понимал он и своих индейцев, когда они пытались объяснить ему. Даже с их точки зрения это был тяжкий труд, но, когда по утрам они упирались и отказывались двигаться со стоянки, он заставлял их браться за дело, грозя револьвером.

После того как он провалился сквозь лед у порогов Белой Лошади и опять отморозил себе ногу, очень чувствительную к холоду после первого обмораживания, индейцы думали, что Расмунсен сляжет. Но он пожертвовал одним из одеял и, сделав из него огромных размеров мокасин, похожий на ведро, по-прежнему шел за передними нартами. Это была самая тяжелая работа, и индейцы научились уважать его, хотя и постукивали по лбу пальцем, многозначительно качая головой, когда он не мог этого видеть. Однажды ночью они попытались бежать, однако свист пуль, зарывавшихся в снег, образумил их, и они вернулись, угрюмые, но покорные. После этого они сговорились убить Расмунсена, но он спал чутко, словно кошка, и ни днем, ни ночью им не представлялось удобного случая.

Не раз они пытались растолковать ему значение струйки дыма позади, но он ничего не понял и только стал относиться к ним еще подозрительней. А если они хмурились или отлынивали от работы, он быстро охлаждал их пыл, показывая револьвер, который всегда был у него под рукой.

Так оно и шло — люди были непокорны, собаки одичали, трудная дорога выматывала силы. Он боролся с людьми, которые хотели бросить его, боролся с собаками, отгонял их от яиц, боролся со льдом, с холодом, с болью в ноге, которая все не заживала. Как только рана затягивалась, кожа на ней трескалась от мороза, и под конец на ноге образовалась язва, в которую можно было вложить кулак. По утрам, когда он впервые ступал всей тяжестью на эту ногу, голова у него кружилась от боли, он чуть не терял сознание, но потом в течение дня боль обычно утихала и возобновлялась только к ночи, когда он забирался под одеяло и пробовал уснуть. И все же этот человек, бывший счетовод, полжизни просидевший за конторкой, работал так, что индейцы не могли угнаться за ним; даже собаки и те выдыхались раньше. Сам он не сознавал даже, сколько ему приходилось работать и терпеть. Он был че-

ловеком одной идеи, и эта идея, однажды возникнув, поработила его. На поверхности его сознания был Доусон, в глубине — тысяча дюжин яиц, а его «я» витало где-то на полдороге между тем и другим, стараясь свести их в одной блистающей точке. Этой точкой были пять тысяч долларов — завершение его идеи и отправной пункт для новой, в чем бы она ни заключалась. Во всем остальном он был просто автомат. Он даже не сознавал, что в мире есть что-нибудь иное, видел окружающее смутно, как сквозь стекло, и относился к нему безразлично. Его руки работали с точностью заведенной машины, так же работала и голова. Выражение его лица стало настолько напряженным, что пугало даже индейцев, и они удивлялись непонятному белому человеку, который сделал их своими рабами и заставлял так неразумно тратить силы.

А потом, когда они подошли к озеру Ле-Барж, снова ударили морозы, и холод межпланетных пространств поразил верхушку нашей планеты с силой шестидесяти с лишним градусов ниже нуля. Шагая с раскрытым ртом, чтобы легче дышать, Расмунсен застудил легкие, и весь остаток пути его мучил сухой, отрывистый кашель, усиливавшийся от дыма костров и от непосильной работы. На Тридцатимильной реке он наткнулся на большие полыньи, прикрытые предательскими ледяными мостиками и обведенные каймой молодого льда, тонкой и ненадежной. На этот молодой лед нельзя было полагаться, и индейцы колебались, но Расмунсен грозил им револьвером и шел вперед, невзирая ни на что. Однако на ледяных мостиках, хотя и прикрытых снегом, можно еще было принимать меры предосторожности. Они переходили эти мостики на лыжах, держа в руках длинные шесты, на случай, если подломится лед, и, выбравшись на ту сторону, звали собак. И как раз на таком мостике, где провал посредине был незаметен под снегом, погиб один из индейцев. Он провалился в воду мгновенно и бесследно, как нож в сметану, и течение сразу увело его под лед.

В ту же ночь при бледном лунном свете убежал второй индеец. Расмунсен напрасно тревожил тишину выстрелами из револьвера, которым он орудовал с большей быстротой, чем сноровкой. Спустя тридцать шесть часов этот индеец добрался до полицейского поста на реке Большой Лосось.

— Чудна̀я человек! Как сказать — голова набекрень,—

объяснял переводчик изумленному капитану.— А? Ну да, рехнулась, совсем рехнулась. Говорит: яйца, яйца... Все про яйца! Понятно? Скоро сюда придет.

Прошло несколько дней, и Расмунсен явился на пост на трех нартах, связанных вместе, и со всеми собаками, соединенными в одну упряжку. Это было очень неудобно, и в тех местах, где дорога была плохая, он переводил нарты поочередно, хотя ценою геркулесовых усилий ему удавалось вести их не расцепляя. Расмунсена, по-видимому, нисколько не взволновало, когда капитан сказал ему, что его индеец пошел в Доусон и теперь, вероятно, находится где-нибудь между Селкерком и рекой Стюарт. Вполне безучастно выслушал он и сообщение, что полиция накатала тропу до Пелли; он дошел до того, что с фаталистическим равнодушием принимал все, что посылали ему стихии,— как добро, так и зло. Зато когда ему сказали, что в Доусоне жестоко голодают, он усмехнулся, запряг своих собак и тронулся дальше.

Лишь на следующей остановке разъяснилась загадка дыма. Как только до Большого Лосося дошла весть, что тропа проложена до Пелли, дымная цепочка перестала следовать за Расмунсеном, и, сидя у своего одинокого костра, он видел пеструю вереницу нарт, проносившихся мимо. Первыми проехали курьер и метис, которые вытаскивали его из озера Беннет, затем нарты с почтой для Серкла, а за ними потянулись в Клондайк разношерстные искатели счастья. Собаки и люди выглядели свежими, отдохнувшими, а Расмунсен и его псы измучились и исхудали так, что от них оставались кожа да кости. Люди из дымной цепочки работали один день из трех, отдыхая и приберегая силы для того времени, когда можно будет пуститься в путь по наезженной тропе, а Расмунсен рвался вперед, с трудом протаптывая дорогу, изнуряя своих собак и выматывая из них последние силы.

Его самого сломить было невозможно. Эти сытые, отдохнувшие люди любезно благодарили его за то, что он для них так старался,— благодарили, широко ухмыляясь и нагло посмеиваясь над ним; он понял теперь, в чем дело, но ничего им не ответил и даже не озлобился. Это ничего не меняло. Идея — суть, которая лежала в ее основе,— оставалась все та же. Он здесь, и с ним тысяча дюжин, а там Доусон; значит, все остается по-прежнему.

У Малого Лосося ему не хватило корма для собак; он

отдал им свою провизию, а сам до Селкерка питался одними бобами, крупными темными бобами, очень питательными, но такими грубыми, что его перегибало пополам от болей в желудке. На дверях фактории в Селкерке висело объявление, что пароходы не ходят вверх по Юкону вот уже два года; поэтому и провизия сильно вздорожала. Агент Компании предложил ему меняться; чашку муки за каждое яйцо, но Расмунсен покачал головой и поехал дальше. Где-то за факторией ему удалось купить для собак мороженую конскую шкуру: торговцы скотом с Чилкута прирезали лошадей, а отбросы подбирали индейцы. Он, Расмунсен, пробовал жевать шкуру, но волосы кололи язвы во рту, и боль была невыносимая.

Здесь, в Селкерке, он повстречал первых предвестников голодного исхода из Доусона; беглецов становилось все больше, они являли собой печальное зрелище.

— Нечего есть! — вот что повторяли они хором.— Нечего есть, приходится уходить. Все молят бога, чтобы хоть к весне стало полегче. Мука стóит полтора доллара фунт, и никто ее не продает.

— Яйца? — переспросил один из них.— По доллару штука, только их совсем нет.

Расмунсен сделал в уме быстрый подсчет.

— Двенадцать тысяч долларов,— сказал он вслух.

— Что? — не понял встречный.

— Ничего,— ответил Расмунсен и погнал собак дальше.

Когда он добрался до реки Стюарт, в семидесяти милях от Доусона, пять собак у него погибли, остальные валились с ног. Сам Расмунсен тоже впрягся и тянул из последних сил. Но даже и так он едва делал десять миль в день. Его скулы и нос, много раз обмороженные, почернели, покрылись струпьями; на него было страшно смотреть. Большой палец, который мерз больше других, когда приходилось держаться за поворотный шест, тоже был отморожен и болел. Ногу, по-прежнему обутую в огромный мокасин, сводила какая-то странная боль. Последние бобы, давно уже разделенные на порции, кончились у Шестидесятой Мили, но Расмунсен упорно отказывался дотронуться до яиц. Он не мог допустить даже мысли об этом — она казалась ему святотатством; и так, шатаясь и падая, он проделал весь путь до Индейской реки. Тут щедрость одного старожила и свежее мясо только что уби-

того лося прибавили сил ему и собакам; добравшись до Эйнсли, он воспрянул духом: беглец из Доусона, оставивший город пять часов назад, сказал ему, что он получит за каждое яйцо не меньше доллара с четвертью.

С сильно бьющимся сердцем Расмунсен подходил к крутому берегу, где стояло здание доусонских Казарм; колени у него подгибались. Собаки так обессилели, что пришлось дать им передышку, и, дожидаясь, пока они отдохнут, он от слабости прислонился к шесту. Мимо проходил какой-то человек очень внушительной наружности, в толстой медвежьей шубе. Он с любопытством взглянул на Расмунсена, остановился и оценивающим взглядом окинул собак и связанные постромками нарты.

— Что у вас? — спросил он.

— Яйца,— с трудом выговорил Расмунсен хриплым голосом, чуть громче шепота.

— Яйца! Ура! Ура! — Человек подпрыгнул, бешено завертелся и пустился в пляс.

— Не может быть! Это всё яйца?

— Да, всё.

— Послушайте, вы, верно, Человек с Тысячей Дюжин? — Он обошел Расмунсена кругом и посмотрел на него с другой стороны.— Нет, в самом деле! Это вы и есть?

Расмунсен не был в этом вполне уверен, но ответил утвердительно, и человек в шубе несколько успокоился.

— Сколько же вы за них хотите? — осторожно спросил он.

Расмунсен осмелел.

— Полтора доллара,— сказал он.

— Заметано! — поспешно ответил человек.— Давайте мне дюжину!

— Я... я хочу сказать, полтора доллара за штуку,— нерешительно объяснил Расмунсен.

— Ну да, я слышал. Давайте две дюжины. Вот песок.

Человек вытащил объемистый мешочек с золотом, толстый, как колбаса, и небрежно постучал им о шест. Расмунсен ощутил странную дрожь под ложечкой, щекотание в ноздрях и почти непобедимое желание сесть и расплакаться. Но вокруг уже начинала собираться толпа любопытных, и покупатели один за другим требовали яиц. Весов у Расмунсена не было, но человек в медвежьей шубе принес весы и услужливо отвешивал песок, пока Расмунсен отпускал товар. Скоро началась толкотня и давка, под-

нялся шум. Каждый хотел купить и каждый требовал, чтобы ему отпустили первому. И чем больше волновалась толпа, тем спокойней становился Расмунсен. Тут что-нибудь да не так. Неспроста они покупают яйца нарасхват, за этим что-нибудь да кроется. Умнее было бы сначала выждать и узнать цену. Может быть, яйцо теперь стоит уже два доллара. Во всяком случае, полтора доллара он всегда получит.

— Конец! — объявил он, распродав сотни две яиц.— Больше не продаю. Устал. Мне еще надо найти хижину; вот тогда приходите, поговорим.

Толпа охнула, но человек в медвежьей шубе поддержал Расмунсена. Двадцать четыре штуки мороженых яиц со стуком перекатывались в его объемистых карманах, и ему не было никакого дела до того, будут сыты остальные или нет. Кроме того, он видел, что Расмунсен едва стоит на ногах.

— Есть хижина недалеко от «Монте-Карло», второй поворот, сейчас же за углом,— сказал он,— окно там из содовых бутылок. Хижина не моя, мне только поручили ее сдать. Цена десять долларов в день, и это еще дешево. Сейчас же и въезжайте, я к вам зайду потом. Не забудьте: вместо окна — бутылки... Тра-ла-ла! — пропел он минутой позже.— Пойду к себе есть яичницу и мечтать о доме.

По дороге Расмунсен вспомнил, что голоден, и зашел в лавку Компании запастись кое-какой провизией, а потом в мясную — купить бифштекс и вяленой рыбы для собак. Он сразу нашел хижину и, не распрягая собак, развел огонь и поставил кипятить кофе.

— Полтора доллара за штуку... Тысячу дюжин... Восемнадцать тысяч долларов! — твердил он вполголоса, хлопоча возле печки.

Когда он бросил бифштекс на сковородку, дверь скрипнула. Расмунсен обернулся. Это был человек в медвежьей шубе. Он вошел очень решительно, видимо с какой-то определенной целью, но, взглянув на Расмунсена, словно растерялся, и лицо его выразило смущение.

— Вот что, послушайте...— начал он и замялся.

Расмунсен подумал, уж не пришел ли он за квартирной платой.

— Послушайте, черт возьми! А ведь яйца-то, знаете ли, тухлые!

Расмунсен зашатался. Его словно огрели по лбу ду-

биной. Стены перекосились и заходили перед ним ходуном. Он протянул вперед руку и ухватился за печку, чтобы не упасть. Резкая боль и запах горелого мяса привели его в чувство.

— Понимаю,— с трудом выговорил он, роясь в кармане.— Вы хотите получить деньги обратно?

— Не в деньгах дело,— ответил человек в медвежьей шубе,— а нет ли у вас других яиц, посвежее?

Расмунсен покачал головой.

— Возьмите деньги обратно.

Но тот отказывался, пятясь к дверям.

— Я лучше приду потом, когда вы разберете товар, и обменяю на другие.

Расмунсен вкатил в дом колоду и внес ящики с яйцами. Он принялся за дело очень спокойно. Взял топорик и стал рубить яйца пополам, одно за другим. Половинки он внимательно разглядывал и бросал на пол. Сначала он брал яйца на выбор из разных ящиков, потом стал рубить подряд. Куча на полу все росла. Кофе перекипел и убежал, бифштекс подгорел, и комната наполнилась чадом. Он рубил без отдыха, не разгибая спины, пока не опустел последний ящик.

Кто-то постучался в дверь, еще раз постучался и вошел.

— Что такое тут творится? — спросил гость, останавливаясь у порога и оглядывая комнату.

Разрубленные яйца начали оттаивать от печного жара, и с каждой минутой вонь становилась все сильнее и сильнее.

— Должно быть, на пароходе испортились,— заметил вошедший.

Расмунсен уставился на него пустыми глазами.

— Я Мэррей, Большой Джим Мэррей, меня тут все знают,— отрекомендовался гость.— Мне сказали, что у вас испортился товар, предлагаю вам двести долларов за всю партию. Это, конечно, не то, что рыба, но для собак годится.

Расмунсен словно окаменел. Он не пошевельнулся.

— Подите к черту! — сказал он без всякого выражения.

— Да вы подумайте. Цена хорошая за такую тухлятину, все-таки лучше, чем ничего. Две сотни. Ну, так как же?

— Подите к черту,— негромко повторил Расмунсен,— убирайтесь вон!

Мэррей взглянул на него со страхом, потом тихонько вышел, пятясь задом и не сводя с Расмунсена глаз.

Расмунсен вышел за ним и распряг собак. Побросав им всю рыбу, которую купил, он отвязал и намотал на руку постромки от нарт. Потом вошел в дом и запер за собой дверь. От обуглившегося бифштекса в комнате стоял едкий чад. Расмунсен стал на койку, перебросил постромки через стропила и прикинул длину на глаз. Должно быть, ему показалось, что коротко,— он поставил на койку табурет и влез на него. Сделав на конце постромок петлю, он просунул в нее голову, а другой конец закрепил. Потом отшвырнул табурет ногой.

ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ

Джекоба Кента всю жизнь одолевала алчность. Эта болезнь развила в нем постоянную недоверчивость, и у него настолько испортился характер, что с ним очень неприятно было иметь дело. Он отличался крайним упорством и неповоротливостью ума и вдобавок ко всему был лунатиком.

Кент чуть не с колыбели работал ткачом, пока клондайкская лихорадка не проникла в его кровь и не оторвала его от станка. Хижина Кента стояла на полпути между постом Шестидесятой Мили и рекой Стюарт. И путешественники, обычно проезжавшие здесь по дороге в Доусон, сравнивали Джекоба Кента с бароном-разбойником, засевшим у себя в замке и взимающим пошлину с караванов, которые проходят по запущенным дорогам в его владениях. Чтобы придумать такое сравнение, нужно было обладать кое-какими познаниями в истории. А не столь образованные золотоискатели с берегов реки Стюарт характеризовали Кента в более примитивных выражениях, в которых преобладали крепкие эпитеты.

Кстати сказать, хижина была вовсе не его. Ее построили за несколько лет перед тем два золотоискателя, которые пригнали к этому месту плот с лесом. Золотоискатели эти были люди весьма гостеприимные, и даже потом, когда

хижина уже пустовала, путники, знавшие дорогу к ней, обычно старались добраться сюда до наступления ночи. Это было очень удобно, так как сберегало труд и время, нужное для того, чтобы разбить лагерь. Существовало даже неписаное правило, по которому каждый ночевавший в хижине оставлял для следующего изрядную вязанку дров. Редкую ночь здесь не собирался десяток-другой людей. Джекоб Кент это приметил и, воспользовавшись тем, что хижина не имела хозяина, самовольно вселился в нее. С тех пор усталые путники должны были платить вымогателю по доллару с головы за право переночевать на полу. Джекоб Кент сам взвешивал золотой песок, которым ему платили, и неукоснительно жульничал при этом. Мало того, он сумел так поставить дело, что временные постояльцы рубили для него дрова и носили воду. Это был чистейший разбой, но жертвы Кента, народ добродушный и незлобивый, ненавидя его, не мешали ему все же творить беззакония и наживаться на них.

В один апрельский день Кент сидел у своей хижины, наслаждаясь ранним теплом весеннего солнца, и поглядывал на дорогу, как хищный паук, высматривающий новых жертв для своей паутины. Внизу, раскинувшись меж берегов на добрых две мили в ширину, лежал Юкон — настоящее море льда, уходившее вдаль, на север и на юг, двумя большими излучинами. По его неровной поверхности проходил санный путь — проложенная в снегу узкая тропа в полтора фута шириной и в две тысячи миль длиной. Каждый линейный фут этого пути слышал больше проклятий, чем любая другая дорога во всем христианском мире и за его пределами.

Джекоб Кент был сегодня в прекрасном настроении. В эту ночь он побил рекорд: продал свое гостеприимство не более и не менее как двадцати восьми посетителям. Конечно, было очень неудобно, и четверо из них до утра храпели на полу у самой его койки. Но зато мешок с золотым песком заметно прибавился в весе. Этот мешок с хранившимся в нем блестящим желтым сокровищем был и величайшей радостью, и в то же время величайшим мучением в жизни Кента. В его тесном пространстве вмещались небо и ад. Так как в однокомнатной хижине, естественно, невозможно было укрыть что-нибудь от чужих глаз, то Кента постоянно терзал страх, что его ограбят. Этим бородатым головорезам ничего не стоит утащить ме-

шок! Кенту постоянно снилось, как крадут его сокровище, и он просыпался, измученный кошмаром. Этот сон преследовал его так часто, что он очень хорошо запомнил лица разбойников, в особенности лицо их атамана, бронзовое от загара и со шрамом на правой щеке. Этот молодец снился ему чаще всех. Из страха перед ним Кент, встав поутру, придумывал для своего мешка десятки потайных мест внутри хижины и снаружи. Перепрятав свое сокровище, он вздыхал с облегчением и несколько ночей спал спокойно, а потом опять во сне застигал Человека со Шрамом в тот момент, когда тот уносил заветный мешок. Очнувшись в самый разгар борьбы с вором, Кент тотчас вскакивал с постели и переносил мешок в новое, более надежное убежище. Нельзя сказать, чтобы он был вполне во власти своих галлюцинаций. Но он верил в предчувствия и передачу мыслей на расстоянии; и грабители представлялись ему астральными телами реальных, живых людей, которые в это самое время, находясь где-то в другом месте, мысленно посягают на его богатство. Тем не менее Джекоб Кент продолжал обирать людей, которые искали у него приюта, но каждая новая унция золота, попадавшая в его мешок, усиливала его мучения.

Он сидел у хижины, греясь на солнце, и вдруг вскочил, пораженный неожиданной мыслью. Высшей радостью для него было беспрестанно взвешивать и перевешивать накопленный им золотой песок. Но это удовольствие несколько омрачалось одним обстоятельством, которого он до сих пор не мог устранить. Его весы были слишком малы; на них можно было взвешивать не больше полутора фунтов (то есть восемнадцать унций) зараз, а у него было накоплено уже примерно в три с третью раза больше. Никак не удавалось взвесить все золото сразу, и Кенту казалось, что это лишает его возможности увидеть свое сокровище во всем его великолепии. А без этого радость обладания наполовину уменьшалась. Да, Кент чувствовал, что пустяковая помеха каким-то образом умаляла не только значение, но и самый факт обладания золотом. И сейчас он вскочил с места именно потому, что его вдруг осенила идея, как разрешить эту задачу.

Он внимательно оглядел дорогу и, убедившись, что на ней никого не видно, вошел в хижину. Вмиг убрал все со стола, поставил на него весы, на одну чашку положил гирьки весом в пятнадцать унций и уравновесил их золо-

тым песком на другой чашке. Заменив потом гирьки золотом, он получил уже тридцать унций, точно взвешенных, потом эти тридцать унций ссыпал на одну чашку и уравновесил их новой порцией песка. Таким образом, все его золото оказалось на весах. Пот лил с него градом, он дрожал от восторга, от безмерного упоения. Это не помешало ему тщательно вытрясти из мешка все до последней крупинки. Он тряс его над весами до тех пор, пока равновесие не было нарушено и одна из чашек не опустилась на стол. Чтобы снова уравновесить ее, он положил на другую чашку гирьку в одну двадцатую унции и пять песчинок золота. Он стоял, откинув назад голову, и смотрел как зачарованный на весы. Мешок опустел, но теперь он знал, что на этих весах можно взвесить любое количество золота — от мельчайшей крупинки до множества фунтов. Маммона впустила свои острые когти в сердце Кента.

Заходящее солнце проникло в открытую дверь и ярко осветило весы с их желтым грузом. Драгоценные холмики, подобные золотистым грудям бронзовой Клеопатры, горели в его лучах мягким светом. Время и пространство перестали существовать.

— Ого! Убей меня бог, если у вас тут не наберется золота на несколько гиней!

Джекоб Кент круто обернулся и одновременно протянул руку к своей двустволке, лежавшей наготове. Но, увидев лицо непрошеного гостя, он отступил назад, совершенно ошеломленный. *То было лицо Человека со Шрамом!*

Вошедший с любопытством посмотрел на него.

— Ну, ну, не бойтесь,— сказал он, успокоительно помахивая рукой.— Я не трону ни вас, ни ваше проклятое золото... Чудак вы! Право, чудак! — добавил он раздумчиво, заметив, что по лицу Кента текут струйки пота и колени у него трясутся.— Чего же вы молчите, как воды в рот набрали? — продолжал он, пока Кент тяжело переводил дух.— Язык, что ли, проглотили? Или беда какая с вами стряслась?

— Где это вас так?..— с трудом выговорил наконец Кент, указывая дрожащим пальцем на страшный шрам, пересекавший щеку гостя.

— Это мой товарищ-матрос угодил мне в лицо свайкой от грот-бом-брамселя. А впрочем, какое вам дело до моего шрама, хотел бы я знать? Мешает он вам? Может, он не

по вкусу таким привередникам, как вы? У вас-то физиономия в порядке — ну и радуйтесь!

— Нет, нет,— возразил Кент с вымученной улыбкой, тяжело опускаясь на табурет.— Просто мне интересно...

— Видели вы когда-нибудь такой шрам? — свирепо допрашивал его тот.

— Нет, не видал.

— Ну что, красота, верно?

— Верно, верно,— одобрительно закивал головой Кент, стараясь умилостивить странного посетителя. Но он никак не ожидал, что его попытка быть любезным вызовет такую бурю.

— Ах ты треска вонючая, швабра ты этакая! Так, по-твоему, самое страшное уродство, каким господь бог когда-либо клеймил человеческое лицо,— красота? Это как же понимать, ты...

Тут вспыльчивый сын моря разразился градом фантастических ругательств, в которых поминались боги, черти, чудовища, люди и все степени их родства. Он выпаливал их с такой бешеной энергией, что Джекоб Кент просто остолбенел. Он весь съежился и поднял руки, словно защищаясь от ударов. У него был такой пришибленный вид, что Человек со Шрамом вдруг остановился, не докончив великолепной заключительной тирады, и оглушительно захохотал.

— Солнце совсем доконало санную дорогу,— сказал он сквозь последние взрывы смеха.— И мне остается только надеяться, что ты будешь рад провести время в компании человека с такой рожей, как у меня. Разведи-ка пары в твоей кочегарке, а я пойду распрягу и накормлю собак. Принеси побольше дров, не стесняйся, дружище, их в лесу сколько угодно, а кому же, как не тебе, работать топором,— у тебя для этого достаточно времени. Кстати, притащи и ведро воды. Да живее поворачивайся, не то я тебя, ей-богу, в порошок сотру!

Неслыханное дело! Джекоб Кент разводил огонь, колол дрова, носил воду и всячески прислуживал своему постояльцу.

Джим Кардиджи еще в Доусоне наслышался рассказов о беззакониях, которые творил этот Шейлок в придорожной хижине. Да и потом, на пути от Доусона, он повстречал много жертв Кента. И каждый из этих людей своими жалобами добавлял что-нибудь к списку его пре-

грешений. И вот Джим, который, как все моряки, любил озорную шутку, попав в хижину Кента, решил припугнуть и «осадить» ее хозяина. Было совершенно ясно, что это ему удалось даже в большей мере, чем он ожидал, но он не догадывался, какую роль сыграл в этом его шрам. Однако он видел, что внушает Кенту панический ужас, и решил использовать это без зазрения совести, подобно тому, как нынешние торговцы стараются извлечь как можно больше барыша из попавшего к ним в руки ходкого товара.

— Лопни мои глаза, если ты не расторопный парень! — сказал он с восхищением, склонив набок голову и наблюдая за хлопотавшим хозяином.— Зря ты в золотоискатели полез! Тебе сам бог велел трактир держать. Я много слышал разговоров о тебе по всей реке, но никак не думал, что ты такой молодчина.

Джекобу Кенту страшно хотелось разрядить в него свое ружье, но магическое влияние шрама было слишком сильно. Он видел перед собой живого, подлинного Человека со Шрамом — того самого, кого так часто рисовало ему воображение в роли грабителя, похищающего его сокровище. Так вот он во плоти и крови, тот человек, что являлся ему во сне, тот, кто столько раз замышлял украсть его золото! Другого вывода быть не могло! Человек со Шрамом явился теперь сюда в своем телесном воплощении именно для того, чтобы ограбить его, Кента! А этот шрам! Кент не мог оторвать от него глаз, как не мог бы остановить биение собственного сердца. Несмотря на все усилия воли, взгляд его возвращался к лицу матроса так же неуклонно, как магнитная стрелка поворачивается к полюсу.

— Что это тебе мой шрам покоя не дает? — вдруг загремел Джим Кардиджи; он в это время расстилал на полу свои одеяла и, случайно подняв глаза, встретил напряженный взгляд Кента.— А если уж он тебя так беспокоит, самое лучшее убрать кливер, погасить огни и залечь спать. Не топчись на месте, слушай, что тебе говорят, швабра ты этакая, не то, видит бог, я тебе всю носовую часть вдребезги разнесу!

Кент был в таком страхе, что ему пришлось три раза дунуть на светильник, чтобы погасить его. Он поспешно залез под одеяло, даже не сняв мокасин.

Матрос улегся на свое жесткое ложе на полу и скоро

смачно захрапел, а Кент все лежал, уставясь в темноту, и одной рукой сжимал дробовик. Он решил не смыкать глаз всю ночь, потому что ему не удалось запрятать подальше свои пять фунтов золота, и они так и лежали в патронном ящике у его изголовья.

Несмотря на все старания, он в конце концов все же задремал, но и во сне золото лежало у него на душе тяжелым грузом. Не усни он нечаянно в таком беспокойном состоянии, им не овладел бы во сне демон лунатизма и Джиму Кардиджи не пришлось бы на другое утро возиться с промывочным тазом.

Огонь в очаге после тщетной борьбы наконец погас, а мороз проник в хижину сквозь мох в щелях между бревнами и выстудил ее. Собаки под окном перестали выть и, свернувшись клубком, уснули в снегу. Им снился рай, где сколько угодно вяленой рыбы, где нет ни погонщиков, ни бичей. В хижине гость лежал неподвижно, как колода, а хозяин беспокойно ворочался, одолеваемый странными видениями. Около полуночи он вдруг откинул одеяло и встал с койки. Любопытно, что все дальнейшее он проделал, ни разу не чиркнув спичкой. Оттого ли, что было темно, или оттого, что он боялся увидеть страшный шрам на щеке матроса, но он не открывал глаз и так, ощупью, подняв крышку патронного ящика, всыпал обильный заряд в дуло своего дробовика, умудрившись не просыпать ни крупинки, забил его сверху двойным пыжом, затем убрал все на место и снова лег.

Джекоб Кент проснулся, как только на затянутое промасленной бумагой оконце легли голубовато-серые пальцы рассвета. Опершись на локоть, он поднял крышку патронного ящика и заглянул внутрь. То, что он там увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел, оказало на него действие весьма неожиданное, принимая во внимание его нервозность. Он посмотрел на спавшего матроса, тихонько закрыл ящик и перевернулся на спину. Лицо его выражало необычайное спокойствие. Ни один мускул на этом лице не дрогнул, не заметно было ни следа волнения, ни замешательства. Кент долго лежал и размышлял, а когда поднялся, то стал действовать спокойно, хладнокровно, не торопясь и не производя никакого шума.

Как раз над головой спящего Джима Кардиджи в потолке торчал крепкий деревянный колышек, вбитый в балку. Джекоб Кент осторожно накинул на него веревку

в полдюйма толщиной, спустив вниз оба ее конца. Один конец он обвязал вокруг пояса, на другом сделал петлю. Потом взвел курок и положил ружье так, чтобы оно было у него под рукой, рядом с кучей ремней из лосиной кожи. Усилием воли заставив себя взглянуть на шрам, он надел петлю на шею спящего матроса и, откинувшись всем телом назад, туго затянул ее. И в ту же минуту, схватив ружье, он прицелился в Джима.

Джим Кардиджи проснулся, задыхаясь, и ошеломленно уставился на торчавшие прямо перед ним два стальных дула.

— Где оно? — спросил Кент, немного ослабив веревку.

— Ах ты, треклятый...

Кент опять откинулся назад, и натянувшаяся веревка сдавила Джиму глотку.

— Ты чертова... шва... хрр...

— Где оно? — повторил Кент.

— Что? — выговорил Кардиджи, как только ему удалось перевести дух.

— Золото.

— Какое золото? — в полном недоумении спросил матрос.

— Отлично знаешь какое: мое.

— Да я его и в глаза не видел. Что я тебе, сейф, что ли? Какое мне до него дело! Откуда я могу знать, где оно, твое золото?

— Можешь ты знать или не можешь, а я тебе не дам вздохнуть, пока не скажешь. И попробуй только пальцем шевельнуть, мигом башку прострелю.

— Силы небесные! — прохрипел Кардиджи, когда веревка снова натянулась.

Кент на мгновение отпустил ее, и матрос, как будто невольно вертя головой, умудрился немного растянуть петлю и передвинуть ее так, чтобы веревка приходилась как раз под подбородком.

— Ну? — спросил Кент, ожидая признания.

Но Кардиджи только усмехнулся:

— Валяй, валяй вешай меня, кабатчик проклятый!

Тогда, как и предвидел Джим, драма превратилась в комедию. Кардиджи был тяжелее Кента, и Кент, как он ни откидывался и ни выгибался, не мог поднять матроса на воздух.

Несмотря на его отчаянные усилия, ноги матроса все

не отрывались от пола, а петля под подбородком служила ему дополнительной опорой.

Видя, что повесить Джима не удастся, Кент продолжал натягивать веревку с твердым намерением либо медленно удавить его, либо заставить сказать, куда он девал золото. Однако Человек со Шрамом упорно не желал быть удавленным. Прошло пять, десять, пятнадцать минут — и наконец Кент в отчаянии опустил своего пленника на пол.

— Ну что ж,— сказал он, утирая пот,— не хочешь висеть, так я тебя застрелю. Видно, некоторым людям не судьба быть повешенными.

Кардиджи нужно было выиграть время.

— Ты этой возней только пол в комнате испортишь,— начал он.— Слушай, Кент, я тебе вот что скажу. Давай-ка пораскинем мозгами и вместе обсудим дело. У тебя пропал золотой песок. Ты говоришь, что я знаю, куда он девался, а я тебе говорю, что не знаю. Давай разберемся и наметим план действий...

— Силы небесные! — перебил Кент, ехидно передразнивая матроса.— Нет уж, действовать в этом доме буду я один, а ты можешь наблюдать и «разбираться». Но попробуй только шелохнуться, и я тебя продырявлю, клянусь богом!

— Ради моей матери...

— Помилуй ее господь, если она тебя любит... Ах вот ты как! — Кент приставил холодное дуло ко лбу матроса, уловив какое-то движение с его стороны.— Лежи смирно! Только шевельнись — и тебе конец...

Задача была не из легких, если принять во внимание, что Кенту приходилось все время держать палец на курке, но Кент недаром был когда-то ткачом: не прошло и нескольких минут, как он связал матроса по рукам и по ногам. После этого он выволок его из хижины и положил у стены в том месте, откуда Джим мог видеть реку и смотреть, как солнце поднимается к зениту.

— Даю тебе срок до полудня, а там...

— Что...

— А там отправишься прямехонько в ад. Но, если скажешь, где золото, я тебя продержу здесь до тех пор, пока мимо не проедет полицейский отряд!

— Господи помилуй, вот так положение! Да что же это в самом деле! Я невинен, как ягненок, а ты совсем

спятил, ничего не соображаешь и хочешь ни за что ни про что меня укокошить... Ах ты, старый пират! Ах ты...

Джим Кардиджи облегчил душу залпом ругательств, превзойдя на этот раз самого себя. Джекоб Кент вынес из хижины табуретку, чтобы расположиться поудобнее. Истощив весь свой запас всевозможных словосочетаний, матрос затих и принялся усиленно размышлять, а глаза его неотступно следили за солнцем, которое с неуместной быстротой поднималось с востока. Собаки Джима, удивленные тем, что их так долго не запрягают, сбежались к нему. Беспомощное состояние хозяина их встревожило. Животные чувствовали, что с ним что-то неладно, но не понимали, что именно, и метались вокруг, жалобным воем выражая ему сочувствие.

— Пошли вон! — прикрикнул на собак матрос, извиваясь, как червяк, в тщетной попытке отогнать их. И вдруг он почувствовал, что лежит на краю какого-то обрыва. Как только собаки разбежались, он стал думать: что это может быть за обрыв, которого ему не видно? И скоро пришел к правильному заключению. Человек от природы ленив, рассуждал про себя Джим. Он делает только то, что абсолютно необходимо. Строя хижину, он должен покрыть крышу землей. И земля берется, конечно, где-нибудь поблизости. Очевидно, он, Джим, лежит на краю ямы, из которой брали землю при постройке хижины Кента. Это обстоятельство, если суметь его использовать, может продлить ему жизнь. И Джим сосредоточил все свое внимание на ремнях, которыми он был связан.

Руки у него были стянуты за спиной, и снег под ними начинал таять. А Джим знал, что сырая лосиная кожа легко растягивается. И, стараясь делать это незаметно, он все больше и больше растягивал ремни на руках.

В то же время он жадно следил глазами за тропой, и, когда вдали, со стороны Шестидесятой Мили, на белом фоне ледяного затора показалось на миг темное пятнышко, он бросил тревожный взгляд на солнце. Оно уже почти дошло до зенита.

Черное пятно на тропе то появлялось, взлетая на торосы, то скрывалось в провалах между ними. Но матрос не решался открыто смотреть в ту сторону, боясь возбудить подозрения Кента. Раз, когда Кент вдруг поднялся и стал внимательно глядеть на реку, у Кардиджи сердце замерло от страха. Но в этот момент нарты, запряженные собака-

ми, мчались по участку тропы, скрытому за ледяным затором, и их не было видно, так что опасность миновала.

— Я добьюсь, что тебя повесят за такие штучки! — грозил Кардиджи, стараясь отвлечь внимание Кента.— И ты будешь гореть в аду, вот помяни мое слово!.. Слушай! — крикнул он опять, подождав немного.— Ты веришь в привидения?

Кент вздрогнул, и Джим, почувствовав, что он на верном пути, продолжал:

— Привидение ведь является человеку, который не сдержал слова. Так что не вздумай отправить меня на тот свет раньше восьми склянок, то есть я хотел сказать — до двенадцати часов, потому что, если ты это сделаешь, я буду после смерти являться тебе. Слышишь? Повесь меня одной минутой или хотя бы одной секундой раньше времени, и я обязательно буду тебе являться, клянусь богом!

Джекоб Кент, видимо, был в нерешительности, но в разговор с Джимом не вступал.

— Какой у тебя хронометр? Откуда ты знаешь, что он показывает верное время? На какой вы здесь долготе? — приставал к нему матрос, тщетно надеясь вырвать у своего палача лишних несколько минут.— Как у тебя часы поставлены, по Казармам или по часам Компании? Помни, если ты это сделаешь до того, как пробьет двенадцать, я не успокоюсь на том свете. Честно тебя предупреждаю: я вернусь. А если время у тебя не точное, как ты узнаешь, когда будет ровно двенадцать? Как ты это узнаешь, вот что меня интересует!

— Не беспокойся, отправлю тебя на тот свет вовремя,— ответил Кент.— У меня есть солнечные часы.

— Никуда не годится! Стрелка может иметь отклонение на тридцать два градуса!

— Все точно выверено.

— А как ты выверял? По компасу?

— Нет. По Полярной звезде.

— Правда?

— Правда.

Кардиджи застонал и украдкой бросил взгляд на реку. Нарты уже одолевали подъем на расстоянии какой-нибудь мили от хижины, и собаки бежали легко, большими скачками.

— Далеко еще тень от черты?

Кент подошел к примитивным солнечным часам.

— В трех дюймах,— объявил он после внимательного исследования.

— Вот что, ты крикни: «Восемь склянок», прежде чем выстрелить. Хорошо?

Кент согласился, и некоторое время оба молчали. Ремни на руках матроса постепенно растягивались, и он начал сдвигать их с кистей вниз, к пальцам.

— Далеко еще до черты?

— Остался один дюйм.

Матрос осторожно задвигался, стараясь убедиться, что он сможет в нужный момент скатиться вниз, и снял с рук первый оборот ремней.

— Сколько осталось?

— Полдюйма.

Тут Кент услыхал скрип полозьев и оглянулся. Ездок лежал на нартах плашмя, собаки мчались во весь дух прямо к хижине. Кент быстро повернулся и поднял ружье к плечу.

— Восьми склянок еще нет! — запротестовал Кардиджи.— Раз так, я непременно буду тебе являться!

Джекоб Кент одну минуту колебался. Он стоял у солнечных часов, шагах в десяти от своей жертвы. Человек на нартах, должно быть, заметил, что у хижины происходит что-то необычное; он встал на колени, и его бич яростно засвистел над спинами собак.

Тень надвинулась на черту, Кент прицелился.

— Готовься! — торжественно скомандовал он.—Восемь скля...

Но на какую-нибудь долю секунды раньше, чем он договорил, Кардиджи скатился в яму. Кент не выстрелил и кинулся к обрыву. Бах! — ружье выпалило прямо в лицо матросу в тот момент, когда он поднимался с земли. Но из дула не показалось дыма; зато сбоку, у приклада, вспыхнуло яркое пламя — и Джекоб Кент упал на землю...

Собаки взлетели на берег и протащили нарты по его телу, а ездок соскочил в ту минуту, когда Джим Кардиджи, выпростав из ремней руки, лез из ямы.

— Джим! — узнав его, воскликнул приезжий.— Что случилось?

— Что случилось? Ничего. Просто я иногда проделываю такие небольшие упражнения для укрепления здо-

ровья. Что случилось? Ах ты олух проклятый! Развяжи меня сейчас же, не то я тебе покажу, что случилось! Живее, или я твоей башкой буду палубу драить!

— Уф! — вздохнул он, когда приезжий принялся работать своим карманным ножом.— Я и сам хотел бы знать, в чем тут дело. Может быть, ты мне это объяснишь, а?

Кент был уже мертв, когда они перевернули его на спину. Его ружье, шомпольное, старинного образца, лежало рядом. Ствол отделился от приклада, у правого курка зияла трещина с рваными краями длиной в несколько дюймов. Матрос, заинтересованный, поднял ружье. Из трещины брызнула сверкающая струя золотого песка. Тут только Джима Кардиджи осенила смутная догадка.

— Убей меня бог на этом самом месте! — заорал он.— Ну и номер! Так вот где было его проклятое золото! А нука, Чарли, тащи сюда таз, да поживее, черт возьми!

КОНЕЦ СКАЗКИ

I

Стол был из строганных вручную еловых досок, и людям, игравшим в вист, часто стоило усилий придвигать к себе взятки по его неровной поверхности. Они сидели в одних рубахах, и пот градом катился по их лицам, тогда как ноги, обутые в толстые мокасины и шерстяные чулки, зудели, пощипываемые морозом. Такова была разница температур в этой маленькой хижине. Железная юконская печка гудела, раскаленная докрасна, а в восьми шагах от нее, на полке, прибитой низко и ближе к двери, куски оленины и бекона совершенно замерзли. Снизу дверь на добрую треть была покрыта толстым слоем льда, да и в щелях между бревнами, за нарами, сверкал белый иней. Свет проникал в окошко, затянутое промасленной бумагой. Нижняя ее часть с внутренней стороны была тоже покрыта инеем в дюйм толщиной — это замерзала влага от человеческого дыхания.

Роббер был решающим: проигравшей паре предстояло сделать прорубь для рыбной ловли в семифутовой толще льда и снега, покрывавших Юкон.

— Такая вспышка мороза в марте — это редкость! —

заметил человек, тасовавший карты.— Сколько, по-вашему, градусов, Боб?

— Пожалуй, будет пятьдесят пять, а то и все шестьдесят ниже нуля. Как думаете, док?

Доктор повернул голову и посмотрел на дверь, словно измеряя взглядом толщину покрывавшего ее льда.

— Никак не больше пятидесяти. Или, может, даже поменьше, скажем, сорок девять. Посмотрите, лед на двери чуточку повыше отметки «пятьдесят», но верхний край его неровный. Когда мороз доходил до семидесяти, лед поднимался на целых четыре дюйма выше.

Он снова взял в руки карты и, тасуя их, крикнул в ответ на раздавшийся стук в дверь:

— Войдите!

Вошедший был рослый, плечистый швед. Впрочем, угадать его национальность стало возможно только тогда, когда он снял меховую ушанку и дал оттаять льду на бороде и усах, который мешал рассмотреть лицо. Тем временем люди за столом успели доиграть один круг.

— Я слышал, у вас здесь на стоянке доктор появился,— вопросительным тоном сказал швед, тревожно обводя всех глазами. Его измученное лицо говорило о перенесенных им долгих и тяжких испытаниях.— Я приехал издалека. С северной развилины Вайо.

— Я доктор. А что?

Вместо ответа человек выставил вперед левую руку с чудовищно распухшим указательным пальцем и стал отрывисто, бессвязно рассказывать, как стряслась с ним эта беда.

— Дайте погляжу,— нетерпеливо прервал его доктор.— Положите руку на стол. Сюда, вот так!

Швед осторожно, словно на пальце у него был большой нарыв, сделал то, что ему велели.

— Гм,— буркнул доктор,— растяжение сухожилия. Из-за этого вы тащились сюда за сто миль! Да ведь вправить его — дело одной секунды. Следите за мной — в другой раз вы сумеете проделать это сами.

Подняв вертикально ладонь, доктор без предупреждения со всего размаха опустил ее нижний край на распухший, скрюченный палец. Человек взревел от ужаса и боли. Крик был какой-то звериный, да и лицо у него было как у дикого зверя; казалось, он сейчас бросится на доктора, сыгравшего с ним такую шутку.

— Тише! Все в порядке! — резко и властно остановил его доктор.— Ну как? Полегчало, правда? В следующий раз вы сами это проделаете... Строзерс, вам сдавать! Кажется, мы вас обставили.

На туповатом, бычьем лице шведа выражалось облегчение и работа мысли. Острая боль прошла, и он с любопытством и удивлением рассматривал свой палец, осторожно сгибая и разгибая его. Потом полез в карман и достал мешочек с золотом.

— Сколько?

Доктор нетерпеливо мотнул головой.

— Ничего. Я не практикую. Ваш ход, Боб.

Швед тяжело потоптался на месте, снова осмотрел палец и с восхищением взглянул на доктора.

— Вы хороший человек. Звать-то вас как?

— Линдей, доктор Линдей,— поторопился ответить за доктора Строзерс, словно боялся, как бы тот не рассердился.

— День кончается,— сказал Линдей шведу, тасуя карты для нового круга.— Оставайтесь-ка лучше ночевать. Куда вы поедете в такой мороз? У нас есть свободная койка.

Доктор Линдей был статный и сильный на вид мужчина, брюнет с впалыми щеками и тонкими губами. Его гладко выбритое лицо было бледно, но в этой бледности не было ничего болезненного. Все движения доктора были быстры и точны. Он делал ходы не раздумывая долго, как другие. Его черные глаза смотрели прямо и пристально,— казалось, они видели человека насквозь. Руки, изящные, нервные, были как бы созданы для тонкой работы, и с первого же взгляда в них угадывалась сила.

— Опять наша! — объявил он, забирая последнюю взятку.— Теперь только доиграть роббер, и посмотрим, кому придется делать прорубь!

Снова раздался стук в дверь, и доктор опять крикнул:

— Войдите! Кажется, нам так и не дадут докончить этот роббер,— проворчал он, когда дверь отворилась.— А с вами что случилось? — Это относилось уже к вошедшему.

Новый пришелец тщетно пытался пошевелить губами, которые, как и щеки, были словно скованы льдом. Видимо, он пробыл в дороге много дней. Кожа на скулах,

должно быть, не раз была обморожена и даже почернела. От носа до подбородка сплошной лед — в нем виднелось лишь небольшое отверстие, которое человек растопил дыханием. В это отверстие он сплевывал табачный сок, который, стекая, замерз янтарной сосулькой, заостренной книзу, как ван-дейковская бородка.

Он молча кивнул головой, улыбаясь глазами, и подошел к печке, чтобы поскорее растаял лед, мешавший ему говорить. Он пальцами отдирал куски его, которые трещали и шипели, падая на печку.

— Со мной-то все в порядке,— произнес он наконец.— Но если есть в вашей компании доктор, так он до крайности нужен. На Литтл Пеко человек схватился с пантерой, и она его черт знает как изувечила.

— А далеко это? — осведомился доктор Линдей.

— Миль сто будет.

— И давно это с ним случилось?

— Я три дня сюда добирался.

— Плох?

— Плечо вывихнуто. Несколько ребер, наверное, сломано. Все тело изорвано до костей, только лицо цело. Две-три самые большие раны мы временно зашили, а жилы перетянули бечевками.

— Удружили человеку! — усмехнулся доктор.— А в каких местах эти раны?

— На животе.

— Ну, так теперь ему конец.

— Вовсе нет! Мы их сперва начисто промыли той жидкостью, которой насекомых травим, и только потом зашили — на время, конечно. Надергали ниток из белья — другого ничего не нашлось, но мы их тоже промыли.

— Можете уже считать его мертвецом,— дал окончательное заключение доктор, сердито перебирая карты.

— Ну нет, он не умрет! Не такой человек! Он знает, что я поехал за врачом, и сумеет продержаться до вашего приезда. Смерть его не одолеет. Я его знаю.

— Христианская наука — как способ лечить гангрену? — фыркнул доктор.— Впрочем, какое мне дело. Я ведь не практикую. И не подумаю ради покойника ехать за сто миль в пятидесятиградусный мороз.

— А я уверен, что поедете! Говорю вам, он не собирается помирать!

Линдей покачал головой.

— Жаль, что вы напрасно ездили в такую даль. Заночуйте-ка лучше здесь.

— Никак нельзя! Мы двинемся отсюда через десять минут.

— Почему вы так в этом уверены? — запальчиво спросил доктор.

Тут Том Доу разразился самой длинной речью в своей жизни:

— А потому, что он непременно дотянет до вашего приезда, хотя бы вы раздумывали целую неделю, прежде чем двинуться в путь. И к тому же при нем жена. Она — молодчина, не проронила ни слезинки и поможет ему продержаться до вашего приезда. Они друг в друге души не чают, и воля у нее сильная, как у него. Если он сдаст, она поддержит в нем дух и заставит жить. Да только он не сдаст, головой ручаюсь. Ставлю три унции золота против одной, что он будет живехонек, когда вы приедете. У меня на берегу стоит наготове собачья упряжка. Согласитесь только выехать через десять минут, и мы доберемся туда меньше чем в три дня, потому что поедем по проложенному следу. Ну, пойду к собакам и жду вас через десять минут.

Доу опустил наушники, надел рукавицы и вышел.

— Черт его побери! — крикнул Линдей, возмущенно глядя на захлопнувшуюся дверь.

II

В ту же ночь, когда было пройдено двадцать пять миль и давно наступила темнота, Линдей и Том Доу сделали остановку и разбили лагерь. Дело бы нехитрое, хорошо им знакомое: развести костер на снегу, а рядом, настлав еловых веток и покрыв их меховыми одеялами, устроить общую постель и протянуть по другую ее сторону брезент, чтобы сохранить тепло. Доу покормил собак, нарубил льда и веток для костра. Линдей, у которого щеки были словно обожжены морозом, подсел к огню и занялся стряпней. Они плотно поели, выкурили по трубке, пока сушились у костра мокасины, потом, завернувшись в одеяла, уснули мертвым сном здоровых и усталых людей.

Небывалый в это время года мороз к утру сдал. Температура, по расчетам Линдея, была примерно пятнадцать

ниже нуля, но уже начинала подниматься. Доу забеспокоился и объяснил доктору, что, если днем начнется весеннее таяние, каньон, через который лежит их путь, будет затоплен водой. А склоны у него высотой где в несколько сот футов, а где и в несколько тысяч. Подняться по ним можно, но это отнимет много времени.

В тот вечер, удобно расположившись в темном, мрачном ущелье и покуривая трубки, они уже жаловались на жару. Оба были того мнения, что температура впервые за полгода поднялась, должно быть, выше нуля.

— Ни один человек здесь, на Дальнем Севере, и не слыхивал про пантеру,— говорил Доу.— Рокки называет ее «кугуар». Но я много их убил у нас в Керри, в штате Орегон,— я ведь тамошний уроженец,—и там их называют пантерами. Как там ни называй, пантера или кугуар, а другой такой громадной кошки я сроду не видывал. Настоящее страшилище! И как ее занесло в такие дальние места, ума не приложу.

Линдей не поддерживал разговора, он уже клевал носом. От его мокасин, сушившихся на палках у огня, валил пар, но он этого не замечал и не повертывал их. Собаки, свернувшись пушистыми клубками, спали на снегу. Изредка потрескивали догорающие уголья, и эти звуки словно подчеркивали глубокую тишину.

Линдей вдруг очнулся и посмотрел на Доу, который, встретившись с ним взглядом, кивнул в ответ. Оба прислушались. Откуда-то издалека доносился неясный, тревожащий гул, который скоро перешел в зловещий рев и грохот. Он приближался, все набирая силы, неся через вершины гор, через глубины ущелий, склоняя перед собой лес, пригибая к земле тонкие сосны в расселинах каменных склонов, и путники уже понимали, что это за шум. Ветер бурный, но теплый, уже насыщенный запахами весны, промчался мимо, взметнув из костра целый дождь искр.

Проснувшиеся собаки сели и, подняв кверху унылые морды, завыли по-волчьи: долго, протяжно.

— Это Чинук,— сказал Доу.

— Значит, двинемся по реке?

— Конечно. Десять миль по ней пройдешь легче, чем одну по верхней дороге.— Доу долго и внимательно всматривался в Линдея.— А ведь мы уже идем пятнадцать часов! — крикнул он сквозь ветер, как бы испытывая Лин-

дея, и опять помолчал.— Док,— сказал он наконец,— вы не из трусливых?

Вместо ответа Линдей выбил трубку и стал натягивать сырые мокасины. Не прошло и нескольких минут, как собаки, борясь с ветром, стояли уже в упряжке, вся утварь и меховые одеяла, которыми людям так и не пришлось воспользоваться, лежали на нартах. Они снялись с лагеря и в темноте двинулись по следу, проложенному Доу почти неделю назад. Всю ночь ревел Чинук, а они шли и шли, понукая измученных собак, напрягая ослабевшие мускулы. Так прошли они еще двенадцать часов и остановились позавтракать после этого двадцатисемичасового пути.

— Часок можно соснуть,— сказал Доу после того, как они с волчьей жадностью проглотили несколько фунтов оленьей строганины, поджаренной с беконом.

Доу дал своему спутнику поспать не один, а два часа, но сам не решился глаз сомкнуть. Он занялся тем, что делал отметки на мягком, оседающем снегу. Снег оседал на глазах: за два часа его уровень понизился на три дюйма. Отовсюду доносилось заглушаемое вешним ветром, но близкое журчание невидимых вод. Литтл Пеко, приняв в себя бесчисленные ручейки, рвалась из зимнего плена, с грохотом и треском ломая ледяные оковы.

Доу тронул Линдея за плечо раз, другой, потом энергично растолкал его.

— Ну и спите же вы! — восхищенно шепнул он.— И можете проспать еще сколько угодно!

Усталые черные глаза под тяжелыми веками выразили благодарность за комплимент.

— Но спать больше никак нельзя. Рокки безобразно искалечен. Я вам уже говорил, что сам помогал зашивать ему нутро. Док! — снова встряхнул он Линдея, у которого смыкались глаза.— Послушайте, док! Я спрашиваю, можете ли вы двинуться дальше? Вы слышите? Я говорю, можете ли вы пройти еще немного?

Усталые собаки огрызались и скулили, когда их толчками подняли со сна. Шли медленно, делая не больше двух миль в час, и животные пользовались каждой возможностью залечь в мокрый снег.

— Еще миль двадцать, и мы выберемся из ущелья,— подбодрял спутника Доу.— А там хоть провались этот лед, нам все равно: мы двинемся берегом. И всего-то нам

остается пройти миль десять до стоянки. В самом деле, док, нам теперь до нее, можно сказать, рукой подать. А когда вы почините Рокки, вы сможете уже за один день доплыть в лодке к себе.

Но лед под ними становился все ненадежнее, отходя от берега и неустанно, дюйм за дюймом, громоздясь все выше. В тех местах, где он еще держался у берега, его захлестывало водой, и путники с трудом продвигались, шлепая по жиже талого снега и льда. Литтл Пеко сердито урчала. На каждом шагу, по мере того как они пробивались вперед, отвоевывая милю за милей, из которых каждая стоила десяти, пройденных верхней дорогой, появлялись всё новые трещины и полыньи.

— Садитесь на нарты, док, и вздремните немного,— предложил Доу.

Черные глаза глянули на него так грозно, что Доу не решился больше повторить свое предложение.

Уже в полдень выяснилось, что идти дальше невозможно. Льдины, увлекаемые быстрым течением вниз, ударялись о неподвижные еще участки льда. Собаки беспокойно визжали и рвались к берегу.

— Значит, выше река вскрылась,— объяснил Доу.— Скоро где-нибудь образуется затор, и вода станет с каждой минутой подниматься на фут. Придется нам, видно, идти верхней дорогой, если только сможем взобраться. Ну, пошли, док! Гоните собак во всю мочь. И подумать только, что на Юконе лед простоит еще не одну неделю!

Высокие стены каньона, очень узкого в этом месте, были слишком круты, чтобы подняться по ним. Линдею и Доу оставалось только идти вперед. И они шли, пока не случилось несчастье: словно взорвавшись, лед с грохотом раскололся пополам под самой упряжкой. Две средние в упряжке собаки провалились в полынью и, подхваченные течением, потащили за собой в воду переднюю. Эти три собаки, уносимые течением под лед, тянули за собой к краю льда визжавших остальных собак. Люди яростно боролись, стараясь задержать нарты, но нарты медленно тащили их вперед. Все кончилось в несколько секунд. Доу обрезал охотничьим ножом постромки коренника, и тот, слетев в полынью, сразу скрылся под водой. Путники стояли теперь на качавшейся под ногами льдине, которая, ударяясь то и дело о прибрежный лед и скалы, давала

трещины. Едва только успели они вытащить нарты на берег, как льдина перевернулась и ушла под воду.

Мясо и меховые одеяла они сложил в тюки, а нарты бросили. Линдея возмутило, что Доу берет на плечи тяжелый тюк, но тот настоял на своем.

— Вам хватит работы, когда прибудем на место. Пошли!

Был уже час дня, когда они начали карабкаться по склону. В восемь часов вечера они перевалили через верхний край каньона и целых полчаса лежали там, где свалились. Затем разожгли костер, сварили полный котелок кофе и поджарили огромную порцию оленьего мяса. Сначала, однако, Линдей прикинул в руках оба тюка и убедился, что его ноша вдвое легче.

— Железный вы человек, Доу! — восхитился он.

— Кто? Я? Полноте! Посмотрели бы вы на Рокки! Вот это так молодец! Он словно из платины вылит, из стали, из чистого золота, из самого что ни на есть крепкого материала. Я горец, но куда мне до него! Дома, в Керри, я, бывало, чуть не до смерти загонял всех наших ребят, когда мы охотились на медведя. И вот, когда сошлись мы с Рокки на первой охоте, я, грешным делом, думал утереть ему нос. Спустил собак со сворки и сам от них не отстаю, а за мной по пятам идет Рокки. Я знал, что долго ему не выдержать, и как приналег, как дал ходу! А он к концу второго часа все так же, не спеша, спокойно шагает за мной по пятам! Меня даже обида взяла. «Может, говорю, тебе хочется пройти вперед и показать мне, как ходят?» — «Ясно!» — говорит. И ведь показал! Я не отстал, но, по совести сказать, совсем замучился к тому времени, как мы загнали медведя.

Этот человек ни в чем удержу не знает! Никакой страх его не берет. Прошлой осенью, перед самыми заморозками, шли мы, он и я, к стоянке. Уже смеркалось. Я расстрелял все патроны на белых куропаток, а у Рокки еще оставался один. Тут вдруг собаки загнали на дерево медведицу гризли. Небольшую — фунтов на триста, но вы знаете, что такое гризли! «Не делай этого! — говорю я Рокки, когда он вскинул ружье.— У тебя единственный патрон, а темень такая — не видать, в кого целишься».

«Полезай, говорит, на дерево». На дерево я не полез, но когда медведица скатилась вниз, взбешенная и только задетая выстрелом,— скажу честно, пожалел я, что его не

послушался. Ну и попали в переделку! Дальше пошло и вовсе худо. Медведица прыгнула в яму под здоровый пень, фута в четыре высотой. С одного края собакам до нее никак не добраться, а с другого — крутая песчаная насыпь: собаки, ясное дело, и соскользнули вниз, прямо на медведицу. Назад им не выпрыгнуть, а медведица их, того и гляди, в куски растерзает. Кругом кусты, почти стемнело, а у нас ни единого патрона!

Что же делает Рокки? Ложится на пень, свешивает вниз руку с ножом и давай колоть зверя. Только дальше медвежьего зада ему не достать, а собакам вот-вот конец всем троим. Рокки в отчаянии: жалко ему своих собак. Вскочил на пень, ухватил медведя за огузок и вытащил его наверх. Тут как понесется вся честная компания — медведь, собаки и Рокки! Промчались футов двадцать, покатились вниз, рыча, ругаясь, царапаясь, и бултых в реку на десять футов в глубину, на самое дно. Все выплыли, кто как умел. Ну, медведя Рокки не достал, зато собак спас. Вот каков Рокки! Уж если он на что решился, ничто его не остановит.

На следующем привале Линдей услышал от Тома Доу, как с Рокки случилось несчастье.

— Прошел я вверх по реке, за милю от дома, искать подходящую березку для топорища. Возвращаюсь назад — слышу, кто-то отчаянно возится в том месте, где мы поставили медвежий капкан. Какой-то охотник бросил его за ненадобностью в старой яме для провианта, а Рокки опять наладил. «Кто ж это, думаю, возится?» Оказывается, Рокки с братом своим, Гарри. То один горланит и смеется, то другой, словно шла у них там какая-то игра. И надо же было придумать такую дурацкую забаву! Видал я у себя в Керри немало смелых парней, но эти всех перещеголяли. Попала к ним в капкан здоровенная пантера, и они по очереди стукали ее по носу палочкой. Выхожу я из-за куста, вижу — Гарри ударяет ее; потом отрубил конец у палочки, дюймов шесть, и передал палочку Рокки. Так постепенно палочка становилась все короче. Игра, выходит, была не так безопасна, как вы, может быть, думаете. Пантера пятилась, выгнув спину горбом, и так проворно увертывалась от палочки, словно в ней пружина какая-то сидела. Капкан защемил ей заднюю лапу, но она каждую минуту могла прыгнуть.

Люди, можно сказать, со смертью играли. Палочка де-

лалась все короче, а пантера все бешенее. Скоро от палочки почти ничего не осталось: дюйма четыре, не больше. Очередь была за Рокки. «Давай лучше бросим»,— говорит Гарри. «Это почему?» — спрашивает Рокки. «Да ведь если ты ударишь, для меня и палочки не останется»,— говорит Гарри. «Тогда ты выйдешь из игры, а я выиграю!» — со смехом отвечает Рокки и подходит к пантере.

Не хотел бы я опять увидеть такое! Кошка подалась назад, съежилась, словно вобрала в себя все шесть футов своей длины. А палочка-то у Рокки всего в четыре дюйма! Кошка и сгребла его. Схватились они — не видать, где он, где она! Стрелять нельзя! Хорошо, что Гарри изловчился и в конце концов всадил ей нож в горло.

— Знал бы я все это раньше, ни за что бы не поехал!— сказал Линдей.

Доу кивнул в знак согласия:

— Она так и говорила. И просила меня, чтоб я вам и словом не обмолвился насчет того, как это приключилось.

— Он что, сумасшедший? — сердито спросил Линдей.

— Оба они шальные какие-то — и он и брат его,— все время подбивают друг друга на всякие сумасбродства. Видал я, как они прошлой осенью переплывали пороги. Вода ледяная, дух захватывает, а по реке уже сало пошло. Это они об заклад бились. Что бы ни взбрело в голову, за все берутся! И жена у Рокки почти такая же. Ничего не боится. Только позволь ей Рокки — на все пойдет! Но он очень бережет ее. Обращается, как с королевой, никакой тяжелой работы делать не дает. Для того и наняли меня да еще одного человека за хорошее жалованье. Денег у них уйма. А уж любят друг друга как сумасшедшие!

«Похоже, здесь будет недурная охота»,— сказал Рокки, когда они прошлой осенью набрели на это место. «Ну что ж, давай здесь и устроимся»,— говорит Гарри. Я-то все время думал, что они золото ищут, а они за всю зиму и таза песку не промыли на пробу.

Раздражение Линдея еще усилилось.

— Терпеть не могу сумасбродов! Я, кажется, способен повернуть обратно!

— Нет, этого вы не сделаете! — уверенно возразил Доу.— И еды не хватит на обратный путь. А завтра мы будем уже на месте. Осталось только перевалить через последний водораздел и спуститься вниз к хижине. А глав-

ное, вы слишком далеко от дома, а я, будьте уверены, не дам вам повернуть назад!

Как ни был Линдей измучен, огонь сверкнул в его черных глазах. И Доу почувствовал, что переоценивает свою силу. Он протянул руку.

— Заврался. Извините, док. Я немного расстроен тем, что пропали мои собаки.

III

Не день, а три спустя, после того как на вершине их едва не замело снежной метелью, Линдей и Том Доу добрели наконец до хижины в плодородной долине, на берегу бурной Литтл Пеко. Войдя и очутившись в полутьме после яркого солнечного света, Линдей сперва не разглядел как следует обитателей хижины. Он только заметил, что их было трое — двое мужчин и женщина. Но они его не интересовали, и он прошел прямо к койке, на которой лежал раненый. Лежал он на спине, закрыв глаза, и Линдей заметил, что у него красиво очерченные брови и кудрявые каштановые волосы. Исхудавшее и бледное лицо казалось слишком маленьким для мускулистой шеи, но тонкие черты этого лица при всей его изможденности были словно изваяны резцом.

— Чем промывали? — спросил Линдей у женщины.

— Сулемой, обычным раствором.

Линдей быстро взглянул на женщину, бросил еще более быстрый взгляд на лицо больного и встал, резко выпрямившись. А женщина шумно и прерывисто задышала, усилием воли стараясь это скрыть. Линдей повернулся к мужчинам.

— Уходите отсюда! Займитесь колкой дров, чем угодно, только отсюда уходите!

Один из них стоял в нерешимости.

— Случай очень серьезный. Мне надо поговорить с его женой,— продолжал Линдей.

— Но я его брат,— возразил тот.

Женщина умоляюще взглянула на него. Он нехотя направился к двери.

— И мне вон идти? — спросил Доу, сидевший на скамье, на которую плюхнулся, как только вошел.

— И вам.

Линдей принялся осматривать больного, дожидаясь, когда хижина опустеет.

— Так это и есть твой Рекс Стрэнг?

Женщина бросила взгляд на лежащего, словно хотела удостовериться, что это в самом деле он, потом молча посмотрела в глаза Линдею.

— Что же ты молчишь?

Она пожала плечами.

— К чему говорить? Ты ведь знаешь, что это Рекс Стрэнг.

— Благодарю. Хотя я мог бы тебе напомнить, что вижу его впервые. Садись.— Доктор указал ей на табурет, а сам сел на скамью.— Я отчаянно устал. Шоссейной дороги от Юкона сюда еще не провели.

Он вынул из кармана перочинный нож и стал вытаскивать занозу из своего большого пальца.

— Что ты думаешь делать? — спросила она, подождав минуту.

— Поесть и отдохнуть, прежде чем пущусь в обратный путь.

— Я спрашиваю, что ты сделаешь, чтобы ему помочь? — Женщина движением головы указала на человека, лежавшего без сознания.

— Ничего.

Женщина подошла к койке, легко провела пальцами по тугим завиткам волос.

— Ты хочешь сказать, что убьешь его? — медленно проговорила она.— Дашь ему умереть без помощи? А ведь, если ты захочешь, ты можешь спасти его.

— Понимай как знаешь.— Линдей подумал и сказал с хриплым смешком: — С незапамятных времен в этом дряхлом мире именно таким способом частенько избавлялись от похитителей чужих жен.

— Ты несправедлив, Грант,— возразила она тихо.— Ты забываешь, что то была моя воля, что я сама этого захотела. Рекс не увел меня. Это ты сам меня потерял. Я ушла с ним добровольно, с радостью. С таким же правом ты мог бы обвинить меня, что я его увела. Мы ушли вместе.

— Удобная точка зрения! — сказал Линдей.— Я вижу, ум у тебя так же остер, как был. Стрэнга это, должно быть, утомляло?

— Мыслящий человек способен и сильно любить...

— И в то же время действовать разумно,— вставил Линдей.

— Значит, ты признаешь, что я поступила разумно?

Он поднял руки к небу.

— Черт возьми, вот что значит говорить с умной женщиной! Мужчина всегда это забывает и попадает в ловушку. Я не удивился бы, узнав, что ты покорила его каким-нибудь силлогизмом.

Ответом была тень улыбки в пристальном взгляде синих глаз. Все ее существо словно излучало женскую гордость.

— Нет, нет, беру свои слова обратно. Будь ты даже безмозглой дурой, все равно ты пленила бы его и кого угодно — лицом, фигурой, всем!.. Кому, как не мне, знать это! Черт возьми, я все еще не покончил с этим.

Он говорил быстро, нервно, раздраженно и, как всегда (Медж это знала), искренне. Она ответила только на его последние слова:

— Ты еще помнишь Женевское озеро?

— Еще бы! Я был там до нелепости счастлив.

Она кивнула головой, и глаза ее засветились.

— От прошлого не уйдешь. Прошу тебя, Грант, вспомни... на одну только минуту... вспомни, чем мы были друг для друга... И тогда...

— Вот чем ты хочешь меня подкупить,— улыбнулся он и снова принялся за свой палец. Он вынул занозу, внимательно рассмотрел ее, затем сказал: — Нет, благодарю. Я не гожусь для роли доброго самаритянина.

— Но ведь ты прошел такой трудный путь ради незнакомого человека,— настаивала она.

Линдея наконец прорвало:

— Неужели ты думаешь, что я сделал бы хоть один шаг, если бы знал, что это любовник моей жены?

— Но ты уже здесь... Посмотри, в каком он состоянии! Что ты сделаешь?

— Ничего. С какой стати? Он ограбил меня.

Она хотела что-то еще сказать, но в дверь постучали.

— Убирайтесь вон! — закричал Линдей.

— Может, вам нужно помочь?

— Уходите, говорю! Принесите только ведро воды и поставьте его у двери.

— Ты хочешь...— начала она, вся дрожа.

— Умыться.

Она отшатнулась, пораженная такой бесчеловечностью, и губы ее плотно сжались.

— Слушай, Грант,— сказала она твердо.— Я все расскажу его брату. Я знаю Стрэнгов. Если ты способен забыть старую дружбу, я тоже ее забуду. Если ты ничего не сделаешь, Гарри убьет тебя. Да что! Даже Том Доу сделает это, если я попрошу.

— Мало же ты меня знаешь, что угрожаешь мне! — серьезно упрекнул он ее, потом с усмешкой добавил: — К тому же не понимаю, чем, собственно, моя смерть поможет твоему Рексу Стрэнгу?

Она судорожно вздохнула, но тут же крепко стиснула губы, заметив, что от его зорких глаз не укрылся бивший ее озноб.

— Это не истерика, Грант! — торопливо воскликнула она, стуча зубами.— Ты знаешь, что со мной никогда не бывает истерик. Не знаю, что со мной, но я справлюсь с этим. Просто меня одолело все сразу: и гнев на тебя, и страх за него. Я не хочу потерять его. Я его люблю, Грант! И я провела у его изголовья столько ужасных дней и ночей! О Грант, умоляю... умоляю тебя...

— Просто нервы! — сухо заметил Линдей.— Перестань! Ты можешь взять себя в руки. Если бы ты была мужчиной, я рекомендовал бы тебе покурить.

Она, шатаясь, подошла к табурету и, сев, наблюдала за ним, силясь овладеть собой. За грубо сложенным очагом затрещал сверчок. За дверью грызлись две овчарки. Видно было, как грудь больного поднимается и опускается под меховыми одеялами. Губы Линдея сложились в улыбку, не предвещавшую ничего хорошего.

— Ты сильно его любишь? — спросил он.

Грудь ее бурно вздымалась, глаза ярко заблестели. Она глядела на него гордо, не тая страсти. Линдей кивнул в знак того, что ответ ему ясен.

— Давай потолкуем еще немного.— Он помолчал, словно обдумывая, с чего начать.— Мне вспомнилась одна прочитанная мною сказка. Написал ее, кажется, Герберт Шоу. Я хочу ее тебе рассказать... Жила-была одна женщина, молодая, прекрасная. И мужчина, замечательный человек, влюбленный в красоту. Он любил странствовать. Не знаю, насколько он был похож на твоего Рекса Стрэнга,

но, кажется, сходство есть. Человек этот был художник, по натуре цыган, бродяга. Он целовал ее, целовал часто и горячо в течение нескольких недель. Потом ушел от нее. Она любила его так, как ты, мне кажется, любила меня... там, на Женевском озере. Десять лет она плакала от тоски по нем, и в слезах истаяла ее красота. Некоторые женщины, видишь ли, желтеют от горя: оно нарушает обмен веществ.

Потом случилось так, что человек этот ослеп и через десять лет, приведенный за руку, как ребенок, вернулся опять к ней. У него ничего не осталось в жизни. Он не мог больше писать. А она была счастлива. И радовалась, что он не может увидеть ее лицо. (Вспомни, он поклонялся красоте.) Он снова держал ее в объятиях, целовал и верил, что она прекрасна. Он сохранил живое воспоминание о ее красоте и не переставал говорить о ней и горевать, что не видит ее.

Однажды он рассказал ей о пяти больших картинах, которые ему хотелось бы написать. Если бы к нему вернулось зрение, он, написав их, мог бы сказать: «Конец!» — и успокоиться. И вот каким-то образом в руки этой женщины попадает волшебный эликсир: стоит ей только смочить им глаза возлюбленному, и зрение вернется к нему полностью.

Линдей передернул плечами.

— Ты понимаешь, какую душевную борьбу она переживала? Прозрев, он напишет пять картин, но ее он тогда покинет, ведь красота — его религия. Он не в силах будет смотреть на ее обезображенное лицо. Пять дней она боролась с собой, потом смочила ему глаза этим эликсиром...

Линдей замолчал и пытливо посмотрел на женщину. Какие-то огоньки зажглись в блестящей черноте его зрачков.

— Вопрос в том, любишь ли ты Рекса Стрэнга так же сильно?

— А если да?

— Действительно любишь?

— Да.

— И ты способна ради него на жертву? Можешь от него отказаться?

Медленно, с усилием она ответила:

— Да.

— И ты уйдешь со мной?

На этот раз голос ее перешел в едва слышный шепот:

— Когда он поправится, да.

— Пойми, то, что было на Женевском озере, должно повториться. Ты станешь опять моей женой.

Она вся съежилась и поникла, но утвердительно кивнула головой.

— Очень хорошо! — Линдей быстро встал, подошел к своей сумке и стал расстегивать ремни.— Мне понадобится помощь. Зови сюда его брата. Зови всех... Нужен будет кипяток, как можно больше кипятку. Бинты я привез, но покажи, какой еще перевязочный материал у вас имеется. Эй, Доу, разведите огонь и принимайтесь кипятить воду — всю, сколько ее есть под рукой. А вы,— обратился он к Гарри,— вынесите стол из хижины вон туда, под окно. Чистите, скребите, шпарьте его кипятком. Чистите, чистите, как никогда не чистили ни одной вещи! Вы, миссис Стрэнг, будете мне помогать. Простыней, вероятно, нет? Ничего, как-нибудь обойдемся. Вы его брат, сэр? Я дам ему наркоз, а вам придется затем давать еще по мере надобности. Теперь слушайте: я научу вас, что надо делать. Прежде всего — умеете вы следить за пульсом?

IV

Линдей славился как смелый и способный хирург, а в последующие дни он превзошел самого себя.

Потому ли, что Стрэнг был страшно изувечен, или потому, что помощь сильно запоздала, только Линдей впервые столкнулся с таким трудным случаем. Правда, никогда еще ему не приходилось иметь дело с более здоровым образчиком человеческой породы, но он потерпел бы неудачу, если б не кошачья живучесть больного, его почти сверхъестественная физическая и душевная жизнестойкость.

Были дни очень высокой температуры и бреда; дни полного упадка сердечной деятельности, когда пульс у Стрэнга бился едва слышно; дни, когда он был в сознании, лежал с открытыми глазами, усталыми и глубоко запавшими, весь в поту от боли. Линдей был неутомим, энергичен и беспощадно требователен, смел до дерзости и добивался удачных результатов, рискуя раз за разом и вы-

игрывая. Ему мало было того, что его пациент останется жив. Он поставил себе сложную и рискованную задачу: сделать его таким же сильным и здоровым, как прежде.

— Он останется калекой? — спрашивала Медж.

— Он сможет не только ходить, говорить, будет не просто жалким подобием прежнего Стрэнга, нет, он будет бегать, прыгать, переплывать пороги, кататься верхом на медведях, бороться с пантерами — словом, удовлетворять свои самые безумные прихоти. И предупреждаю: он станет по-прежнему кумиром всех женщин. Как ты на это смотришь? Довольна? Не забывай: тебя-то с ним не будет.

— Продолжай, продолжай свое дело,— отвечала она беззвучно.— Верни ему здоровье. Сделай его опять таким, каким он был.

Не раз, когда состояние больного позволяло, Линдей усыплял его и проделывал самые рискованные и трудные операции: он резал, сшивал, связывал воедино части разрушенного организма. Как-то он заметил, что у больного плохо действует левая рука. Стрэнг мог поднимать ее только до определенной высоты, не дальше. Линдей стал доискиваться причины.

Оказалось, что в этом виноваты несколько скрученных и разорванных связок. Он снова принялся резать, расправлять, вытягивать и распутывать. Спасали Стрэнга только его поразительная живучесть и здоровый от природы организм.

— Вы убьете его! — запротестовал Гарри.— Оставьте его в покое! Ради бога, оставьте его в покое! Лучше живой калека, чем полностью починенный труп.

Линдей вспыхнул от гнева.

— Убирайтесь вон! Вон из хижины, пока вы, подумав, не признаете, что я ему возвращаю этим жизнь! Следовало бы поддерживать меня, а не ворчать. Жизнь вашего брата все еще висит на волоске. Понятно? Дуньте на нее — и она может оборваться. Теперь ступайте отсюда и возвращайтесь спокойным и бодрым и, вопреки всему, уверенным, что он будет жить и станет опять таким, каким был, пока вам обоим не вздумалось свалять дурака.

Гарри с угрожающим видом, сжав кулаки, оглянулся на Медж, как бы спрашивая совета.

— Уйди, пожалуйста, уйди! — взмолилась она.— Доктор прав. Я знаю, что он прав.

В другой раз, когда состояние Стрэнга не внушало уже тревоги, брат его сказал:

— Док, вы чудодей! А я за все время не подумал даже спросить, как ваша фамилия.

— Не ваше дело! Уходите, не мешайте!

Процесс заживления истерзанной правой руки неожиданно приостановился, страшная рана опять вскрылась.

— Наркоз,— сказал Линдей.

— Теперь ему конец! — простонал брат.

— Замолчите! — прикрикнул на него Линдей.— Ступайте вместе с Доу, возьмите и Билла — добудьте мне зайцев... живых и здоровых! Наловите их силками. Повсюду расставьте силки.

— Сколько зайцев вам надо?

— Сорок... четыре тысячи... сорок тысяч... сколько сможете добыть! А вы, миссис Стрэнг, будете мне помогать. Я хочу покопаться в этой руке, посмотреть, в чем дело. А вы, ребята, ступайте за зайцами.

Он глубоко вскрыл рану, быстро и умело отскоблил разлагающуюся кость и определил, насколько далеко прошло загнивание.

— Этого, конечно, никогда бы не случилось,— объяснил он Медж,— если б у него не оказалось такого множества других поражений, которые потребовали в первую очередь всех его жизненных сил. Даже такому жизнеспособному организму, как у него, трудно справиться со всем. Я это видел, но мне ничего другого не оставалось, как ждать и рисковать... Вот этот кусок кости придется удалить. Обойдется без него. Я заменю его заячьей косточкой, которая сделает руку такой, какой она была.

Из сотни принесенных зайцев Линдей отобрал нескольких, испытал их пригодность, потом сделал окончательный выбор. Усыпив Стрэнга остатками хлороформа, он произвел пересадку, привив живую кость зайца к живой кости человека, чтобы общий отныне физиологический процесс в них помог сделать руку вполне здоровой.

И все это трудное время, особенно когда Стрэнг начал поправляться, между Линдеем и Медж изредка возникали короткие разговоры. Доктор не смягчался, она не проявляла строптивости.

— Это хлопотливое дело! — говорил он.— Но закон есть закон, и тебе придется взять развод, чтобы мы могли

опять пожениться. Что ты на это скажешь? Поедем на Женевское озеро?

— Как хочешь! — отвечала она.

А в другой раз он сказал:

— Ну что ты, черт возьми, в нем нашла? У него было много денег, знаю. Но ведь и мы с тобой жили, можно сказать, с комфортом. Практика давала мне в среднем тысяч сорок в год, я проверял потом по приходной книге. В сущности, тебе не хватало разве только собственных яхт и дворцов.

— А знаешь, я, кажется, сейчас поняла, в чем дело. Все, вероятно, произошло потому, что ты был слишком занят своей практикой и мало думал обо мне.

— Вот как! — насмешливо буркнул Линдей.— А может, твой Рекс слишком поглощен пантерами и короткими палочками?

Он беспрестанно добивался от нее объяснения, чем Стрэнг так ее пленил.

— Этого не объяснишь,— всегда отвечала она.

И наконец однажды ответ ее прозвучал резко:

— Никто не может объяснить, что такое любовь, и я — меньше всякого другого. Я узнала любовь, божественную, непреодолимую,— вот и все. В форте Ванкувер какой-то магнат из Компании Гудзонова залива был недоволен местным священником англиканской церкви. Последний в письмах домой, в Англию, жаловался, что служащие Компании, начиная с главного уполномоченного, грешат с индианками. «Почему вы умолчали о смягчающих обстоятельствах?» — спросил у него магнат. Священник ответил: «Хвост у коровы растет книзу. Я не могу объяснить, почему коровий хвост растет книзу. Я только констатирую факт».

— К черту умных женщин! — закричал Линдей. Глаза его сверкали гневом.

— Что тебя привело на Клондайк? — спросила Медж.

— У меня было слишком много денег и не было жены, чтоб их тратить. Захотелось отдохнуть — должно быть, переутомился. Я сначала уехал в Колорадо. Но пациенты забросали меня телеграммами, а некоторые явились в Колорадо. Я переехал в Сиэтл — та же история, Ренсом отправил специальным поездом ко мне свою больную жену. Отвертеться было невозможно. Операция удалась. Местные газеты пронюхали об этом. Остальное ты сама можешь

себе представить! Я хотел от всех скрыться, удрал на Клондайк. И вот когда я спокойно играл в вист в юконской хижине, меня и тут разыскал Том Доу...

Настал день, когда постель Стрэнга вынесли на воздух.

— Разреши мне теперь сказать ему,— попросила Медж.

— Нет, подожди еще,— ответил Линдей.

Скоро Стрэнг мог уже сидеть, спустив ноги с койки, потом сделал первые несколько неверных шагов, поддерживаемый с обеих сторон.

— Пора сказать ему,— твердила Медж.

— Нет. Я хочу прежде довести работу до конца. Чтобы не было никаких недоделок! Левая рука еще плоховато действует. Это мелочь, но я хочу воссоздать его таким, каким его сотворил бог. Завтра снова вскрою руку и устраню дефект. Придется Стрэнгу опять два дня лежать на спине. Жаль, что хлороформ весь вышел. Ну да ничего, стиснет зубы и вытерпит. Он сумеет это сделать. Выдержки у него на десятерых хватит.

Пришло лето. Снег растаял и лежал еще только на дальних вершинах Скалистых гор, на востоке. Дни становились все длиннее, и уже совсем больше не темнело, только в полночь солнце, клонясь к северу, скрывалось на несколько минут за горизонтом.

Линдей не отходил от Стрэнга. Он изучал его походку, движения тела, снова и снова раздевая его догола и заставляя в тысячный раз сгибать все мускулы. Массаж ему делали без конца, пока Линдей не объявил, что Том Доу, Билл и Гарри здорово натренировались и могли бы стать массажистами в турецких банях или клинике костных болезней. Однако доктор все еще не был удовлетворен. Он заставил Стрэнга проделать целый комплекс физических упражнений, все опасаясь каких-нибудь скрытых изъянов. Он опять уложил его в постель на целую неделю, проделал несколько ловких операций над мелкими венами, скоблил на кости какое-то местечко величиной с кофейное зернышко до тех пор, пока не показалась здоровая, розовая поверхность, к которой он подсадил живую ткань.

— Позволь мне наконец сказать ему! — умоляла Медж.

— Еще не время,— был ответ.— Скажешь ему, когда лечение будет закончено.

Прошел июль, близился к концу август. Линдей велел

Стрэнгу идти на охоту за оленем. Сам он шел за ним по пятам и наблюдал. Стрэнг снова обрел чисто кошачью гибкость — такой походки, как у него, Линдей не видел ни у одного человека. Стрэнг двигался без малейших усилий — казалось, он может поднимать ноги чуть не вровень с плечами так легко и грациозно, что быстрота его шага на первый взгляд была незаметна. Это был тот убийственно скорый шаг, на который жаловался Том Доу. Линдей с трудом поспевал за своим пациентом и время от времени, где позволяла дорога, даже бежал, чтобы не отстать от него. Пройдя так миль десять, он остановился и растянулся на мху.

— Хватит! — крикнул он Стрэнгу.— Не могу угнаться за вами!

Он утирал разгоряченное лицо, а Стрэнг уселся на еловый пень, улыбаясь доктору, глядя вокруг с тем радостным чувством близости к природе, которое знакомо лишь пантеистам.

— Нигде не колет, не режет, не болит? Ни намека на боль? — спросил Линдей.

Стрэнг отрицательно покачал головой и блаженно потянулся всем своим гибким телом.

— Ну, значит, все в порядке, Стрэнг. Зиму-другую холод и сырость будут еще отзываться болью в старых ранах. Но это пройдет. А может быть, этого и вовсе не будет.

— Боже мой, доктор, вы совершили чудо! Не знаю, как вас и благодарить... Я до сих пор даже не знаю вашего имени!

— Это неважно. Помог вам выпутаться — вот что главное.

— Но ваше имя должно быть известно многим! — настаивал Стрэнг.— Держу пари, что оно и мне окажется знакомым, если вы его назовете.

— Думаю, что да. Но это ни к чему. Теперь еще одно последнее испытание — и я вас оставлю в покое. За водоразделом, у самого своего истока, эта речка имеет приток, Биг Винди. Доу мне рассказывал, что в прошлом году вы за три дня дошли до средней развилины и вернулись обратно. Он говорил, что вы его чуть не уморили. Так вот, заночуйте здесь, а я пришлю вам Доу со всем, что нужно в дорогу. Вам дается задание: дойти до средней развилины и вернуться обратно за такой же срок, как в прошлом году.

V

— Ну,— сказал Линдей, обращаясь к Медж,— даю тебе час времени на сборы, а я иду за лодкой. Билл отправился на охоту за оленем и не вернется дотемна. Мы еще сегодня будем в моей хижине, а через неделю — в Доусоне.

— А я надеялась...— Медж из гордости не договорила.

— Что я откажусь от платы?

— Нет, договор есть договор, но тебе не следовало быть таким жестоким: зачем ты отослал его на три дня, не дав мне проститься с ним? Это нечестно!

— Оставь ему письмо.

— Да, я все ему напишу.

— Утаить что-либо было бы несправедливо по отношению ко всем троим,— сказал Линдей.

Когда он вернулся с лодкой, вещи Медж были уже сложены, письмо написано.

— Если ты не возражаешь, я прочту его.

После минутного колебания она протянула ему письмо.

— Достаточно прямо и откровенно,— сказал Линдей, прочтя его.— Ну, ты готова?

Он отнес ее вещи на берег и, став на колени, одной рукой удерживая челнок на месте, другую протянул Медж, помогая ей войти. Линдей внимательно следил за ней, но Медж, не дрогнув, протянула ему руку, готовясь переступить через борт.

— Постой! — сказал он.— Одну минуту! Ты помнишь сказку о волшебном эликсире, которую я тебе рассказывал? Я ведь тогда ее недосказал. Слушай! Смочив ему глаза и готовясь уйти, та женщина случайно взглянула в зеркало и увидела, что красота вернулась к ней. А художник, прозрев, вскрикнул от радости, увидев, как она прекрасна, и сжал ее в объятиях...

Медж ждала, стараясь не выдать своих чувств. Лицо ее вдруг выразило легкое недоумение.

— Ты очень красива, Медж...— Линдей сделал паузу, потом сухо добавил: — Остальное ясно. Думаю, что объятия Стрэнга недолго останутся пустыми. Прощай.

— Грант! — промолвила она почти шепотом, и голос ее сказал ему все то, что понятно и без слов.

Линдей рассмеялся коротким, неприятным смехом.

— Я только хотел тебе доказать, что я не так уж плох: как видишь, плачу добром за зло.

— Грант!

— Прощай! — Он вошел в лодку и протянул Медж свою гибкую, нервную руку.

Медж сжала ее в своих.

— Дорогая, мужественная рука! — прошептала она и, наклонившись, поцеловала ее.

Линдей резко выдернул руку, оттолкнул лодку от берега и направил туда, где зеркальная вода уже вскипала белой клокочущей пеной.

СКАЗАНИЕ О КИШЕ

Давным-давно у самого Полярного моря жил Киш. Долгие и счастливые годы был он первым человеком в своем поселке, умер, окруженный почетом, и имя его было у всех на устах. Так много воды утекло с тех пор, что только старики помнят его имя, помнят и правдивую повесть о нем, которую они слышали от своих отцов и которую сами передадут своим детям и детям своих детей, а те — своим, и так она будет переходить из уст в уста до конца времен. Зимней полярной ночью, когда северная буря завывает над ледяными просторами, а в воздухе носятся белые хлопья и никто не смеет выглянуть наружу, хорошо послушать рассказ о том, как Киш, что вышел из самой бедной иглу [1], достиг почета и занял высокое место в своем поселке.

Киш, как гласит сказание, был смышленым мальчиком, здоровым и сильным, и видел уже тринадцать солнц. Так считают на Севере годы, потому что каждую зиму солнце оставляет землю во мраке, а на следующий год поднимается над землей новое солнце, чтобы люди снова могли согреться и поглядеть друг другу в лицо. Отец Киша был отважным охотником и встретил смерть в голодную годину, когда хотел отнять жизнь у большого полярного медведя, дабы даровать жизнь своим соплеменникам.

---

[1] Иглу — хижины канадских эскимосов, сложенные из снежных плит.

Один на один он схватился с медведем, и тот переломал ему все кости; но на медведе было много мяса, и это спасло народ. Киш был единственным сыном, и, когда погиб его отец, он стал жить вдвоем с матерью. Но люди быстро все забывают, забыли и о подвиге его отца, а Киш был всего только мальчик, мать его — всего только женщина, и о них тоже забыли, и они жили так, забытые всеми, в самой бедной иглу.

Но как-то вечером в большой иглу вождя Клош-Квана собрался совет, и тогда Киш показал, что в жилах у него горячая кровь, а в сердце — мужество мужчины, и он ни перед кем не станет гнуть спину. С достоинством взрослого он поднялся и ждал, когда наступит тишина и стихнет гул голосов.

— Я скажу правду,— так начал он.— Мне и матери моей дается положенная доля мяса. Но это мясо часто бывает старое и жесткое, и в нем слишком много костей.

Охотники — и совсем седые, и только начавшие седеть, и те, что были в расцвете лет, и те, что были еще юны,— все разинули рты. Никогда не доводилось им слышать подобных речей. Чтобы ребенок говорил, как взрослый мужчина, и бросил им в лицо дерзкие слова!

Но Киш продолжал твердо и сурово:

— Мой отец, Бок, был храбрым охотником, вот почему я говорю так. Люди рассказывают, что Бок один приносил больше мяса, чем любые два охотника, даже из самых лучших, что своими руками он делил это мясо и своими глазами следил за тем, чтобы самой старой старухе и самому хилому старику досталась справедливая доля.

— Вон его! — закричали охотники.— Уберите отсюда этого мальчишку! Уложите его спать. Мал он еще разговаривать с седоголовыми мужчинами.

Но Киш спокойно ждал, пока не уляжется волнение.

— У тебя есть жена, Уг-Глук,— сказал он,— и ты говоришь за нее. А у тебя, Массук,— жена и мать, и за них ты говоришь. У моей матери нет никого, кроме меня, и потому говорю я. И я сказал: Бок погиб потому, что он был храбрым охотником, а теперь я, его сын, и Айкига, мать моя, которая была его женой, должны иметь вдоволь мяса до тех пор, пока есть вдоволь мяса у племени. Я, Киш, сын Бока, сказал.

Он сел, но уши его чутко прислушивались к буре протеста и возмущения, вызванной его словами.

— Разве мальчишка смеет говорить на совете? — прошамкал старик Уг-Глук.

— С каких это пор грудные младенцы стали учить нас, мужчин? — зычным голосом спросил Массук.— Или я уже не мужчина, что любой мальчишка, которому захотелось мяса, может смеяться мне в лицо?

Гнев их кипел ключом. Они приказали Кишу сейчас же идти спать, грозили совсем лишить его мяса, обещали задать ему жестокую порку за дерзкий поступок. Глаза Киша загорелись, кровь забурлила и жарким румянцем прилила к щекам. Осыпаемый бранью, он вскочил с места.

— Слушайте меня, вы, мужчины! — крикнул он.— Никогда больше не стану я говорить на совете, никогда — прежде чем вы не придете ко мне и не скажете: «Говори, Киш, мы хотим, чтобы ты говорил». Так слушайте же, мужчины, мое последнее слово. Бок, мой отец, был великий охотник. Я, Киш, его сын, тоже буду охотиться и приносить мясо и есть его. И знайте отныне, что дележ моей добычи будет справедлив. И ни одна вдова, ни один беззащитный старик не будет больше плакать ночью оттого, что у них нет мяса, в то время как сильные мужчины стонут от тяжкой боли, ибо съели слишком много. И тогда будет считаться позором, если сильные мужчины станут объедаться мясом! Я, Киш, сказал все.

Насмешками и глумлением проводили они Киша, когда он выходил из иглу, но он стиснул зубы и пошел своей дорогой, не глядя ни направо, ни влево.

На следующий день он направился вдоль берега, где земля встречается со льдами. Те, кто видел его, заметили, что он взял с собой лук и большой запас стрел с костяными наконечниками, а на плече нес большое охотничье копье своего отца. И много было толков и много смеха по этому поводу. Это было невиданное событие. Никогда не случалось, чтобы мальчик его возраста ходил на охоту, да еще один. Мужчины только покачивали головой да пророчески что-то бормотали, а женщины с сожалением смотрели на Айкигу, лицо которой было строго и печально.

— Он скоро вернется,— сочувственно говорили женщины.



— Пусть идет. Это послужит ему хорошим уроком,— говорили охотники.— Он вернется скоро, тихий и покорный, и слова его будут кроткими.

Но прошел день и другой, и на третий поднялась жестокая пурга, а Киша все не было. Айкига рвала на себе волосы и вымазала лицо сажей в знак скорби, а женщины горькими словами корили мужчин за то, что они плохо обошлись с мальчиком и послали его на смерть; мужчины же молчали, готовясь идти на поиски тела, когда утихнет буря.

Однако на следующий день рано утром Киш появился в поселке. Он пришел с гордо поднятой головой. На плече он нес часть туши убитого им зверя. И поступь его стала надменной, а речь звучала дерзко.

— Вы, мужчины, возьмите собак и нарты и ступайте по моему следу,— сказал он.— За день пути отсюда найдете много мяса на льду — медведицу и двух медвежат.

Айкига была вне себя от радости. Он же принял ее восторги, как настоящий мужчина, сказав:

— Идем, Айкига, надо поесть. А потом я лягу спать, потому что я устал.

И он вошел в иглу и сытно поел, после чего спал двадцать часов подряд.

Сначала было много сомнений, много сомнений и споров. Выйти на полярного медведя — дело опасное, но три-

жды и три раза трижды опаснее выйти на медведицу с медвежатами. Мужчины не могли поверить, что мальчик Киш один, совсем один, совершил такой великий подвиг. Но женщины рассказали о свежем мясе только что убитого зверя, которое принес Киш, и это поколебало их недоверие. И вот наконец они отправились в путь, ворча, что если даже Киш и убил зверя, то, верно, он не позаботился освежевать его и разделать тушу. А на Севере это нужно делать сразу, как только зверь убит, иначе мясо замерзнет так крепко, что его не возьмет даже самый острый нож; а взвалить мороженую тушу в триста фунтов на нарты и везти по неровному льду — дело нелегкое. Но, придя на место, они увидели то, чему не хотели верить: Киш не только убил медведей, но рассек туши на четыре части, как истый охотник, и удалил внутренности.

Так было положено начало тайне Киша. Дни шли за днями, и тайна эта оставалась неразгаданной. Киш снова пошел на охоту и убил молодого, почти взрослого медведя, а в другой раз — огромного медведя-самца и его самку. Обычно он уходил на три-четыре дня, но бывало, что пропадал среди ледяных просторов и целую неделю. Он никого не хотел брать с собой, и народ только диву давался. «Как он это делает? — спрашивали охотники друг у друга.— Даже собаки не берет с собой, а ведь собака — большая подмога на охоте».

— Почему ты охотишься только на медведя? — спросил его как-то Клош-Кван.

И Киш сумел дать ему надлежащий ответ:

— Кто же не знает, что только на медведе так много мяса!

Но в поселке стали поговаривать о колдовстве.

— Злые духи охотятся вместе с ним,— утверждали одни.— Поэтому его охота всегда удачна. Чем же иначе можно это объяснить, как не тем, что ему помогают злые духи?

— Кто знает! А может, это не злые духи, а добрые? — говорили другие.— Ведь его отец был великим охотником. Может, он теперь охотится вместе с сыном и учит его терпению, ловкости и отваге. Кто знает!

Так или не так, но Киша не покидала удача, и нередко менее искусным охотникам приходилось доставлять в поселок его добычу. И в дележе он был справедлив. Так же,

как и отец его, он следил за тем, чтобы самый хилый старик и самая старая старуха получали справедливую долю, а себе оставлял ровно столько, сколько нужно для пропитания. И поэтому-то и еще потому, что он был отважным охотником, на него стали смотреть с уважением и побаиваться его и начали говорить, что он должен стать вождем после смерти старого Клош-Квана. Теперь, когда он прославил себя такими подвигами, все ждали, что он снова появится в совете, но он не приходил, а им было стыдно позвать его.

— Я хочу построить себе новую иглу,— сказал Киш однажды Клош-Квану и другим охотникам.— Это должна быть просторная иглу, чтобы Айкиге и мне было удобно в ней жить.

— Так,— сказали те, с важностью кивая головой.

— Но у меня нет на это времени. Мое дело — охота, и она отнимает все мое время. Было бы справедливо и правильно, чтобы мужчины и женщины, которые едят мясо, что я приношу, построили мне иглу.

И они выстроили ему такую большую, просторную иглу, что она была больше и просторнее даже жилища самого Клош-Квана. Киш и его мать перебрались туда, и впервые после смерти Бока Айкига стала жить в довольстве. И не только одно довольство окружало Айкигу — она была матерью замечательного охотника, и на нее смотрели теперь как на первую женщину в поселке, и другие женщины посещали ее, чтобы испросить у нее совета, и ссылались на ее мудрые слова в спорах друг с другом или со своими мужьями.

Но больше всего занимала все умы тайна чудесной охоты Киша. И как-то раз Уг-Глук бросил Кишу в лицо обвинение в колдовстве.

— Тебя обвиняют,— зловеще сказал Уг-Глук,— в сношениях с злыми духами; вот почему твоя охота удачна.

— Разве вы едите плохое мясо? — спросил Киш.— Разве кто-нибудь в поселке заболел от него? Откуда ты можешь знать, что тут замешано колдовство? Или ты говоришь наугад — просто потому, что тебя душит зависть?

И Уг-Глук ушел пристыженный, и женщины смеялись ему вслед. Но как-то вечером на совете после долгих споров было решено послать соглядатаев по следу Киша, когда он снова пойдет на медведя, и узнать его тайну.

И вот Киш отправился на охоту, а Бим и Боун, два молодых, лучших в поселке охотника, пошли за ним по пятам, стараясь не попасться ему на глаза. Через пять дней они вернулись, дрожа от нетерпения,— так хотелось им поскорее рассказать то, что они видели. В жилище Клош-Квана был спешно созван совет. И Бим, тараща от изумления глаза, начал свой рассказ:

— Братья! Как нам было приказано, мы шли по следу Киша. И уж так осторожно мы шли, что он ни разу не заметил нас. В середине первого дня пути он встретился с большим медведем-самцом, и это был очень, очень большой медведь...

— Больше и не бывает,— перебил Боун и повел рассказ дальше: — Но медведь не хотел вступать в борьбу, он повернул назад и стал не спеша уходить по льду. Мы смотрели на него со скалы на берегу, а он шел в нашу сторону, и за ним, без всякого страха, шел Киш. И Киш кричал на медведя, осыпал его бранью, размахивал руками и поднимал очень большой шум. И тогда медведь рассердился, встал на задние лапы и зарычал. А Киш шел прямо на медведя...

— Да, да,— подхватил Бим.— Киш шел прямо на медведя, и медведь бросился на него, и Киш побежал. Но когда Киш бежал, он уронил на лед маленький круглый шарик, и медведь остановился, обнюхал этот шарик и проглотил его. А Киш все бежал и все бросал маленькие круглые шарики, а медведь все глотал их.

Тут поднялся крик, и все выразили сомнение, а Уг-Глук прямо заявил, что он не верит этим сказкам.

— Собственными глазами видели мы это,— убеждал их Бим.

— Да, да, собственными глазами,— подтвердил и Боун.— И так продолжалось долго, а потом медведь вдруг остановился, завыл от боли и начал как бешеный колотить передними лапами о лед. А Киш побежал дальше по льду и стал на безопасном расстоянии. Но медведю было не до Киша, потому что маленькие круглые шарики наделали у него внутри большую беду.

— Да, большую беду,— перебил Бим.— Медведь царапал себя когтями и прыгал по льду, словно разыгравшийся щенок. Но только он не играл, а рычал и выл от боли,— и всякому было ясно, что это не игра, а боль. Ни разу в жизни я такого не видел.

— Да, и я не видел,— опять вмешался Боун.— А какой это был огромный медведь!

— Колдовство,— проронил Уг-Глук.

— Не знаю,— отвечал Боун.— Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Медведь был такой тяжелый и прыгал с такой силой, что скоро устал и ослабел, и тогда он пошел прочь вдоль берега и все мотал головой, а потом садился и рычал и выл от боли — и снова шел. А Киш тоже шел за медведем, а мы — за Кишем, и так мы шли весь день и еще три дня. Медведь все слабел и выл от боли.

— Это колдовство! — воскликнул Уг-Глук.— Ясно, что это колдовство!

— Все может быть.

Но тут Бим опять сменил Боуна:

— Медведь стал кружить. Он шел то в одну сторону, то в другую, то назад, то вперед, то по кругу и снова и снова пересекал свой след и наконец пришел к тому месту, где встретил его Киш. И тут он уже совсем ослабел и не мог даже ползти. И Киш подошел к нему и прикончил его копьем.

— А потом? — спросил Клош-Кван.

— Потом Киш принялся свежевать медведя, а мы побежали сюда, чтобы рассказать, как Киш охотится на зверя.

К концу этого дня женщины притащили тушу медведя, в то время как мужчины собирали совет. Когда Киш вернулся, за ним послали гонца, приглашая его прийти тоже, но он велел сказать, что голоден и устал и что его иглу достаточно велика и удобна и может вместить много людей.

И любопытство было так велико, что весь совет во главе с Клош-Кваном поднялся и направился к иглу Киша. Они застали его за едой, но он встретил их с почетом и усадил по старшинству. Айкига то горделиво выпрямлялась, то в смущении опускала глаза, но Киш был совершенно спокоен.

Клош-Кван повторил рассказ Бима и Боуна и, закончив его, произнес строгим голосом:

— Ты должен дать нам объяснение, о Киш. Расскажи, как ты охотишься? Нет ли здесь колдовства?

Киш поднял на него глаза и улыбнулся.

— Нет, о Клош-Кван! Не дело мальчика заниматься

колдовством, и в колдовстве я ничего не смыслю. Я только придумал способ, как можно легко убить полярного медведя, вот и все. Это смекалка, а не колдовство.

— И каждый может сделать это?

— Каждый.

Наступило долгое молчание.

Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть.

— И ты... ты расскажешь нам, о Киш? — спросил наконец Клош-Кван дрожащим голосом.

— Да, я расскажу тебе.— Киш кончил высасывать мозг из кости и поднялся с места.— Это очень просто. Смотри!

Он взял узкую полоску китового уса и показал ее всем. Концы у нее были острые, как иглы. Киш стал осторожно скатывать ус, пока он не исчез у него в руке; тогда он внезапно разжал руку — и ус сразу распрямился. Затем Киш взял кусок тюленьего жира.

— Вот так,— сказал он.— Надо взять маленький кусочек тюленьего жира и сделать в нем ямку — вот так. Потом в ямку надо положить китовый ус — вот так, хорошенько его свернув, и закрыть его сверху другим кусочком жира. Потом это надо выставить на мороз, и, когда жир замерзнет, получится маленький круглый шарик. Медведь проглотит шарик, жир растопится, острый китовый ус распрямится — медведю станет больно. А когда медведю станет очень больно, его легко убить копьем. Это совсем просто.

И Уг-Глук воскликнул:

— О!

И Клош-Кван сказал:

— А!

И каждый сказал по-своему, и все поняли.

Так кончается сказание о Кише, который жил давным-давно у самого Полярного моря. И потому, что Киш действовал смекалкой, а не колдовством, он из самой жалкой иглу поднялся высоко и стал вождем своего племени. И говорят, что, пока он жил, народ благоденствовал и не было ни одной вдовы, ни одного беззащитного старика, которые бы плакали ночью оттого, что у них нет мяса.

НА БЕРЕГАХ САКРАМЕНТО

Ветер мчится — хо-хо-хью! —
Прямо в Калифорнию.
Сакраменто — край богатый:
Золото гребут лопатой!

Худенький мальчик тонким, пронзительным голосом распевал эту морскую песню, которую во всех частях света горланят матросы, когда крутят лебедку, снимаясь с якоря, чтобы двинуться в порт Фриско. Это был обыкновенный мальчуган, который никогда и моря-то в глаза не видел, но всего в двухстах футах от него — только спуститься с утеса — бурлила река Сакраменто. Малыш Джерри — так звали его, потому что был еще старый Джерри, его отец; от него-то и слышал Малыш эту песню и от него же унаследовал ярко-рыжие вихры, задорные голубые глаза и очень белую, усыпанную веснушками кожу.

Старый Джерри был моряк, он добрую половину своей жизни плавал по морям, а песня матросу сама просится на язык. Но однажды, в каком-то азиатском порту, когда он вместе с двадцатью другими матросами пел, выбиваясь из сил над проклятой лебедкой, слова этой песни впервые заставили его призадуматься всерьез. Очутившись в Сан-Франциско, он распрощался со своим кораблем и с морем и отправился поглядеть собственными глазами на берега Сакраменто.

Тут-то и увидел золото. Он нанялся работать на рудник «Золотая Греза» и оказался в высшей степени полезным человеком при устройстве подвесной дороги на высоте двухсот футов над рекой.

Затем эта дорога осталась под его надзором. Он следил за тросами, держал их в исправности, любил их и вскоре стал незаменимым работником на руднике «Золотая Греза». А потом он полюбил хорошенькую Маргарет Келли, но она очень скоро покинула его и малютку Джерри, который только-только начинал ходить, и уснула непробудным сном на маленьком кладбище, среди больших суровых сосен.

Старый Джерри так и не вернулся на морскую службу. Он жил возле своей подвесной дороги и всю любовь, на какую способна была его душа, отдал толстым стальным тросам и малышу Джерри. Для рудника «Золотая Греза» наступили черные дни, но и тогда старик остался на

службе у Компании — сторожить заброшенное предприятие.

Однако сегодня утром его что-то не было видно. Один только малыш Джерри сидел на крылечке и распевал старую матросскую песню. Он сам приготовил себе завтрак и уже успел управиться с ним, а теперь вышел поглядеть на белый свет. Неподалеку, шагах в двадцати от него, возвышался громадный стальной барабан, на который наматывался бесконечный металлический трос. Рядом с барабаном стояла тщательно закрепленная вагонетка для руды. Проследив взглядом головокружительный полет стальных тросов, перекинутых высоко над рекой, малыш Джерри различил далеко на том берегу другой барабан и другую вагонетку.

Сооружение это приводилось в действие простой силой тяжести: вагонетка двигалась, увлекаемая собственным весом, а в это время с противоположного берега двигалась пустая вагонетка. Когда нагруженную вагонетку опорожняли, а пустую нагружали рудой, все повторялось снова, повторялось много, много сотен и тысяч раз, с тех пор как старый Джерри стал смотрителем подвесной дороги.

Малыш Джерри перестал петь, услышав приближающиеся шаги. Высокий человек в синей рубахе, с винтовкой на плече, вышел из соснового леса. Это был Холл, сторож на руднике «Желтый Дракон», расположенном примерно в миле отсюда вверх по течению Сакраменто, где тоже была перекинута дорога на тот берег.

— Здорово, Малыш! — крикнул он.— Что ты тут делаешь один-одинешенек?

— А я здесь теперь за хозяина,— ответил малыш Джерри как нельзя более небрежным тоном, словно ему не впервой было оставаться одному.— Отец, знаете, уехал.

— Куда уехал? — спросил Холл.

— В Сан-Франциско. Он еще вчера вечером уехал. Брат у него умер, где-то в Старом Свете. Вот он и поехал с адвокатом потолковать. Завтра вечером вернется.

Все это Джерри выложил с гордым сознанием, что на него возложена большая ответственность — самолично сторожить рудник «Золотая Греза». Видно было в то же время, что он страшно рад замечательному приключению — возможности пожить совсем одному на этом утесе над рекой и самому готовить себе завтрак, обед и ужин.

— Ну, смотри будь поосторожней,— посоветовал ему

Холл,— не вздумай баловать с тросами. А я вот иду посмотреть, не удастся ли подстрелить оленя в каньоне «Колченогая Корова».

— Как бы дождя не было,— степенно промолвил Джерри.

— А мне что! Промокнуть, что ли, страшно? — засмеялся Холл и, повернувшись, скрылся между деревьями.

Предсказание Джерри насчет дождя сбылось. Часам к десяти сосны заскрипели, закачались, застонали, стекла в окнах задребезжали, дождь захлестал длинными косыми струями. В половине двенадцатого Джерри развел огонь в очаге и, едва пробило двенадцать, уселся обедать.

«Сегодня, уж конечно, гулять не придется,— решил он, тщательно вымыв и убрав посуду после еды. И еще подумал: — Как, должно быть, вымок Холл! И удалось ли ему подстрелить оленя?»

Около часу дня постучали в дверь, и, когда Джерри открыл, в комнату стремительно ворвались мужчина и женщина, словно их силком впихнул ветер. Это были мистер и миссис Спиллен — фермеры, жившие в уединенной долине, милях в двенадцати от реки.

— А где Холл? — запыхавшись, отрывисто спросил Спиллен.

Джерри заметил, что фермер чем-то взволнован и куда-то торопится, а миссис Спиллен, по-видимому, очень расстроена.

Это была худая, совсем уже поблекшая женщина, много поработавшая на своем веку; унылый, беспросветный труд наложил на ее лицо тяжелую печать. Та же тяжкая жизнь согнула спину ее мужа, искорежила его руки и покрыла волосы сухим пеплом ранней седины.

— Он на охоту пошел, в каньон «Колченогая Корова». А вам что, на ту сторону надо?

Женщина стала тихонько всхлипывать, а у Спиллена вырвался возглас, выражавший крайнюю досаду. Он подошел к окну. Джерри стал с ним рядом и тоже поглядел в окно, в сторону подвесной дороги; тросов почти не было видно за густой пеленой дождя.

Обычно жители окрестных селений переправлялись через Сакраменто по канатной дороге «Желтого Дракона». За переправу полагалась небольшая плата, из которой Компания «Желтого Дракона» платила жалованье Холлу.

— Нам надо на тот берег, Джерри,— сказал Спиллен.—

Отца у нее,— он ткнул пальцем в сторону плачущей жены,— задавило на руднике, в шахте «Клеверный Лист». Там взрыв был. Говорят, не выживет. А нам только что дали знать.

Джерри почувствовал, как у него екнуло сердце. Он понял, что Спиллен хочет переправиться по тросам «Золотой Грезы», но без старого Джерри он не мог решиться на такой шаг, потому что по их дороге не возили пассажиров и она уже давно находилась в бездействии.

— А может быть, Холл скоро придет,— промолвил мальчик.

Спиллен покачал головой.

— А отец где? — спросил он.

— В Сан-Франциско,— коротко ответил Джерри.

С хриплым стоном Спиллен яростно хлопнул кулаком по ладони. Жена его всхлипывала все громче, и Джерри слышал, как она причитала: «Ах, не поспеем, не поспеем, умрет...»

Мальчик чувствовал, что и сам вот-вот заплачет; он стоял в нерешительности, не зная, что предпринять. Но Спиллен решил за него.

— Послушай, Малыш,— сказал он тоном, не допускающим возражений,— нам с женой надо переправиться во что бы то ни стало по твоей дороге. Можешь ты нам помочь в этом деле — запустить эту штуку?

Джерри невольно попятился, точно ему предложили коснуться чего-то недозволенного.

— Я лучше пойду посмотрю, не вернулся ли Холл,— робко сказал он.

— А если нет?

Джерри снова замялся.

— Если случится что, я за все отвечаю. Видишь ли, Малыш, нам до зарезу надо на ту сторону. (Джерри нерешительно кивнул.) А дожидаться Холла нет никакого смысла,— продолжал Спиллен,— ты сам понимаешь, что из каньона «Колченогая Корова» он не скоро вернется. Так что идем-ка, запусти барабан.

«Неудивительно, что у миссис Спиллен был такой испуганный вид, когда мы помогали ей забираться в вагонетку» — так невольно подумал Джерри, глянув вниз, в пропасть, которая сейчас казалась бездной. Дальнего берега, находившегося на расстоянии семисот футов, вовсе не было видно сквозь ливень, гонимые неистовым ветром

клочья облаков, яростную пену и брызги. А утес, на котором они стояли, уходил отвесной стеной прямо в бурлящую мглу, и казалось, что от стальных тросов туда, вниз, не двести футов, а по крайней мере миля.

— Ну, готово? — спросил Джерри.

— Давай! — во всю глотку заорал Спиллен, чтобы перекричать вой ветра.

Он уселся в вагонетку рядом с женой и взял ее за руку. Джерри это не понравилось.

— Вам придется держаться обеими руками: ветер сильно швыряет! — крикнул он.

Муж с женой тотчас же разняли руки и крепко ухватились за края вагонетки, а Джерри осторожно отпустил тормозной рычаг. Барабан не спеша завертелся, бесконечный трос стал разматываться, и вагонетка медленно двинулась в воздушную пропасть, цепляясь ходовыми колесиками за неподвижный рельсовый трос, протянутый вверху.

Джерри уже не в первый раз пускал в ход вагонетку. Но до сих пор ему приходилось это делать только под наблюдением отца. Он осторожно регулировал скорость движения при помощи тормозного рычага. Тормозить было необходимо, потому что от бешеных порывов ветра вагонетка сильно раскачивалась, а перед тем как совсем скрыться за стеной дождя, она так накренилась, что чуть не вывернула в пропасть свой живой груз.

После этого Джерри мог судить о движении вагонетки только по движению троса. Он очень внимательно следил, как трос разматывается с барабана.

— Триста футов...— шептал он, по мере того как проходили отметки на кабеле.— Триста пятьдесят... четыреста... четыреста...

Трос остановился. Джерри дернул рычаг тормоза, но трос не двигался. Мальчик обеими руками схватился за трос и потянул его на себя, стараясь сдвинуть его с места. Нет! Где-то явно застопорило. Но где именно, он не мог догадаться, и вагонетки не было видно. Он поднял глаза вверх и с трудом различил в воздухе пустую вагонетку, которая должна была двигаться к нему с такой же скоростью, с какой вагонетка с грузом удалялась. Она была от него примерно в двухстах пятидесяти футах. Это означало, что где-то в серой мгле, на высоте двухсот футов над кипящей рекой и на расстоянии двухсот пятидесяти

футов от другого берега, висят в воздухе застрявшие в пути Спиллен с женой.

Три раза Джерри окликал их во всю силу своих легких, но голос его тонул в неистовом реве непогоды. В то время как он лихорадочно перебирал в уме, что бы такое сделать, быстро бегущие облака над рекой вдруг поредели и разорвались, и он на мгновение увидел вздувшуюся Сакраменто внизу и висящую в воздухе вагонетку с людьми. Затем облака снова сошлись, и над рекой стало еще темнее, чем раньше.

Мальчик тщательно осмотрел барабан, но не обнаружил в нем никаких неполадок. По-видимому, что-то неисправно в барабане на том берегу. Страшно было представить себе, как эти двое висят над пропастью среди ревущей бури, раскачиваясь в утлой вагонетке, и не знают, почему она вдруг остановилась. И подумать только, что им придется так и висеть до тех пор, пока он не переправится на тот берег по тросам «Желтого Дракона» и не доберется до злополучного барабана, из-за которого все это стряслось!

Но тут Джерри вспомнил, что в чулане, где хранятся инструменты, есть блок и веревки, и со всех ног бросился за ними. Он быстро прикрепил блок к тросу и стал тянуть — тянул изо всех сил, так что руки прямо отрывались от плеч, а мускулы, казалось, вот-вот лопнут. Однако трос не сдвинулся с места. Теперь уж ничего другого не оставалось, как перебраться на тот берег.

Джерри уже успел промокнуть до костей, так что теперь сломя голову бежал к «Желтому Дракону», даже не замечая дождя. Ветер подгонял его, и бежать было легко, хотя и беспокоила мысль, что придется обойтись без помощи Холла и некому будет тормозить вагонетку. Он сам соорудил себе тормоз из крепкой веревки, которую накинул петлей на неподвижный трос.

Ветер с бешеной силой налетел на него, засвистел, заревел ему в уши, раскачивая и подбрасывая вагонетку, и малыш Джерри еще яснее представил себе, каково сейчас тем двоим — Спиллену и его жене. Это придало ему мужества. Благополучно переправившись, он вскарабкался по откосу и, с трудом удерживаясь на ногах от порывов ветра, но все же пытаясь бежать, направился к барабану «Золотой Грезы».

Осмотрев его, Малыш с ужасом обнаружил, что барабан



в полном порядке. И на этом и на другом конце все в исправности. Где же в таком случае застопорило? Не иначе как посредине!

Вагонетка с четой Спилленов находилась от него всего на расстоянии двухсот пятидесяти футов. Сквозь движущуюся дождевую завесу Джерри мог различить мужчину и женщину, скорчившихся на дне вагонетки и словно отданных на растерзание разъяренным стихиям. В промежутке между двумя шквалами он крикнул Спиллену, чтобы тот проверил, в порядке ли ходовые колесики.

Спиллен, по-видимому, услыхал его, потому что Джерри видел, как он, осторожно приподнявшись на колени, ощупал оба колесика вагонетки, затем повернулся лицом к берегу:

— Здесь все в порядке, Малыш!

Джерри едва расслышал эти слова, но смысл их дошел до него. Так что же все-таки случилось? Теперь уже можно было не сомневаться, что все дело в пустой вагонетке; ее не было видно отсюда, но он знал, что она висит там, в этой ужасной бездне, за двести футов от вагонетки Спиллена.

Он, не задумываясь, решил, что́ надо делать. Ему было всего четырнадцать лет, этому худощавому подвижному

мальчугану, но он вырос в горах, отец посвятил его в разные тайны матросского искусства, и он совсем не боялся высоты.

В ящике с инструментами около барабана он разыскал старый гаечный ключ, небольшой железный прут и целую связку почти нового манильского шпагата. Он безуспешно пытался найти какую-нибудь дощечку, чтобы смастерить себе некое подобие люльки, но под рукой не оказалось ничего, кроме громадных тесин; распилить их было нечем, и он вынужден был обойтись без удобного седла.

Седло, которое Джерри себе устроил, было проще простого: он перекинул канат через неподвижный трос, на котором висела пустая вагонетка, и, затянув его узлом, сделал большую петлю; сидя в этой петле, он без труда мог достать руками до троса и держаться за него. А вверху, где петля должна была тереться о металлический трос, он подложил свою куртку, потому что, как ни искал, нигде не мог найти тряпки или старого мешка.

Наскоро закончив все эти приготовления, Джерри повис в своей петле и двинулся прямо в бездну, перебирая руками трос. Он взял с собой гаечный ключ, небольшой железный прут и несколько футов веревки. Путь его лежал не горизонтально, а несколько вверх, но не подъем затруднял его, а страшный ветер. Когда бешеные порывы ветра швыряли Джерри то туда, то сюда и чуть не переворачивали кругом, он чувствовал, что сердце у него замирает от страха. Ведь трос совсем старый... А вдруг он не выдержит его тяжести и этих бешеных натисков ветра — не выдержит и оборвется?

Это был самый откровенный страх. Джерри чувствовал, как у него сосет под ложечкой, а колени дрожат мелкой дрожью, которую он не в силах был сдержать.

Но Малыш мужественно продолжал свой путь. Трос был ветхий, раздерганный, острые концы оборванных проволок, торчавшие во все стороны, в кровь раздирали руки. Джерри заметил это, только когда решил сделать первую остановку, и попытался докричаться до Спилленов. Их вагонетка висела теперь прямо над ним, на расстоянии всего нескольких футов, так что он уже мог объяснить им, что случилось и зачем он пустился в это путешествие.

— Рад бы помочь тебе,— крикнул Спиллен,— да жена у меня совсем не в себе! Смотри, Малыш, будь осторож-

нее! Сам я напросился на это, но теперь, кроме тебя, нас некому вызволить.

— Да уж так я вас не оставлю! — крикнул ему в ответ Джерри.— Скажите миссис Спиллен, что не пройдет и минуты, как она будет на той стороне.

Под слепящим проливным дождем, болтаясь из стороны в сторону, как маятник, чувствуя нестерпимую боль в изодранных ладонях, задыхаясь от усилий и от врывавшейся в легкие стремительной массы воздуха, Джерри наконец добрался до пустой вагонетки.

С первого же взгляда мальчик убедился, что не напрасно совершил это страшное путешествие. Вагонетка висела на двух колесиках; одно из них сильно поистерлось за время долгой службы и соскочило с троса, который был теперь намертво зажат между самим колесиком и его обоймой.

Ясно было, что прежде всего надо было освободить колесико из обоймы, а на время этой работы вагонетку необходимо крепко привязать веревкой к неподвижному тросу.

Через четверть часа Джерри наконец удалось привязать вагонетку — это было все, чего он добился. Чека, державшая колесико на оси, совсем заржавела и стала намертво. Джерри изо всей силы колотил по ней одной рукой, а другой держался как мог, но ветер непрерывно налетал и раскачивал его, и он очень часто промахивался и не попадал по чеке. Девять десятых всех его усилий уходило на то, чтобы удержаться на месте; опасаясь уронить ключ, он привязал его к руке носовым платком.

Прошло уже полчаса. Джерри сдвинул чеку с места, но вытащить ее ему не удалось. Десятки раз он готов был отчаяться, все казалось напрасным — и опасность, которой он себя подвергал, и все его старания. Но внезапно его словно осенило. С лихорадочной поспешностью он стал рыться в карманах. И нашел то, что ему было нужно,— длинный толстый гвоздь.

Если бы не этот гвоздь, который неведомо когда и как попал к нему в карман, Джерри пришлось бы снова возвращаться на берег. Продев гвоздь в отверстие чеки, он наконец ухватил ее, и через минуту чека выскочила из оси.

Затем началась возня с железным прутом, которым он старался освободить колесико, застрявшее между тросом

и обоймой. Когда это было сделано, Джерри поставил колесико на старое место и, с помощью веревки подтянув вагонетку, посадил наконец колесико на металлический трос.

Однако на все это потребовалось немало времени. Часа полтора прошло с тех пор, как Джерри сюда добрался. И вот теперь он наконец решился вылезти из своего «седла» и прыгнуть в вагонетку. Он отвязал веревку, которая ее держала, и колесики медленно заскользили по тросу. Вагонетка двинулась. И мальчик знал, что где-то там, внизу — хотя ему это и не было видно,— вагонетка со Спилленами тоже двинулась, только в обратном направлении.

Теперь ему уже не нужен был тормоз, потому что вес его тела достаточно уравновешивал тяжесть другой вагонетки. И скоро из мглы облаков показался высокий утес и старый, знакомый, уверенно вращавшийся барабан.

Джерри соскочил на землю и закрепил свою вагонетку. Он проделал это спокойно и тщательно. А потом вдруг — совсем уже не по-геройски — бросился на землю у самого барабана, невзирая на бурю и ливень, и громко расплакался.

Причин для этого было немало: нестерпимая боль в изодранных руках, страшная усталость и сознание, что он наконец освободился от ужасного нервного напряжения, не отпускавшего его несколько часов, и еще — горячее, захватывающее чувство радости оттого, что Спиллен с женой теперь в безопасности.

Они были далеко и, понятно, не могли его поблагодарить, но он знал, что где-то там, за разъяренной, беснующейся рекой, они сейчас спешат по тропинке к шахте «Клеверный Лист».

Джерри, пошатываясь, побрел к дому. Белая ручка двери окрасилась кровью, когда он взялся за нее, но он даже не заметил этого.

Мальчик был горд и доволен собой, ибо твердо знал, что поступил правильно; а так как он еще не умел хитрить, то не боялся признаться самому себе, что сделал хорошее дело. Однако только маленькое сожаление копошилось у него в сердце: ах, если бы отец был здесь и видел его!

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ВОЗДУШНОМ ОКЕАНЕ

Я отставной капитан верхнего моря. Иначе говоря, в молодости (а это было не так уж давно) я был воздухоплавателем и странствовал по воздушному океану, что простирается над нами и вокруг нас. Понятно, профессия эта опасная, и, понятно, я пережил немало волнующих приключений; но самым волнующим и, уж конечно, самым тяжким испытанием было то, о котором я хочу рассказать.

Случилось это еще до того, как я стал летать на водородных аэростатах с двойной оболочкой из покрытого лаком шелка на подкладке,— такие аэростаты держатся в воздухе не часами, а целыми днями. В ту пору я поднимался на «Маленьком Нассау» (названном так в честь «Великого Нассау», который бороздил воздушный океан за много лет до него). «Маленький Нассау» был солидных размеров, с однослойной оболочкой; наполненный нагретым воздухом, он поднимался вверх на милю и даже больше, и на нем можно было летать чуть не целый час. Меня это вполне устраивало: я тогда совершал с высоты в полмили прыжки с парашютом над общественными парками и сельскими ярмарками. У меня был подписан на все лето контракт с трамвайной компанией города Окленда (штат Калифорния). Этой компании принадлежал большой загородный парк, и, естественно, ей выгодно было устраивать всякие развлечения, ради которых горожане трамваем отправлялись на лоно природы подышать воздухом. По условиям контракта, я поднимался на своем аэростате дважды в неделю, и мой номер программы был самым заманчивым — в эти дни в парк стекалось больше всего народу.

Чтобы вы могли понять, что произошло, сперва объясню вкратце, что за штука этот самый наполняемый нагретым воздухом аэростат, с которого совершаются парашютные прыжки. Если вы хоть раз видели такой прыжок, вы помните, что, едва парашют отделился, аэростат переворачивается вверх дном, горячий воздух и дым выходят из него — и пустая плоская оболочка падает на землю. Таким образом, не приходится рыскать по всей округе, догоняя покинутый воздушный шар, и тратить на его розыски много времени и сил. Достигается это так: к вершине воздушного шара прикрепляется на длинном канате груз. Воздухоплаватель с парашютом и трапецией

висит внизу, под шаром, и своим весом удерживает его в нужном положении. Но как только он отделяется, груз тотчас заставляет шар перевернуться — и нагретый воздух выходит из его устья. На «Маленьком Нассау» грузом служил небольшой мешок с песком.

В тот день, о котором я хочу рассказать, публики собралось больше обычного, и полиция из сил выбивалась, осаживая толпу. Мужчины, женщины и дети толкались и напирали, стараясь подойти поближе, и канаты, которыми была огорожена площадка с аэростатом, чуть не лопались. Когда я, переодевшись для полета, вышел из своей будки, я заметил у самого каната двух девочек лет четырнадцати и шестнадцати, а по эту сторону каната — мальчонку лет восьми. Девочки удерживали его за руки, а он, хоть и со смехом, отчаянно вырывался. В ту минуту я почти не обратил на них внимания: дети разыгрались, невелика важность. Но после случилось такое, что эта сценка сразу ожила у меня в памяти.

— Никого не подпускай близко, Джордж! — велел я своему помощнику.— А то как бы кого не зацепило.

— Ладно,— отозвался он.— Не беспокойся, Чарли, я уж пригляжу.

Джордж Гаппи десятки раз помогал мне подниматься в воздух, и, зная, что он человек хладнокровный, рассудительный и надежный, я привык спокойно вверять ему свою жизнь. Джордж всегда наполнял аэростат горячим воздухом и заботился о том, чтобы парашют работал безотказно.

«Маленький Нассау», уже надутый, туго натягивал удерживавшие его веревки. Парашют был аккуратно разложен на земле перед трапецией. Я сбросил пальто, занял свое место и дал знак пускать. Как вы знаете, в первую секунду аэростат взлетает очень резко, рывком, а на этот раз, подхваченный ветром, он сильно накренился и потом выпрямился не так быстро, как всегда. Я глянул вниз; мне давно знаком был вид убегающей из-под ног земли. Как всегда, подо мною были тысячи зрителей, тысячи запрокинутых лиц, но все молчали. Их молчание поразило меня: ведь прошло уже несколько секунд, обычно за это время толпа успевала перевести дух и разражалась бурей приветственных криков. А тут никто не хлопал в ладоши, не свистел, не кричал «ура», стояла мертвая тишина. И в тишине, громкий, как колокол, отчетливо и спокойно прозвучал в рупор голос Джорджа:

— Посади его, Чарли! Посади шар наземь!

Что случилось? Я помахал рукой в знак, что слышал, и стал раскидывать мозгами. Может, что-нибудь неладно с парашютом? Чего ради сажать аэростат, когда тысячи людей собрались поглядеть, как я прыгну? Что такое стряслось? Я терялся в догадках, и вдруг новая неожиданность. Земля осталась далеко внизу, и, однако, я услышал, как где-то, кажется совсем рядом, негромко плачет ребенок. И хотя «Маленький Нассау», словно шутиха, стремительно уносился в небо, плач не стихал, не замирал вдали. Невольно я поднял глаза, поглядел в ту сторону и, признаться, чуть не ошалел от страха: на мешке с грузом, который должен был опустить «Маленького Нассау» на землю, сидел верхом мальчуган, тот самый, что раньше вырывался из рук двух девочек,— как я потом узнал, это были его сестры.

Он сидел верхом на мешке, изо всех сил вцепившись обеими руками в канат. Порыв ветра слегка накренил аэростат, непрошеного пассажира отнесло футов на двенадцать в сторону и опять прибило к туго натянутой оболочке, о которую он ударился с такой силой, что и меня порядком тряхнуло, а я находился на добрых тридцать футов ниже. Я думал, он сорвется, но мальчишка хоть и захныкал, а каната не выпустил. После мне рассказали, что в ту самую минуту, когда аэростат освобождали от привязи, малыш вырвался из рук сестер, нырнул под канат и оседлал мешок с песком. Ума не приложу, как он не свалился от толчка при взлете.

Так вот, увидал я его, и тошно мне стало, и я понял, почему на этот раз аэростат так долго не выпрямлялся и почему Джордж кричал, чтобы я садился. Ведь прыгни я с парашютом, шар тотчас перевернется, горячий воздух выйдет, и пустая оболочка сразу упадет на землю. Остается одна надежда, что я сумею посадить его, а мальчуган не выпустит каната. Добраться до него невозможно. Ни один человек не мог бы вскарабкаться по тонкому сложенному парашюту; а если бы это и удалось, если бы и подтянуться к отверстию внизу аэростата, что дальше? Мальчишка на своем ненадежном насесте мотается в пятнадцати футах от устья аэростата, и эти пятнадцать футов пустоты никакими силами не одолеешь.

Мысль моя работала куда быстрей, чем я сейчас все это рассказываю, и я мигом понял, что надо отвлечь маль-

чика от грозящей ему опасности. Призвав на помощь все свое самообладание и стараясь казаться спокойным, я окликнул весело:

— Эй, на мешке, ты кто такой?

Он поглядел на меня сверху вниз, проглотил слезы, оживился, но тут аэростат попал во встречный воздушный поток, завертелся и почти лег набок. Мальчишка на своем канате закачался, как маятник, потом снова ударился о туго натянутую ткань. И опять заплакал.

— Здо́рово, а? — сказал я весело, точно лучшего удовольствия не придумаешь. И, не дожидаясь ответа, продолжал: — А тебя как звать?

— Томми Дирмот,— отозвался мальчик.

— Рад с тобой познакомиться, Томми Дирмот,— сказал я.— А интересно знать, кто тебе позволил со мной лететь?

Он засмеялся и сказал, что решил полететь просто так, для забавы. И мы продолжали беседовать, причем я до смерти боялся за мальчишку и ломал себе голову, о чем бы еще поговорить. Я знал, что больше ничего сделать не могу — только бы не давать ему думать об опасности, от этого зависит его жизнь. Я показывал ему, какой великолепный вид простирается в четырех тысячах футов под нами до самого горизонта. Вон раскинулась бухта Сан-Франциско, точно безмятежное озеро, вон и самый город, окутанный дымным маревом, а там Золотые ворота, и за ними, в тумане, океан, и над всем, четко вырезанная в небе, высится гора Тэмелпайс. Прямо под нами виднелся кабриолет; казалось, он ползет, как черепаха, но я по опыту знал, что седоки, несясь за нами вдогонку, изо всех сил нахлестывают лошадей.

Но скоро Томми устал любоваться окрестностями. И я видел: ему становится страшно.

— Может, пойдешь ко мне в компаньоны? — предложил я.

Он сразу оживился и спросил:

— А вы хорошо зарабатываете?

Но теперь «Маленький Нассау», постепенно остывая, начал спускаться, встречные воздушные потоки то и дело немилосердно встряхивали его. Беднягу Томми раскачивало из стороны в сторону, и один раз он сильно ударился о стенку аэростата. Губы его задрожали, и он опять заплакал. Я пробовал шутить, смеяться, но все понапрасну.

Мужество покидало мальчика, и я с минуты на минуту ждал, что руки его разожмутся и он рухнет вниз.

Меня взяло отчаяние. И вдруг я вспомнил, что иной раз страх страхом вышибают. Я сурово сдвинул брови и крикнул:

— А ну, цепляйся покрепче за канат! Не то, когда спустимся, я тебя так отлуплю — своих не узнаешь! Понятно?

— Д-да-а, сэр,— прохныкал Томми.

И я понял, что хитрость удалась. Я был к нему ближе, чем земля, и меня он боялся больше, чем падения.

— Тебе хорошо сидеть там, на мягком мешке,— болтал я, не давая ему опомниться.— Не то что мне на этой жесткой перекладине.

Тут ему пришла в голову такая мысль, что он даже забыл, как у него ноют пальцы.

— А когда вы будете прыгать? — спросил он.— Я хочу посмотреть, как вы прыгаете.

Пришлось мне его разочаровать: прыгать я не собирался.

— А в газете написано, что вы прыгнете! — заспорил Томми.

— Мало ли что,— сказал я.— Меня нынче лень одолела, посажу шар на землю — и ладно. Это мой шар, что хочу, то с ним и делаю. Да и все равно мы уже почти спустились.

И правда, мы были уже низко и быстро спускались. И тут мальчишка стал на меня наседать: мол, нехорошо обманывать людей, все ждут, чтоб я прыгнул, значит, надо прыгать. А я, в душе радуясь такому обороту дела, гнул свое и на все лады доказывал ему, будто имею полное право не прыгать; но вот мы пролетели над эвкалиптовой рощей и спустились к самой земле.

— Цепляйся крепче! — крикнул я и повис на руках на трапеции, чтобы спружинить ногами.

Мы пронеслись над сараем, едва не задели веревку, на которой сушилось белье, распугали кур на каком-то дворе, перемахнули через стог сена — все куда быстрей, чем я сейчас рассказываю. Наконец мы опустились в чей-то фруктовый сад, ноги мои коснулись земли, и, несколько раз обернув трапецию вокруг ствола ближайшей яблони, я остановил аэростат.

Однажды мой аэростат загорелся в воздухе; в другой

раз я зацепился и повис на карнизе десятиэтажного дома; случилось мне камнем падать шестьсот футов, когда не раскрылся вовремя парашют; но никогда еще я не чувствовал такой слабости, никогда у меня так не кружилась голова и не подкашивались ноги, как в минуту, когда я, шатаясь, подошел к этому мальчишке, целому и невредимому, без единой царапинки, и схватил его за плечо.

— Томми Дирмот,— сказал я, кое-как совладав с собой.— Томми Дирмот, сейчас я тебя разложу и задам тебе такую трепку, какой еще никогда с сотворения мира ни одному мальчишке не задавали!

— Нет, не зададите! — сказал он, вырываясь у меня из рук.— Вы говорили, что не станете меня бить, если я буду крепко цепляться.

— Верно, говорил. Но все равно я тебя отлуплю. На воздушных шарах летает народ самый что ни на есть дрянной и непутевый, и ты себе заруби на носу: от таких надо держаться подальше и от воздушных шаров тоже.

И я действительно выдрал его на совесть. Не знаю, как другим мальчишкам, а ему, уж наверно, сроду так не доставалось.

А у меня после этого случая всякое мужество пропало. Я расторг контракт с Оклендской трамвайной компанией и потом стал летать на водородных аэростатах. Это все-таки спокойнее.

„СЦАПАЛИ“

Я прибыл на Ниагарский водопад в «пульмановском вагоне с боковым входом», или, говоря общепринятым языком, в товарном. Кстати сказать, открытая товарная платформа именуется у нашей братии «гондолой», причем на втором, протяжно произносимом слоге делается энергичное ударение. Но к делу. Прибыл я под вечер и как вылез из товарного поезда, так прямо пошел к водопаду. Когда моим глазам открылось это чудо — эта масса низвергающейся воды, я пропал. Я уже не мог оторваться от него и упустил время, пока еще можно было «прощупать» кого-нибудь из «оседлых» (местных жителей) на предмет ужина. Даже «приглашение к столу» не могло бы отвлечь меня от этого зрелища. Наступила

ночь — дивная лунная ночь, а я все сидел у водопада и очнулся только в двенадцатом часу, когда надо было уже идти искать, куда бы «шлепнуться».

«Шлепнуться», «приткнуться», «завалиться», «дать храпу» — все это означает одно: поспать. Что-то подсказывало мне, что это «плохой» город — то есть малоподходящий для бродяг, и я взял курс на предместье. Перелез через какую-то ограду и «двинул» в поле. «Уж здесь-то господин Закон не доберется до меня!» — решил я; повалился в траву и заснул, как младенец. Благоуханный воздух и теплынь так разморили меня, что я ни разу не проснулся за всю ночь. Но, как только стало светать, я открыл глаза и тут же вспомнил изумительный водопад. Я опять перелез через ограду и пошел взглянуть на него еще разок. Было совсем рано, не больше пяти часов утра, а раньше восьми нечего было и думать раздобыть завтрак. Я мог побыть у реки еще добрых три часа. Но увы! Мне не суждено было больше увидеть ни реки, ни водопада!

Город спал. Бредя пустынной улицей, я увидел, что навстречу мне по тротуару идут трое людей. Они шагали все в ряд. «Такие же бродяги, как я; и тоже встали спозаранку»,— мелькнула у меня мысль. Но я несколько ошибся в своих предположениях. Я угадал только на шестьдесят шесть и две трети процента. По бокам шли действительно бродяги, но тот, кто шагал посередине, был отнюдь не бродяга. Я отступил на край тротуара, чтобы пропустить эту троицу мимо. Но они не прошли мимо. Идущий посередине что-то сказал, все трое остановились, и он обратился ко мне.

Я мигом почуял опасность. Это был фараон, а двое бродяг — его пленники! Господин Закон проснулся и вышел на охоту за первой дичью. А я был этой дичью. Будь у меня тот опыт, который я приобрел несколько месяцев спустя, я тотчас повернул бы назад и бросился наутек. Фараон мог, конечно, выстрелить мне в спину, но ведь он мог и промахнуться, и тогда я был бы спасен. Он никогда не погнался бы за мной, ибо двое уже пойманных бродяг всегда лучше одного, удирающего во все лопатки. Но я, дурак, стал как вкопанный, когда он окликнул меня! Разговор у нас был короткий.

— В каком отеле остановился? — спросил он.

Тут он меня и «застукал». Ни в каком отеле я не останавливался и даже не мог назвать наугад какую-ни-

будь гостиницу, так как не знал ни одной из них. Да и слишком уж рано появился я на улице. Все говорило против меня.

— Я только что приехал! — объявил я.

— Ну, поворачивайся и ступай впереди, только не вздумай слишком спешить. Здесь кое-кто хочет повидаться с тобой.

Меня «сцапали»! Я сразу понял, кто это хочет со мной повидаться. Так я и зашагал — прямо в городскую тюрьму; двое бродяг и фараон шли за мной по пятам, и последний указывал дорогу. В тюрьме нас обыскали и записали наши фамилии. Не помню уж, под какой фамилией был я записан. Я назвал себя Джеком Дрэйком, но они обыскали меня, нашли письма, адресованные Джеку Лондону. Это создало некоторую трудность, и от меня потребовали разъяснений... Подробности я уже забыл и так и не знаю «сцапали» ли меня как Джека Дрэйка или как Джека Лондона. Во всяком случае, либо то, либо другое имя и по сей день украшает собой списки арестантов упомянутой городской тюрьмы. Наведя справки, можно это выяснить. Дело происходило во второй половине июня 1894 года. Через несколько дней после моего ареста началась крупная железнодорожная забастовка.

Из конторы нас повели в «хобо» и заперли. «Хобо» — та часть тюрьмы, где содержат в огромной железной клетке мелких правонарушителей. Так как хобо, то есть бродяги, составляют главную массу мелких правонарушителей, то эту железную клетку и прозвали «хобо». Здесь уже находилось несколько бродяг, арестованных в это утро, и чуть ли не каждую минуту дверь отворялась и к нам вталкивали еще двух-трех человек. Наконец, когда в клетке набралось шестнадцать хобо, нас повели наверх, в судебную камеру. А теперь я добросовестно опишу вам, что происходило в этом «суде», ибо тут моему патриотизму американского гражданина был нанесен такой удар, от которого он никогда не мог вполне оправиться.

Итак, в судебной камере находились шестнадцать арестантов, судья и два судебных пристава. Судья, как выяснилось, исполнял одновременно и обязанности секретаря. Свидетелей не было. Граждан Ниагара-Фоллс, которые могли бы тут увидеть воочию, как в их городе совершается правосудие, также не было. Судья заглянул в список «дел», лежавший перед ним, и назвал фамилию. Один

из бродяг встал. Судья посмотрел на судебного пристава.

— Бродяжничество, ваша честь,— проговорил тот.

— Тридцать дней! — сказал его честь.

Бродяга сел. Судья назвал другую фамилию — встал другой бродяга.

Суд над ним занял ровно пятнадцать секунд. Следующего осудили с такой же быстротой. Судебный пристав произнес: «Бродяжничество, ваша честь», а его честь изрек: «Тридцать дней». Так оно и шло, как по хронометру: на каждого хобо пятнадцать секунд... и тридцать дней ареста.

«Какая смирная, бессловесная скотинка! — подумал я.— Вот погодите: дойдет до меня черед, так я задам перцу его чести!» В разгар этой судебной процедуры «его честь» по какой-то минутной прихоти дал одному из подсудимых возможность заговорить. И это как раз оказался не настоящий хобо. Он ничем не напоминал профессионального отпетого бродягу. Подойди он к нам, когда мы ждали товарного поезда у водокачки, мы бы сразу распознали в нем «котенка». В царстве бродяг «котенками» называют новичков. Этот хобо-новичок был уже немолод — лет сорока пяти с виду. Сутулый, с морщинистым обветренным лицом.

Он, по его словам, много лет работал возчиком у какой-то фирмы — если память мне не изменяет, в Локпорте, в штате Нью-Йорк. Дела фирмы пошатнулись, и в тяжелый 1893 год она закрылась. Его держали до последних дней, хотя под конец работа уже стала нерегулярной. Он рассказал, как в течение нескольких месяцев не мог никуда устроиться,— кругом было полно безработных. Наконец, решив, что скорее можно найти какую-нибудь работенку на Великих Озерах, отправился в Буффало. Дошел, как водится, до полной нищеты — и вот попал сюда. Все было ясно.

— Тридцать дней! — объявил его честь и вызвал следующего.

Тот встал.

— Бродяжничество, ваша честь,— сказал судебный пристав.

— Тридцать дней,— объявил его честь.

Так оно и шло: пятнадцать секунд — и каждый получал тридцать дней. Машина правосудия работала без заминки. Весьма вероятно, что в этот ранний час его честь еще не успел позавтракать и потому спешил.

Кровь во мне закипела. Я услышал голос моих американских предков. Одной из привилегий, за которые они сражались и умирали, было право на суд с присяжными. Это право, освященное их кровью, я получил от них в наследие и считал своим долгом отстаивать его. «Ладно,— грозил я мысленно судье,— пусть только дойдет до меня очередь!»

И вот очередь дошла до меня. Одна из моих фамилий — не помню которая — была названа, и я встал. Судебный пристав произнес:

— Бродяжничество, ваша честь!

И я заговорил! Но в ту же секунду заговорил и судья. Он изрек:

— Тридцать дней!

Я было запротестовал, но его честь, бросив мне: «Молчать!»,— уже называл фамилию следующего по списку. Пристав заставил меня сесть на место. Новый бродяга получил свои тридцать дней, и поднялся следующий, чтобы получить столько же.

Когда с нами расправились, дав каждому по тридцать суток ареста, судья уже хотел отпустить нас, но вдруг обратился к возчику из Локпорта — единственному из подсудимых, которому была дана возможность что-то сказать.

— Зачем ты бросил работу? — спросил судья.

Возчик уже объяснял, что не он бросил работу, а она уплыла от него, и вопрос судьи его озадачил.

— Ваша честь,— растерянно начал он,— чудно́ как-то вы спрашиваете...

— Еще тридцать дней за то, что бросил работу! — изрек его честь, и на этом судопроизводство закончилось. В итоге возчик получил по совокупности шестьдесят суток, а все мы — по тридцати.

Нас свели вниз, заперли в клетку и принесли нам завтрак. Для тюремного завтрака он был не так уж плох,— потом мне целый месяц ни разу не довелось так позавтракать.

Я был потрясен: меня лишили не только права предстать перед судом присяжных, но даже права обратиться к суду и заявить о своей невиновности и после какой-то пародии на суд вынесли мне приговор. Тут меня осенило: есть еще одно право, за которое дрались мои предки,— право на неприкосновенность личности. Я им покажу! Но, когда я потребовал адвоката, меня подняли на смех. Право

существовало; но мне от этого было мало проку, раз я не мог снестись ни с кем вне тюрьмы. И все-таки я им покажу! Они не могут вечно держать меня в тюрьме. Ладно, подождите, дайте мне только выйти на свободу. Тут они у меня попляшут! Я немножко знаю законы и свои права и докажу, что здесь нарушают правосудие! Когда тюремщики пришли и погнали нас в главную канцелярию, я уже воображал себе, как предъявлю иск за убытки, и перед глазами у меня мелькали сенсационные газетные заголовки.

Полисмен надел нам наручники, соединив мою правую руку с левой рукой какого-то негра. («Ага,— подумал я,— новое оскорбление! Погодите же, дайте мне только выйти на свободу!..») Негр был очень рослый, наверное выше шести футов, и, когда нас сковали, его рука немного подтягивала мою кверху. Это был самый оборванный и самый веселый негр, каких я когда-либо встречал!

Так сковали нас всех попарно. По окончании этой операции принесли блестящую цепь из никелированной стали, пропустили ее через звенья всех наручников и замкнули на замок. Теперь мы представляли собою «кандальную шеренгу». Был отдан приказ трогаться, и мы зашагали по улице под охраной двух полицейских. Рослому негру и мне досталось почетное место — во главе процессии.

После могильного мрака тюрьмы солнечный свет ослепил меня. Никогда еще он не казался мне таким отрадным, как теперь, когда я брел, позвякивая кандалами, и знал, что скоро расстанусь с ним на целых тридцать дней.

Под любопытными взглядами прохожих мы шли по улицам городка к железнодорожной станции; особенно заинтересовалась нами группа туристов на веранде одного отеля, мимо которого мы проходили.

Цепь была довольно длинная, и мы со звоном и лязгом расселись попарно на скамьях вагона для курящих. Как ни горячо негодовал я по поводу издевательства, учиненного надо мною и моими предками, все же я был слишком практичен и благоразумен, чтобы терять из-за этого голову. Все было так ново для меня. А впереди еще целый месяц чего-то неизведанного... Я стал озираться кругом, ища кого-нибудь поопытнее меня. Я уже знал, что нас везут не в маленькую тюрьму с сотней арестантов, а в настоящий исправительный дом с двумя тысячами узников, заключенных на сроки от десяти дней до десяти лет.

На скамейке позади меня сидел здоровенный, корена-

стый мужчина с могучими мускулами. На вид ему было лет тридцать пять — сорок. Я присмотрелся к нему. В выражении его глаз заметны были юмор и добродушие, в остальном он больше походил на животное, и можно было предположить, что он совершенно аморален и наделен звериной силой и всеми звериными инстинктами. Но выражение его глаз — это веселое добродушие зверя, когда его не трогают,— искупало многое, во всяком случае для меня.

Он был моей «находкой». Я «нацелился» на него. И покуда скованный со мной верзила-негр жаловался, что из-за ареста он потеряет обещанную ему работу в прачечной, перемежая, впрочем, свои сетования шутками и смехом, и покуда поезд мчался в Буффало, я разговорился с этим человеком, сидевшим позади меня. Его трубка была пуста. Я набил ее табаком из моего драгоценного запаса,— этого табаку хватило бы на десяток папирос. Да что там, чем дольше мы с ним беседовали, тем больше я убеждался, что это действительно находка, и в конце концов разделил с ним весь мой табак.

Надо вам сказать, что я довольно покладистый малый и достаточно знаком с жизнью, чтобы приноровиться к любому положению. Я поставил себе целью приноровиться к этому человеку, еще не подозревая даже, до чего удачен мой выбор. Он никогда не сидел в той «исправилке», куда нас везли, но успел отсидеть в других тюрьмах — где год, где два, а где и целых пять — и был начинен арестантской премудростью. Мы довольно быстро освоились друг с другом, и сердце мое дрогнуло от радости, когда он посоветовал мне во всем его слушаться. Он называл меня «малый», и я называл его так же.

Поезд остановился на станции в пяти милях от Буффало, и мы сошли, гремя цепями. Не помню точно, как называлась эта станция,— надо думать, что это было что-то вроде Роклина, Роквуда, Блэкрока, Роккасля или Ньюкасля. Но как бы она там ни звалась, нас сначала немного прогнали пешком, а затем посадили в трамвай. Это был старомодный вагон с сиденьями по обе стороны. Всех пассажиров попросили разместиться на одной стороне вагона, а мы, громко лязгая цепями, заняли места на другой. Мы сидели прямо против них, и я, как сейчас, помню выражение ужаса на лицах женщин, которые, наверное, приняли нас за осужденных на каторгу убийц и банковых громил. Я постарался напустить на

себя самый свирепый вид, но мой компаньон по наручникам, развеселый негр, не переставал вращать глазами и повторять со смехом: «О боже! Боже милостивый!»

Мы вылезли из вагона и пешком дошли до канцелярии исправительной тюрьмы округа Эри. Здесь нас переписали, и в этом списке вы можете найти одну из моих двух фамилий. Нам объявили также, что мы должны сдать все ценности: деньги, табак, спички, карманные ножи и прочее.

Мой новый приятель взглянул на меня и отрицательно покачал головой.

— Если вы не оставите ваших вещей здесь, их все равно конфискуют потом,— предупредил чиновник.

Но мой приятель продолжал мотать головой. Он делал какие-то движения руками, пряча их за спиной других арестантов (наручники с нас уже сняли). Я наблюдал за ним и, последовав его примеру, связал в носовой платок все, что хотел взять с собой. Эти узелки мы сунули себе за рубашки. Я заметил, что и прочие арестанты, за исключением одного или двух, у которых имелись часы, не отдали своих вещей чиновнику канцелярии. Они решили довериться случаю, надеясь так или иначе пронести их контрабандой; но они были не так опытны, как мой товарищ, и не связали своих пожитков в узелки.

Конвойные, забрав наручники и цепь, удалились, а нас под охраной новых стражей отправили в тюрьму. Пока мы ожидали в канцелярии, к нам присоединили еще несколько партий вновь прибывших арестантов, так что теперь наша процессия насчитывала сорок — пятьдесят человек.

Знаете ли вы, гуляющие на свободе, что движение в большой тюрьме так же затруднено, как была затруднена торговля в средние века! Попав в исправительный дом, вы уже не можете расхаживать здесь, как вам вздумается. На каждом шагу вы наталкиваетесь на огромные железные двери или ворота, которые всегда на запоре. Нас повели в парикмахерскую, но на нашем пути все время возникали преграды в виде запертых дверей. В первом же «вестибюле» нам пришлось ждать, пока отпирали дверь. «Вестибюль» — это не вестибюль и не коридор. Представьте себе огромный прямоугольный кирпичный брус высотою в шесть этажей: в каждом этаже ряды камер — скажем, по пятьдесят камер в ряду. Еще лучше, вообра-

зите себе огромный пчелиный сот. Поставьте его на землю, обнесите стенами и покройте крышей — и вы получите представление о «вестибюле» исправительной тюрьмы округа Эри. Для полноты картины представьте себе и узенькие висячие галерейки с железными перилами, бегущие вдоль каждого ряда камер. Галерейки с обоих концов соединяются между собой — на случай пожара — узенькими железными лестницами.

Итак, мы задержались в первом «вестибюле», ожидая, пока сторожа отопрут двери. Мимо проходили заключенные с бритыми головами, в полосатой тюремной одежде. Одного такого заключенного я заметил над нами, на галерее третьего этажа. Он стоял, наклонившись вперед, опираясь о перила, и, казалось, совершенно не замечал нашего присутствия. Он смотрел куда-то в пространство. Мой новый приятель издал тихий шипящий звук. Заключенный глянул вниз. Они обменялись какими-то сигналами. Узелок моего приятеля взвился вверх. Заключенный поймал его, мгновенно сунул за пазуху и снова безучастно уставился в пространство. Приятель посоветовал мне последовать его примеру. Я улучил минуту, когда сторож повернулся к нам спиной, и мой узелок тоже полетел вверх и исчез у заключенного за пазухой.

Через минуту дверь отперли, и нас ввели в парикмахерскую. Здесь тоже были люди в полосатой одежде — тюремные цирюльники. Были тут и ванны, и горячая вода, и мыло, и щетки. Нам приказали раздеться и вымыться, причем каждому велено было потереть спину соседу. Это обязательное омовение оказалось совершенно излишним, так как тюрьма кишела паразитами. После мытья каждому дали по холщовому мешку для одежды.

— Сложите свою одежду в мешки,— сказал нам конвойный.— И не пытайтесь протащить, чего не велено! Строиться для осмотра будете голыми. У кого тридцать суток и меньше — оставляйте себе башмаки и подтяжки. У кого больше тридцати суток — не оставляйте ничего.

Это всех смутило: как может голый человек пронести «чего не велено»? Только мой приятель и я чувствовали себя спокойно. Но тут за дело принялись цирюльники. Они обходили вновь прибывших, любезно предлагая взять на свое попечение их драгоценные пожитки и обещая вернуть их в тот же день. Послушать их — это были сущие филантропы. Кажется, нигде еще людей так бы-

стро не освобождали от излишнего груза, если не считать случая с Фра Филиппо Липпи[1]. Спички, табак, папиросная бумага, трубки, ножи, деньги — все решительно исчезло у цирюльников за пазухой и вместилось там. Цирюльники раздулись, как пузыри, от своей добычи, а сторожа делали вид, что ничего не замечают. Короче говоря, все это так и пропало. Да цирюльники и не собирались ничего отдавать. Они считали захваченное добро своей законной добычей. Это был побочный доход парикмахерской! В тюрьме, как я потом установил, процветали самые разнообразные виды незаконных поборов. Мне пришлось испытать это на собственном опыте,— все благодаря моему приятелю.

В парикмахерской стояло несколько стульев, и цирюльники работали быстро. Я никогда еще не видел, чтобы людей так проворно брили и стригли! Намыливались заключенные сами, а цирюльники брили их с молниеносной быстротой — по одному человеку в минуту. Стрижка головы занимала чуть побольше времени. В три минуты исчез весь мой пушок восемнадцатилетнего юнца, и голова моя стала гладкой, как бильярдный шар, но с зачатками новой поросли. Нас лишили бороды и усов с таким же проворством, как и нашей одежды и ценностей. Можете мне поверить — после того как нас так обработали, мы приобрели вид настоящих злодеев! Я даже и не подозревал, до чего же мы все гнусные личности!

Потом нас выстроили в шеренгу. Сорок — пятьдесят человек стояли нагишом, подобно героям Киплинга, бравшим приступом Лунгтунпен. Это чрезвычайно облегчило обыск, на нас были только башмаки. Двое-трое отчаянных голов не решились довериться цирюльникам, и у них сразу нашли их добро — табак, трубки, спички, мелкую монету — и тут же конфисковали. Покончив с этим, нам принесли новое одеяние: грубые тюремные рубашки, куртки и штаны — все полосатое. Оказывается, я всю жизнь пребывал в заблуждении, полагая, что в полосатую арестантскую одежду облачают лишь уголовных преступников. Тут я со своим заблуждением расстался, надел на себя эту одежду позора и получил первый урок маршировки.

Выстроившись тесной вереницей, в затылок друг

[1] Фра Филиппо Липпи — итальянский художник XV века; был, как утверждает предание, похищен пиратами.

другу, причем задний держал руки на плечах переднего, мы перешли в другой большой «вестибюль». Здесь нас выстроили у стенки, приказав обнажить левую руку. Студент-медик, молодой парень, практиковавшийся на такой скотине, как мы, обошел ряд. Он делал прививку еще вчетверо проворней, чем цирюльники свое дело. Нам велели соблюдать осторожность, чтобы не задеть за что-нибудь рукой, пока не подсохла кровь и не образовался струпик, и развели нас по камерам. Здесь меня разлучили с моим новым приятелем, но он все же успел шепнуть мне: «Высоси!»

Как только меня заперли, я начисто высосал ранку. Потом я видел тех, кто не высосал: у них на руках образовались ужасные язвы, в которые свободно вошел бы кулак! Сами виноваты! Могли бы высосать...

В моей камере находился еще один заключенный. Нам предстояло отбывать срок вместе. Это был молодой, крепкий парень, несловоохотливый, но очень дельный, в общем, превосходный парень, какие встречаются не так уж часто,— нужды нет, что он только что отбыл двухлетний срок в одной из «исправилок» штата Огайо.

Не прошло и получаса, как по галерее прошел заключенный и заглянул в нашу камеру. Это был мой приятель. Оказывается, он получил право свободно расхаживать по «вестибюлю». Его камеру отпирали в шесть часов утра и не запирали до девяти вечера. У него здесь нашелся приятель, и его уже сделали доверенным лицом, носившим наименование «коридорного». В эту должность определило его другое доверенное лицо из заключенных, именовавшееся «первым коридорным». В нашем корпусе было тринадцать коридорных — на каждую из десяти галерей по одному,— а над ними начальствовали первый, второй и третий коридорные.

Мой приятель объяснил мне, что нас, новоприбывших, оставят сидеть в камерах весь остаток дня, чтобы не мешать «приниматься» прививке. А утром поведут на тюремный двор, на принудительные работы.

— Но я вызволю тебя, как только можно будет,— пообещал он.— Добьюсь, чтоб уволили одного из коридорных, а тебя назначили на его место!

Сунув руку за пазуху, он вытащил оттуда платок с моими драгоценными пожитками и передал его мне сквозь решетку. Затем пошел дальше по галерее.

Я развязал узелок. Все оказалось на месте! Не пропало ни единой спички. Я поделился табачком с моим товарищем по камере. Когда я хотел зажечь спичку, он удержал меня. На каждой из наших коек валялось по ветхому, грязному одеялу. Он оторвал узенькую полоску ткани, плотно скрутил ее и поднес к ней драгоценную спичку. Бумажная ткань не воспламенилась, но край обуглился и начал тлеть; он мог тлеть несколько часов. Товарищ мой по камере называл это «трутом». Когда трут догорал, стоило только сделать новый трут, приложить его к догорающему, подуть — и огонек воскресал. Как видите, по части хранения огня мы могли дать сто очков вперед самому Прометею!

В двенадцать часов подали обед. В двери нашей клетки внизу было небольшое отверстие, вроде тех, что делают в курятниках. В это отверстие нам сунули два ломтя сухого хлеба и две мисочки «супа». Порция супа состояла приблизительно из кружки кипятку, на поверхности которого одиноко плавала капля жира. Было в этой воде и немного соли.

Мы выпили суп, но не притронулись к хлебу. Не потому, что были не голодны или хлеб оказался несъедобным,— нет, он был довольно сносный, но у нас имелись на то свои причины. Мой товарищ обнаружил, что наша камера кишит клопами! Во всех щелях и промежутках между кирпичами, где осыпалась штукатурка, жили огромные колонии этих насекомых. Старожилы дерзали появляться даже среди бела дня; их были сотни — на стенах и на потолке... Но мой товарищ обладал некоторым опытом по этой части; бесстрашно, как Чайлд-Роланд[1], вызывал он клопов на бой. Разгорелась небывалая битва. Она длилась за часом час. Она была беспощадна. Но, когда разбитый наголову неприятель бежал в свои штукатурные и кирпичные твердыни, наше дело было сделано еще только наполовину. Мы жевали хлеб, превращали его в замазку и, как только обращенный в бегство воин скрывался в расселину меж кирпичами, тотчас залепляли ее жеваным хлебом. Трудились мы так до самых сумерек, пока все отверстия, щели и трещины не оказались закупоренными. Не могу без содрогания подумать о сценах голодной смерти и каннибализма, кото-

[1] Ч а й л д - Р о л а́ н д — герой одноименной поэмы английского поэта XIX века Роберта Браунинга.

рым суждено было разыграться за крепостными стенами из жеваного хлеба.

Измученные и голодные, мы повалились на койки и стали дожидаться ужина. За один день было проделано достаточно. Теперь мы не будем по крайней мере страдать от полчищ паразитов! Пришлось пожертвовать обедом, спасти, так сказать, шкуру за счет желудка, но мы были довольны. Увы! Сколь тщетны человеческие старания! Едва был окончен наш долгий труд, как надзиратель отпер дверь: затеяли перераспределение заключенных — нас перевели двумя галереями выше, в другую камеру.

На другой день рано утром наши камеры отперли, и несколько сот узников выстроились гуськом в нижнем «вестибюле» и пошли на тюремный двор работать. Канал Эри проходил как раз мимо заднего двора исправительной тюрьмы округа Эри. Мы разгружали приплывшие по каналу суда и перетаскивали в тюрьму на спине огромные, похожие на шпалы, распорные болты. Работая, я изучал обстановку, ища возможность дать тягу. Но на это не было и тени надежды. По стенам расхаживали часовые, вооруженные автоматическими винтовками, а в сторожевых башнях, как мне сказали, стояли еще и пулеметы.

Впрочем, я не очень огорчался. Тридцать суток не такой уж большой срок! Потерплю. У меня только прибавится материала против этих гарпий правосудия, который я пущу в ход, как только выйду на свободу. Я покажу, что может сделать американский юноша, когда его права и привилегии растоптаны так, как были растоптаны мои! Меня лишили права предстать перед судом присяжных — не спросили даже, считаю ли я себя виновным или нет; меня, в сущности, осудили без суда (ибо не мог же я считать судом фарс, разыгранный в городе Ниагара-Фоллс!); мне не дали возможности снестись с юристом или с кем бы то ни было и, стало быть, лишили права обжаловать приговор; меня наголо обрили, облачили в полосатую одежду каторжника, держали на воде и хлебе, заставили выполнять каторжную работу и ходить под вооруженным конвоем. И все это — за что? Что я сделал? Какое преступление совершил я по отношению к гражданам города Ниагара-Фоллс, что на меня обрушили все эти кары? Я даже не погрешил против постановления, запрещающего ночевать на улице.

Я спал не на улице, а в поле. Я даже не просил хлеба и не выклянчивал «легкую монету» у прохожих. Я только прошелся по их тротуарам и поглядел на их грошовый водопад. Так в чем же тут преступление? Юридически я не совершил ни малейшего проступка. Ладно, я им покажу, дайте мне только выйти на волю!

На следующий день я обратился к надзирателю. Я потребовал адвоката. Надзиратель высмеял меня. Надо мной смеялись все, к кому бы я ни обращался. Фактически я был отрезан от мира. Я вздумал написать письмо, но узнал, что письма читаются, подвергаются цензуре или конфискуются тюремными властями и что «краткосрочникам» вообще не разрешено писать писем. Тогда я попробовал переслать письма тайком через заключенных, выходивших на волю, но узнал, что их обыскали, нашли мои письма и уничтожили. Ладно, все это лишь отягчит обвинение, которое я предъявлю, выйдя на свободу!

Но шли дни, и я мало-помалу «умнел». Я наслушался невероятных, чудовищных рассказов о полицейских, об адвокатах, о полицейских судах. Заключенные рассказывали мне вещи поистине страшные о своих столкновениях с полицией в больших городах. Еще страшнее были ходившие среди них истории о людях, которые погибли от рук полиции и, следовательно, не могли уже поведать о себе. Несколько лет спустя в докладе «Комиссии Лексоу» мне пришлось читать правдивые повести, еще более жуткие, чем те, каких я наслушался в тюрьме. А ведь в первые дни заключения я недоверчиво усмехался, слушая эти, как мне казалось, россказни.

Но дни проходили, и я начинал верить. Я собственными глазами увидел в этой «исправилке» вещи невероятные и чудовищные. И чем больше я узнавал, тем сильнее проникался трепетом перед ищейками закона и перед всей машиной правосудия.

Возмущение испарялось, а страх все глубже пускал корни в моей душе. Я отчетливо понял, наконец, против чего я восстал. Я присмирел, утихомирился и с каждым днем все более укреплялся в решении не поднимать шума, когда выйду на волю. Единственное, чего мне теперь хотелось,— это смыться куда-нибудь подальше. Именно это я и сделал, когда меня освободили. Я придержал язык, ушел тихо и смирненько — умудренный опытом и покорный — и стал пробираться в штат Пенсильвания.

ОТСТУПНИК

Вот я на работу дневную иду.
Господь, укрепи мои мышцы к труду.
А если мне смерть суждена, я творца
Молю дать работу свершить до конца.
Аминь.

— Вставай сейчас же, Джонни, а то есть не дам!

Угроза не возымела действия на мальчика. Он упорно не хотел просыпаться, цепляясь за сонное забытье, как мечтатель цепляется за свою мечту. Руки его пытались сжаться в кулаки, и он наносил по воздуху слабые, беспорядочные удары. Удары предназначались матери, но она с привычной ловкостью уклонялась от них и сильно трясла его за плечо.

— Н-ну тебя!..

Сдавленный крик, начавшись в глубинах сна, быстро вырос в яростный вопль, потом замер и перешел в невнятное хныканье. Это был звериный крик, крик души, терзаемой в аду, полный бесконечного возмущения и муки.

Но мать не обращала на него внимания. Эта женщина с печальными глазами и усталым лицом привыкла к своей ежедневно выполняемой обязанности. Она ухватилась за одеяло и попыталась стянуть его с мальчика, но он, перестав колотить кулаками, отчаянно вцепился в него. Сжавшись в комок в ногах кровати, он не желал расставаться с одеялом. Тогда мать попробовала стащить всю постель на пол. Мальчик сопротивлялся. Она тянула изо всех сил. Перевес был на ее стороне — постель поползла на пол вместе с мальчиком, который инстинктивно держался за нее, спасаясь от холода нетопленной комнаты.

Он повис на краю кровати, и казалось, вот-вот свалится на пол. Но сознание его уже пробудилось. Он выпрямился и сохранил равновесие; потом спустил ноги на пол. Мать тотчас же схватила его за плечи и встряхнула. Мальчик снова выбросил кулаки, на этот раз с большей силой и меткостью. Глаза его открылись. Мать отпустила его — он проснулся.

— Ладно,— пробормотал он.

Мать взяла лампу и поспешно вышла, оставив его в темноте.

— Вычтут, будешь знать! — бросила она, уходя.

Темнота ему не мешала. Одевшись, он вышел на кухню. Поступь у него была слишком грузная для такого худого, щуплого тела. Ноги тяжело волочились, и это казалось странным: очень уж они были тоненькие и костлявые. Он придвинул к столу продавленный стул.

— Джонни! — резко окликнула его мать.

Он так же резко поднялся и молча пошел к раковине. Она была грязная и сальная, из отверстия шел скверный запах. Мальчик не замечал этого. Зловонная раковина была для него в порядке вещей, так же как и то, что в мыло въелась грязь от кухонной посуды и оно плохо мылилось. Да он и не очень-то старался намылиться. Несколько пригоршней холодной воды из-под крана довершили умывание. Зубов он не чистил. Он даже никогда не видал зубной щетки и не подозревал, что существуют на свете люди, способные на такую глупость, как чистка зубов.

— Хоть бы раз в день сам догадался помыться,— упрекнула его мать.

Придерживая на кофейнике разбитую крышку, она налила две чашки кофе. Джонни не отвечал на ее упрек, ибо это являлось вечной темой разговоров и единственным, в чем мать была тверда, как кремень. «Хоть раз в день» умыть лицо считалось обязательным. Джонни утерся засаленным, рваным полотенцем, от которого на лице у него остались волокна.

— Уж очень мы далеко живем,— сказала мать, когда Джонни сел к столу.— Да все ведь думаешь — как лучше. Сам знаешь. Зато тут попросторней и на доллар дешевле, а он тоже на улице не валяется. Сам знаешь.

Джонни едва слушал. Все это говорилось уже много раз. Круг ее мыслей был ограничен, и она вечно возвращалась к тому, как неудобно им жить так далеко от фабрики.

— Доллар — это значит еды прибавится,— заметил он рассудительно.— Лучше пройтись, да зато поесть побольше.

Он торопливо ел хлеб, запивая непрожеванные куски горячим кофе. За кофе сходила горячая мутная жидкость, но Джонни считал, что кофе превосходный. Это была одна из немногих сохранившихся у него иллюзий. Настоящего кофе он не пил ни разу в жизни.

В добавление к хлебу он получил еще кусочек холод-

ной свинины. Мать налила ему вторую чашку. Доедая хлеб, Джонни зорко следил, не дадут ли еще. Мать перехватила его выжидающий взгляд.

— Не будь обжорой,— сказала она.— Ты свою долю получил. А что младшим останется?

Джонни ничего не ответил на ее упрек. Он вообще не отличался словоохотливостью. Но его голодный взгляд больше не выпрашивал добавки. Мальчик не жаловался, и эта покорность была так же страшна, как и школа, где его этому обучили. Он допил кофе, вытер рот и встал со стула.

— Погоди-ка,— поспешно сказала мать.— Еще один тоненький ломтик, пожалуй, можно отрезать от краюхи.

Это была просто ловкость рук. Делая вид, что отрезает ломоть от краюхи, мать убрала ее в хлебную корзинку, ему же подсунула один из своих собственных кусков. Она думала, что обманула сына, но он заметил ее хитрость и все же без зазрения совести взял хлеб. Он считал, что мать при ее болезненности все равно много не съест.

Мать, увидев, что он жует сухой хлеб, потянулась через стол и вылила ему кофе из своей чашки.

— Что-то мутит меня сегодня от него,— пояснила она.

Отдаленный гудок, пронзительный и протяжный, заставил обоих вскочить. Мать взглянула на жестяной будильник, стоявший на полке. Стрелки показывали половину шестого. Весь фабричный люд сейчас еще только пробуждался от сна. Она накинула на плечи шаль и надела старую, помятую, засаленную шляпку.

— Придется бегом,— сказала она, прикручивая фитиль и задувая огонь.

Они ощупью вышли из комнаты и спустились по лестнице.

День был ясный, морозный, и Джонни поеживался, когда его охватило холодным воздухом. Звезды еще не начали бледнеть, и город был погружен во тьму. Джонни и его мать тащились пешком, тяжело волоча ноги. Не хватало сил, чтобы твердо ступать по земле.

Минут через пятнадцать мать свернула вправо.

— Смотри не опоздай! — донеслось из темноты ее последнее предостережение.

Он не ответил, продолжая идти своей дорогой. Во всех домах фабричного квартала отворялись двери, и скоро



Джонни влился в толпу, двигавшуюся в темноте. Раздался второй гудок, когда он входил в фабричные ворота. Он взглянул на восток. Над ломаной линией крыш небо начало слегка светлеть. Вот и весь дневной свет, который доставался на его долю. Он повернулся к нему спиной и вошел в цех вместе со всеми.

Джонни занял свое место в длинном ряду станков. Перед ним над ящиком с мелкими шпульками быстро вращались шпульки более крупные. На них он наматывал джутовую нить с маленьких шпулек. Работа была несложная, требовалась только сноровка. Нить так стремительно перематывалась с маленьких шпулек на большие, что зевать было некогда.

Джонни работал машинально. Когда пустела одна из маленьких шпулек, он, действуя левой рукой, как тормозом, останавливал большую шпульку и одновременно большим и указательным пальцами ловил свободный конец нити. Правой рукой он в это время захватывал конец с новой маленькой шпульки. Все действия производились обеими руками одновременно и быстро. Затем молниеносным движением Джонни завязывал узел и отпускал шпульку. Вязать ткацкие узлы было просто. Он как-то похвалился, что мог бы делать это во сне. В сущности, так оно и было, ибо сплошь и рядом Джонни всю долгую ночь вязал во сне бесконечные вереницы ткацких узлов.

Кое-кто из мальчиков отлынивал от дела, не заменял мелкие шпульки, когда они кончались, и оставлял станок работать вхолостую. Но мастер следил за этим. Однажды он накрыл соседа Джонни и влепил ему затрещину.

— Погляди на Джонни! Почему ты не работаешь, как он? — грозно спросил мастер.

Шпульки у Джонни вертелись вовсю, но его не порадовала эта косвенная похвала. Было время... но то было давно, очень давно. Ничто не отразилось на равнодушном лице мальчика, когда он услышал, что его ставят в пример. Да, он был образцовым рабочим. Он знал это. Ему говорили об этом, и не раз. Похвала стала привычной и уже ничего для него не значила. Из образцового рабочего он превратился в образцовую машину. Если работа у него не ладилась, это, как и у станка, обычно вызывалось плохим качеством сырья. Ошибиться было для него так же невозможно, как для усовершенствованного гвоздильного станка неточно штамповать гвозди.

И неудивительно. Не было в его жизни времени, когда бы он не имел тесного общения с машинами. Машины, можно сказать, вросли в него, и, во всяком случае, он вырос среди них. Двенадцать лет назад в ткацком цеху этой же фабрики произошло некоторое смятение. Матери Джонни стало дурно. Ее уложили на полу между скрежещущими станками. Позвали двух ткачих. Им помогал мастер. Через несколько минут в ткацкой стало на одну душу больше. Эта новая душа был Джонни, родившийся под стук, треск и грохот ткацких станков и втянувший с первым дыханием теплый, влажный воздух, полный хлопковой пыли. Он кашлял уже в первые часы своей жизни, стараясь освободить легкие от пыли, и по той же причине кашлял и по сей день.

Мальчик, работавший рядом с Джонни, хныкал и шмыгал носом. На лице его была написана ненависть к мастеру, который продолжал бросать на него издали грозные взгляды; но пустых шпулек уже не было. Мальчик выкрикивал отчаянные ругательства вертевшимся перед ним шпулькам, но звук не шел дальше — его задерживал и замыкал, как в стенах, грохот, стоявший в цеху.

Джонни ни на что не обращал внимания. В нем выработалось бесстрастное отношение к вещам. К тому же от повторения все приедается, а подобные происшествия он наблюдал много раз. Ему казалось столь же бесполезным

перечить мастеру, как сопротивляться машине. Машины устроены, чтобы действовать определенным образом и выполнять определенную работу. Также и мастер.

Но в одиннадцать часов в цеху началось волнение. Какими-то таинственными путями оно мгновенно передалось всем. Одноногий мальчонка, работавший рядом с Джонни по другую сторону, быстро заковылял к порожней вагонетке, нырнул в нее и скрылся там вместе с костылем. В цех входил управляющий в сопровождении какого-то молодого человека. Последний был хорошо одет, в крахмальной сорочке — джентльмен, согласно той классификации людей, которую создал для себя Джонни; это был инспектор.

Проходя по цеху, инспектор зорко поглядывал на мальчиков. Иногда он останавливался и задавал вопросы. Ему приходилось кричать во всю мочь, и лицо его нелепо искажалось от натуги. Инспектор сразу заметил пустой станок возле Джонни, но ничего не сказал. Джонни также обратил на себя его внимание. Внезапно остановившись, он схватил Джонни за руку повыше локтя, оттащил на шаг от машины и тотчас же отпустил с удивленным восклицанием.

— Худощав немного,— тревожно хихикнул управляющий.

— Одни кости! — последовал ответ.— А посмотрите на его ноги! У мальчишки явный рахит, в начальной стадии, но несомненный. Если его не доконает эпилепсия, то лишь потому, что еще раньше прикончит туберкулез.

Джонни слушал, но не понимал. К тому же его не пугали грядущие бедствия. В лице инспектора ему угрожало бедствие более близкое и более страшное.

— Ну, мальчик, отвечай правду,— сказал, вернее, прокричал инспектор, наклоняясь к его уху.— Сколько тебе лет?

— Четырнадцать,— солгал Джонни, и солгал во всю силу своих легких. Так громко солгал он, что это вызвало у него сухой, судорожный кашель, поднявший всю пыль, которая осела в его легких за утро.

— На вид все шестнадцать,— сказал управляющий.

— Или все шестьдесят! — отрезал инспектор.

— Он всегда был такой.

— С каких пор? — быстро спросил инспектор.

— Да уж сколько лет. И все не взрослеет.

— Не молодеет, я бы сказал. И все эти годы он проработал здесь?

— С перерывами. Но это было до введения нового закона,— поспешил добавить управляющий.

— Станок пустует? — спросил инспектор, указывая на незанятое место рядом с Джонни, где вихрем вертелись полусмотанные шпульки.

— Похоже на то! — Управляющий знаком подозвал мастера и прокричал ему что-то в ухо, указывая на станок.— Пустует,— доложил он инспектору.

Они прошли дальше, а Джонни вернулся к работе, радуясь, что беда миновала. Но одноногий мальчик был менее удачлив. Зоркий инспектор заметил его и вытащил из вагонетки. Губы у мальчика дрожали, а в глазах было такое отчаяние, словно его постигло страшное, непоправимое бедствие.

Мастер недоуменно развел руками, словно видел калеку впервые в жизни, а лицо управляющего изобразило удивление и недовольство.

— Я знаю этого мальчика,— сказал инспектор.— Ему двенадцать лет. За этот год по моему распоряжению он был уволен с трех фабрик. Ваша четвертая.

Он обернулся к одноногому:

— Ты ведь обещал мне, что будешь ходить в школу, дал честное слово!

Мальчик залился слезами.

— Простите, господин инспектор! У нас уже померло двое маленьких, в доме такая нужда.

— А отчего ты кашляешь? — громко спросил инспектор, словно обвиняя его в тяжком преступлении.

И, точно оправдываясь, одноногий ответил:

— Это ничего. Я простудился на прошлой неделе, господин инспектор, только и всего.

Кончилось тем, что мальчик вышел из цеха вместе с инспектором, за которым следовал встревоженный и смущенный управляющий. После этого все вошло в обычную колею. Наконец долгое утро и еще более долгий день пришли к концу, раздался гудок к окончанию работы. Было уже темно, когда Джонни вышел из фабричных ворот. За это время солнце успело взойти по золотой лестнице небес, залить мир благодатным теплом, спуститься к западу и исчезнуть за ломаной линией крыш.

Ужин был семейным сбором — единственной трапезой,

за которой Джонни сталкивался с младшими братьями и сестрами. Это поистине было столкновением, ибо он был очень стар, а они оскорбительно молоды. Его раздражала эта чрезмерная и непостижимая молодость. Он не понимал ее. Его собственное детство было слишком далеко позади. Как брюзгливому старику, Джонни претило это буйное озорство, казавшееся ему отъявленной глупостью. Он молча хмурился над тарелкой, утешаясь мыслью, что и им тоже скоро придется пойти на работу. Это их обломает, сделает степенными и солидными, как он сам. Так, подобно всем смертным, Джонни мерил все своей меркой.

За ужином мать на разные лады и с бесконечными повторениями объясняла, как она для них старается; поэтому, когда кончилась скудная трапеза, Джонни с облегчением отодвинул стул и встал. Мгновение он колебался, лечь ли ему спать, или выйти на улицу, и наконец выбрал последнее. Но далеко он не пошел, а уселся на крыльце, ссутулив узкие плечи, уперев локти в колени, уткнувшись подбородком в ладони.

Он сидел и ни о чем не думал. Он просто отдыхал. Сознание его дремало. Его братья и сестры тоже вышли на улицу и вместе с другими ребятами затеяли шумную игру. Электрический фонарь на углу бросал яркий свет на дурачившихся детей. Они знали, что Джонни сердитый и всегда злится, но словно какой-то бесенок подстрекал их дразнить его. Они взялись за руки и, отбивая ногами такт, пели ему в лицо бессмысленные и обидные песенки. Сначала Джонни огрызался и осыпал их ругательствами, которым научился от мастеров. Увидя, что это бесполезно, и вспомнив о своем достоинстве взрослого, он вновь погрузился в угрюмое молчание.

Заводилой был десятилетний брат Вилли, второй после Джонни. Джонни не питал к нему особо нежных чувств. Его жизнь была рано омрачена необходимостью постоянно в чем-нибудь уступать Вилли и от чего-то ради него отказываться. Джонни считал, что Вилли в большом долгу перед ним и что он неблагодарный мальчишка. В ту отдаленную пору, когда Джонни сам мог бы играть, необходимость нянчить Вилли отняла у него бóльшую часть детства. Вилли тогда был младенцем, а мать, как и сейчас, целыми днями работала на фабрике. На Джонни ложились обязанности и отца и матери.

И то, что Джонни уступал и не отказывался, видимо, пошло Вилли впрок. Он был розовощекий, крепкого сложения, ростом с Джонни и даже плотнее его. Словно вся жизненная сила одного перешла в тело другого. И не только в тело. Джонни был измотанный, апатичный, вялый, а младший брат кипел избытком энергии.

Дурацкая песенка звучала все громче и громче. Вилли, приплясывая, сунулся ближе и показал язык. Джонни выбросил вперед левую руку, обхватил брата за шею и стукнул его кулаком по носу. Кулачок был жалкий и костлявый, но о том, что он бил больно, красноречиво свидетельствовал отчаянный вопль, который за этим последовал. Дети подняли испуганный визг, а Дженни — сестра Джонни и Вилли — кинулась в дом.

Джонни оттолкнул от себя Вилли, свирепо лягнул его, потом сбил с ног и ткнул лицом в землю. Тут подоспела мать, обрушив на Джонни вихрь бессильных упреков и материнского гнева.

— А чего он пристает! — отвечал Джонни.— Не видит разве, что я устал?

— Я с тебя ростом! — кричал Вилли, извиваясь в материнских объятиях, обратив к брату лицо, залитое слезами, перепачканное грязью и кровью.— Я уже с тебя ростом и вырасту еще больше! Достанется тебе тогда! Вот увидишь, достанется!

— А ты бы шел работать, раз вырос такой большой,— огрызнулся Джонни.— Вот чего тебе не хватает — работать пора. Пусть мать пристроит тебя на работу.

— Да ведь он еще мал,— запротестовала она.— Куда ему работать, такому малышу.

— Я был меньше, когда начинал.

Джонни открыл уже было рот, собираясь дальше изливать свою обиду, но передумал. Он мрачно повернулся и вошел в дом. Дверь его комнаты была открыта, чтобы шло тепло из кухни. Раздеваясь в полутьме, он слышал, как мать разговаривает с соседкой. Мать плакала, и слова ее перемежались жалкими всхлипываниями.

— Не пойму, что делается с Джонни,— слышал он.— Никогда я его таким не видала. Смирный да терпеливый был, как ангелочек. Да он и сейчас хороший,— поспешила она оправдать его.— От работы не отлынивает; а на фабрику, верно ведь, пошел слишком рано. Да разве я виновата? Все ведь думаешь, как лучше.

Снова послышались всхлипывания. А Джонни пробормотал, закрывая глаза:

— Вот именно — не отлынивал.

На следующее утро мать снова вырвала его из цепких объятий сна. Затем опять последовал скудный завтрак, выход из дома в темноте и бледный проблеск утра, к которому он повернулся спиной, входя в фабричные ворота. Еще один день из множества дней — и все одинаковые.

Но в жизни Джонни бывало и разнообразие: когда его ставили на другую работу или когда он заболевал. В шесть лет он нянчил Вилли и других ребят. В семь пошел на фабрику наматывать шпульки. В восемь получил работу на другой фабрике. Новая работа была удивительно легкая. Надо было только сидеть с палочкой в руке и направлять поток ткани, текущей мимо. Поток этот струился из пасти машины, поступал на горячий барабан и шел куда-то дальше. А Джонни все сидел на одном месте, под слепящим газовым рожком, лишенный дневного света, и сам становился частью механизма.

На этой работе Джонни чувствовал себя счастливым, несмотря на влажную жару цеха, ибо он был еще молод и мог мечтать и тешить себя иллюзиями. Чудесные мечты сплетал он, наблюдая, как дымящаяся ткань безостановочно плывет мимо. Но работа не требовала ни движений, ни умственных усилий, и он мечтал все меньше и меньше, а ум его тупел и цепенел. Все же он зарабатывал два доллара в неделю, а два доллара как раз составляли разницу между голодом и хроническим недоеданием.

Но когда ему исполнилось девять, он потерял эту работу. Виною была корь. Поправившись, он поступил на стекольный завод. Здесь платили больше, зато требовалось умение. Работали сдельно; и чем проворней он был, тем больше получал. Тут была заинтересованность, и под влиянием ее Джонни стал замечательным работником.

Ничего сложного тут тоже не было: привязывать стеклянные пробки к маленьким бутылочкам. На поясе у Джонни висел пучок веревок, а бутылки он зажимал между колен, чтобы действовать обеими руками. От сидячего и сгорбленного положения его узкие плечи сутулились, а грудная клетка была сжата в течение десяти часов

подряд. Это вредно сказывалось на легких, но зато он перевязывал триста дюжин бутылок в день.

Управляющий очень им гордился и приводил посетителей поглядеть на него. За десять часов через руки Джонни проходило триста дюжин бутылок. Это означало, что он достиг совершенства машины. Все лишние движения были устранены. Каждый взмах его тощих рук, каждое движение костлявых пальцев было быстро и точно. Такая работа требовала огромного напряжения, и нервы Джонни начали сдавать. По ночам он вздрагивал во сне, а днем тоже не мог ни отвлечься, ни отдохнуть. Он был все время взвинчен, и руки у него судорожно подергивались. Лицо его стало землистым, и кашель усилился. Кончилось тем, что Джонни заболел воспалением легких и потерял работу на стекольном заводе.

Теперь он вернулся на джутовую фабрику, с которой в свое время начал. Здесь он мог рассчитывать на повышение. Он был хороший работник. Со временем его переведут в крахмальный цех, а потом в ткацкую. Дальше останется лишь увеличить производительность.

За эти годы машины стали работать быстрее, а ум Джонни — медленнее. Он уже больше не мечтал, как бывало в прежние годы. Однажды он был влюблен. Это случилось в тот год, когда его поставили направлять поток ткани, текущей на барабан. Предметом его любви была дочь управляющего, взрослая девушка, и он видел ее только издали и всего каких-нибудь пять-шесть раз. Но это не имело значения. На поверхности ткани, которая текла мимо, Джонни рисовал себе светлое будущее — он совершал чудеса производительности, изобретал диковинные машины, становился директором фабрики и в конце концов заключал свою возлюбленную в объятия и скромно целовал в лоб.

Все это относилось к давним временам, когда он не был таким старым и утомленным и еще мог любить. К тому же девушка вышла замуж и уехала, а его чувства притупились. Да, то было чудесное время, и он частенько вспоминал его, как другие вспоминают детство, когда они верили в добрых фей. А Джонни верил не в добрых фей и не в Санта Клауса — он простодушно верил в те картины счастливого будущего, которыми его воображение расписывало дымящуюся ткань.

Джонни очень рано стал взрослым. В семь лет, когда

он получил первое жалованье, началось его отрочество. У него появилось известное ощущение независимости, и отношения между матерью и сыном изменились. Он зарабатывал свой хлеб, жил своим трудом и тем как бы становился с нею на равную ногу. Взрослым, по-настоящему взрослым, он стал в одиннадцать лет, после того как полгода проработал в ночной смене. Ни один ребенок, работающий в ночной смене, не может оставаться ребенком.

В жизни его насчитывалось несколько важных событий. Однажды мать купила немного калифорнийского чернослива. Два раза она делала заварной крем. Это были очень важные события. Он вспоминал о них с нежностью. Тогда же мать рассказала ему об одном диковинном кушанье и пообещала когда-нибудь приготовить его; кушанье называлось «плавучий остров». «Это будет получше заварного крема»,— сказала мать. Джонни годами ждал того дня, когда он сядет к столу и будет есть «плавучий остров», пока и эта надежда не отошла в область несбыточных мечтаний.

Как-то раз он нашел на улице двадцатипятицентовую монету. То было тоже крупное, даже трагическое событие в его жизни. Он знал, как должен поступить, еще раньше, чем подобрал монету. Дома, как всегда, было нечего есть, домой ему и следовало принести ее, как он приносил по субботам получку. Правильный путь был ясен, но Джонни никогда не имел карманных денег, и его мучила тоска по сладкому. Он изголодался по конфетам, которые доставались ему лишь по особо торжественным дням.

Джонни не пытался себя обманывать. Он знал, что совершает грех, и, пустившись в разгул на свои пятнадцать центов, грешил сознательно. Десять он отложил на вторую оргию, но, не имея привычки хранить деньги, потерял их. Это несчастье, словно нарочно, случилось как раз в то время, когда угрызения совести особенно жестоко терзали его, и оно представилось ему возмездием свыше. Он с ужасом ощутил близость грозного и разгневанного божества. Бог видел — и бог покарал, лишив его даже плодов содеянного им греха.

Мысленно Джонни всегда оглядывался на это событие, как на единственное свое преступление, и всякий раз при этом заново испытывал угрызения совести. То была

его греховная тайна. Вместе с тем по складу своего характера он при подобных обстоятельствах не мог не испытывать сожалений. Он был недоволен тем, как употребил найденные деньги. На них можно было купить больше; знай он быстроту божьего возмездия, он обошел бы бога, потратив все двадцать пять центов сразу. Он тысячу раз мысленно распоряжался этими двадцатью пятью центами, и с каждым разом все выгоднее.

Было еще одно воспоминание, далекое и туманное, но навеки втоптанное в его душу безжалостными ногами отца. Это был скорей кошмар, чем воспоминание о действительном событии,— нечто вроде той атавистической памяти, которая заставляет человека падать во сне и восходит ко временам, когда предки его жили на деревьях.

Воспоминание это никогда не посещало Джонни при дневном свете, когда он бодрствовал. Оно являлось ночью, в тот момент, когда сознание его гасло, погружаясь в сон. Он просыпался в испуге, и в первую страшную минуту ему казалось, что он лежит поперек кровати, в ногах. На кровати — смутные очертания отца и матери. Он не мог припомнить, как выглядел отец. Об отце он знал лишь одно: у него были грубые, безжалостные ноги.

Ранние воспоминания еще сохранились в его мозгу, но более поздних не существовало. Все дни были одинаковы. Вчерашний день или прошлый год были равны тысячелетию — или минуте. Ничего никогда не случалось. Не было событий, отмечающих ход времени. Время не шло, оно стояло на месте. Двигались лишь неугомонные машины, да и они никуда не шли, хотя и вертелись все быстрее.

...Когда ему минуло четырнадцать, он перешел в крахмальный цех. Это было громадным событием. Случилось наконец нечто такое, что не забудется за одну ночь и даже за неделю. Наступила новая эра. Это было для Джонни как бы олимпиадой, началом летосчисления. «Когда я стал работать в крахмальном» или «до», или «после того как я перешел в крахмальный» — вот слова, которые не сходили у него с уст.

Свое шестнадцатилетие Джонни отметил переходом в ткацкую, к ткацкому станку. Здесь снова была заинтересованность, так как платили сдельно. Он и тут отличился, ибо фабричный горн давно переплавил его плоть в идеаль-

ную машину. Через три месяца Джонни работал на двух станках, а затем на трех и на четырех.

После двух лет, проведенных в этом цехе, он вырабатывал больше ярдов ткани, чем любой другой ткач, и вдвое больше, чем многие из его менее проворных товарищей. И теперь, когда он начал работать в полную силу, дома зажили лучше. Впрочем, нельзя сказать, чтоб его заработок перекрывал потребности семьи. Дети подрастали. Они ели больше. Они пошли в школу, а учебники стоят денег. И почему-то чем быстрее Джонни работал, тем быстрее подымались цены. Повысилась даже квартирная плата, хотя дом разваливался на глазах.

Джонни вырос и казался от этого еще более тощим. Нервы его совсем расшатались, он стал раздражителен и брюзглив. Дети на горьком опыте научились сторониться старшего брата. Мать уважала его как кормильца семьи, но к этому уважению примешивался страх.

В жизни Джонни не было радостей. Дней он не видел. Ночи проходили в беспокойном забытьи. Остальное время он работал, и сознание его было сознанием машины. Вне этого была пустота. Он ни к чему не стремился и сохранил только одну иллюзию, что он пьет превосходный кофе. Это была рабочая скотинка, лишенная всякой духовной жизни. Но где-то глубоко в подсознании, неведомо для него самого, откладывался каждый час работы, каждое движение рук, каждое сокращение мускулов,— и все это подготовило развязку, которая повергла в изумление и его самого, и весь его маленький мирок.

Однажды, поздней весной, Джонни вернулся с работы, чувствуя себя еще более усталым, чем обычно. За столом царило приподнятое настроение, но он этого не замечал. Он ел в угрюмом молчании, машинально уничтожая то, что стояло перед ним. Дети охали, ахали, причмокивая губами. Но Джонни был глух ко всему.

— Да знаешь ли ты, что ты ешь? — не выдержала наконец мать.

Он рассеянно поглядел в тарелку, потом на мать.

— «Плавучий остров»! — объявила она с торжеством.

— А-а,— сказал Джонни.

— «Плавучий остров»! — хором подхватили дети.

— А-а,— повторил он и после двух-трех глотков добавил: — Мне сегодня что-то не хочется есть.

Он положил ложку, отодвинул стул и устало поднялся.

— Я, пожалуй, лягу.

Проходя через кухню, Джонни волочил ноги тяжелее обычного. Раздевание потребовало титанических усилий и показалось таким ненужным, что он заплакал от слабости и полез в постель, не сняв второго башмака. Он чувствовал, как в голове у него словно растет какая-то опухоль, и от этого мысли становились расплывчатыми. Его худые пальцы, казалось, стали в толщину запястий, а кончики — ватными и такими же непослушными, как его мысли. Невыносимо ломило поясницу. Болели все кости. Болело все. А в мозгу начался стук, свист, грохот миллиона ткацких станков. Мировое пространство заполнилось снующими челноками. Они метались взад и вперед, петляя среди звезд. Джонни работал на тысяче станков, и они всё ускоряли ход; челноки сновали всё быстрее и быстрее, а мозг его все быстрее разматывался и превращался в нить, которую тянула тысяча снующих челноков.

На следующее утро Джонни не вышел на работу. Он был занят другой работой — на тысяче ткацких станков, стучащих в его голове. Мать ушла на фабрику, но прежде послала за врачом. «Тяжелая форма гриппа»,— сказал тот. Дженни ухаживала за братом и выполняла все предписания врача.

Болезнь протекала тяжело, и только через неделю Джонни смог одеться и с трудом проковылять по комнате. Еще неделя, сказал врач, и он вернется на работу. Мастер ткацкого цеха посетил их в воскресенье, в первый день, когда Джонни полегчало.

— Лучший ткач в цеху,— сказал он матери.— Место за ним сохранят. Может встать на работу через неделю, в тот понедельник.

— Ты бы хоть поблагодарил, Джонни,— озабоченно сказала мать.— Он так был плох, до сих пор в себя не пришел,— виновато объяснила она гостю.

Джонни сидел сгорбившись, пристально глядя в пол. Он оставался в этой позе еще долго после ухода мастера. На дворе стемнело, и после обеда он вышел посидеть на крыльце. Иногда губы его шевелились. Казалось, он был погружен в какие-то бесконечные вычисления.

На следующий день, когда в воздухе потеплело, Джонни снова уселся на крыльце. В руках у него был карандаш и бумага, и он долго с натугой и поразительным старанием высчитывал что-то.

— Что идет после миллионов? — спросил Джонни в полдень, когда Вилли вернулся из школы.— И как их считают?

К вечеру вычисления были закончены. Каждый день, уже без карандаша и бумаги, Джонни выходил на крыльцо. Он пристально смотрел на одинокое дерево, которое росло на другой стороне улицы. Он разглядывал это дерево часами; и особенно занимало его, когда ветер раскачивал ветви и шевелил листья. Всю эту неделю Джонни словно вел долгую беседу с самим собой. В воскресенье, все так же сидя на крыльце, он несколько раз громко рассмеялся, к великому смятению матери, которая уже много лет не слыхала смеха своего старшего сына.

На следующее утро, в предрассветной тьме, она подошла к кровати, чтобы разбудить его. Он успел выспаться за неделю и проснулся без труда. Он не сопротивлялся, не тянул на себя одеяло, а лежал спокойно и заговорил:

— Ни к чему это, мама.

— Опоздаешь,— сказала она, думая, что он еще не проснулся.

— Я не сплю, мама, но все равно— ни к чему это. Ты лучше уйди. Я не встану.

— Да ведь работу потеряешь! — вскричала она.

— Сказал, не встану,— повторил он каким-то чужим, бесстрастным голосом.

В то утро мать сама не пошла на работу. Эта болезнь была похуже всех, дотоле ей известных. Лихорадку и бред она могла понять, но это же было явное помешательство. Она накрыла сына одеялом и послала Дженни за врачом. Когда тот явился, Джонни мирно спал и так же мирно проснулся и дал ощупать свой пульс.

— Ничего, особенного,— сказал доктор,— очень ослабел, конечно. Кожа да кости!

— Да он всегда был такой,— сказала мать.

— Теперь уйди, мама, дай мне поспать.

Джонни сказал это кротко и спокойно, так же спокойно повернулся на другой бок и заснул.

В десять часов он проснулся, встал с постели и вышел на кухню. Мать с испугом посмотрела на него.

— Я ухожу, мама,— объявил он.— Давай простимся.

Она закрыла лицо передником, опустилась на стул и заплакала. Джонни терпеливо ждал.

— Вот дожила! — проговорила она сквозь слезы: потом, отняв передник от лица, подняла на Джонни испуганные глаза, не выражавшие даже любопытства.— Да куда же ты пойдешь?

— Не знаю... куда-нибудь.

Перед внутренним взором Джонни ярким видением возникло дерево, которое росло на другой стороне улицы. Оно так запечатлелось в его сознании, что он мог увидеть его в любую минуту.

— А как же работа? — дрожащим голосом проговорила мать.

— Не буду я больше работать.

— Господь с тобой, Джонни! — заголосила она.— Что ты говоришь!

Это казалось ей кощунством. Слова Джонни потрясли ее, как хула на бога в устах сына потрясает набожную мать.

— Да что на тебя нашло? — спросила она, делая слабую попытку проявить строгость.

— Цифры,— ответил он.— Цифры, только и всего. Я за эту неделю подсчитал — и просто сам удивился.

— Не пойму, при чем тут цифры? — всхлипнула она.

Джонни терпеливо улыбнулся, а мать со страхом подумала: куда девалась его обычная раздражительность?

— Сейчас объясню,— сказал он.— Я вымотался. А отчего? От движений. Я их делал с тех самых пор, как родился. Я устал двигаться, хватит с меня. Помнишь, когда я работал на стекольном заводе? Пропускал триста дюжин в день. На каждую бутылку приходилось не меньше десяти движений. Это будет тридцать шесть тысяч движений в день. В десять дней — триста шестьдесят тысяч. В месяц — миллион восемьдесят тысяч. Отбросим даже восемьдесят тысяч,— он сказал это с великодушием щедрого филантропа,— отбросим даже восемьдесят тысяч, и то останется миллион в месяц, двенадцать миллионов в год! За ткацкими станками я делаю вдвое больше движений. Это будет двадцать пять миллионов в год. И мне кажется, я уже миллион лет их делаю.

А эту неделю я совсем не двигался. Ни одного движения по нескольку часов подряд. До чего ж хорошо было сидеть, просто сидеть и ничего не делать. Никогда мне не было счастья. Никогда у меня не было свободного времени. Все время двигайся. А какая в этом радость? Не

буду я больше ничего делать. Буду все сидеть да сидеть, все отдыхать да отдыхать... а потом опять отдыхать.

— А что будет с Вилли и с ребятишками? — в отчаянии спросила мать.

— Ну конечно, Вилли и ребятишки...— повторил он.

Но в голосе его не было горечи. Он давно знал, какие честолюбивые мечты лелеяла мать в отношении младшего сына, но уже не чувствовал обиды. Ему теперь все было безразлично. Даже это.

— Я знаю, мама, что ты задумала для Вилли, чтобы он окончил школу и стал бухгалтером. Да нет, будет с меня. Придется ему работать.

— А я-то тебя растила,— заплакала она и опять подняла передник, но так и не донесла его до лица.

— Ты меня не растила,— сказал он кротко и грустно.— Я сам себя растил, мама. И Вилли я вырастил. Он крепче меня, плотнее и выше. Я, должно быть, недоедал с малых лет. А пока он подрастал, я работал и добывал для него хлеб. Но с этим кончено. Пусть Вилли идет работать, как я, или пусть пропадает, мне все равно. Хватит с меня. Я ухожу...

Мать не отвечала. Она снова плакала, уткнув лицо в передник. Джонни приостановился в дверях.

— Я ведь делала все, что могла,— всхлипывала мать.

Джонни вышел из дому и зашагал по улице. Слабая улыбка осветила его лицо, когда он взглянул на одинокое дерево.

— Теперь я ничего не буду делать,— сказал он самому себе негромко и нараспев; потом задумчиво поглядел на небо и зажмурился — яркое солнце ослепило его.

Ему предстояла долгая дорога, но он шел не спеша. Вот джутовая фабрика. До ушей его донесся приглушенный грохот ткацкого цеха, и он улыбнулся. Это была кроткая, тихая улыбка. Он ни к кому не чувствовал ненависти, даже к стучащим, скрежещущим машинам. В душе у него не было горечи — одна безграничная жажда покоя.

Чем дальше он шел, тем реже попадались дома и фабрики, тем шире раскрывались просторы полей. Наконец город остался позади, и Джонни вышел к тенистой аллее, тянувшейся вдоль железнодорожного полотна. Он шел не как человек и не был похож на человека. Это была пародия на человека — заморенное, искалеченное существо ко-

выляло, свесив плети рук, сгорбившись, как больная обезьяна; узкогрудая, нелепая, страшная.

Он миновал маленькую станцию и повалился в траву под деревом. Весь день он пролежал там. Иногда он дремал, и мускулы его подергивались во сне. Проснувшись, лежал без движения, следя глазами за птицами или глядя в небо сквозь ветви над головой. Раз или два он громко рассмеялся — видимо, без всякой причины.

Когда сумерки сгустились в ночную тьму, к станции с грохотом подкатил товарный состав. Пока паровоз перегонял часть вагонов на запасной путь, Джонни подкрался к поезду. Он открыл дверь пустого товарного вагона и неуклюже, с трудом забрался туда. Потом закрыл за собой дверь. Паровоз дал свисток. Джонни лежал в темноте и улыбался.

СИЛА СИЛЬНЫХ

Притчи не лгут, но лгуны говорят притчами.

Лип-Кинг

Длиннобородый умолк, облизал сальные пальцы и вытер их о колени, едва прикрытые потрепанной медвежьей шкурой. Около старика на корточках сидели трое парней, его внуки: Быстроногий Олень, Желтоголовый и Боящийся Темноты. Они были похожи друг на друга: худые, нескладные, узкобедрые, кривоногие и в то же время широкие в груди, тяжелоплечие, с огромными руками; на всех троих болтались шкуры каких-то диких зверей. Грудь, плечи, руки и ноги обросли густой растительностью. Спутанные волосы на голове то и дело космами спадали на черные, точно бусинки, по-птичьи блестящие глаза. Сходство дополняли узкие лбы, широкие скулы и тяжелые, выдвинутые вперед подбородки.

Ночь стояла такая звездная, что видно было, как гряда за грядой тянулись, покуда хватал глаз, покрытые лесами холмы. Где-то далеко плясали на небе отсветы извергающегося вулкана. Позади людей чернело отверстие пещеры — оттуда тянуло холодком. Подле ярко пылающего костра лежали остатки медвежьей туши, а на приличном расстоянии припали к земле огромные, косматые, волчьего обличия псы. Под рукой у каждого из сидев-

ших вокруг костра были лук, стрелы и увесистая дубинка. Прислоненные к скале у входа в пещеру, стояли грубые копья.

— Вот так мы и покинули пещеры и стали жить на деревьях,— снова заговорил Длиннобородый.

Внуки неудержимо, по-детски рассмеялись над только что услышанным рассказом. Хохотнул и Длиннобородый, и пятидюймовая костяная игла, продетая сквозь хрящ в носу, нелепо затряслась, запрыгала, придавая его физиономии еще большую свирепость. Старик не произнес этих слов, но животные звуки, которые он издал губами, обозначали то же самое.

— Это первое, что я помню о Приморской Долине,— продолжал Длиннобородый.— Да, мы были глупы. Мы не знали, в чем секрет силы. Ведь каждая семья жила сама по себе и заботилась только о себе. Тридцать семей в племени, а силы нашей не прибывало. Мы боялись друг друга, не ходили в гости. Мы построили шалаши на деревьях, а снаружи, у входа, держали груду камней, которыми встречали тех, кто приходил к нам. К тому же у нас были копья и стрелы. Никто не осмеливался пройти под деревом, принадлежащим чужой семье. Мой брат как-то сделал это, и старый Бу-уг проломил ему череп, и брат умер.

Бу-уг был очень сильный. Говорят, что он мог оторвать человеку голову. Я не слышал, чтобы он оторвал кому-нибудь голову, потому что все боялись его и прятались подальше. И отец мой боялся. Однажды, когда отец был на берегу, Бу-уг погнался за матерью. Она не могла бежать быстро, потому что накануне в горах, где собирали ягоды, медведь порвал ей ногу. Бу-уг поймал ее и потащил к себе на дерево. Отец не решался сделать так, чтобы она вернулась. Он испугался Бу-уга. А тот сидел на дереве и корчил ему рожи.

Отец не очень горевал. Жил среди нас еще один сильный человек, Крепкая Рука. Он умел хорошо ловить рыбу. Как-то Крепкая Рука полез за птичьими яйцами и сорвался с утеса. После этого он потерял свою силу. Стал подолгу кашлять, спина у него согнулась. Тогда отец взял жену Крепкой Руки. Тот пришел к нам под дерево и кашлял, а отец смеялся и бросал в него камнями. Таковы были обычаи в те времена. Мы не знали, как соединить нашу силу и сделаться по-настоящему сильными.

— Неужели и брат отнимал жену у брата? — подивился Быстроногий Олень.

— Да, отнимал, когда решал жить отдельно, на собственном дереве.

— А у нас так не делается,— сказал Боящийся Темноты.

— Потому что я научил кое-чему ваших отцов.— Длиннобородый засунул волосатую руку в медвежью тушу, вытащил пригоршню нутряного сала и стал задумчиво сосать его. Потом обтер пальцы и продолжал: — То, о чем я рассказываю, происходило очень давно, когда мы не всё понимали.

— Нужно быть глупцом, чтобы не все понимать,— заметил Быстроногий Олень.

И Желтоголовый одобрительно заворчал:

— Верно, я расскажу, как потом мы стали еще большими глупцами. И все-таки в конце концов мы кое-чему научились. Вот как это случилось.

Мы, рыбоеды, не умели тогда соединять нашу силу так, чтобы сила племени была силой всех нас. А вот за перевалом, в Большой Долине, жили мясоеды. Они стояли друг за друга, вместе охотились, ловили рыбу, вместе воевали. И вот они пошли на нас. Каждая семья забилась в свою пещеру, попряталась на деревьях. Мясоедов было всего десять человек, но они сражались вместе, а мы каждый за себя.

Длиннобородый долго и старательно считал на пальцах.

— У нас было шестьдесят человек,— объяснил он наконец жестами и звуками.— Мы были сильны, но не знали этого. Мы видели, как мясоеды карабкались на дерево Бу-уга. Он хорошо дрался, но что он мог сделать в одиночку? Ведь остальные просто смотрели. Когда несколько мясоедов полезли на дерево, Бу-уг вынужден был высунуться из шалаша, чтоб сбросить на них камни. Другие только того и ждали: засыпали его стрелами. Так пришел конец Бу-угу.

Потом мясоеды принялись за Одноглазого, который вместе с семьей забился в пещеру. Они разложили у входа костер и стали выкуривать их точно так же, как мы сегодня выкурили из берлоги медведя. Потом мясоеды побежали к дереву Шестипалого, и, пока они расправлялись с ним и с его взрослым сыном, мы кинулись прочь. Но

мясоеды поймали нескольких наших женщин, убили двух стариков, которые не могли бежать быстро, и кое-кого из детей. Женщин они увели с собой, в Большую Долину.

Когда те, кто уцелел, вернулись, решено было созвать совет. Так решили, наверное, потому, что все были напуганы и поняли, как нужны друг другу. Да, мы держали совет, наш первый настоящий совет. И на том совете договорились создать племя. Урок пошел нам на пользу. Каждый из десяти мясоедов сражался за десятерых, потому что все десять сражались заодно. Они соединили свои силы. А у нас тридцать семей — шестьдесят человек — обладали силой лишь одного человека, потому что каждый сражался в одиночку.

Мы совещались долго, нам было трудно договориться, ибо мы не пользовались словами, как теперь. Потом, много лет спустя, человек, по имени Гнида, придумал несколько слов, потом другие тоже. Но в конце концов мы все-таки договорились соединить наши силы и быть заодно, когда мясоеды снова надумают прийти из-за перевала и похитить наших женщин. Так было создано племя.

Мы поставили двух мужчин поочередно днем и ночью дежурить на перевале, чтобы предупредить нас, если придут мясоеды. Они стали глазами племени. Кроме того, племя назначило десять человек, которые должны были всегда иметь при себе дубинки, копья и стрелы и быть готовыми отразить нападение. Прежде, отправляясь ловить рыбу, собирать моллюсков или птичьи яйца, человек брал с собой оружие. Половину времени он собирал пищу, а половину следил, как бы на него не напал кто-нибудь. Теперь дела пошли по-иному. Мужчины уходили без оружия, чтобы без опаски, не отвлекаясь, добывать пищу. Когда в горы за кореньями или ягодами отправлялись женщины, их сопровождали пять воинов. А на перевале дни и ночи напролет глаза племени следили за врагом.

Но потом начались раздоры. И, как всегда, из-за женщин. Холостые мужчины пытались отнять чужих жен, и часто случались драки: то размозжат кому-нибудь голову, то проткнут копьем. Пока один из стражей дежурил на перевале, у него похитили жену, и он прибежал, чтобы отбить ее. За ним пришел и второй страж, опасаясь за свою жену. Произошла ссора и среди тех десяти воинов,

которые всегда носили при себе оружие; разделившись пополам, они сражались друг с другом, пока пятеро из них под натиском соперников не отступили к берегу.

Так племя лишилось глаз и воинов. У нас уже не было силы шестидесяти человек. У нас совсем не было силы. Тогда мы еще раз созвали совет и установили первые законы. Я в то время был юнцом, но я помню. Мы порешили, что не должны сражаться между собой, если хотим быть сильными, и что племя будет сурово расправляться с тем, кто убьет человека. По другому закону племя получало право сурово карать того, кто похитит чужую жену. Мы установили, что если человек, обладающий большой силой, обижает братьев по племени, остальные обязаны лишить его силы. Если позволить ему, пользуясь силой, обижать других, то людей охватит страх, и племя распадется, и мы снова станем такими же слабыми, как в первое нашествие мясоедов, когда убили Бу-уга.

Жил среди нас сильный человек, по имени Голень, очень сильный человек, который не признавал закона. Он полагался только на свою силу и потому забрал жену у Трехстворчатой Раковины. Тот стал было драться, но Голень раздробил ему череп. Однако Голень забыл, что, решив соблюдать закон, люди соединили свои силы, и племя убило его, а тело повесили на суке его собственного дерева в знак того, что закон сильнее любого человека. Мы все были законом, и нет никого, кто был бы могущественнее закона.

Случались и иные беспорядки, ибо, знайте, о Быстроногий Олень, Желтоголовый и Боящийся Темноты, нелегко создать племя. И было много всяких споров, порой мелочей, которые следовало уладить. А чего стоило собрать всех на совет! Мы совещались утром и днем, вечером и ночью. У нас не оставалось времени добывать пищу, потому что вечно возникали какие-нибудь дела: то назначить на перевал новых стражей, то решить, какую долю добычи отдавать тем, кто всегда носил при себе оружие и не мог поэтому добывать пищу.

Чтобы все уладить, нужен был старший, который стал бы голосом совета и отчитывался перед ним. Мы выбрали Фит-Фита. Он был сильный и хитрый, а когда сердился, делал ртом «фит-фит», словно дикая кошка.

Тем десяти, которые охраняли племя, поручили навалить стену из камней в самой узкой части долины. Им по-

могали женщины, подростки и даже мужчины, пока стена не стала совсем крепкой. Люди покинули свои пещеры, спустились с деревьев и построили хижины под прикрытием стены. Большие хижины удобнее, чем пещеры и шалаши на деревьях, и жить стало лучше, ибо все соединили свои силы и образовали племя. Благодаря стене, воинам и стражам, у племени оставалось больше времени, охотиться, ловить рыбу, собирать коренья и ягоды. Было вдоволь хорошей пищи, никто не голодал. А Трехногий — его прозвали так потому, что в детстве ему перебили ноги и он ковылял с палкой,— так вот Трехногий набрал семян дикой кукурузы и посеял их возле дома в долине. Потом он посадил корнеплоды и всякие другие растения, которые нашел в горах.

Благодаря построенной нами стене, нашим воинам и стражам, мы чувствовали себя в Приморской Долине в полной безопасности, и никто не дрался из-за еды, потому что ее хватало на всех. К нам стали приходить целыми семьями из других племен в соседних долинах, а также из-за гор, где люди жили, как животные. И вскорости в Приморской Долине поселилось так много народу, что не сосчитать семей. Но еще до того кто-то надумал поделить землю, которая прежде была общей и принадлежала всем. Пример показал Трехногий, когда посадил кукурузу. Большинство, однако, не заботилось о земле. Мы считали глупым ограждать камнями участки. Пищи было вдоволь, а что еще человеку нужно? Помню, как мы с отцом делали ограду для Трехногого и он дал нам взамен кукурузы.

Так и получилось, что землю захватили немногие, и больше всех Трехногий. Некоторым очень хотелось получить участки, и те, у кого была земля, отдавали ее за кукурузу, вкусные коренья, медвежьи шкуры и рыбу, которую земледельцы выменивали у рыбаков. Словом, не успели мы оглянуться, как свободной земли не осталось.

В то приблизительно время умер Фит-Фит, и вождем выбрали его сына, Собачьего Клыка. Он сам потребовал, чтобы его сделали вождем. Он даже считал себя более мудрым вождем, чем отец. И в самом деле, поначалу он был хорошим вождем, много старался, так что совету постепенно нечего стало делать. Тут выплыл еще один, Кривогубый, и стал важным человеком в Приморской До-

лине. Мы никогда не замечали за ним каких-нибудь особых достоинств, пока он не объявил, что умеет разговаривать с тенями умерших. После мы прозвали его Жирным, потому что он не работал, много ел и стал большим и толстым. Жирный объявил, что только ему ведомы тайны смерти, что он слышит голос бога. Он заделался дружком Собачьего Клыка, и тот приказал построить Жирному большую хижину. Жирный наложил на хижину табу и держал там бога.

Собачий Клык понемногу прибирал к рукам дела совета, а когда в племени стали роптать, угрожая, что назначат другого вождя, Жирный посоветовался с богом и сказал, будто это противно воле божьей. Вождя поддерживал Трехногий и другие владельцы земли. Они подговорили самого сильного в совете, Морского Льва, и втихомолку дали ему земли, множество медвежьих шкур и несколько корзин кукурузы. И тогда Морской Лев сказал, что устами Жирного глаголет бог и что мы должны ему подчиняться. Скоро Морского Льва назначили помощником Собачьего Клыка, и он говорил от имени вождя.

А еще был в племени Пустой Живот, низенький и такой тонкий посередине, как будто никогда не ел досыта. В устье реки, там, где отмель гасила волны, он устроил большую вершу. Никто до него не додумался ловить рыбу вершей. Он делал ее несколько недель подряд, ему помогали жена и дети, а мы потешались над его затеей. Но, когда все было готово, он в первый же день наловил столько рыбы, сколько не удавалось целому племени за неделю, и мы веселились такой удаче. На реке оказалось другое подходящее для верши место, и мы с отцом и еще человек десять решили последовать примеру Пустого Живота. Но из большой хижины, выстроенной для Собачьего Клыка, прибежали стражники. Они принялись колоть нас копьями и приказали убираться вон, потому что Пустой Живот, по разрешению Морского Льва, который был подголоском Собачьего Клыка, сам задумал поставить там вершу.

Поднялся ропот, и мой отец потребовал созвать совет. Но, когда он поднялся, чтобы говорить, Морской Лев проткнул ему горло копьем, и отец умер. А Собачий Клык, Пустой Живот, Трехногий и все, кто владел землей, сказали, что так надо. Жирный поддакнул: такова, дескать,

воля господня. После этого люди боялись говорить в совете, и совет распался.

А был такой — звали его Свиное Рыло,— который надумал разводить коз. Он узнал, что так делают мясоеды, и скоро козы ходили у него стадами. Те, у кого не было ни земли, ни вершей, нанимались к Свиному Рылу, чтобы заработать еду,— они ходили за козами, охраняли их от волков и тигров, гоняли на пастбища в горы. За это он давал им козлиное мясо и шкуры прикрывать тело, а они нередко меняли козлятину на рыбу, кукурузу и коренья.

В то время как раз и появились деньги. Выдумал их Морской Лев, посоветовавшись с Собачьим Клыком и Жирным. Дело в том, что эта троица имела долю во всем, что добывалось в Приморской Долине. Из каждых трех корзин кукурузы одну отдавали им. То же самое с рыбой и козами. Они кормили воинов и стражей, а остальное забирали себе. Иногда после большого улова они не знали, что делать со своей долей. И вот Морской Лев заставил женщин изготавливать из ракушек деньги — маленькие круглые пластинки, гладкие, красивые, с отверстием посередине. Пластинки нанизывали на нитки, и эти нитки стали называть деньгами.

За одну нитку давали тридцать или сорок рыб, а женщинам, которые делали по нитке в день, давали по две рыбины каждой из доли Собачьего Клыка, Жирного и Морского Льва, которую они не могли съесть. Поэтому все деньги принадлежали им. Потом они сказали Трехногому и другим землевладельцам, что будут брать свою долю кукурузы и корнеплодов деньгами; Пустому Животу тоже сказали, что долю рыбы будут брать деньгами, а Свиному Рылу сказали, что будут брать свою долю коз и сыра деньгами. Так получилось, что человек, у которого ничего не было, вынужден был работать на того, кто чем-то владел, и ему платили деньгами. На них он покупал кукурузу, рыбу, мясо и сыр. А Трехногий и другие богатеи давали Собачьему Клыку, Морскому Льву и Жирному их долю деньгами. Эти трое платили деньги воинам и стражам, а те на деньги покупали еду. А поскольку деньги были дешевы, Собачий Клык многих сделал своими воинами. Деньги нетрудно было изготовить, и некоторые попытались сами делать пластинки из раковин. Но стражники били их копьями и засыпали стрелами, утверждая, что те,

кто делает деньги, стараются расколоть племя, подорвать его могущество. А подрывать могущество племени нельзя, ибо тогда придут из-за гор мясоеды и всех перебьют.

Жирный толковал волю бога, но потом он призвал Сломанное Ребро и сделал его жрецом, чтобы тот толковал его, Жирного, собственную волю и держал вместо него речи. И оба заставляли других служить им. Так же поступил и Пустой Живот, и Трехногий, и Свиное Рыло — подле их хижин постоянно валялись на солнышке какие-то бездельники, которых они посылали с разными поручениями. Таким образом, все больше и больше людей отрывали от работы, а остальным приходилось трудиться тяжелее, чем прежде. Оказалось, что иные не хотят работать и ищут способа, как заставить других работать на них. Один, по прозвищу Кривой, нашел такой способ. Он первым приготовил из кукурузы огненный напиток. И после он уже не работал, так как втихомолку сговорился с Собачьим Клыком, Жирным и другими хозяевами, что он будет единственным, кому разрешено делать огненный напиток. Но Кривой сам-то ничего не делал. За него работали другие, а он платил им деньги. Потом он продавал напиток, и люди охотно покупали. А сколько ниток денег он передал Собачьему Клыку, Морскому Льву и прочим — не счесть!

Когда Собачий Клык решил взять вторую жену, а потом и третью, его, конечно, поддержали Жирный и Сломанное Ребро. Они сказали, что Собачий Клык не такой, как все, и что над ним — только бог, которого Жирный прятал в своем закрытом доме. Собачий Клык подтвердил их слова и сказал, что хотел бы знать, кто недоволен тем, что у него много жен. И еще Собачьему Клыку сделали большую лодку, и ради этого он оторвал много людей от работы: они подолгу болтались без дела и, лишь когда он решил выехать на лодке, садились за весла. Кроме того, он назначил Тигриную Морду начальником над стражниками, тот стал правой рукой вождя и убивал людей, которые пришлись вождю не по сердцу. Тигриная Морда, в свою очередь, назначил себе помощника, и тот стал правой рукой начальника и убивал людей, которые пришлись начальнику не по сердцу.

И вот что странно: чем тяжелее становилась работа, тем меньше мы получали еды.

— Однако у вас были козы и кукуруза, корнеплоды и

верши для рыбы,— возразил Боящийся Темноты.— Вы работали и не могли добыть себе пищу?

— Почему же, конечно, могли,— согласился Длиннобородый.— Три человека ловили вершей больше рыбы, чем все племя прежде, когда мы не знали вершей. Но разве я не сказал вам, что мы были глупцами? Чем больше пищи мы научились добывать, тем меньше мы ели.

— И вы не понимали, что все поедали те, кто не работал? — спросил Желтоголовый.

Длиннобородый печально покачал головой.

— Собаки у вождя отяжелели от мяса, и люди, которые не работали и валялись на солнце, заплыли жиром, в то время как маленькие дети плакали от голода и не могли уснуть.

Подавленный страшной картиной голода, Быстроногий Олень оторвал от туши кусок мяса и, наколов на палку, обжарил его на угольях. С аппетитом, громко причмокивая, он съел мясо.

Длиннобородый продолжал:

— Когда мы начинали роптать, вставал Жирный и говорил, будто бог повелел избранным владеть землею и козами, рыбными вершами и огненным напитком, что без таких мудрых людей мы превратились бы в диких зверей, как в те времена, когда мы жили на деревьях.

За ним вставал бард, что был при Собачьем Клыке. Его прозвали Гнидой — такой маленький, уродливый, скрюченный, не умел ни работать, ни воевать. Но он любил сочные мозговые кости, вкусную рыбу, парное козье молоко, свежие побеги молодой кукурузы и удобное место у очага. Он стал слагать песни в честь вождя — сумел ничего не делать и быть сытым. А когда люди начинали роптать, иные даже забрасывали камнями дом вождя, он затягивал песню о том, как хорошо быть рыбоедом. Он пел, что мы избранники божьи и самые счастливые люди на земле. Он называл мясоедов хищными воронами и грязными свиньями и призывал нас сражаться и доблестно умирать, выполняя волю господню, который повелел уничтожать мясоедов. От той песни в сердце у нас вспыхивал пламень, мы требовали, чтобы нас вели на мясоедов. Мы забывали о голоде, забывали о своем недовольстве и с криками шли за Тигриной Мордой через перевал, били мясоедов и радовались победе.

Но ничто не менялось от этого в Приморской Долине.

Единственно, нанимаясь в батраки к Трехногому, Пустому Животу или Жирному, можно было прокормить себя — ведь незанятой земли, где бы человек мог выращивать для себя кукурузу, больше не оставалось. Часто у Трехногого и его друзей не хватало на всех работы. Тогда люди голодали, голодали их жены, дети и старые матери. Тигриная Морда объявил, что желающие могут стать стражниками, и многие соглашались и после ничем не занимались, кроме как колотили копьями тех, [illegible]то работал и ворчал, что приходится кормить столько [illegible]дельников.

Когда люди начинали роптать, Гнид[illegible]ел песни. Он пел о том, что Трехногий, Свиное Ры[illegible] остальные — сильные и мудрые вожди, и потому вс[illegible] надлежит им. Мы должны гордиться ими, говорилось [illegible] песне, и благодарить судьбу. Не будь их, мы погибли бы от собственного ничтожества и от руки мясоедов. Поэтому мы должны быть счастливы, отдавая все, что они пожелают. Жирный, Свиное Рыло и Тигриная Морда довольно кивали головой.

«Тогда я тоже буду сильным»,— заявил однажды Длиннозубый.

Он собрал кукурузы, наварил огненного напитка и начал продавать его за нитки денег. Кривой стал кричать, что у Длиннозубого нет на это права. А тот сказал, что он тоже сильный, и пообещал размозжить Кривому голову, если он поднимет шум. Кривой испугался и побежал к Трехногому и Свиному Рылу. Потом втроем они пошли к Собачьему Клыку. Тот призвал к себе Морского Льва, а Морской Лев отправил гонца к Тигриной Морде. Тигриная Морда послал стражников, и те сожгли дом Длиннозубого вместе с огненным напитком, который он наварил. Жирный сказал, что это справедливо, а Гнида пел новую песню о том, что следует блюсти закон, что Приморская Долина — самое прекрасное место на свете и каждый, кто любил ее, должен идти уничтожать злых мясоедов. У нас в сердце снова вспыхивало пламя, и мы забыли свой гнев.

Странные дела творились в Долине. Когда у Пустого Живота случался хороший улов и приходилось за небольшие деньги отдавать много рыбы, он бросал ее обратно в море, чтобы за оставшуюся часть получить больше денег. Иногда Трехногий даже не засевал свои огромные поля, чтобы выручить за кукурузу побольше. Женщины делали много-много пластинок из раковин, потому что

требовалась уйма денег, чтобы купить что-нибудь. Тогда Собачий Клык запретил изготавливать пластинки. Женщины остались без работы, их стали нанимать на место мужчин. Я вот, помню, ловил рыбу вершей и получал нитку денег каждые пять дней. Пришла сестра, ей стали давать нитку за десять дней. Труд женщин обходился дешевле, да и еды им требовалось меньше. «А мужчины должны поступать в стражники»,— заявил Тигриная Морда. Я-то не мог стать стражником: с детства прихрамывал на одну ногу, и начальник не взял бы меня. Много было таких, как я. Мы, убогие, могли только клянчить работу или ходить за детишками, пока женщины были заняты.

Желтоголовый тоже захотел есть и обжарил на угольях кусок медвежатины.

— Почему же вы не восстали, не перебили их: Трехногого, Свиное Рыло, Жирного и всех остальных? — удивленно спросил Боящийся Темноты.— Тогда у вас была бы пища.

— Мы не понимали этого,— отвечал Длиннобородый.— Забот всяких по горло, да потом эти стражники с копьями, и болтовня Жирного насчет бога, и Гнида со своими песнями. А когда кто-нибудь начинал задумываться и делиться мыслями с другими, его забирали стражники Тигриной Морды, привязывали к скале у самой воды, и он погибал во время прилива.

Непонятная это штука — деньги! Точно те песни, что пел Гнида. Чем больше их, тем, казалось, лучше, а выходило наоборот. Мы долго не могли взять в толк, в чем тут дело. А Собачий Клык — так тот начал копить деньги. Он собирал их в груду в особом доме, и стражники охраняли этот дом денно и нощно. И чем больше там набиралось денег, тем они становились дороже, и приходилось дольше работать за нитку пластинок. Да еще все время говорили о войне с мясоедами, и Собачий Клык с Тигриной Мордой набивали свои хижины зерном, вяленой рыбой, копченой козлятиной и сыром. Столько всяких запасов понаделали, а людям в горах не хватало еды. И что вы думаете? Как только люди начинали громко роптать, Гнида затягивал новую песню, Жирный говорил, что бог повелел уничтожать мясоедов, а Тигриная Морда снова вел нас через перевал убивать и умирать. Я не годился в воины, которые толстели, валяясь на солнце, но, когда

объявляли войну, Тигриная Морда брал меня вместе с остальными. Мы сражались до тех пор, пока не выходили запасы еды. Тогда мы возвращались и принимались снова работать и заготовлять пищу.

— Какие-то ненормальные вы были! — изрек Быстроногий Олень.

— И вправду ненормальные,— согласился Длиннобородый.— Мы ничего не понимали, ровным счетом ничего. Раздробленный Нос твердил, что все устроено несправедливо и плохо. Верно, мы стали сильными лишь тогда, когда соединили силы, говорил он. Справедливо было и то, что в племени стали лишать силы тех, кто обижал и задирал других, кто отнимал у братьев жен и убивал соседей. Но теперь племя не набирает силы, а слабеет, говорил он, потому что появились люди с иной силой, они вредят племени. Это Трехногий, за которым сила земли, это Пустой Живот, за которым сила рыболовной верши, Свиное Рыло, за которым сила козьего мяса. Надо лишить их злой силы, говорил Раздробленный Нос, надо заставить таких людей работать и установить: кто не работает, тот не ест.

А Гнида уже пел о таких, как Раздробленный Нос: они, дескать, тянут назад, жить на деревьях.

Нет, отвечал Раздробленный Нос, нет, он не тянет назад, он хочет идти вперед. Мы стали сильными тогда, когда соединили свои силы. Если рыбоеды соединят свою силу с силой мясоедов, не будет ни сражений, ни воинов, ни стражей, все станут трудиться, и будет так много еды, что каждому придется работать не больше двух часов в день.

Но Гнида в песнях своих твердил, что Раздробленный Нос — лентяй. Он сочинил какую-то коварную «Песнь о пчелах», и те, кто слушал ее, теряли рассудок, как от крепкого огненного напитка. В песне рассказывалось о трудолюбивом пчелином рое и о разбойной осе, которая таскала из сотов мед. Оса была ленивая, она жужжала, что работать ни к чему и выгоднее подружиться с медведями, ибо они добрые и не таскают мед. Хотя Гнида говорил обиняками, все понимали, что пчелиный рой — это наше племя в Приморской Долине, медведи — мясоеды, а ленивая оса — Раздробленный Нос. Гнида пел, что пчелы послушались осу и рой начал погибать, и тут люди недовольно заворчали, у них сжимались кулаки. А когда

он запел про то, как пчелы поднялись и зажалили осу до смерти, люди набрали камней и принялись забрасывать ими Раздробленного Носа. Тот упал, а они бросали и бросали, пока не завалили его грудой камней. И среди тех, кто бросал тогда камни, были самые что ни на есть бедняки, которые тяжко трудились, но никогда не ели досыта.

После смерти Раздробленного Носа нашелся лишь один, кто не боялся встать и высказать то, что он думает. То был Волосатый. «Куда девалась сила сильных? — вопрошал он.— Мы сильные, вместе мы сильнее Собачьего Клыка, Тигриной Морды, Трехногого, Свиного Рыла и остальных, которые не работают, а жрут и наносят нам урон своей злой силой. Рабы не бывают сильными. Если бы тот, кто первым высек огонь, захотел воспользоваться своей силой, мы стали бы его рабами, как сегодня мы рабы Пустого Живота, который придумал вершу, и людей, которые придумали, как возделывать землю, разводить коз и варить огненный напиток. Когда-то мы жили на деревьях, братья мои, и на каждом шагу нас подстерегали опасности. Потом мы перестали драться друг с другом, потому что соединили свои силы. Так зачем нам сражаться с мясоедами? Не лучше ли нам соединить наши силы? Тогда мы будем поистине сильными. Будем действовать сообща, рыбоеды и мясоеды, будем вместе уничтожать хищников, разводить на горных склонах коз, выращивать в долинах кукурузу и корнеплоды. Мы будем такими сильными, что хищники убегут и погибнут. И не будет нам преград, ибо сила каждого превратится в силу всех людей на земле».

Так говорил Волосатый, но они убили его, объявив, что он сумасшедший и тянет нас назад, жить на деревьях. Почему? Всякий раз, когда кто-нибудь хотел идти вперед, те, что топтались на месте, кричали: он тянет назад, уничтожить его! И бедняки тоже забрасывали такого камнями, потому что были глупы. Мы все были глупы, кроме тех, кто не работал и жирел. О, они знали свое дело! Глупцы назывались мудрыми, а мудрых забрасывали камнями. Те, кто работал, не ели вдоволь, а кто не работал, обжирались.

Племя теряло былую силу. Дети рождались больными и хилыми. Мы мало ели, среди нас начались болезни, и люди гибли, как мухи. Вот тогда-то и нагрянули мясоеды.

Мы слишком часто ходили на них войной, теперь они пришли отплатить нам кровью за кровь. Племя было слабое, мы не смогли удержать стену. Мясоеды перебили почти всех, кроме нескольких женщин, которых увели с собой за перевал. Гниде и мне удалось спастись. Я спрятался в глухой чащобе, охотился и не голодал. Потом я выкрал себе жену у мясоедов, и мы поселились в пещере на вершине горы, где нас не могли найти. У нас родилось три сына, и, когда они подросли, они, в свою очередь, выкрали жен у мясоедов. Ну, а остальное вам известно, ибо разве вы не сыновья моих сыновей?

— А где же Гнида? — спросил Быстроногий Олень.— Что сталось с ним?

— Он неплохо устроился: пошел к мясоедам и сделался бардом тамошнего вождя. Теперь он глубокий старик, но песни у него старые, те же, что он пел прежде. Когда человек хочет идти вперед, Гнида поет, что тот тянет назад, жить на деревьях.

Рассказчик снова вытащил из туши кусок сала и принялся жевать его беззубыми деснами.

— Настанет время,— сказал он, вытирая пальцы о бедра,— когда глупцы сгинут, а остальные пойдут вперед. Они соединят свои силы и будут сильными из сильных. Никто не будет воевать друг с другом. Люди забудут о воинах и стражниках на стенах. Они уничтожат хищников. И на склонах холмов, как предвещал Волосатый, будут пастись стада овец, а в горных долинах начнут выращивать кукурузу и корнеплоды. Все люди будут братьями, и не останется лежебок, которых нужно кормить. Такое время придет тогда, когда сгинут глупцы и поэты, которые сочиняют «Песни пчел». Ибо мы люди, а не пчелы.

ПРЯМОЙ РЕЙС

Сан-Франциско — Япония — прямой рейс — южное плавание — тропики. Какое богатство содержания в этих словах! Какие дивные воспоминания пробуждают они! Какую дружбу приводят на память! Какие счастливые часы были прожиты!

Уже одно воспоминание о чудесах такого путешествия

опьяняет. В сознании возникают долгие тропические дни, когда северо-восточный пассат натянет все паруса и замрет за кормой, а часы проносятся за часами и дни за днями, о, слишком стремительно! Дни, дремлющие, зачарованные в своей волшебной красоте; дни, когда заря занимается во всем своем неподражаемом южном великолепии, а вечерние сумерки неуловимо сменяются ночной тьмой; дни, каждый из которых, как капля воды, напоминает предыдущий и, однако, отличается чем-то своим — быть может, более величественным восходом или более яркими красками заката, необычной игрой света и тени в танцующем океане, или небесами, усыпанными бисером пушистых облачков, золотистых, румяных, пурпурных узоров, более роскошных, чем прежде.

Время летит на крыльях. Что там вахта, штурвал! С этим верным ветром за кормой, поглощенный созерцанием, совсем забываешь о штурвале. Каждое мгновение рождает новые дива, невиданные красоты; они поражают и увлекают. Мечтательным взглядом следишь ты за огромными чайками, за тем, как торжественно и грациозно проплывают они над океанской бездной. Величественно совершая круг за кругом, они неизменно одаряют летящий по волнам корабль своими спиральными виражами. Вот твой взгляд отвлечен стаей дельфинов или привлечен серебристым полетом летучей рыбы, скользящей по ветру с волны на волну в сиянии солнечных лучей. Плавник акулы-людоеда за кормой, фонтан кита с подветренной стороны; какой-то парус разрезал горизонт; ветер крепчает — и океан улыбается веселей; ветер спадает — и океан затихает, погружается в сон; а вот пробитый с утлегаря гарпуном дельфин являет многоцветную, неуловимо переменчивую гамму красок, пока последние искры жизни угасают в его трепетном, брошенном на раскаленной палубе теле,— вот эти и тысячи подобных событий привлекают внимание, занимают ум и невольно наполняют грудь тихим, упоительным, всецело захватывающим тебя счастьем.

Карты лежат нетасованными, книги отложены в сторону, забыты матросские мешочки для ниток и иголок, забыты и мелкие дела; умиротворенные, расслабленные чудесами природы, моряки бродят по палубе, лениво сидят кучками или, растянувшись во весь рост, задумчиво лежат на баке. Умолкли «блюстители судовых законов»:

их повседневное ремесло стало ненужным. Нет шумных ссор, не слышно лживых историй и драк из-за них. Все это приберегается для бурной погоды.

А ночи! Целая наука о свете и тени! Смутные очертания рулевого; яркий свет от судового компаса; паруса, теряющиеся из виду в черной бездне над головой; нос корабля пропадает в ночи; с трудом, почти интуитивно угадываешь снасть, блок, утлегарь, тали; темные фигуры то растворяются во мраке, то вновь возникают, занимая свои обычные места; огоньки трубок и мгновенная вспышка спички; звезды, словно драгоценные камни, усы́павшие небосвод; море, каждая волна увенчана переливающейся огненной диадемой,— все это доставляет наслаждение утомленной душе, играя на ее артистических струнах, неуловимо, но тем не менее неуклонно наполняя ее невыразимой, тихой радостью.

И так же прекрасны все звуки. Нет ничего резкого, диссонирующего, все — в гармонии. Скрип блока звучит, как музыка. Тяжелые вздохи вздымающейся парусины, всплески танцующей под форштевнем воды, трепет не в меру смелой, случайно наткнувшейся на парус летучей рыбы, неясные, едва доносящиеся обрывки разговора и своеобразное, почти не различимое пение каждого натянутого троса, штанга, болты блока создают умиротворяющую симфонию, которая убаюкивает, и успокаивает, и навевает мечту, погружает тебя в дрему.

Когда же небо затягивают темные, грозовые тучи (прекрасный фон для змеящихся молний) и океан одевается пеной, а воздух становится завывающим демоном, тогда душа испытывает наслаждение. Забыта дремотная истома, неистовая радость включается в битву стихий. Чем грознее ревет ветер, грохочет гром и вздымаются волны, а с ними и борющийся с бурей корабль, тем пламеннее охвативший тебя восторг. Буйный разгул природы будит буйные чувства в груди. Ветер встает, как стена; мелкие брызги и дождь секут лицо и руки, как ножи; палуба превратилась в поток вспенившейся воды, но непередаваемый восторг охватывает всех и вся. Сердце сочувственно загорается всякий раз, когда корабль взбирается по крутым отрогам океанских гор, взволнованно трепещет в восхитительном предчувствии, когда он, вздев кверху нос, замирает на головокружительной вершине, а потом с силой низвергается в бездну крутящейся пены.

Надсадные команды шкипера принимаются с лихорадочным нетерпением, радость битвы стремительней гонит кровь. И вот, когда упругий парус побежден, а непослушный трос уложен, ты, заслышав напев любимой матросской песни, просыпаешься от грез и, обновленный, ободренный, возвращаешься к повседневным, обычным заботам своей однообразной жизни.

ЯЗЫЧНИК

Впервые мы встретились, когда бушевал ураган. И, хотя мы пробивались сквозь шторм на одном судне, я обратил на него внимание только после того, как шхуна разлетелась в щепки. Я, несомненно, видел его и раньше, среди других членов нашей команды, сплошь состоявшей из канаков [1], но за все время я ни разу не вспомнил о его существовании, потому что на «Крошке Жанне» было очень много народу. Кроме восьми или десяти матросов-канаков, белого капитана, его помощника, кладовщика и шестерых каютных пассажиров, шхуна взяла в Ранжире что-то около восьмидесяти пяти палубных пассажиров с Паумоту и Таити: мужчин, женщин и детей. У каждого из них были корзины, не говоря уже о матрасах, одеялах и узлах с одеждой.

Сезон добычи жемчуга на Паумоту закончился и ловцы возвращались на Таити. Шестеро скупщиков жемчуга разместились в каютах: два американца, китаец А Чун (ни разу в жизни не видел такого белокожего китайца), один немец, один польский еврей и я.

Сезон был удачный. Ни один из нас и ни один из восьмидесяти пяти палубных пассажиров не имел оснований жаловаться на судьбу. Все хорошо поработали и мечтали отдохнуть и развлечься в Папеэте.

«Крошку Жанну», конечно, перегрузили. Водоизмещением она была всего в семьдесят тонн; нельзя было брать на борт и десятую часть того сброда, который запрудил палубу. Трюмы были до отказа загружены жемчужными раковинами и копрой. Даже кладовку забили

[1] Кана́к — коренной житель Гавайских островов; канаками называли и всех полинезийцев.

перламутром. Каким-то чудом матросы умудрялись еще управлять шхуной. Пройти по палубе было невозможно, и они передвигались по поручням.

Ночью матросы ходили по людям, которые, честное слово, спали буквально друг на друге. А кроме того, полно было поросят, кур, мешков с бататом, и везде, где только можно, красовались связки кокосовых орехов для утоления жажды и гроздья бананов. По обе стороны между вантами грот-мачты и фок-мачты низко, чтобы не соприкасались со штангами утлегаря, были натянуты леера. А на каждом таком леере висело не меньше полусотни связок бананов.

Рейс предстоял беспокойный, даже если пройти путь дня за два-три, что было возможно только при сильном юго-восточном пассате. Но ветра не было. Через пять часов пути после нескольких слабых порывов ветер стих совсем. Штиль продолжался всю ночь и весь следующий день — один из тех ослепительных зеркальных штилей, когда от одной мысли о том, чтобы открыть глаза и посмотреть на воду, начинает болеть голова.

На следующий день умер человек, уроженец острова Пасхи,— в том сезоне он был одним из лучших ловцов жемчуга в лагуне. Оспа — вот причина его смерти, хотя я не могу себе представить, как ее занесли на судно; когда мы выходили из Ранжира, на берегу не было зарегистрировано ни единого случая заболевания оспой. И все-таки факт оставался фактом: оспа, умерший человек и трое больных.

Ничего нельзя было сделать. Мы не могли изолировать больных и не могли ухаживать за ними. На судне нас было что сельдей в бочке. Ничего нельзя было сделать — только заживо гнить да умирать, вернее, ничего нельзя было сделать после той ночи, когда умер человек. В ту же ночь помощник капитана, кладовщик, польский еврей и четверо ловцов-туземцев удрали на вельботе. Больше мы их не видели. Утром капитан приказал продырявить оставшиеся шлюпки, и теперь мы уже никуда не могли деться.

В тот день умерли двое, на следующий день — трое, потом количество смертных случаев подскочило до восьми. Любопытно было наблюдать, как мы это воспринимали. Туземцев, например, охватил тупой, беспросветный страх. Капитан-француз стал раздражительным и болтал без

умолку. Звали этого капитана Удуз. От волнения его даже подергивало. Высокий, грузный мужчина, весом фунтов двести, не меньше,— жирная туша, дрожащая, как желе.

Немец, два американца и я скупили все виски и непрерывно пили. Рассчитали мы все отлично, а именно: бациллы, проникающие в организм, моментально погибнут. И этот рецепт оказался действенным, хотя, должен признаться, и капитана Удуза и А Чуна болезнь миновала тоже. Француз совсем не пил, а А Чун ограничивался стаканом в день.

Да, славное было времечко! Солнце стояло в зените. Ветра совсем не было, лишь изредка налетали шквалы; они свирепствовали от пяти до тридцати минут и мчались прочь, окатив нас ливнем. После шквала снова нещадно палило солнце, и с отсыревших палуб поднимались клубы пара.

Пар этот был не простой. Это был смертоносный туман, насыщенный мириадами бацилл. Видя, как с больных людей и с трупов поднимается этот пар, мы пропускали еще по стаканчику, потом еще и еще, почти не разбавляя. Кроме того, мы взяли за правило выпивать несколько добавочных рюмок каждый раз, когда скидывали мертвецов за борт кишащим вокруг судна акулам.

Прошла неделя, запасы виски кончились. И это хорошо, иначе меня не было бы сейчас в живых. Чтобы пережить все, что произошло потом, нужно было быть вполне трезвым. Надеюсь, вы со мной согласитесь, если я упомяну об одной небольшой детали — в конце концов в живых осталось только двое. Вторым был язычник, во всяком случае я слышал, что именно так называл его капитан Удуз в тот момент, когда я впервые узнал о существовании этого человека. Не будем, однако, забегать вперед.

Это было на исходе недели. Виски вышло, скупщики жемчуга протрезвели, и я впервые случайно взглянул на барометр, висевший в кают-компании. Для Паумоту норма — 29.90, и мы привыкли видеть, как стрелка колеблется между 29.85 и 30.00 или даже 30.05, но то, что увидел я,— 29.62! — могло привести в чувство самого пьяного скупщика жемчуга из тех, кто когда-либо пытался уничтожить микробов оспы шотландским виски.

Я сказал об этом капитану Удузу, и он ответил, что уже несколько часов наблюдает, как падает барометр. Не

много можно было сделать при данных обстоятельствах, но это немногое он выполнил превосходно. Он оставил только штормовые паруса, натянул штормовые леера и ждал ветра. Ошибся он уже после того, как налетел ветер. Он лег в дрейф, и это правильно, когда находишься к югу от экватора, если — вот тут-то он и сплоховал,— если судно не стоит на пути урагана.

А мы стояли на пути урагана. Я видел это по тому, как непрерывно усиливался ветер и падал барометр. Я считал, что шхуну надо было повернуть и идти левым галсом, пока не перестанет падать барометр и уже после этого лечь в дрейф. Я спорил с капитаном, чуть не довел его до истерики, но он стоял на своем. Хуже всего то, что мне не удалось уговорить остальных скупщиков жемчуга поддержать меня. В конце концов, кто я такой, чтобы знать море и его особенности лучше многоопытного капитана? Так они, вероятно, думали.

Ветер катил страшные валы, и я никогда не забуду трех первых волн, обрушившихся на «Крошку Жанну». Она накренилась, что иногда бывает, когда суда ложатся в дрейф, и первая волна перекатилась через палубу. Штормовые леера — это для сильных и здоровых, но даже им они не особенно помогают, когда женщины, дети, груды бананов и кокосовых орехов, поросята, дорожные корзины, умирающие, больные — все это катится по палубе сплошной визжащей, воющей массой.

Вторая волна смела с палубы «Крошки Жанны» поручни, и, так как корма шхуны погрузилась в воду, а нос взметнулся к небу, все это страшное месиво людей и груза поползло вниз. Это был поток человеческих тел. Людей несло, кого головой вперед, кого вперед ногами, кого боком, кувырком; они корчились, сгибались, извивались и распластывались. Время от времени кому-нибудь удавалось ухватиться за мачту или леер, но под напором движущихся тел он разжимал руки.

Кто-то врезался головой в битенг по правому борту. Череп его раскололся, как яйцо. Я понял, что нас ждет, и вскарабкался на рубку, затем на грот-мачту. А Чун и один из американцев попытались влезть следом за мной, но я опередил их на целый прыжок. Американца тут же смыло волной за борт, как соломинку. А Чун ухватился за штурвал и повис на нем. Но огромная женщина из племени раратонга, весом, наверное, фунтов в двести пять-

десят, упала на него и ухватилась рукой за его шею. Свободной рукой он схватил канака-рулевого, но в это мгновение шхуна накренилась на правый бок.

Лавина воды и человеческих тел, которая неслась вдоль левого борта между каютой и поручнями, ринулась к правому борту. Всех смело: ту женщину, А Чуна и рулевого,— и, честное слово, я видел, как, разжав руки и падая вниз, А Чун усмехнулся мне с философским смирением.

Третья, самая большая волна причинила не меньше разрушений. Когда она обрушилась на судно, почти все взобрались на такелаж. Внизу остался десяток оглушенных, захлебывающихся, полуживых несчастных. Они старались уползти куда-нибудь в безопасное место, но их швыряло взад и вперед по палубе. Их смыло волной вместе с обломками двух шлюпок. Скупщики жемчуга и я умудрились между двумя волнами затолкать в кают-компанию человек пятнадцать женщин и детей и запереть их там. Увы, это не спасло несчастных.

А ветер? Я никогда бы не поверил, что может быть такой ветер. Описать его нельзя. Разве можно описать кошмар? С таким же успехом можно описывать тот ветер. Он срывал с нас одежду. Я сказал «срывал», и я не оговорился. Я вовсе не прошу, чтобы вы мне верили. Я просто рассказываю о том, что сам видел и пережил. Порой мне не верится, что все это было. Невозможно испытать на себе этот ветер и остаться в живых. Я выжил, вот и все. Это было что-то чудовищное, и ужас заключался в том, что ветер все время усиливался.

Представьте себе неисчислимые миллионы и миллиарды тонн песка. Представьте, что песок мчится со скоростью девяносто, сто, сто двадцать миль в час, даже быстрее. Представьте себе далее, что песок невидим, неосязаем, хотя полностью сохраняет вес и плотность песка. Вообразите все это — и вы получите отдаленное представление о том ветре.

Быть может, песок — неудачное сравнение. Считайте, что это шлам, невидимый, неосязаемый, но тяжелый, как шлам. Нет, даже не то! Считайте, что каждая молекула воздуха сама является кучей шлама. Затем попытайтесь вообразить великое множество таких молекул, слитых воедино. Нет, у меня не хватает слов! Язык человека может передать обычные явления жизни, но он не дает возмож-

ности передать сверхъестественное стихийное бедствие, как тот ветер. Лучше бы мне не браться за это описание, как я решил вначале.

Я только одно скажу: этот ветер сбил волны. Более того, казалось, смерч всосал в себя весь океан и заметался в том пространстве, где прежде был воздух.

Конечно, от парусов на шхуне остались одни клочья. Но капитан Удуз имел на «Крошке Жанне» приспособление, каких я никогда не видел на здешних шхунах,— плавучий якорь. Это был конический брезентовый мешок с массивным железным обручем, вставленным в верхний край. Плавучий якорь пускают подобно змею; он врезается в воду, так же, как змей взмывает в поднебесье, с той только разницей, что плавучий якорь останавливался у самой поверхности воды. Со шхуной якорь связывал длинный канат. Поэтому «Крошка Жанна», гонимая ветром, встречала волны носом.

Все могло бы кончиться благополучно, не окажись мы на пути урагана. Правда, ветер сорвал наши паруса, сломал верхушки мачт, перепутал снасти бегучего такелажа, и все-таки мы вышли бы из беды, если бы на нас не надвинулся самый центр урагана. Это нас и погубило. Бесконечные порывы ветра оглушили, пришибли, парализовали меня; я был готов прекратить борьбу, но тут мы оказались в центре циклона. На нас обрушился новый страшный удар — полное затишье. Воздух стал абсолютно неподвижен. Это было невыносимо.

Не забывайте, что несколько часов подряд мы испытывали страшный напор ветра. А потом внезапно давление исчезло. У меня было такое чувство, что тело мое лопнет, разорвется на куски. Казалось, будто я вот-вот взорвусь. Но это длилось всего одно мгновение. Надвигалась катастрофа. Давление упало совсем, стих ветер — и тут поднялись волны. Они прыгали, они вздымались, они взмывали к самым тучам. Не забывайте, что отовсюду ветер дул к центру спокойствия. Поэтому сюда же со всех сторон катились волны. И не было ветра, который мог бы сбить их. Волны подскакивали, как пробки, пущенные со дна ведра с водой. В их движении отсутствовала система или последовательность. Это были безумные, сумасшедшие волны высотой не меньше восьмидесяти футов. Это были вовсе не волны. Ни один смертный не видел ничего подобного.

Это были всплески, чудовищные всплески — и все! Всплески высотой в восемьдесят футов. Восемьдесят! Даже больше восьмидесяти! Волны выше наших мачт. Волны-смерчи, волны-взрывы. Они были пьяны. Они падали везде, как попало. Они сталкивались, отталкивали друг друга. Они схлестывались и разлетались в стороны тысячами водопадов. Редко кому удавалось заглянуть в «глаз бури» — побывать в центре урагана. Полнейший хаос. Анархия. Преисподняя обезумевшей стихии.

Что сталось с «Крошкой Жанной»? Не знаю. Язычник говорил мне потом, что он тоже ничего о ней не знает. Она в буквальном смысле раскололась пополам, разлетелась на куски, рассы́палась в щепки, превратилась в труху, перестала существовать. Я пришел в себя, когда был уже в воде и плыл, машинально работая руками, хотя уже начинал тонуть. Как я там очутился, не помню. Я видел только, как «Крошка Жанна» разлетается на куски. Вероятно, это произошло в то мгновение, когда я терял сознание. Как бы там ни было, я был в воде, и единственное, что оставалось,— не падать духом, хотя духу-то у меня не хватало. Снова поднялся ветер, волны стали меньше, двигались они, как обычно, и я понял, что миновал центр циклона. К счастью, вокруг не было акул. Ураган разогнал жадную стаю, которая окружала судно с мертвецами и пожирала трупы.

«Крошка Жанна» рассы́палась на куски около полудня, а часа через два я наткнулся на крышку от люка. Все время лил ливень, и я заметил эту крышку совершенно случайно. К кольцу была привязана небольшая веревка. Я понял, что продержусь по крайней мере день, если не появятся акулы. Часа три спустя, может быть немного больше, когда я, крепко ухватившись за крышку и зажмурив глаза, по мере сил старался равномерно и глубоко дышать и в то же время не наглотаться воды, мне показалось, что слышу чьи-то голоса. Дождь прекратился, и ветер и море успокоились. Футах в двадцати от меня, прицепившись к крышке люка, плыли капитан Удуз и язычник. Они дрались из-за этой крышки; по крайней мере, дрался Удуз.

Я услыхал визг Удуза: «Païen noir!» [1] — и увидел, как он стукнул канака ногой.

---

[1] Païen noir (франц.) — черный язычник, безбожник.

Надо сказать, что капитан Удуз потерял всю свою одежду, кроме тяжелых, грубых башмаков. Удар был жестокий — он пришелся язычнику в лицо и почти оглушил его. Я думал, что канак тоже стукнет его как следует, но он ограничился тем, что для безопасности отплыл футов на десять. Каждый раз, когда волны прибивали его к французу, тот, держась руками за крышку, лягал его обеими ногами и ругал канака черным язычником.

— Я вот пущу тебя на дно, белая скотина! — заорал я.

Только сильная усталость помешала мне это сделать. Мне сделалось не по себе от одной мысли о том, что надо к нему плыть. Я позвал канака и предложил ему держаться за мою крышку. Он сказал мне, что его зовут Отоо и что он уроженец острова Бора-Бора, самого западного из Островов Товарищества. Как я узнал впоследствии, он первым обнаружил крышку и, увидев через некоторое время капитана Удуза, предложил ему спасаться вместе, а за эти старания капитан ногами оттолкнул его прочь.

Так мы впервые встретились с Отоо. Нет, он не задира. Он был кроток, нежен и добр, хотя рост его достигал шести футов и сложен он был как гладиатор. Он не был ни задирой, ни трусом. В груди его билось львиное сердце, и впоследствии я не раз видел, как он шел на риск там, где я непременно бы отступил. Я хочу сказать, хотя Отоо и не был задирой и никогда не ввязывался в ссоры, он никогда не отступал перед опасностью. Но берегись, когда Отоо начинал действовать! Никогда не забуду, как он разделал Билли Кинга. Это случилось в Германском Самоа. Билли Кинг был прославленным чемпионом-тяжеловесом американского флота. Это был человек-зверь, этакая горилла, один из тех грубо сколоченных, крепко сбитых парней, которые отлично владеют кулаками. Он начал ссору и дважды стукнул Отоо ногой, потом ударил его еще раз, прежде чем до Отоо дошло, что необходимо драться. По-моему, не прошло и четырех минут, как Билли Кинг превратился в несчастного обладателя четырех сломанных ребер, перебитого предплечья и вывихнутой лопатки. Отоо ничего не смыслил в искусстве бокса. Он бил как умел, и Билли Кинг пролежал что-то около трех месяцев, оправляясь от побоев, полученных в один прекрасный день на берегу Апии.

Не буду, однако, забегать вперед. Итак, мы оба держались за мою крышку. Каждый из нас по очереди забирался на нее и, лежа ничком, отдыхал, а другой, погрузившись в воду до самого подбородка, лишь придерживался за нее руками. Два дня и две ночи, то лежа на крышке, то погружаясь в воду, мы носились по океану. Под конец я почти все время был в бессознательном состоянии, но иногда слышал, как Отоо что-то бормочет на своем родном языке. Мы находились в воде, поэтому не умерли от жажды, хотя соленая морская вода разъедала опаленное солнцем тело.

Кончилось тем, что Отоо спас мне жизнь, потому что я пришел в себя на берегу футах в двадцати от воды, защищенный от солнца листьями кокосовой пальмы. Это Отоо приволок меня туда и воткнул в песок листья. Сам он лежал рядом. Я снова потерял сознание, а когда очнулся, стояла прохладная звездная ночь, и Отоо поил меня соком кокосового ореха.

Кроме нас двоих, с «Крошки Жанны» не спасся никто. Капитан Удуз, вероятно, погиб от истощения, потому что ту крышку выбросило на берег через несколько дней. Мы с Отоо прожили на атолле целую неделю, потом нас подобрал французский крейсер и доставил на Таити. Однако за это время мы совершили церемонию обмена именами. На островах южных морей этот обычай связывает людей узами, которые крепче уз братства. Инициатива принадлежала мне. И Отоо пришел в неописуемый восторг от этого предложения.

— Это хорошо,— сказал он по-таитянски,— потому что два дня мы вместе смотрели в глаза смерти.

— Но смерть поперхнулась,— сказал я, улыбаясь.

— Вы были храбры, господин,— ответил он.— И у смерти не хватило наглости заговорить.

— Почему ты называешь меня «господином»? — возразил я, притворяясь обиженным.— Мы же поменялись именами. Для тебя я Отоо. Ты для меня — Чарли. И между нами на веки веков ты Чарли, а я Отоо. Таков обычай. И после нашей смерти, если мы встретимся в потустороннем мире, ты все так же будешь для меня Чарли, а я для тебя Отоо.

— Да, господин,— ответил он, и глаза его засияли тихой радостью.

— Ты опять! — закричал я в негодовании.

— Разве я могу отвечать за то, что произносят мои губы? — сказал он.— Это ведь только губы. Но про себя я всегда буду говорить: «Отоо». Когда я буду думать о себе, я подумаю о тебе. Когда меня позовут по имени, я буду думать о тебе. И над небесами, и за звездами отныне и навеки ты будешь для меня Отоо. Это хорошо, господин?

Я сдержал улыбку и ответил, что хорошо.

В Папеэте мы расстались. Я остался на берегу, чтобы немного окрепнуть, а он катером отправился на свой остров Бора-Бора. Через шесть недель он вернулся. Я удивился, потому что, уезжая, он сообщил, что решил вернуться домой, к жене, и забыть о дальних путешествиях.

— Куда ты поедешь, господин? — спросил он, едва мы успели поздороваться.

Я пожал плечами. Это был трудный вопрос.

— Буду скитаться по всему свету,— ответил я,— по всем морям и по всем островам, которые лежат в этих морях.

— Я поеду с тобой,— сказал он просто.— Моя жена умерла.

У меня никогда не было брата, но если судить по другим людям, то вряд ли хоть один человек на земле имел брата, который бы значил для него так же много, как Отоо для меня. Он был мне и братом, и отцом, и матерью. Я твердо убежден, что стал лучше и честнее благодаря Отоо. Мне безразлично, что обо мне думают окружающие, но я должен был оставаться честным в глазах Отоо. Он был рядом и я не смел запятнать себя. Я был его идеалом. Конечно, это объясняется его любовью и обожанием, но подчас я мог бы наделать кучу глупостей, если бы меня не останавливала мысль об Отоо. Он гордился мной, и я уж и сам начинал видеть в себе что-то хорошее, и у меня выработалась привычка не делать ничего, что могло бы подорвать эту его гордость.

Я, конечно, не сразу понял, как он ко мне относится. Он никогда меня ни в чем не упрекал, никогда не порицал, и я не сразу узнал, как высоко стою в его глазах. Так же медленно до меня доходило, что он тяжело переживает, когда я стараюсь казаться хуже, чем есть на самом деле.

Мы не расставались семнадцать лет, и все эти годы

он всегда был рядом со мной: сторожил мой сон, ухаживал за мной, когда я был ранен, бросался за меня в драку и получал раны. Он служил на судах вместе со мной. И мы с ним избороздили весь Тихий океан — от Гавайских островов до мыса Сиднея и от пролива Торрес до Галапагоса. Мы вербовали чернокожих на всем протяжении от Новых Гебрид и островов Лайн до Луизианы, Новой Британии, Новой Ирландии и Нового Ганновера. Мы трижды пережили кораблекрушение: возле островов Гилберта, Санта-Крус и Фиджи. Мы покупали и перепродавали все, на чем можно было заработать доллар,— будь то жемчуг, раковины, копра, трепанги, черепахи, черепаховые панцири и всякая всячина с разбитых судов.

Я обо всем догадался в Папеэте, сразу после того, как он объявил, что пойдет за мной хоть на край света. В ту пору в Папеэте был своего рода клуб, где собирались скупщики жемчуга, торговцы, капитаны и разные авантюристы, каких немало в тех краях. Игра шла по крупной, пили тоже немало, и, к сожалению, я засиживался позднее, чем следовало бы. И, когда бы я ни вышел из клуба, меня всегда ждал Отоо, чтобы проводить домой.

Вначале это вызывало у меня улыбку, затем я отчитал его. Потом я заявил ему без обиняков, что не нуждаюсь в няньках. После этого, выходя из клуба, я не встречал его. Прошла неделя, и как-то совершенно случайно я обнаружил, что он по-прежнему провожает меня домой, пробираясь вдоль улицы в тени манговых деревьев. Что я мог сделать? И тогда я понял, что нужно было делать.

Незаметно для себя я стал приходить домой раньше. На улице дождь и ветер, и я в разгар дурачеств и веселья то и дело возвращался к мысли об Отоо, который неустанно несет свою унылую вахту под манговым деревом, не защищающим от потоков воды. Я и в самом деле стал лучше благодаря ему. И все-таки он не проявлял пуританской нетерпимости в вопросах морали. Ему ничего не было известно о христианских заповедях. Все население Бора-Бора приняло христианство, а он был язычник, единственный неверующий на острове, великий материалист, который знал, что будет мертв, когда умрет. Он верил в людскую добросовестность и честную игру. Мелкие подлости в его кодексе чести были почти таким же серьезным преступлением, как зверское убийство, и я совершенно

убежден, что он скорее отнесется с уважением к убийце, чем к жулику средней руки.

Что же касается меня лично, он не одобрял ничего, что шло мне во вред. В игре он не видел ничего плохого. Он и сам был азартным игроком. Но поздние бдения, объяснял он, вредят здоровью. Он знал людей, которые умирали от лихорадки потому, что не заботились о своем здоровье. Он не был трезвенником и, промокнув до нитки, был не прочь хлебнуть виски. Иными словами, он верил, что спиртное полезно лишь в умеренных количествах. Он видел множество людей, которых шотландское виски или джин загоняли в гроб или делали калеками.

Мое благосостояние Отоо принимал близко к сердцу. Он думал о моем будущем, взвешивал мои планы и размышлял о моей судьбе больше, чем я сам. Вначале, когда я еще не подозревал о том, что он интересуется моими делами, ему приходилось самому догадываться о моих намерениях, как, например, случилось в Папеэте, когда я раздумывал, вступать ли в компанию с одним плутоватым парнем, моим соотечественником, который затеял рискованное предприятие с гуано. Я не знал, что этот парень — мошенник. Этого не знал ни один белый в Папеэте. Отоо тоже ничего не знал, но он видел, что мы становимся с тем парнем закадычными дружками, и на свой страх решил разузнать все о нем. На побережье Таити стекаются матросы-туземцы со всех морей. Подозрительный Отоо терся около них до тех пор, пока не собрал убедительные факты, подтверждающие его догадки. Да, немало он узнал о делишках Рэндольфа Уотерса. Когда Отоо рассказал мне о них, я не поверил, но потом выложил все Уотерсу, и тот, не сказав ни слова, с первым же пароходом отбыл в Окленд.

Откровенно говоря, вначале меня раздражало то, что Отоо сует нос в мои дела. Но я знал, что он действует совершенно бескорыстно; вскоре я должен был признать, что он мудр и осторожен. Он следил, чтобы я не упустил выгодного случая, был одновременно и дальновидным и проницательным. Скоро я уже начал во всем советоваться с Отоо, так что в конце концов он стал разбираться в моих делах лучше, чем я сам. Мои интересы он принимал ближе к сердцу, чем я. В ту чудесную пору я был помальчишески беспечен, романтику предпочитал доллару, а приключение — удобному ночлегу под крышей. Словом,

хорошо, что кто-то присматривал за мной. Если бы не Отоо, меня бы давно не было в живых. Это я знаю наверное.

Из многочисленных примеров позвольте привести один. Когда я отправился за жемчугом в Паумоту, у меня уже был некоторый опыт по вербовке чернокожих. В Самоа мы с Отоо остались на берегу, вернее, сели на мель, денег — ни гроша, но мне повезло: я поступил вербовщиком на бриг, который доставлял негров на плантации. Отоо нанялся на этот же бриг простым матросом. В течение следующих шести лет на разных судах мы избороздили самые дикие уголки Меланезии. Отоо был убежден, что место загребного на моей лодке по праву принадлежит ему. Работали мы обычно так. Вербовщика высаживали на сушу. Его лодка оставалась у самого берега — весла наготове. Она находилась под прикрытием другой лодки, что стояла в нескольких сотнях ярдов в море. Я втыкал в песок шест, которым в случае необходимости можно было быстро оттолкнуться от берега, выгружал из лодки свои товары, а Отоо бросал весла и подсаживался к винчестеру, скрытому под парусиной. Матросы на другой лодке были тоже вооружены: под парусиной вдоль борта лежали снайдеры.

Пока я торговался с чернокожими и убеждал их наняться на плантации Квинсленда, Отоо не спускал с них глаз. Сколько раз негромким окриком предупреждал он меня о подозрительных действиях негров или о ловушке, которую они готовили. Иногда первым сигналом тревоги был внезапный выстрел, которым Отоо разил негра наповал. Я бросался к лодке, и он всегда подхватывал меня на лету. Помню, однажды, когда мы плавали на «Санта-Анна», на нас напали, едва наша лодка подошла к берегу. Прикрывающая нас лодка помчалась на помощь, но тем временем несколько десятков дикарей оставили бы от нас мокрое место. Тогда Отоо одним прыжком перескочил на берег и начал обеими руками разбрасывать во все стороны табак, бусы, томагавки, ножи и куски ситца.

Для негров это было слишком сильное искушение. Пока они дрались из-за сокровищ, мы столкнули лодку в воду и отошли футов на сорок в море. А через четыре часа на этом самом берегу я завербовал тридцать человек.

Особенно запомнился мне один случай на Малаите,

самом диком острове из восточной группы Соломоновых островов. Туземцы были настроены чрезвычайно дружественно, но откуда нам было знать, что вся деревня уже более двух лет собирала человеческие головы, чтобы обменять их на голову белого человека? Там все бродяги были охотниками за головами, а особенно высоко ценились головы белых. Тот, кто ее добудет, получит все, что они накопили. Как я уже сказал, они были настроены очень дружелюбно, и я в этот день удалился в глубь берега на добрую сотню ярдов. Отоо предупреждал, что небезопасно, но я не послушался, и, как всегда, это привело меня к беде. Я внезапно увидел целую тучу копий, летящих из манговой чащи. Не менее десятка задело меня. Я пустился бежать, но споткнулся о копье, которое вонзилось мне в икру, и упал. Негры бросились за мной, размахивая боевыми, украшенными перьями топориками на длинных рукоятках, и собирались, по-видимому, отрубить мне голову. Им так не терпелось получить награду, что они толкались и мешали друг другу. В суматохе мне удавалось увертываться от ударов, петляя на бегу и бросаясь на землю.

В это время появился Отоо. Отоо-борец. Он где-то раздобыл тяжелую боевую дубинку, и в рукопашной она оказалась полезнее ружья. Отоо бросился в гущу толпы, и враги не могли поразить его копьями, а топоры только мешали им. Он сражался за меня с исступлением. Дубинкой он орудовал потрясающе. Под его ударами головы лопались, словно перезрелые апельсины. Его ранили лишь после того, как, разогнав туземцев, он взвалил меня на плечи и побежал к лодке. Он добрался до лодки, четыре раза задетый копьями, схватил свой винчестер и стал стрелять, каждым выстрелом укладывая врага. Затем нас взяли на шхуну и перевязали раны.

Семнадцать лет мы не расставались. Он сделал меня человеком. Я бы и по сей день был судовым приказчиком, вербовщиком, а может быть, от меня не осталось бы даже воспоминания, если бы не он.

— Сейчас, истратив деньги, ты можешь заработать еще,— сказал он мне однажды.— Сейчас тебе легко добывать деньги. Но, когда ты состаришься, деньги у тебя разойдутся, а заработать ты не сможешь. Я это знаю, господин. Я изучил повадки белых. На побережье много стариков. Некогда они были молоды и могли зарабаты-

вать, как ты сейчас. Теперь они стары, у них ничего нет, и они слоняются в ожидании какого-нибудь парня, который угостит их.

Чернокожий трудится на плантациях, словно раб. Он получает двадцать долларов в год. Он работает много. Надсмотрщик работает мало. Ездит себе верхом да наблюдает, как работает чернокожий парень. Он получает тысячу двести долларов в год. Я матрос на шхуне. Мне платят пятнадцать долларов в месяц. Это потому, что я хороший матрос. Я много работаю. А капитан прохлаждается под тентом да тянет пиво из больших бутылок. Я никогда не видел, чтобы он поднимал паруса или работал веслом. Он получает сто пятьдесят долларов в месяц. Я — матрос. Он — навигатор. Господин, я думаю, тебе надо изучить навигацию.

Отоо побудил меня заниматься этим. Когда я вышел в свой первый рейс вторым помощником капитана, он плавал со мной и больше меня гордился тем, что я командую. Но Отоо не унимался.

— Господин, капитан получает много денег, но он ведет судно и никогда не знает покоя. Судовладелец — вот кто получает больше. Судовладелец, который сидит на берегу и делает деньги.

— Верно, но шхуна стоит пять тысяч долларов, притом старая шхуна,— возразил я.— Я помру, прежде чем накоплю пять тысяч долларов.

— Белый человек может разбогатеть очень быстро,— продолжал он, указывая на берег в зарослях кокосовых пальм.

Это было у Соломоновых островов. Мы шли вдоль восточного берега Гвадалканара и скупали «растительную слоновую кость».

— Между устьями двух этих рек расстояние мили две,— сказал он.— Равнина тянется в глубь острова. Сейчас она ничего не стоит. Но кто знает? Может быть, через год-два эта земля будет стоить очень дорого. Тут удобно стать на якорь. Океанские пароходы могут подходить к самому берегу. Старый вождь продаст тебе полоску земли шириной в четыре мили за десять тысяч пачек табаку, десять бутылок джина и ружье системы Снайдера, что обойдется тебе приблизительно в сотню долларов. Затем ты оформишь сделку и через один-два года продашь землю и купишь собственное судно.

Я последовал совету Отоо, и его предсказание сбылось, правда, не через два, а через три года. Затем последовало дело с пастбищами на Гвадалканаре: арендовал у государства двадцать тысяч акров сроком на девятьсот девяносто девять лет по номинальной стоимости. Я был арендатором ровно девяносто дней, потом продал землю за огромную сумму одной компании. Именно он, Отоо, все предвидел и не упускал удобного случая. Это была его идея — поднять затонувший «Донкастер», который продавался на аукционе за сто фунтов. Операция эта после покрытия всех расходов дала три тысячи чистой прибыли. По совету Отоо я стал плантатором на Савайе и занялся торговлей кокосовыми орехами в Уполу.

Мы уже не ходили в море так часто, как прежде. Я стал богатым, женился, жизнь пошла по-иному, но Отоо оставался все тем же Отоо: он бродил по дому, заглядывал в контору, не вынимая изо рта деревянной трубки и не расставаясь с дешевой сорочкой и панталонами. Я не мог заставить его тратить деньги. Ему не нужно было никакого вознаграждения, кроме любви, и — бог свидетель — мы все от души его любили. Дети его обожали, а жена моя непременно бы его избаловала, если бы Отоо можно было избаловать.

А дети! Это он раскрыл им тайны окружающего мира. Под его присмотром они делали первые шаги. Когда кто-нибудь из ребят заболевал, он не отходил от его постели. Одного за другим, когда они были еще совсем крошечными, он брал с собой в лагуну и учил плавать и нырять. Я никогда не знал о рыбах и о рыбной ловле столько, сколько он рассказал детям. Он открыл им тайны леса. В семь лет Том знал лес так, как мне и не снилось. Шести лет Мэри бесстрашно проходила по обрывистой скале, а я знал, что не каждый мужчина отважится на такой подвиг. Едва Франку исполнилось шесть лет, он мог достать монету с пятиметровой глубины.

— Мой народ на Бора-Бора не любит язычников, они там все христиане. А я не люблю христиан острова Бора-Бора,— сказал он однажды, когда я убеждал его взять одну из наших шхун и навестить родной остров.

У меня была идея — заставить его тратить деньги, по праву принадлежащие ему. Путешествие я затевал неспроста: я надеялся, что это событие будет переломным в его психологии и он начнет беззаботно тратить деньги.

Я говорю «одну из наших шхун», хотя в ту пору все они по закону принадлежали мне. Я долго пытался побороть его упрямство: мне хотелось, чтобы мы были компаньонами.

— Мы компаньоны с того самого дня, как затонула «Крошка Жанна»,— ответил он наконец.— Но, если твое сердце так пожелало, давай будем законными компаньонами. Я бездельничаю, а денег на меня уходит уйма. Я много пью, ем и курю вволю, а это стоит немало, я знаю. Я бесплатно играю на бильярде, потому что это твой стол, но это все-таки расход. Удить рыбу на рифе для собственного удовольствия может позволить себе только богач. На крючки и лесы уходит много денег. Да, нам необходимо стать компаньонами по закону. Мне нужны деньги. Я буду получать их в конторе у старшего клерка.

Словом, были выписаны и оформлены соответствующие документы. Прошел год, и я начал ворчать.

— Чарли,— сказал я,— ты старый обманщик, несчастный скряга, жалкий краб. Смотри-ка, твоя доля прибыли за этот год равна нескольким тысячам долларов. Эту бумагу дал мне старший клерк. Здесь написано, что за год ты истратил восемьдесят семь долларов и двадцать центов.

— Мне еще что-нибудь причитается? — спросил он озабоченно.

— Я же сказал: несколько тысяч долларов,— ответил я.

Лицо его просветлело, будто он почувствовал большое облегчение.

— Это очень хорошо,— сказал он.— Смотри, чтобы старший клерк правильно вел счета. Когда мне понадобятся деньги, я возьму их, и чтобы ни один цент не пропал... А если случится недостача,— помолчав, добавил он жестко,— ее покрывают из жалованья клерка.

А в то время, как я впоследствии узнал, в сейфе американского консульства уже хранилось его завещание, составленное Каррузерсом, по которому я являлся единственным его наследником.

Но пришел конец, потому что все на свете должно когда-нибудь закончиться. Это случилось на Соломоновых островах, где в дни безрассудной юности мы работали не покладая рук. Теперь мы снова посетили эти места, главным образом для того, чтобы отдохнуть, а заодно посмот-

реть, как идут дела на земельных участках на острове Флорида, и разузнать, насколько выгоден жемчужный промысел в проливе Мболи. Мы стали на якорь у острова Саво в надежде выторговать у туземцев что-нибудь ценное.

Ну, возле Саво так и кишат акулы. Обычай туземцев хоронить своих покойников в открытом море привел к тому, что акулы стали постоянными жильцами омывающих остров вод. Так уж мне всегда везет, что крошечное перегруженное туземное каноэ, в котором мы плыли, опрокинулось. В нем было, вернее, за него держались четверо негров и я. До шхуны было ярдов сто. Как раз в то время, когда я кричал своим на шхуне, чтобы спускали шлюпку, раздались вопли одного из негров. Он держался за конец каноэ, и его несколько раз потянуло вниз вместе с лодчонкой. Потом он разжал руки и исчез. Его утащила акула.

Трое оставшихся негров пытались выкарабкаться из воды на днище опрокинутого каноэ. Я кричал на них, ругался, даже стукнул того, который был рядом, кулаком, но ничто не помогло. Их охватил безумный ужас. Каноэ едва ли могло выдержать даже одного из них. Когда на лодку взобрались трое, она стала вертикально, затем опрокинулась на бок, сбросив их в воду.

Я поплыл к шхуне, надеясь, что мне навстречу выйдет шлюпка. Один из негров последовал за мной, и мы продвигались вперед рядом, не говоря ни слова и время от времени опуская лицо в воду, чтобы посмотреть, нет ли акул. Человек, оставшийся у каноэ, дико закричал: на него напали хищники. Опустив голову в воду, я увидел огромную акулу, проплывающую как раз подо мной. Она была не менее шестнадцати футов длиной. Я видел, как все произошло. Она схватила негра поперек туловища и поплыла прочь. Голова, руки, плечи несчастного все время были над водой, он кричал душераздирающим голосом. Акула протащила его несколько сот футов, потом он скрылся под водой.

Я плыл вперед, надеясь, что это была последняя голодная акула. Но была еще одна. Была ли это одна из тех, которые напали на негра вначале, или она насытилась где-нибудь в другом месте, я не знаю. Во всяком случае, она, кажется, не спешила, как другие. Теперь я уже не мог плыть так быстро, как раньше, потому что я тратил много

сил, стараясь не терять ее из виду. Я видел, как она начала первую атаку. Мне повезло — я обеими руками стукнул ее по рылу, и, хотя ее внезапный толчок чуть не увлек меня под воду, мне все-таки удалось ее отогнать. Потом она повернула и начала кружить подле меня. Так же мне удалось спастись и во второй раз. Третий бросок был неудачен для обеих сторон. Она повернулась в тот момент, когда мои кулаки были возле ее рыла, и, прикоснувшись к ее боку, напоминавшему наждачную бумагу, я на одной руке содрал кожу от локтя до плеча: на мне была безрукавка.

Теперь я уже совсем выдохся и потерял всякую надежду на спасение. До шхуны оставалось футов двести. В то время, когда я опустил лицо в воду и наблюдал за акулой, которая готовилась к следующей атаке, я заметил промелькнувшее между нами коричневое тело. Это был Отоо.

— Плыви к шхуне, господин! — сказал он. И голос его был весел, словно речь шла о веселом приключении.— Я знаю акул. Акулы мне братья.

Я подчинился и медленно поплыл вперед, а Отоо был рядом, все время лавируя между мной и акулой, отражая ее атаки и подбадривая меня.

— На боканцах снесло такелаж, и они его крепят,— объяснил он через минуту-другую и сразу нырнул, чтобы отбить очередную атаку хищника.

Когда шхуна была в тридцати футах, я выдохся окончательно. Я с трудом двигал руками и ногами. С борта нам бросали веревки, но они падали слишком далеко. Акула, убедившись, что имеет дело с безобидными существами, осмелела. Несколько раз она меня чуть не схватила, но в решающую минуту ей мешал Отоо. Конечно, сам Отоо мог спастись в любой момент. Но он не хотел бросать меня.

— Прощай, Чарли! Это конец,— задыхаясь, выговорил я.

Я знал, что это конец, что через секунду я опущу руки и пойду ко дну.

Но Отоо засмеялся и сказал:

— Я покажу тебе новый фокус. Этой акуле плохо придется!

Он нырнул между мной и акулой, которая плыла за мной.

— Забирай влево! — крикнул он.— Там веревка. Еще левее, господин, левее!

Я повернул в другую сторону и поплыл вперед. Когда я ухватился за веревку, на шхуне раздался крик. Я оглянулся. Отоо не было... В следующее мгновение он показался на поверхности. Кисти обеих рук были у него оторваны, из ран лилась кровь.

— Отоо! — негромко позвал он. И взгляд его был полон той же любви, что звучала в его голосе.

Только теперь, единственный раз, в последнее мгновение своей жизни, он назвал меня этим именем.

— Прощай, Отоо! — крикнул он.

Потом он исчез под водой, а меня втащили на борт, где я упал на руки капитана и потерял сознание.

Так ушел из жизни Отоо, который спас меня в молодости, сделал меня человеком и потом снова спас. Мы встретились в пасти урагана, и нас разлучила пасть акулы. Между этими событиями прошло семнадцать лет, и я с полной ответственностью могу заявить, что в мире никогда не было такой дружбы между темнокожим и белым. И если Иегова на своем высоком посту действительно всевидящ, то в его царстве не последним будет Отоо — единственный язычник с острова Бора-Бора.

ПОД ПАЛУБНЫМ ТЕНТОМ

— Может ли мужчина — я имею в виду джентльмена — назвать женщину свиньей?

Бросив этот вызов всем присутствующим, маленький человечек откинулся в шезлонге и медленно допил свой лимонад с видом самоуверенным и настороженно воинственным. Никто не ответил. Все давно привыкли к маленькому человечку, к его вспыльчивости и к высокопарности его речей.

— Повторяю, он сказал, что некая леди, которую никто из вас не знает,— свинья. Он не сказал: «поступила по-свински», а грубо заявил, что она — свинья. А я утверждаю, что ни один порядочный человек не может так выразиться о женщине.

Доктор Доусон невозмутимо попыхивал черной трубкой. Мэтьюз, обхватив руками согнутые колени, внима-

тельно следил за полетом чайки. Суит, допив виски, искал глазами палубного стюарда.

— Я спрашиваю вас, мистер Трелор,— позволительно ли мужчине назвать женщину свиньей?

Трелор, сидевший рядом с ним, растерялся при этой внезапной атаке; он не понимал, почему именно его заподозрили в том, что он способен назвать женщину свиньей.

— Я бы сказал,— пробормотал он неуверенно,— что это... э... зависит от... того, какая... женщина.

Маленький человечек был ошеломлен.

— Вы хотите сказать, что...— начал он дрожащим голосом.

— Что я встречал женщин, которые были не лучше свиней, а иногда и хуже.

Наступило долгое, напряженное молчание. Маленький человечек, видимо, был потрясен откровенной грубостью этого ответа. На его лице отразились неописуемые боль и обида.

— Вы рассказали о человеке, который выразился не совсем деликатно, и высказали свое мнение о нем,— сказал Трелор спокойным, ровным тоном.— Теперь я расскажу вам об одной женщине — прошу прощения, о леди,— и когда кончу, попрошу вас высказать ваше мнение о ней. Я назову ее хотя бы мисс Кэрьюферз,— просто потому, что ее звали не так. То, о чем я вам расскажу, случилось на одном из пароходов Восточной компании несколько лет назад.

Мисс Кэрьюферз была очаровательна. Нет, вернее будет сказать — изумительна. Это была молодая девушка и знатная леди. Ее отец занимал высокий пост, фамилии его я называть не буду, так как она, несомненно, всем вам знакома. Девушка эта ехала к старику на восток в сопровождении матери и двух горничных.

Она — простите, что я повторяюсь,— была изумительна! Другого слова не подберешь. Говоря о ней, приходится все прилагательные употреблять в превосходной степени. Она делала все, за что ни бралась, лучше всякой другой женщины и лучше, чем большинство мужчин. Как она играла, как пела! Соперничать с ней было невозможно, как кто-то сказал о Наполеоне. А как она плавала,— стань она профессиональной спортсменкой, она бы прославилась и разбогатела! Она была одной из тех

редких женщин, которые в простом купальном костюме, без всяких финтифлюшек, кажутся еще красивее. Но одевалась она со вкусом настоящей художницы.

Но я говорил о том, как она плавала. Сложена она была идеально. Вы понимаете, что я хочу сказать: не грубая мускулатура акробатки, а безупречность линий, изящество, хрупкость. И вместе с тем — сила. Сочеталось это в ней удивительно. У нее были чудесные руки: у плеча — только намек на мускул, нежная округлость до кисти, а кисть крохотная, но сильная. Когда она плыла быстрым английским кролем... Ну, я разбираюсь и в анатомии и в спорте, но для меня так и осталось тайной, как она умудрялась это проделывать.

Она могла оставаться под водой две минуты — я проверял с часами в руках. Никто на пароходе, за исключением Денннтсона, не мог, нырнув, собрать со дна столько монет зараз. На носу был устроен наполнявшийся морской водой парусиновый бассейн в шесть футов глубиной. Мы бросали туда мелкие монеты, и я не раз видел, как она, нырнув с мостика в эту шестифутовую глубину (что само по себе было нелегким делом), собирала до сорока семи монет, разбросанных по всему дну. Денннтсон, хладнокровный и сдержанный молодой англичанин, ни разу не мог ее превзойти и только старался слегка не отставать от нее.

Море было ее стихией, но и суша тоже. Она была великолепной наездницей... Она была совершенством. Глядя на нее, такую женственную, окруженную всегда полудюжиной пылких поклонников, томно-небрежную или сверкающую остроумием, которым она их покоряла и жертвой которого они часто бывали, можно было подумать, что только для этого она и создана. В такие минуты мне приходилось напоминать себе о сорока семи монетах, собранных со дна бассейна. Вот какой была эта чудо-женщина, которая все умела делать хорошо. Ни один мужчина не мог остаться к ней равнодушным. Не скрою, я тоже ходил за ней по пятам. И молодые щенята, и старые седые псы, которым следовало бы уже образумиться,— все ходили перед ней на задних лапках, и стоило ей свистнуть, как все до одного — от юнца Ардмора, розовощекого девятнадцатилетнего херувима, будущего чиновника в консульстве, до капитана Бентли, седовласого морского волка, который, казалось, был способен на нежные чувства не бо-

лее китайского идола, бросались на ее зов. Был среди нас и один приятный, немолодой уже человек — фамилия его, кажется, была Перкинс,— который вспомнил, что с ним едет жена, только тогда, когда мисс Кэрьюферз поставила его на место.

Мужчины были воском в ее руках, и она лепила из них что хотела, а иногда предоставляла им таять или сгорать, как ей вздумается. Она была сдержанна и надменна, но любой стюард по ее знаку, не колеблясь, облил бы супом самого капитана. Кто из вас не встречал подобных женщин, пленяющих всех мужчин на свете? Мисс Кэрьюферз была великая завоевательница сердец. Она была как удар хлыста, как жало, как пламя, как электрическая искра. И, поверьте мне, при всей ее обаятельности у нее бывали такие вспышки, что жертва ее гнева трепетала от страха и просто теряла голову.

Притом, чтобы лучше понять то, что я вам расскажу, вам следует помнить, что она была горда. В ней соединялись гордость расы, гордость касты, гордость пола, гордость сознания своей власти. Странная это была гордость, страшная и капризная!

Мисс Кэрьюферз командовала всем и всеми на пароходе и командовала Деннитсоном. Мы признавали, что он намного опередил всю нашу свору. Он нравился девушке все больше и больше, в этом не было сомнения. И я уверен, что она испытывала подобное чувство впервые. А мы продолжали поклоняться ей, были всегда под рукой, хотя и знали, что за Деннитсоном нам не угнаться. Неизвестно, чем бы все это кончилось, но мы пришли в Коломбо, и кончилось все это иначе.

Вы помните, как в Коломбо туземные ребятишки ныряют за монетами в кишащую акулами бухту? Конечно, они рискуют это проделывать лишь по соседству с береговыми акулами, которые охотятся только за рыбой. У ребят выработалось какое-то сверхъестественное чутье: стоит появиться страшному людоеду — тигровой акуле, или серой, которая забредает сюда из австралийских вод, и раньше чем пассажиры разберутся, в чем дело, мальчишки все уже выбрались в безопасное место!

Дело было после завтрака. Мисс Кэрьюферз, как обычно, царила под палубным тентом. Она улыбнулась капитану Бентли, и он разрешил то, чего никогда до сих пор не разрешал: пустить туземных ребятишек на верх-

нюю палубу. Мисс Кэрьюферз заинтересовалась ими, ведь она сама была искусным пловцом. Она забрала у нас всю мелочь и принялась бросать монеты за борт, то по одной, то целыми горстями, диктуя условия состязания, подшучивая над неудачниками, награждая отличившихся,— словом, дирижировала всем.

Ее особенно заинтересовали их прыжки. Как вы знаете, центр тяжести у человека расположен высоко и при прыжке ногами вниз трудно удержать тело в вертикальном положении и не перевернуться. У мальчишек был свой способ, ей незнакомый, и она заявила, что хочет его изучить. Они прыгали со шлюпбалок согнувшись и только в последний момент выпрямлялись и вертикально входили в воду.

Красивое это было зрелище. Ныряли они, однако, хуже. И только один из них делал превосходно и это, как и все остальное. Вероятно, его обучал какой-нибудь белый: он нырял «ласточкой», и притом замечательно красиво. Вы знаете, что это такое: прыгаешь вниз головой с большой высоты, и задача в том, чтобы войти в воду под правильным углом. Стоит ошибиться, и рискуешь повредить себе позвоночник, остаться на всю жизнь калекой; нередки и смертные случаи. Но этот мальчик знал свое дело. Я сам видел, как он нырял с вант, с семидесятифутовой высоты. Прижав руки к груди, откинув голову, он взлетал, как птица, и падал, распростершись в воздухе. Если бы он ударился так о воду, его сплющило бы, как селедку. Но над самой водой голова его опускалась, вытянутые руки сходились над ней, и грациозно изогнутое тело правильно входило в воду.

Мальчик снова и снова повторял свой прыжок, восхищая всех нас, а особенно мисс Кэрьюферз. Ему было не больше тринадцати лет, но он был самым ловким из всей ватаги, любимцем и вожаком своих товарищей. Даже ребята постарше охотно ему подчинялись. Он был красив: гибок и строен, как молодой бог, живая фигурка из бронзы, с широко расставленными умными и смелыми глазами — весь, как чудесный, яркий огонек жизни. Бывают и среди животных такие удивительные творения природы — леопард, лошадь. Кто из вас не любовался игрой их стальных мускулов, неукротимой порывистостью, грацией и кипучей жизнерадостностью каждого движения? В этом мальчике жизнь била ключом, она таилась в

блеске его кожи, горела в его глазах. Взгляд на него освежал, как глоток кислорода,— такой он был чудесный, юный, стремительный и дикий. И этот-то мальчик в самый разгар забавы первый подал сигнал тревоги. Товарищи его изо всех сил поплыли за ним к трапу, вода так и кипела от их беспорядочных движений, фонтаны брызг взлетали вверх. Мальчуганы карабкались наверх, помогая друг другу скорее выбраться из опасного места. Лица у всех были испуганные. Наконец они все выстроились на сходнях, не отводя глаз от поверхности моря.

— Что случилось? — осведомилась мисс Кэрьюферз.

— Акула, наверное,— ответил капитан Бентли.— Пострелятам повезло, что она никого не сцапала.

— Разве они боятся акул? — спросила она.

— А вы? — спросил он в свою очередь.

Она вздрогнула, бросила взгляд на море и сделала гримаску.

— Ни за что в мире я не вошла бы в воду, когда поблизости акула! — Она вздрогнула.— Они отвратительны!

Мальчики поднялись на верхнюю палубу и столпились у поручней, с обожанием глядя на мисс Кэрьюферз, бросившую им столько монет. Представление кончилось, и капитан Бентли знаком приказал им убираться. Но мисс Кэрьюферз остановила его:

— Погодите минутку, капитан. Я всегда думала, что туземцы не боятся акул.

Она поманила к себе мальчика, нырявшего «ласточкой», и жестом предложила ему прыгнуть еще раз. Он покачал головой, и вся толпа у поручней рассмеялась, как будто услышала веселую шутку.

— Акула,— пояснил он, указывая на воду.

— Нет,— сказала она,— акулы нет!

Но мальчик решительно кивнул, и его товарищи закивали так же решительно.

— Нет тут никаких акул! — воскликнула она и обратилась к нам: — Кто одолжит мне полкроны и соверен?

Немедленно полдюжины рук протянулись к ней с кронами и соверенами. Она взяла две монеты у Ардмора и показала мальчикам полкроны, но ни один не бросился к поручням. Они стояли, растерянно ухмыляясь. Она стала предлагать монету каждому отдельно, но каждый только качал головой и улыбался, переминаясь с ноги на ногу.

Тогда она бросила полукрону за борт. Мальчики провожали сверкавшую в воздухе монету взглядами, полными сожаления, но никто не шевельнулся.

— Только не предлагайте им соверен,— шепнул Деннитсон.

Не обращая внимания на его слова, она вертела золотой монетой перед глазами мальчика, который нырял «ласточкой».

— Оставьте! — сказал капитан Бентли.— Я и больную кошку за борт не брошу, если акула близко.

Но мисс Кэрьюферз только рассмеялась, упорствуя в своей затее, и продолжала соблазнять мальчика совереном.

— Не искушайте его,— настаивал Денннтсон.— Это для него целое состояние. Он способен прыгнуть.

— А вы не прыгнули бы? — резко сказала она и добавила мягче: — Если я брошу?

Деннитсон покачал головой.

— Вы дорого себя цените,— заметила она.— Сколько нужно соверенов, чтобы вы прыгнули?

— Столько еще не начеканено,— был ответ.

На мгновение мисс Кэрьюферз задумалась. В стычке с Деннитсоном мальчик был забыт.

— Даже ради меня? — спросила она очень тихо.

— Только чтобы спасти вас.

Она снова обернулась к мальчику и показала ему золотой, прельщая его таким огромным богатством. Затем притворилась, что бросает, и он невольно шагнул к поручням; только резкие окрики товарищей удержали его. В их голосах звучали злоба и упрек.

— Я знаю, вы только дурачитесь,— сказал Деннитсон.— Дурачьтесь сколько хотите, только, ради бога, не бросайте!

Был ли это каприз, думала ли она, что мальчик не рискнет прыгнуть в воду, трудно сказать. Для нас всех это было полной неожиданностью. Золотая монета вылетела из-под тента, сверкнула в ослепительном солнечном свете и, описав сияющую дугу, упала в море. Никто не успел опомниться, как мальчик был уже за бортом. Он и монета взлетели в воздух одновременно. Красивое было зрелище! Соверен упал в воду ребром, и в ту же секунду в том же месте почти без всплеска нырнул в воду мальчик. Раздался общий крик ребятишек, у которых глаза были зорче наших, и мы бросились к поручням. Ерунда,

что акуле для нападения нужно перевернуться на спину. Эта не перевернулась. Вода была прозрачна, и мы сверху видели все. Акула была крупная и сразу перекусила мальчика пополам.

Кто-то из нас шепотом сказал что-то — не знаю кто, может быть, я. Затем наступило молчание. Первой заговорила мисс Кэрьюферз. Лицо ее было смертельно бледно.

— Я... мне и в голову не приходило...— сказала она с коротким истеричным смешком.

Ей понадобилась вся ее гордость, чтобы сохранить самообладание. Она посмотрела на Денитсона, словно ища поддержки, потом поочередно на каждого из нас. В ее глазах был ужас, губы дрожали. Да, теперь я думаю, что мы были жестоки тогда, но никто из нас не шелохнулся.

— Мистер Денитсон! — сказала она.— Том! Проводите меня вниз.

Он не повернулся, не взглянул на нее, даже бровью не повел, только достал папиросу и закурил, но в жизни я не видел такого мрачного выражения на человеческом лице. Капитан Бентли что-то буркнул и сплюнул за борт. И всё. И кругом — молчание.

Она отвернулась и пошла по палубе твердой походкой, но, не пройдя и десяти шагов, пошатнулась и должна была опереться о стену каюты, чтобы не упасть. Вот так она и шла — медленно, цепляясь за стену.

Трелор умолк и, повернувшись к маленькому человечку, устремил на него холодный вопросительный взгляд.

— Ну,— заговорил он наконец,— что вы скажете о ней?

Человечек проглотил слюну.

— Мне нечего сказать,— пробормотал он,— нечего.

КУЛАУ-ПРОКАЖЕННЫЙ

— Оттого что мы больны, у нас отнимают свободу. Мы слушались закона. Мы никого не обижали. А нас хотят запереть в тюрьму. Молокаи — тюрьма. Вы это знаете. Вот Ниули — его сестру семь лет как услали на Молокаи. С тех пор он ее не видел. И не увидит. Она останется на Молокаи до самой смерти. Она не хотела туда ехать. Ниули тоже этого не хотел. Это была воля белых людей,

которые правят нашей страной. А кто они, эти белые люди?

Мы это знаем. Нам рассказывали о них отцы и деды. Они пришли смирные, как ягнята, с ласковыми словами. Оно и понятно: ведь нас было много, мы были сильны, и все острова принадлежали нам. Да, они пришли с ласковыми словами. Они разговаривали с нами по-разному. Одни просили разрешить им,- милостиво разрешить им проповедовать нам слово божие. Другие просили разрешить им, милостиво разрешить им торговать с нами. Но это было только начало. А теперь они все забрали себе — все острова, всю землю, весь скот. Слуги господа бога и слуги господа рома действовали заодно и стали большими начальниками. Они живут, как цари, в домах о многих комнатах, и у них толпы слуг. У них ничего не было, а теперь они завладели всем. И если вы, или я, или другие канаки голодают, они смеются и говорят: «А ты работай. На то и плантации».

Кулау замолчал. Он поднял руку и скрюченными, узловатыми пальцами снял с черноволосой головы сверкающий венок из цветов мальвы. Лунный свет заливал ущелье серебром. Ночь дышала мирным покоем. Но те, кто слушал Кулау, казались воинами, пострадавшими в жестоком бою. Их лица напоминали львиные морды. У одного на месте носа зияла дыра, у другого с плеча свисала култышка — остаток сгнившей руки. Их было тридцать человек, мужчин и женщин,— тридцать отверженных, ибо на них лежала печать зверя.

Они сидели, увенчанные цветами, в душистой, пронизанной светом мгле, выражая свое одобрение речи Кулау нечленораздельными, хриплыми криками. Когда-то они были людьми, но теперь это были чудовища, изувеченные и обезображенные, словно их веками пытали в аду,— страшная карикатура на человека. Пальцы — у кого они еще сохранились — напоминали когти гарпий; лица были как неудавшиеся, забракованные слепки, которые какой-то сумасшедший бог, играя, разбил и расплющил в машине жизни. Кой у кого этот сумасшедший бог попросту стер половину лица, а у одной женщины жгучие слезы текли из черных впадин, в которых когда-то были глаза. Некоторые мучились и громко стонали от боли. Другие кашляли, и кашель их походил на треск рвущейся материи. Двое были идиотами, похожими на огромных обезь-

ян, созданных так неудачно, что по сравнению с ними обезьяна показалась бы ангелом. Они гримасничали и бормотали что-то, освещенные луной, в венках из тяжелых золотистых цветов. Один из них, у которого раздувшееся ухо свисало до плеча, сорвал яркий оранжево-алый цветок и украсил им свое страшное ухо, колыхавшееся при каждом его движении.

И над этими существами Кулау был царем. А это захлебнувшееся цветами ущелье, зажатое между зубчатых скал и утесов, откуда доносилось блеяние диких коз, было его царством. С трех сторон поднимались мрачные стены, увешанные причудливыми занавесями из тропической зелени и чернеющими входами в пещеры — горные берлоги его подданных. С четвертой стороны долина обрывалась в глубочайшую пропасть, и там, вдалеке, виднелись вершины более низких гор и хребтов, у подножия которых гудел и пенился океанский прибой. В тихую погоду к каменистому берегу в устье долины Калалау можно было пристать на лодке — но только в очень тихую погоду. И смелый горец мог проникнуть с берега в верхнюю часть долины, в зажатое скалами ущелье, где царствовал Кулау; но такой человек должен был обладать большой смелостью и к тому же знать еле видные глазу козьи тропы. Казалось невероятным, что жалкие, беспомощные калеки, составлявшие племя Кулау, сумели пробраться по головокружительным тропинкам в это неприступное место.

— Братья...— начал Кулау.

Но тут один из косноязычных, обезьяноподобных уродов издал безумный звериный крик, и Кулау замолчал, дожидаясь, когда отзвуки этого пронзительного вопля, перекатившись между скалистыми стенами, замрут вдали, в неподвижном ночном воздухе.

— Братья, не удивительно ли? Нашей была эта земля, а теперь она не наша. Что дали нам за нашу землю эти слуги господа бога и господа рома? Получил ли кто из вас за нее хоть доллар, хоть один доллар? А они стали хозяевами и теперь говорят нам, что мы можем работать на земле — на их земле — и что плоды наших трудов тоже достанутся им. В прежние дни нам не нужно было трудиться. И ко всему этому теперь, когда нас поразила болезнь, они отнимают у нас свободу.

— А кто принес нам эту болезнь, Кулау? — спросил сухопарый, жилистый Килолиана, который лицом так на-

поминал смеющегося фавна, что, казалось, вместо ног у него должны быть копыта. Но это были не копыта, а ноги, только все в крупных язвах и лиловых пятнах гниения. А когда-то Килолиана смелее всех карабкался по горам и знал все козьи тропинки; он-то и привел Кулау и его несчастный народ в безопасные верховья Калалау.

— Это правильный вопрос,— ответил Кулау.— Оттого что мы не хотели работать на их сахарных плантациях, где раньше паслись наши кони, они привезли из-за моря рабов-китайцев. А с ними пришла китайская болезнь — та самая, которой мы болеем и за которую нас хотят заточить на Молокаи. Мы родились на Кауаи. Мы бывали и на других островах, кто где — на Оаху, Мауи, Гавайи, в Гонолулу. Но всегда мы возвращались на Кауаи. Почему мы возвращались? Как вы думаете? Потому что мы любим Кауаи. Мы здесь родились, здесь жили. И здесь мы умрем, если... если среди нас нет трусливых душ. Таких нам не нужно. Таким место на Молокаи. И если они есть среди нас, пускай уходят. Завтра на берег высадятся солдаты. Пусть трусливые души спустятся к ним. Их живо отправят на Молокаи. А мы — мы останемся и будем бороться. Но не бойтесь, мы не умрем. У нас есть винтовки. Вы ведь знаете, как узка тропа: двоим на ней не разойтись. Я, Кулау, который ловил когда-то диких быков на Ниихау, один могу защищать эту тропу от тысячи врагов. Вот Капалеи, он раньше был судьей над людьми, почтенным человеком, а теперь он — затравленная крыса, как и мы с вами. Он мудрый, послушайте его.

Капалеи поднялся. Когда-то он был судьей. Он учился в колледже в Пунахоу. Он сидел за одним столом с господами и начальниками и с высокими представителями иностранных держав, охраняющими интересы торговцев и миссионеров. Вот каков был Капалеи в прошлом. А сейчас, как и сказал Кулау, это была затравленная крыса, человек вне закона, превратившийся в нечто столь страшное, что он был теперь и ниже закона и выше его. Вместо носа и щек у него остались только черные ямы, глаза без век горели из-под голых надбровных дуг.

— Мы не затеваем раздоров,— начал он.— Мы просим, чтобы нас оставили в покое. Но если они не оставляют нас в покое — значит, они и затевают раздоры и пусть понесут за это наказание. Вы видите, у меня нет пальцев.— Он поднял свои культышки, чтобы все могли

их увидеть.— Но вот от этого большого пальца еще сохранился сустав, и я могу нажать им на спуск так же крепко, как в былые дни указательным пальцем, которого нет. Мы любим Кауаи. Так давайте жить здесь или умрем здесь, но не пойдем в тюрьму на Молокаи. Болезнь эта не наша. На нас нет греха. Слуги господа бога и господа рома привезли сюда болезнь вместе с китайскими кули, которые работают на украденной у нас земле. Я был судьей. Я знаю закон и порядок. И я говорю вам: не разрешает закон украсть у человека землю, заразить его китайской болезнью, а потом заточить в тюрьму на всю жизнь.

— Жизнь коротка, и дни наши наполнены страданиями,— сказал Кулау.— Давайте петь и танцевать, и будем счастливы, как можем.

Из пещеры в скале принесли калебасы[1] и пустили их вкруговую. Они были наполнены крепчайшей настойкой из корней растения ти; и, когда жидкий огонь ударил этим людям в мозг и разлился по телу, они забыли все и снова стали людьми. В женщине, проливавшей жгучие слезы из пустых глазниц, проснулись прежние чувства, и она, перебирая струны гитары, запела любовную песню дикарки — песню, что родилась в темных лесных чащах первобытного мира. Воздух дрожал от ее голоса, властного и зовущего. На циновке, подчиняясь ритму песни, плясал Килолиана. Каждое его движение излучало любовь, и рядом с ним на циновке плясала женщина, чьи пышные бедра и высокая грудь странно не вязались с изъеденным болезнью лицом. То была пляска живых мертвецов, ибо в их разлагающихся телах еще таились и любовь и желания. Все громче звучала любовная песня женщины, проливавшей жгучие слезы из невидящих глаз, все упоеннее плясали танцоры пляску любви в теплой ночной тишине, все быстрее ходили по рукам калебасы, и упорным огнем тлели у всех в мозгу воспоминания и страсть.

Рядом с женщиной на циновке плясала тоненькая девушка; лицо у нее было красивое и чистое, но на скрюченных руках, поднимавшихся и падавших в пляске, болезнь уже оставила свой разрушительный след. А оба идиота — страшная, отвратительная пародия на человека — плясали поодаль, бормоча и хрипя что-то невнятное, пародируя любовь.

---

[1] Калеба́са — выдолбленная тыква, служащая сосудом.

Но вот любовная песня женщины оборвалась на полуслове, опустились на землю калебасы, и кончилась пляска. Взгляды всех устремились в пропасть, к морю, над которым в залитом луною воздухе призрачным огнем сверкнула ракета.

— Это солдаты,— сказал Кулау.— Завтра будет бой. Нужно подкрепиться сном и подготовиться.

Прокаженные повиновались и уползли в свои норы, и скоро Кулау остался один. Он сидел неподвижно в свете луны, положив на колени винтовку и глядя вниз на далекий берег, к которому приставали лодки.

Здесь, наверху, долина Калалау была надежным убежищем. Если не считать Килолианы, знавшего обходные тропы в отвесных стенах ущелья, никто не мог добраться сюда, кроме как по острому горному гребню. Гребень этот тянулся на сотню ярдов в длину; в ширину он был не больше двенадцати дюймов. По обе стороны его зияли пропасти. Стоило поскользнуться — и справа и слева человека ждала верная смерть. Но в конце пути перед ним открывался земной рай. Море зелени омывало ущелье, заливая его от стены до стены зелеными волнами, стекая со скалистых уступов обильными струями лоз и разбрызгивая по всем расселинам пену папоротников и воздушных корней. Долгие месяцы Кулау и его подданные вели борьбу с этим морем растительности. Им удалось оттеснить буйные цветущие заросли, и теперь бананам, апельсиновым и манговым деревьям стало свободнее. На небольших полянках рос дикий аррорут; на каменных террасах, покрытых слоем земли, они развели таро и дыни; и на всех открытых местах, куда проникало солнце, поднимались деревья папайи, отягченные золотыми плодами.

В это убежище Кулау ушел из низовьев долины, от моря. Если бы пришлось уходить и отсюда, у него были на примете другие ущелья, еще выше, среди громоздящихся горных вершин. И теперь он сидел, положив рядом с собою винтовку, и вглядывался сквозь завесу листвы в солдат на далеком берегу. Он разглядел, что они привезли с собой тяжелые пушки, отражавшие солнце, как зеркала. Прямо перед ним тянулся острый гребень. По тропинке, ведущей к нему снизу, ползли крошечные точки — люди. Кулау знал, что это не солдаты, а полиция. У этих ничего не выйдет, и вот тогда за дело возьмутся солдаты.

Он любовно провел искалеченной рукой по стволу вин-

товки и проверил прицел. Стрелять он научился давно, когда охотился на острове Ниихау, где до сих пор не забыли его меткой стрельбы.

По мере того как движущиеся точки приближались и увеличивались, Кулау определял дистанцию с поправкой на ветер, дувший сбоку, и учитывал возможность перелета по таким низко расположенным целям. Но стрелять он не стал. Он дал им добраться до начала острого гребня и только тогда обнаружил свое присутствие. Он спросил, не выходя из зарослей:

— Что вам нужно?

— Нам нужен Кулау-прокаженный,— ответил начальник отряда туземной полиции, голубоглазый американец.

— Уходите обратно,— сказал Кулау.

Он знал этого человека: это был шериф — тот, кто не дал ему жить на Ниихау и прогнал его через весь Кауаи в долину Калалау, а оттуда вверх, в ущелье.

— Кто ты? — спросил шериф.

— Я Кулау-прокаженный,— послышалось в ответ.

— Тогда выходи. Ты нам нужен, живой или мертвый. Твоя голова оценена в тысячу долларов. Тебе не уйти.

Кулау громко рассмеялся в своем тайнике.

— Выходи! — скомандовал шериф, но ответом ему было молчание.

Он посовещался с полицейскими, и Кулау понял, что они решили взять его штурмом.

— Кулау! — крикнул шериф.— Кулау, я иду к тебе!

— Тогда погляди сначала на солнце, и небо, и море, потому что больше ты их никогда не увидишь.

— Хорошо, хорошо, Кулау,— сказал шериф примирительным тоном.— Я знаю, что ты стреляешь без промаха. Но в меня ты не станешь стрелять. Я ничем тебя не обидел.

Кулау проворчал что-то.

— Право же,— настаивал шериф,— я ведь ничем тебя не обидел, разве не так?

— Ты обижаешь меня тем, что пытаешься засадить в тюрьму,— прозвучал ответ.— И ты обижаешь меня тем, что пытаешься получить за мою голову тысячу долларов. Если тебе дорога жизнь, стой на месте.

— Я должен до тебя добраться. Что поделаешь, это мой долг.

— Ты умрешь раньше, чем доберешься до меня.

Шериф был не трус, но тут он заколебался. Он посмотрел вниз, в пропасть, окинул взглядом острый, как нож, гребень и решился.

— Кулау! — крикнул он.

Заросли молчали.

— Кулау, не стреляй. Я иду.

Шериф повернулся к полицейским, отдал им какое-то приказание и пустился в свой опасный путь. Он шел медленно. Это напоминало ходьбу по канату. Кроме воздуха, ему не за что было ухватиться. Камни сыпались у него из-под ног и стремительно летели в пропасть. Солнце палило, и по лицу у него катился пот. Но он все шел и, наконец, достиг половины пути.

— Стой! — скомандовал Кулау из зарослей.— Еще шаг, и я стреляю.

Шериф остановился, покачиваясь над бездной, чтобы удержать равновесие. Он побледнел, но во взгляде его была решимость. Он облизал пересохшие губы и заговорил:

— Кулау, ты не убьешь меня. Я знаю, что не убьешь.

Он снова двинулся вперед. Пуля заставила его перевернуться волчком. Когда он падал, на лице его промелькнуло сердитое недоумение. Он успел подумать, что если упасть на острый гребень, то еще можно спастись, но тут смерть настигла его. Секунда — и гребень был пуст. И тогда пятеро полицейских один за другим смело пустились бегом по острому гребню, а остальные тут же открыли огонь по зарослям. Это было безумием. Кулау нажимал курок так быстро, что пять выстрелов прогремели почти непрерывной очередью. Пригнувшись к самой земле от пуль, со свистом прореза́вших кусты, он выглянул из зарослей. Четверо полицейских исчезли так же, как их начальник. Пятый, еще живой, лежал поперек гребня. На дальнем конце толпились остальные полицейские, уже переставшие стрелять. Положение их на этой голой скале было безнадежным: Кулау мог снять их всех до последнего, не дав им спуститься. Но он не стрелял. И после короткого совещания один из полицейских снял с себя белую рубашку и помахал ею, как флагом. Потом он, а за ним и другой пошли по гребню к раненому товарищу. Не выдавая себя ни одним движением, Кулау смотрел, как они медленно отступали и снова превратились в темные точки, спустившись вниз, в долину.

Два часа спустя Кулау заметил из другого укрытия, что группа полицейских пробует подняться по противоположному склону долины. Дикие козы разбегались от них, а они лезли все выше и выше. И наконец, не доверяя самому себе, Кулау послал за Килолианой.

— Нет, здесь им не пройти,— сказал Килолиана.

— А козы? — спросил Кулау.

— Козы пришли из соседней долины, а сюда им не попасть. Дороги нет. Эти люди не умнее коз. Они упадут и разобьются насмерть. Давай посмотрим.

— Они смелые,— сказал Кулау.— Давай посмотрим.

Лежа рядом на ковре из лиан, под свисающими сверху желтыми цветами хау, они смотрели, как крошечные человечки карабкаются вверх; и то, чего они ждали, случилось: трое полицейских оступились, упали и, докатившись до выступа, камнем полетели вниз.

Килолиана усмехнулся.

— Больше нас не будут тревожить,— сказал он.

— У них есть пушки,— возразил Кулау.— Солдаты еще не сказали своего слова.

Разморенные жарой, прокаженные спали в пещерах. Кулау тоже дремал у своего логовища, держа на коленях начищенную заряженную винтовку. Девушка с искалеченными руками лежала в зарослях, наблюдая за острым гребнем. Вдруг Кулау вскочил, забыв про сон: на берегу раздался взрыв. В следующее мгновение воздух словно разодрало на части. Этот немыслимый звук испугал его. Казалось, боги схватили небесный покров и рвут его, как женщины рвут на полосы ткань. Страшный звук быстро приближался. Кулау с опаской поднял глаза. И вот снаряд разорвался высоко в горах, и столб черного дыма вырос над ущельем. Утес дал трещину, и обломки полетели к его подножию.

Кулау провел рукой по взмокшему лбу. Он был потрясен. Он еще никогда не слышал орудийной стрельбы и даже не мог себе представить, как это страшно.

— Раз,— сказал Капалеи, решив почему-то вести счет выстрелам.

Второй и третий снаряд с визгом пролетели над ущельем и разорвались за ближним хребтом. Капалеи считал. Прокаженные высыпали на открытое место перед пещерами. Вначале стрельба испугала их, но снаряды перелетали через ущелье, и скоро они успокоились и стали

любоваться новым для них зрелищем. Оба идиота визжали от восторга и принимались кривляться и прыгать всякий раз, как воздух раздирало снарядом. Кулау почти успокоился. Пушки не причиняли вреда. Наверно, такими большими снарядами и на таком расстоянии невозможно стрелять метко, как из винтовки.

Но вот что-то изменилось. Теперь снаряды не долетали до них. Один разорвался в зарослях у острого гребня. Кулау вспомнил про девушку, которая лежала на страже, и побежал туда. Кусты еще дымились, когда он заполз в чащу. Изумление охватило его. Ветки были поломаны, расщеплены. Там, где он оставил девушку, в земле была яма. Девушку разорвало в клочья. Снаряд попал прямо в нее.

Выглянув из кустов и убедившись, что на гребне нет солдат, Кулау пустился бегом обратно к пещерам. Снаряды летели над ним с воем, свистом, стоном, и вся долина гудела и сотрясалась от взрывов. Перед пещерами весело скакали оба идиота, вцепившись друг в друга полусгнившими пальцами. И вдруг Кулау увидел, как рядом с ними из земли поднялся столб черного дыма. Взрывом их отшвырнуло в разные стороны. Один лежал неподвижно, другой на руках пополз к пещере. Ноги его волочились по земле, из ран хлестала кровь. Он был весь в крови и скулил, как собачонка. Все остальные, кроме Капалеи, попрятались в пещеры.

— Семнадцать,— сказал Капалеи и тут же добавил: — Восемнадцать.

Восемнадцатый снаряд упал у самого входа в одну из пещер. Прокаженные высыпали на волю, но из этой пещеры никто не показывался. Кулау вполз в нее, задыхаясь от едкого, вонючего дыма. На земле лежали четыре изуродованных трупа. Среди них была женщина с невидящими глазами, у которой только теперь иссякли слезы.

Подданных Кулау охватила паника, и они уже двинулись по тропе, уводившей из ущелья вверх, в хаос вершин и обрывов. Раненый идиот, тихо подвывая, тащился по земле, стараясь поспеть за остальными. Но у самого начала подъема силы изменили ему, и он скорчился и затих.

— Его нужно убить,— сказал Кулау, обращаясь к Капалеи, который сидел там же, где и раньше.

— Двадцать два,— ответил Капалеи.— Да, лучше убить его. Двадцать три... двадцать четыре.

Увидев направленное на него дуло, идиот громко взвизгнул. Кулау заколебался и опустил винтовку.

— Это не легко,— сказал он.

— Ты дурак. Двадцать шесть, двадцать семь,— сказал Капалеи.— Дай я тебя научу.

Он встал и, подняв с земли тяжелый камень, пошел к раненому. В ту минуту, когда он замахнулся, новый снаряд попал прямо в него, тем самым избавив его от необходимости действовать и подведя итог его счету.

Кулау остался один в ущелье. Он провожал глазами своих подданных, пока последние скрюченные фигуры не исчезли за выступом горы. Потом повернулся и пошел вниз, к зарослям, где убило девушку. Стрельба продолжалась, но он не уходил, так как заметил, что далеко внизу к подъему двинулись солдаты. Один снаряд разорвался в десяти шагах от него. Распластавшись на земле, Кулау слышал, как осколки пролетели над ним. Цветы хау посыпались на него дождем. Он поднял голову, посмотрел на тропинку и вздохнул. Ему было очень страшно. Пули не смутили бы его, но орудийный огонь вселял в него ужас. При каждом выстреле он, дрожа, припадал к земле, но всякий раз опять поднимал голову и следил за тропинкой.

Наконец стрельба прекратилась. Верно, потому, решил он, что солдаты уже близко. Они ползли по тропинке гуськом, и он стал было считать их, но сбился со счета. Их было не меньше сотни, и все они пришли за ним — Кулау-прокаженным. На мгновение в нем вспыхнула гордость. С винтовками и пушками, с полицией и солдатами они идут за ним, а он — один, да еще больной, калека. За него, живого или мертвого, обещана тысяча долларов. Во всю свою жизнь он не имел столько денег. Это была горькая мысль. Капалеи сказал правду. Он, Кулау, никому не сделал зла. Просто белым людям нужны были рабочие руки на краденой земле, и они привезли китайских кули, а с ними пришла болезнь. И теперь, оттого что его заразили этой болезнью, он стоит тысячу долларов, но ему-то их не получить! Его труп, сгнивший от болезни или разорванный снарядом,— вот за что будут выплачены эти огромные деньги.

Когда солдаты добрались до острого гребня, Кулау хотел было предупредить их, но взгляд его упал на убитую девушку, и он смолчал. Когда на тропинке показался

шестой солдат, он открыл огонь и стрелял до тех пор, пока тропинка не опустела. Он выпускал пули, снова заряжал винтовку и снова стрелял не переставая. Все старые обиды огнем горели у него в мозгу, им овладела ярость и жажда мщения. Растянувшись по всей тропе, солдаты тоже стреляли, и, хотя они залегли, стараясь укрыться в неглубоких выемках, целиться по ним было легко. Пули свистели и ударялись вокруг Кулау, со звоном отскакивая от камней. Одна пуля царапнула его по черепу, другая обожгла лопатку, не оцарапав кожи.

Это было настоящее побоище, и учинил его один человек. Солдаты стали отступать, унося раненых. Снимая их выстрелами одного за другим, Кулау вдруг почувствовал запах горелого мяса. Он огляделся по сторонам, но потом понял, что это его пальцы горят от накалившейся винтовки. Проказа разрушила нервы рук. Мясо горело, и он чувствовал запах, но ощущения боли не было.

Он лежал в зарослях и улыбался, но вдруг вспомнил о пушках. Они, вероятно, замолчали ненадолго и теперь уже будут стрелять прямо по зарослям, откуда он вел огонь. Не успел он отодвинуться за выступ скалы, куда, по его наблюдениям, снаряды не попадали, как обстрел возобновился. Кулау считал: еще шестьдесят снарядов выпустили пушки по ущелью, а потом замолчали. Небольшая площадь была так изрыта воронками, что, казалось, ничего живого там не могло остаться. Солдаты так и решили и под палящими лучами послеполуденного солнца опять полезли вверх по тропе. И снова им не удалось пройти по гребню, и снова они отступили к морю.

Еще два дня Кулау удерживал тропу, хотя солдаты продолжали обстреливать его укрытие из пушек. На третий день на скалистой гряде, нависавшей над ущельем, появился один из прокаженных, мальчик Пахау, и прокричал ему, что Килолиана, охотясь на коз, чтобы им всем не умереть с голода, упал и разбился и что женщины перепуганы и не знают, что делать. Кулау велел мальчику спуститься и, дав ему запасную винтовку, оставил его сторожить тропу, а сам поднялся к своим подданным. Они совсем пали духом. Большинство из них были слишком слабы, чтобы добывать себе пищу в таких тяжких условиях, поэтому все они голодали. Кулау выбрал двух женщин и мужчину, у которых болезнь зашла еще не слишком далеко, и послал их в ущелье за едой и цинов-

ками. Остальных он постарался утешить и подбодрить, так что даже самые слабые стали помогать в постройке шалашей.

Но посланные за едой не вернулись, и Кулау пошел назад в ущелье. Когда он появился над обрывом, одновременно щелкнуло пять-шесть затворов. Одна пуля пробила ему мякоть плеча, другая ударилась о скалу, и отлетевшим осколком ему порезало щеку. Он отпрянул назад, но успел заметить, что ущелье кишит солдатами. Его подданные предали его. Они не выдержали ужаса канонады и предпочли ей Молокаи — тюрьму.

Отступив на несколько шагов, Кулау снял с пояса тяжелую патронную сумку. Он залег среди скал и, когда над обрывом поднялась голова и плечи первого солдата, спустил курок. Так повторилось два раза, а потом, после паузы, из-за края обрыва вместо головы и плеч высунулся белый флаг.

— Что вам нужно? — спросил Кулау.

— Мне нужно тебя, если ты — Кулау-прокаженный,— раздался ответ.

Кулау забыл об опасности, забыл обо всем: он лежал и дивился необычайному упорству этих хаоле — белых людей, которые добиваются своего, несмотря ни на что. Да, они добиваются своего, подчиняют себе все и вся, даже если это стоит им жизни. Он почувствовал восхищение перед их волей, которая сильнее жизни и покоряет все на свете. Он понял, что дело его безнадежно. С волей белого человека спорить нельзя. Убей он их тысячу, они все равно подымутся, как песок морской, и умножатся, и доконают его. Они никогда не признают себя побежденными. В этом их ошибка и их сила. У его народа этого нет. Теперь ему стало понятно, как ничтожная горсть посланцев господа бога и господа рома сумела поработить его землю. Это случилось потому...

— Ну, что же? Пойдешь ты со мной? — Это был голос невидимого человека, державшего белый флаг. Ну да, он настоящий хаоле, идет прямо напролом к своей цели.

— Давай поговорим,— сказал Кулау.

Над обрывом поднялась голова и плечи, а потом и весь человек. Это был молоденький капитан с нежным лицом и голубыми глазами, стройный, подтянутый. Он двинулся вперед, потом, по знаку Кулау, остановился и сел шагах в пяти от него.

— Ты храбрый,— сказал Кулау задумчиво.— Я могу убить тебя, как муху.

— Нет, не можешь,— ответил тот.

— Почему?

— Потому что ты — человек, Кулау, хоть и скверный. Я знаю твою историю. Убивать ты умеешь.

Кулау проворчал что-то, но в душе был польщен.

— Что ты сделал с моими людьми? — спросил он.— Где мальчик, две женщины и мужчина?

— Они сдались нам. А теперь твоя очередь — я пришел за тобой.

Кулау недоверчиво рассмеялся.

— Я свободный человек,— заявил он.— Я никого не обижал. Одного я прошу: чтобы меня оставили в покое. Я жил свободным и свободным умру. Я никогда не сдамся.

— Значит, твои люди умнее тебя,— сказал молодой капитан.— Смотри, вот они идут.

Кулау обернулся. Сверху двигалась страшная процессия: остатки его племени со вздохами и стонами тащились мимо него во всем своем жалком уродстве.

Но Кулау суждено было изведать еще бо́льшую горечь, ибо, поравнявшись с ним, они осыпали его оскорбительной бранью, а старуха, замыкавшая шествие, остановилась и, вытянув костлявую руку с когтями гарпии, оскалив зубы и тряся головой, прокляла его. Друг за другом прокаженные перебирались через скалистую гряду и сдавались притаившимся в засаде солдатам.

— Теперь ты можешь идти,— сказал Кулау капитану.— Я никогда не сдамся. Это мое последнее слово. Прощай.

Капитан соскользнул вниз, к своим солдатам. В следующую минуту он поднял надетый на ножны шлем, и пуля, выпущенная Кулау, пробила его насквозь. До вечера они стреляли по нему с берега. И, когда он ушел выше, в неприступные скалы, солдаты двинулись за ним следом.

Шесть недель гонялись они за Кулау среди острых вершин и по козьим тропам. Когда он скрывался в зарослях лантаны, они расставляли цепи загонщиков и гнали его, как кролика, сквозь лантановые джунгли и кусты гуава. Но всякий раз он путал следы и ускользал от них. Настигнуть его не было возможности. Если преследователи наседали вплотную, Кулау пускал в дело винтовку,

и они уносили своих раненых по горным тропинкам к морю. Случалось, что солдаты тоже стреляли, заметив, как мелькает в чаще его коричневое тело. Однажды они нагнали его впятером на открытом участке тропы и выпустили в него все заряды. Но он, хромая, ушел от них по краю головокружительной пропасти. Позже они нашли на земле пятна крови и поняли, что он ранен. Через шесть недель на него махнули рукой. Солдаты и полицейские возвратились в Гонолулу, предоставив ему долину Калалау в безраздельное пользование, хотя время от времени охотники-одиночки пытались изловить его... на свою же погибель.

Два года спустя Кулау в последний раз заполз в заросли и растянулся на земле среди листьев ти и цветов дикого имбиря. Свободным он прожил жизнь и свободным умирал. Стал накрапывать дождь, и он закрыл свои изуродованные ноги рваным одеялом. Тело его защищал клеенчатый плащ. Маузер он положил себе на грудь, заботливо стерев со ствола дождевые капли. На руке, вытиравшей винтовку, уже не было пальцев; он не мог бы теперь нажать на спуск.

Он закрыл глаза; слабость заливала тело, в голове стоял туман, и он понял, что конец его близок. Как дикий зверь, он заполз в чащу умирать. В полусознании, в бреду он возвращался мыслью к дням своей юности на Ниихау. Жизнь угасала, все тише стучал по листьям дождь, а ему казалось, что он снова объезжает диких лошадей и строптивый двухлеток пляшет под ним и встает на дыбы; а вот он бешено мчится по коралю, и подручные конюхи разбегаются в стороны и перемахивают через загородку. Минуту спустя, совсем не удивившись этой внезапной перемене, он гнался за дикими быками по горным пастбищам и, набросив на них лассо, вел их вниз, в долину. А в загоне, где шло клеймение, от пота и пыли ело глаза и щипало в носу.

Вся его здоровая, вольная молодость грезилась ему, пока острая боль наступающего конца не вернула его к действительности. Он поднял свои обезображенные руки и в изумлении посмотрел на них. Почему? Как? Как мог он, молодой, свободный, превратиться вот в это? Потом он вспомнил все и на мгновение снова стал Кулау-прокаженным. Веки его устало опустились, шум дождя затих. Томительная дрожь прошла по телу. Потом и это кончилось.

Он приподнял голову, но сейчас же снова уронил ее на траву. Глаза его открылись и уже не закрывались больше. Последняя мысль его была о винтовке, и, обхватив ее беспалыми руками, он крепко прижал ее к груди.

МЕКСИКАНЕЦ

I

Никто не знал его прошлого, а люди из Хунты[1] и подавно. Он был их «маленькой загадкой», их «великим патриотом» и по-своему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в Хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона — одного из платных агентов Диаса[2]. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов! Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали.

На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик, лет восемнадцати, не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Фелипе Ривера и что он хочет работать для революции. Вот и все — ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах — привета.

Рослый, стремительный Паулино Вэра внутренне содрогнулся. Этот мальчик показался ему замкнутым, мрачным. Что-то ядовитое, змеиное таилось в его черных глазах. В них горел холодный огонь, громадная, сосредоточенная злоба.

Мальчик перевел взор с революционеров на пишущую машинку, на которой деловито отстукивала маленькая миссис Сэтби. Его глаза на мгновение остановились

---

[1] Хýнта (испанск.) — комитет, общественно-политическая организация.

[2] Дúас Порфúрио (1830—1915) — реакционный правитель Мексики. Свергнут в 1911 году в результате движения народных масс.

на ней; она поймала этот взгляд и тоже почувствовала безыменное нечто, заставившее ее прервать свое занятие. Ей пришлось перечитать письмо, которое она печатала, чтобы снова войти в ритм работы.

Паулино Вэра вопросительно взглянул на Ареллано и Рамоса, которые, в свою очередь, вопросительно взглянули на него и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Этот худенький мальчик был Неизвестностью, и Неизвестностью, полной угрозы. Он был непостижимой загадкой для всех этих революционеров, чья свирепая ненависть к Диасу и его тирании была в конце концов только чувством честных патриотов. Здесь крылось нечто другое, что́ — они не знали. Но Вэра, самый импульсивный и решительный из всех, прервал молчание.

— Отлично,— холодно произнес он.— Ты сказал, что хочешь работать для революции. Сними куртку. Повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас грязный. Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь, и в других комнатах тоже. Плевательницы надо вычистить. Потом займешься окнами.

— Это для революции? — спросил мальчик.

— Да, для революции,— отвечал Паулино.

Ривера с холодной подозрительностью посмотрел на них всех и стал снимать куртку.

— Хорошо,— сказал он.

И ничего больше. День за днем он являлся на работу — подметал, скреб, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку.

— Можно мне переночевать здесь? — спросил он однажды.

Ага! Вот они и обнаружились — когти Диаса. Ночевать в помещении Хунты — значит, найти доступ к ее тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике. Просьбу отклонили, и Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он спал, они не знали; не знали также, когда и где он ел. Однажды Ареллано предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вэра вмешался и стал уговаривать его, он сказал:

— Я работаю для революции.

Нужно много денег для того, чтобы в наше время поднять революцию, и Хунта постоянно находилась в стесненных обстоятельствах. Члены Хунты голодали, но не жалели сил для дела; самый долгий день был для них недостаточно долог, и все же временами казалось, что быть или не быть революции — вопрос нескольких долларов. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение двух месяцев и хозяин угрожал выселением, не кто иной, как Фелипе Ривера, поломойка в жалкой, дешевой, изношенной одежде, положил шестьдесят золотых долларов на конторку Мэй Сэтби. Это стало повторяться и впредь. Триста писем, отпечатанных на машинке (воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследований революционеров в Соединенных Штатах), лежали неотосланные в ожидании марок. Исчезли часы Вэры, старомодные золотые часы с репетиром, принадлежавшие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэтби. Положение было отчаянное. Рамос и Ареллано безнадежно теребили свои длинные усы. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэтби тысячу двухцентовых марок.

— Уж не проклятое ли это золото Диаса? — сказал Вэра товарищам.

Они подняли брови и ничего не ответили. И Фелипе Ривера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды Хунты.

И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем у них. Он не пускался в откровенности. Отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его.

— Возможно, великий и одинокий дух... не знаю, не знаю! — Ареллано беспомощно развел руками.

— В нем есть что-то нечеловеческое,— заметил Рамос.

— В его душе все притупилось,— сказала Мэй Сэтби.— Свет и смех словно выжжены в ней. Он мертвец,

и вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу.

— Ривера прошел через ад,— сказал Паулино.— Человек, не прошедший через ад, не может быть таким, а ведь он еще мальчик.

И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не расспрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять не шевелясь — неодушевленный предмет, если не считать глаз, горевших холодным огнем,— покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла, они смущали их и тревожили.

— Он не шпион,— заявил Вэра, обращаясь к Мэй Сэтби.— Он патриот, помяните мое слово! Лучший патриот из всех нас! Я чувствую это сердцем и головой. И все же я его совсем не знаю.

— У него дурной характер,— сказала Мэй Сэтби.

— Да,— ответил Вэра и вздрогнул.— Он посмотрел на меня сегодня. Эти глаза не могут любить, они угрожают; они злые, как у тигра. Я знаю: измени я делу, он убьет меня. У него нет сердца. Он беспощаден, как сталь, жесток и холоден, как мороз. Он словно лунный свет в зимнюю ночь, когда человек замерзает на одинокой горной вершине. Я не боюсь Диаса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь. Я правду говорю: боюсь. Он — дыхание смерти.

И, однако, Вэра, а никто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анджелесом и Нижней Калифорнией была прервана. Трое товарищей сами вырыли себе могилы и на краю их были расстреляны. Двое других в Лос-Анджелесе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварадо, командир федеральных войск, оказался негодяем. Он разрушил все их планы. Они потеряли связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками.

Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварадо был мертв: его нашли в постели, с ножом, по рукоятку ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в Хунте имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали расспра-

шивать. Он ничего не рассказывал. Товарищи переглянулись между собой и всё поняли.

— Я говорил вам,— сказал Вэра.— Больше чем кого-либо, Диасу приходится опасаться этого юноши. Он неумолим. Он карающая десница.

Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сэтби и затем признанный всеми, подтверждался наглядными, чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом, с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там — во внешнем мире, где он ест и спит, зарабатывает деньги и бродит по путям, им неведомым. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который Хунта выпускала еженедельно. Случалось, однако, что он бывал не в состоянии набирать: то большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела и лицо искажала мучительная боль.

— Бродяга,— говорил Арельяно.

— Завсегдатай злачных мест,— говорил Рамос.

— Но откуда у него деньги? — спрашивал Вэра.— Сегодня я узнал, что он оплатил счет за бумагу — сто сорок долларов.

— Это результат его отлучек,— заметила Мэй Сэтби.— Он никогда не рассказывает о них.

— Надо его выследить,— предложил Рамос.

— Не хотел бы я быть тем, кто за ним шпионит,— сказал Вэра.— Думаю, что вы больше никогда не увидели бы меня, разве только на моих похоронах. Он предан какой-то неистовой страсти. Между собой и этой страстью он не позволит стать даже богу.

— Перед ним я кажусь себе ребенком,— признался Рамос.

— Я чувствую в нем первобытную силу. Это дикий волк, гремучая змея, приготовившаяся к нападению, ядовитая сколопендра! — сказал Арельяно.

— Он сама революция, ее дух, ее пламя,— подхватил Вэра,— он воплощение беспощадной, неслышно разящей мести. Он ангел смерти, неусыпно бодрствующий в ночной тиши.

— Я готова плакать, когда думаю о нем,— сказала Мэй Сэтби.— У него нет друзей. Он всех ненавидит. Нас он терпит лишь потому, что мы — путь к осуществлению

его желаний. Он одинок, слишком одинок...— Голос ее прервался сдавленным всхлипыванием, и глаза затуманились.

Времяпрепровождение Риверы и вправду было таинственно. Случалось, что его не видели в течение недели. Однажды он отсутствовал месяц. Это неизменно кончалось тем, что он возвращался и, не пускаясь ни в какие объяснения, клал золотые монеты на конторку Мэй Сэтби. Потом опять отдавал Хунте все свое время — дни, недели. И снова, через неопределенные промежутки, исчезал на весь день, заходя в помещение Хунты только рано утром и поздно вечером. Однажды Арельяно застал его в полночь за набором; пальцы у него были распухшие, рассеченная губа еще кровоточила.

II

Решительный час приближался. Так или иначе, но революция зависела от Хунты, а Хунта находилась в крайне стесненных обстоятельствах. Нужда в деньгах ощущалась острее, чем когда-либо, а добывать их стало еще трудней.

Патриоты отдали уже все свои гроши и больше дать не могли. Сезонные рабочие — беглые мексиканские пеоны — жертвовали Хунте половину своего скудного заработка. Но нужно было куда больше. Многолетний тяжкий труд, подпольная подрывная работа готовы были принести плоды. Время пришло. Революция была на чаше весов. Еще один толчок, последнее героическое усилие, и стрелка этих весов покажет победу. Хунта знала свою Мексику. Однажды вспыхнув, революция уже сама о себе позаботится. Вся политическая машина Диаса рассыплется, как карточный домик. Граница готова к восстанию. Некий янки с сотней товарищей из организации «Индустриальные рабочие мира» только и ждет приказа перейти ее и начать битву за Нижнюю Калифорнию. Но он нуждается в оружии. В оружии нуждались все: социалисты, анархисты, недовольные члены профсоюзов, мексиканские изгнанники, пеоны, бежавшие от рабства, разгромленные горняки Кер д'Ален и Колорадо, вырвавшиеся из полицейских застенков и жаждавшие только одного — как можно яростнее сражаться, и, наконец, просто авантюристы, солдаты фортуны, бандиты — словом, все отщепенцы,

все отбросы дьявольски сложного современного мира. И Хунта держала с ними связь. Винтовок и патронов, патронов и винтовок! — этот несмолкаемый, непрекращающийся вопль несся от самых берегов Атлантического океана.

Только перекинуть эту разношерстную, горящую местью толпу через границу — и революция вспыхнет. Таможня, северные порты Мексики будут захвачены. Диас не сможет сопротивляться. Он не осмелится бросить свои основные силы против них, потому что ему нужно удерживать Юг. Но пламя перекинется и на Юг. Народ восстанет. Оборона городов будет сломлена. Штат за штатом начнет переходить в их руки, и наконец победоносные армии революции со всех сторон окружат город Мехико, последний оплот Диаса.

Но как достать денег? У них были люди, нетерпеливые и упорные, которые сумеют применить оружие. Они знали торговцев, которые продадут и доставят его. Но долгая подготовка к революции истощила Хунту. Последний доллар был израсходован, последний источник вычерпнут до дна, последний изголодавшийся патриот выжат до отказа, а великое дело по-прежнему колебалось на весах. Винтовок и патронов! Нищие батальоны должны получить вооружение. Но каким образом? Рамос оплакивал свои конфискованные поместья. Арельяно горько сетовал на свою расточительность в юные годы. Мэй Сэтби размышляла, как бы все сложилось, если б люди Хунты в свое время были экономнее.

— Подумать, что свобода Мексики зависит от нескольких несчастных тысяч долларов! — воскликнул Паулино Вэра.

Отчаяние было написано на всех лицах. Последняя их надежда — новообращенный Хосе Амарильо, обещавший дать деньги, был арестован на своей гасиенде в Чиуауа и расстрелян у стен своей собственной конюшни. Весть об этом только что дошла до них.

Ривера, на коленях скребший пол, поднял глаза. Щетка застыла в его обнаженных руках, залитых грязной мыльной водой.

— Пять тысяч помогут делу? — спросил он.

На всех лицах изобразилось изумление. Вэра кивнул и с трудом перевел дух. Говорить он не мог, но в этот миг в нем вспыхнула надежда.

— Так заказывайте винтовки,— сказал Ривера. Затем последовала самая длинная фраза, какую когда-либо от него слышали: — Время дорого. Через три недели я принесу вам пять тысяч. Это будет хорошо. Станет теплее, и воевать будет легче. Больше я ничего сделать не могу.

Вэра пытался подавить вспыхнувшую в нем надежду. Все это было так неправдоподобно. Слишком много заветных чаяний разлетелось в прах с тех пор, как он начал революционную игру. Он верил этому обтрепанному мальчишке, мывшему полы для революции, и в то же время не смел верить.

— Ты сошел с ума! — сказал он.

— Через три недели,— отвечал Ривера.— Заказывайте винтовки.

Он встал, опустил засученные рукава и надел куртку.

— Заказывайте винтовки,— повторил он.— Я ухожу.

III

После спешки, суматохи, бесконечных телефонных разговоров и перебранки в конторе Келли происходило ночное совещание. Дел у Келли было выше головы; к тому же ему не повезло. Три недели назад он привез из Нью-Йорка Дэнни Уорда, чтобы устроить ему встречу с Биллом Карти, но Карти вот уже два дня как лежит со сломанной рукой, что тщательно скрывается от спортивных репортеров. Заменить его некем. Келли засыпал телеграммами легковесов Запада, но все они были связаны выступлениями, контрактами. А сейчас опять вдруг забрезжила надежда, хотя и слабая.

— Ну, ты, видно, не робкого десятка,— едва взглянув на Риверу, сказал Келли.

Злоба и ненависть горели в глазах Риверы, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Я побью Уорда.— Это было все, что он сказал.

— Откуда ты знаешь? Видел ты когда-нибудь, как он дерется?

Ривера молчал.

— Да он положит тебя одной рукой, с закрытыми глазами!

Ривера пожал плечами.

— Что, у тебя язык присох, что ли? — пробурчал директор конторы.

— Я побью его.

— А ты когда-нибудь с кем-нибудь дрался? — осведомился Майкл Келли.

Майкл, брат директора, держал тотализатор в «Иеллоустоуне» и зарабатывал немало денег на боксерских встречах.

Ривера в ответ удостоил его только злобным взглядом.

Секретарь, молодой человек спортивного вида, громко фыркнул.

— Ладно, ты знаешь Робертса? — Келли первый нарушил неприязненное молчание.— Я за ним послал. Он сейчас придет. Садись и жди, хотя по виду у тебя нет никаких шансов. Я не могу надувать публику. Ведь первые ряды идут по пятнадцати долларов.

Появился Робертс, явно подвыпивший. Это был высокий, тощий человек с несколько развинченной походкой и медлительной речью.

Келли без обиняков приступил к делу:

— Слушайте, Робертс, вы хвастались, что открыли этого маленького мексиканца. Вам известно, что Карти сломал руку. Так вот, этот мексиканский щенок нахально утверждает, что сумеет заменить Карти. Что вы на это скажете?

— Все в порядке, Келли,— последовал неторопливый ответ.— Он может драться.

— Вы, пожалуй, скажете еще, что он побьет Уорда? — съязвил Келли.

Робертс немного поразмыслил.

— Нет, этого я не скажу. Уорд — классный боец, король ринга. Но в два счета расправиться с Риверой он не сможет. Я Риверу знаю. Это человек без нервов, и он одинаково хорошо работает обеими руками. Он может послать вас на пол с любой позиции.

— Все это пустяки. Важно, сможет ли он угодить публике? Вы растили и тренировали боксеров всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед вашим суждением. Но публика за свои деньги хочет получить удовольствие. Сумеет он ей его доставить?

— Безусловно, и вдобавок здорово измотает Уорда. Вы не знаете этого мальчика, а я знаю. Он — мое открытие. Человек без нервов! Сущий дьявол! Уорд еще ахнет, позна-

комившись с этим самородком, а заодно ахнете и вы все. Я не утверждаю, что он побьет Уорда, но он вам такое покажет! Это восходящая звезда!

— Отлично.— Келли обратился к своему секретарю: — Позвоните Уорду. Я его предупредил, что если найду что-нибудь подходящее, то позову его. Он сейчас недалеко, в «Иеллоустоуне». Щеголяет там перед публикой и зарабатывает себе популярность.— Келли повернулся к тренеру: — Хотите выпить?

Робертс отхлебнул виски и разговорился:

— Я еще не рассказывал вам, как я открыл этого мальца. Года два назад он появился в тренировочных залах. Я готовил Прэйна к встрече с Дилэни. Прэйн — человек злой. Снисхождения ждать от него не приходится. Он изрядно отколошматил своего партнера, и я никак не мог найти человека, который бы по доброй воле согласился работать с ним. Положение было отчаянное. И вдруг попался мне на глаза этот голодный мексиканский парнишка, который вертелся у всех под ногами. Я зацапал его, надел ему перчатки и пустил в дело. Выносливый, как дубленая кожа, но сил маловато. И ни малейшего понятия о правилах бокса. Прэйн сделал из него котлету. Но он хоть и чуть живой, а продержался два раунда, прежде чем потерять сознание. Голодный — вот и все. Изуродовали его так, что мать родная не узнала бы. Я дал ему полдоллара и накормил сытным обедом. Надо было видеть, как он жрал! Оказывается, у него два дня во рту маковой росинки не было. Ну, думаю, теперь он больше носа не покажет. Не тут-то было. На следующий день явился — весь в синяках, но полный решимости еще раз заработать полдоллара и хороший обед. Со временем он здорово окреп. Прирожденный боец и вынослив невероятно! У него нет сердца. Это кусок льда. Сколько я помню этого мальчишку, он ни разу не произнес десяти слов подряд.

— Я его знаю,— заметил секретарь.— Он немало для вас поработал.

— Все наши знаменитости пробовали себя на нем,— подтвердил Робертс.— И он все у них перенял. Я знаю, что многих из них он мог бы побить. Но сердце его не лежит к боксу. По-моему, он никогда не любил нашу работу. Так мне кажется.

— Последние месяцы он выступал по разным мелким клубам,— сказал Келли.

— Да. Не знаю, что его заставило. Или, может быть, вдруг ретивое заговорило? Он многих за это время побил. Скорей всего, ему нужны деньги; и он неплохо подработал, хотя по его одежде это и незаметно. Странная личность! Никто не знает, чем он занимается, где проводит время. Даже когда он при деле, и то — кончит работу и сразу исчезнет. Временами пропадает по целым неделям. Советов он не слушает. Тот, кто станет его менаджером, наживет капитал, да только с ним не столкуешься. Вы увидите, этот мальчишка будет домогаться всей суммы, когда вы заключите с ним договор.

В эту минуту прибыл Дэнни Уорд. Это было торжественно обставленное появление. В сопровождении менаджера и тренера он ворвался, как всепобеждающий вихрь добродушия и веселья. Приветствия, шутки, остроты расточались им направо и налево, улыбка находилась для каждого. Такова уж была его манера — правда, не совсем искренняя. Уорд был превосходный актер и добродушие считал наилучшим приемом в игре преуспеяния. По существу, это был осмотрительный, хладнокровный боксер и бизнесмен. Остальное было маской. Те, кто знал его или имел с ним дело, говорили, что в денежных вопросах этот малый — жох! Он самолично участвовал в обсуждении всех дел, и поговаривали, что его менаджер не более как пешка.

Ривера был иного склада. В жилах его, кроме испанской, текла еще и индейская кровь; он сидел, забившись в угол, молчаливый, неподвижный, и только его черные глаза, перебегая с одного лица на другое, видели решительно все.

— Так вот он! — сказал Дэнни, окидывая испытующим взглядом своего предполагаемого противника.— Добрый день, старина!

Глаза Риверы пылали злобой, и на приветствие Дэнни он даже не ответил. Он терпеть не мог всех гринго, но этого ненавидел лютой ненавистью.

— Вот это так! — шутливо обратился Дэнни к менаджеру.— Уж не думаете ли вы, что я буду драться с глухонемым? — Когда смех умолк, он сострил еще раз: — Видно, Лос-Анджелес здорово обеднел, если это лучшее, что вы могли откопать. Из какого детского сада вы его взяли?

— Он славный малый, Дэнни, верь мне! — примири-

тельно сказал Робертс.— И с ним не так легко справиться, как ты думаешь.

— Кроме того, половина билетов уже распродана,— жалобно протянул Келли.— Придется тебе пойти на это, Дэнни. Ничего лучшего мы сыскать не могли.

Дэнни еще раз окинул Риверу пренебрежительным взглядом и вздохнул.

— Придется мне с ним полегче. А то как бы сразу дух не испустил.

Робертс фыркнул.

— Потише, потише,— осадил Дэнни менаджер.— С неизвестным противником всегда можно нарваться на неприятность.

— Ладно, ладно, я это учту,— улыбнулся Дэнни.— Я готов сначала понянчиться с ним для удовольствия почтеннейшей публики. Как насчет пятнадцати раундов, Келли?.. А потом устроить ему нокаут!

— Идет,— последовал ответ.— Только чтобы публика приняла это за чистую монету.

— Тогда перейдем к делу.— Дэнни помолчал, мысленно производя подсчет.— Разумеется, шестьдесят пять процентов валового сбора, как и с Карти. Но делиться будем по-другому. Восемьдесят процентов меня устроят.— Он обратился к менаджеру: — Подходяще?

Тот одобрительно кивнул.

— Ты понял? — обратился Келли к Ривере.

Ривера покачал головой.

— Так вот слушай,— сказал Келли.— Общая сумма составит шестьдесят пять процентов со сбора. Ты начинающий, и никто тебя не знает. С Дэнни будете делиться так: восемьдесят процентов ему, двадцать тебе. Это справедливо. Верно ведь, Робертс?

— Вполне справедливо, Ривера,— подтвердил Робертс.— Ты же еще не составил себе имени.

— Сколько это шестьдесят пять процентов со сбора? — осведомился Ривера.

— Может, пять тысяч, а может, даже и все восемь,— поспешил пояснить Дэнни.— Что-нибудь в этом роде. На твою долю придется от тысячи до тысячи шестисот долларов. Очень недурно за то, что тебя побьет боксер с моей репутацией. Что скажешь на это?

Тогда Ривера их ошарашил.

— Победитель получит все,— решительно сказал он.

Воцарилась мертвая тишина.

— Вот это да! — проговорил наконец менаджер Уорда.

Дэнни покачал головой.

— Я стреляный воробей,— сказал он.— Я не подозреваю судью или кого-нибудь из присутствующих. Я ничего не говорю о букмекерах и о всяких надувательствах, что тоже иногда случается. Одно могу сказать: меня это не устраивает. Я играю наверняка. А кто знает — вдруг я сломаю руку, а? Или кто-нибудь опоит меня? — Он величественно вскинул голову.— Победитель или побежденный — я получаю восемьдесят процентов! Ваше мнение, мексиканец?

Ривера покачал головой.

Дэнни взорвало, и он заговорил уже по-другому:

— Ладно же, мексиканская собака! Теперь-то уж мне захотелось расколотить тебе башку.

Робертс медленно поднялся и стал между ними.

— Победитель получит все,— угрюмо повторил Ривера.

— Почему ты на этом настаиваешь? — спросил Дэнни.

— Я побью вас.

Дэнни начал было снимать пальто. Его менаджер знал, что это только комедия. Пальто почему-то не снималось, и Дэнни милостиво разрешил присутствующим успокоить себя. Все были на его стороне. Ривера остался в полном одиночестве.

— Послушай, дуралей,— начал доказывать Келли.— Кто ты? Никто! Мы знаем, что в последнее время ты побил нескольких местных боксеров — и все. А Дэнни — классный боец. В следующем выступлении он будет оспаривать звание чемпиона. Тебя публика не знает. За пределами Лос-Анджелеса никто и не слыхал о тебе.

— Еще услышат,— пожав плечами, отвечал Ривера,— после этой встречи.

— Неужели ты хоть на секунду можешь вообразить, что справишься со мной?! — не выдержав, заорал Дэнни.

Ривера кивнул.

— Да ты рассуди,— убеждал Келли.— Подумай, какая это для тебя реклама!

— Мне нужны деньги,— отвечал Ривера.

— Ты будешь драться со мной тысячу лет и то не победишь,— заверил его Дэнни.

— Тогда почему вы не соглашаетесь? — сказал Ри-

вера.— Если деньги сами идут к вам в руки, чего же от них отказываться?

— Хорошо, я согласен,— с внезапной решимостью крикнул Дэнни.— Я тебя до смерти исколочу на ринге, голубчик мой! Нашел с кем шутки шутить! Пишите условия, Келли. Победитель получает всю сумму. Поместите это в газетах. Сообщите также, что здесь дело в личных счетах. Я покажу этому младенцу, где раки зимуют!

Секретарь Келли уже начал писать, когда Дэнни вдруг остановил его.

— Стой! — Он повернулся к Ривере: — Когда взвешиваться?

— Перед выходом,— последовал ответ.

— Ни за что на свете, наглый мальчишка! Если победитель получает все, взвешиваться будем утром, в десять.

— Тогда победитель получит все? — переспросил Ривера.

Дэнни утвердительно кивнул. Вопрос был решен. Он выйдет на ринг в полной форме.

— Взвешиваться здесь, в десять,— продиктовал Ривера.

Перо секретаря снова заскрипело.

— Это, значит, лишних пять фунтов,— недовольно заметил Робертс Ривере.— Ты пошел на слишком большую уступку. Продул бой. Дэнни будет силен, как бык. Дурень ты! Он наверняка тебя побьет. Даже малейшего шанса у тебя не осталось.

Вместо ответа Ривера бросил на него холодный, ненавидящий взгляд. Он презирал даже этого гринго, которого считал лучшим из всех.

IV

Появление Риверы на ринге осталось почти незамеченным. В знак приветствия раздались только отдельные жидкие хлопки. Публика не верила в него. Он был ягненком, отданным на заклание великому Дэнни. Кроме того, публика была разочарована. Она ждала эффектного боя между Дэнни Уордом и Билли Карти, а теперь ей приходилось довольствоваться этим жалким, маленьким новичком. Неодобрение ее выразилось в том, что пари за Дэнни

заключались два, даже три против одного. А на кого поставлены деньги, тому отдано и сердце публики.

Юный мексиканец сидел в своем углу и ждал. Медленно тянулись минуты. Дэнни заставлял дожидаться себя. Это был старый трюк, но он неизменно действовал на начинающих бойцов. Новичок терял душевное равновесие, сидя вот так, один на один со своим собственным страхом и равнодушной, утопающей в табачном дыму публикой. Но на этот раз испытанный трюк себя не оправдал. Робертс оказался прав: Ривера не знал страха. Более тонко организованный, более нервный и впечатлительный, чем кто бы то ни было из здесь присутствующих, этого чувства он не ведал. Атмосфера заранее предрешенного поражения не влияла на него. Его секундантами были гринго — подонки, грязные отбросы этой кровавой игры, бесчестные и бездарные. И они тоже были уверены, что их сторона обречена на поражение.

— Ну, теперь смотри в оба! — предупредил его Спайдер Хагэрти. Спайдер был главным секундантом.— Старайся продержаться как можно дольше — такова инструкция Келли. Иначе растрезвонят на весь Лос-Анджелес, что это опять фальшивая игра.

Все это не способствовало бодрости духа. Но Ривера ничего не замечал. Он презирал бокс. Это была ненавистная игра ненавистных гринго. Начал он ее в роли снаряда для тренировки только потому, что умирал с голоду. То, что он был словно создан для бокса, ничего для него не значило. Он это занятие ненавидел. До своего появления в Хунте Ривера не выступал за деньги, а потом убедился, что это легкий заработок. Не первый из сынов человеческих преуспевал он в профессии, им самим презираемой.

Впрочем, Ривера не вдавался в рассуждения. Он твердо знал, что должен выиграть этот бой. Иного выхода не существовало. Тем, кто сидел в этом переполненном зале, в голову не приходило, какие могучие силы стоят за его спиной. Дэнни Уорд дрался за деньги, за легкую жизнь, покупаемую на эти деньги. То же, за что дрался Ривера, пылало в его мозгу, и, пока он ожидал в углу ринга своего хитроумного противника, ослепительные и страшные видения, как наяву, проходили перед его широко открытыми глазами.

Он видел белые стены гидростанции в Рио-Бланко. Ви-

дел шесть тысяч рабочих, голодных и изнуренных. Видел ребятишек лет семи-восьми, за десять центов работающих целую смену. Видел мертвенно-бледные лица ходячих трупов — рабочих-красильщиков. Он помнил, что его отец называл эти красильни «камерами самоубийц»,— год работы в них означал смерть. Он видел маленькое патио[1] и свою мать, вечно возившуюся со скудным хозяйством и все же находившую время ласкать и любить сына. Видел и отца, могучего, широкоплечего, длинноусого человека, который всех любил и чье сердце было так щедро, что избыток этой любви изливался и на мать, и на маленького мучачо[2], игравшего в углу патио. В те дни его звали не Фелипе Ривера, а Фернандес: он носил фамилию отца и матери. Его имя было Хуан. Впоследствии он переменил и то и другое. Фамилия Фернандес была слишком ненавистна полицейским префектам и жандармам.

Большой, добродушный Хоакин Фернандес! Немалое место занимал он в видениях Риверы. В те времена малыш ничего не понимал, но теперь, оглядываясь назад, юноша понимал все. Он словно опять видел отца за наборной кассой в маленькой типографии или за письменным столом — выводящим бесконечные, торопливые, неровные строчки. Он опять переживал те таинственные вечера, когда рабочие под покровом тьмы, точно злодеи, сходились к его отцу и вели долгие, нескончаемые беседы, а он, мучачо, без сна лежал в своем уголке.

Откуда-то издалека до него донесся голос Хагэрти:

— Ни в коем случае сразу не ложиться на пол. Такова инструкция. Получай трепку за свои деньги!

Десять минут прошло, а Ривера все еще сидел в своем углу. Дэнни не показывался: видимо, он хотел выжать все, что можно, из своего трюка.

Новые видения пылали перед внутренним взором Риверы. Забастовка, вернее, локаут, потому что рабочие Рио-Бланко помогали своим бастующим братьям в Пуэбло. Голод, хождение в горы за ягодами, кореньями и травами,— все они этим питались и мучились резями в желудке. А затем кошмар: пустырь перед лавкой Компании, тысячи голодных рабочих, генерал Росальо Мартинес, и солдаты Порфирио Диаса, и винтовки, изрыгающие смерть... Казалось, они никогда не смолкнут, казалось, прегрешения ра-

[1] Па́тио (испанск.) — внутренний дворик.
[2] Муча́чо (испанск.) — мальчик.

бочих вечно будут омываться их собственной кровью! И эта ночь! Трупы, целыми возами отправляемые в Вера-Крус на съедение акулам. Сейчас он снова ползает по этим страшным кучам, ищет отца и мать, находит их, растерзанных, изуродованных. Особенно запомнилась ему мать: виднелась только ее голова, тело было погребено под грудой других тел. Снова затрещали винтовки солдат Порфирио Диаса, снова мальчик пригнулся к земле и пополз прочь, точно затравленный горный койот.

Рев, похожий на шум моря, донесся до его слуха, и он увидел Дэнни Уорда, выступающего по центральному проходу со свитой тренеров и секундантов. Публика неистовствовала, приветствуя героя и заведомого победителя. У всех на устах было его имя. Все стояли за него. Даже секунданты Риверы повеселели, когда Дэнни ловко нырнул под канат и вышел на ринг. Улыбка сияла на его лице, а когда Дэнни улыбался, то улыбалась каждая его черточка, даже уголки глаз, даже зрачки. Свет не видывал такого благодушного боксера. Лицо его могло бы служить рекламой, образцом хорошего самочувствия, искреннего веселья. Он знал всех. Он шутил, смеялся, посылал с ринга приветы друзьям. Те, что сидели подальше и не могли высказать ему своего восхищения, громко кричали: «О, о, Дэнни!» Бурные овации продолжались не менее пяти минут.

На Риверу никто не обращал внимания. Его словно и не существовало. Одутловатая физиономия Спайдера Хагэрти склонилась над ним.

— Не поддаваться страху,— предупредил Спайдер.— Помни инструкцию. Держись до последнего. Не ложиться. Если окажешься на полу, нам велено избить тебя в раздевалке. Понятно? Драться — и точка!

Зал разразился аплодисментами: Дэнни шел по направлению к противнику. Он наклонился, обеими руками схватил его правую руку и сердечно потряс ее. Улыбающееся лицо Дэнни вплотную приблизилось к лицу Риверы. Публика взвыла при этом проявлении истинно спортивного духа: с противником он встретился, как с родным братом. Губы Дэнни шевелились, и публика, истолковывая не слышные ей слова как благожелательное приветствие, снова разразилась восторженными воплями. Только Ривера расслышал сказанное шепотом.

— Ну ты, мексиканский крысенок,— прошипел Дэн-

ни, не переставая улыбаться,— сейчас я вышибу из тебя дух!

Ривера не шевельнулся. Не встал. Его ненависть сосредоточилась во взгляде.

— Встань, собака! — крикнул кто-то с места.

Толпа начала свистеть, осуждая его за неспортивное поведение, но он продолжал сидеть неподвижно. Новый взрыв аплодисментов приветствовал Дэнни, когда тот шел обратно.

Едва Дэнни разделся, послышались восторженные охи и ахи. Тело у него было великолепное — гибкое, дышащее здоровьем и силой. Кожа белая и гладкая, как у женщины. Грация, упругость и мощь были воплощены в нем. Да он и доказал это во множестве боев. Все спортивные журналы пестрели его фотографиями.

Словно стон пронесся по залу, когда Спайдер Хагэрти помог Ривере стащить через голову свитер. Смуглая кожа придавала его телу еще более худосочный вид. Мускулы у него были, но значительно менее эффектные, чем у его противника. Однако публика не разглядела ширины его грудной клетки. Не могла она также угадать, как мгновенно реагирует каждая его мускульная клеточка, не могла угадать неутомимости Риверы, утонченности нервной системы, превращавшей его тело в великолепный боевой механизм. Публика видела только смуглокожего восемнадцатилетнего юношу с еще мальчишеским телом. Другое дело Дэнни! Дэнни было двадцать четыре года, и его тело было телом мужчины. Контраст этот еще больше бросился в глаза, когда они вместе стали посреди ринга, выслушивая последние инструкции судьи.

Ривера заметил Робертса, сидевшего непосредственно за репортерами. Он был пьянее, чем обычно, и речь его соответственно была еще медлительнее.

— Не робей, Ривера,— тянул Робертс.— Он тебя не убьет, запомни это. Первого натиска нечего пугаться. Защищайся, а потом иди на клинч. Он тебя особенно не изувечит. Представь себе, что это тренировочный зал.

Ривера и виду не подал, что расслышал его слова.

— Вот угрюмый чертенок! — пробормотал Робертс, обращаясь к соседу.— Какой был, такой и остался.

Но Ривера уже не смотрел перед собой обычным, исполненным ненависти взглядом. Бесконечные ряды винтовок мерещились ему и ослепляли его. Каждое лицо в зале

до самых верхних мест ценою в доллар превратилось в винтовку. Он видел перед собой мексиканскую границу, бесплодную, выжженную солнцем; вдоль нее двигались оборванные толпы, жаждущие оружия.

Встав, он продолжал ждать в своем углу. Его секунданты уже пролезли под канаты и унесли с собой брезентовый стул. В противоположном углу ринга стоял Дэнни и смотрел на него. Загудел гонг, и бой начался. Публика выла от восторга. Никогда она не видела столь внушительного начала боя. Правильно писали в газетах: тут были личные счеты. Дэнни одним прыжком покрыл три четверти расстояния, отделявшего его от противника, и намерение съесть этого мексиканского мальчишку так и было написано на его лице. Он обрушил на него не один, не два, не десяток, но вихрь ударов, сокрушительных, как ураган. Ривера исчез. Он был погребен под лавиной кулачных ударов, наносимых ему опытным и блестящим мастером со всех углов и со всех позиций. Он был смят, отброшен на канаты; судья рознял бойцов, но Ривера тотчас же был отброшен снова.

Боем это никто бы не назвал. Это было избиение. Любой зритель, за исключением зрителя боксерских состязаний, выдохся бы в первую минуту. Дэнни, несомненно, показал, на что он способен, и сделал это великолепно. Уверенность публики в исходе состязания, равно как и ее пристрастие к фавориту были безграничны, она даже не заметила, что мексиканец все еще стоит на ногах. Она позабыла о Ривере. Она едва видела его: так он был заслонен от нее свирепым натиском Дэнни. Прошла минута, другая. В момент, когда бойцы разошлись, публике удалось бросить взгляд на мексиканца. Губа у него была рассечена, из носу лила кровь. Когда он повернулся и вошел в клинч, кровавые полосы — следы канатов — были ясно видны на его спине. Но вот то, что грудь его не волновалась, а глаза горели обычным холодным огнем,— этого публика не заметила. Слишком много будущих претендентов на звание чемпиона практиковали на нем такие сокрушительные удары. Он научился выдерживать их за полдоллара разовых или за пятнадцать долларов в неделю,— тяжелая школа, но она пошла ему на пользу.

Затем случилось нечто поразительное. Ураган комбинированных ударов вдруг стих. Ривера один стоял на ринге. Дэнни, грозный Дэнни лежал на спине! Он не по-

шатнулся, не опустился на пол медленно и постепенно, но грохнулся сразу. Короткий боковой удар левого кулака Риверы поразил его внезапно, как смерть. Судья оттолкнул Риверу и теперь отсчитывал секунды, стоя над павшим гладиатором.

Тело Дэнни затрепетало, когда сознание понемногу стало возвращаться к нему. В обычае завсегдатаев боксерских состязаний приветствовать удачный нокаут громкими изъявлениями восторга. Но сейчас они молчали. Все произошло слишком неожиданно. В напряженном молчании прислушивался зал к счету секунд, как вдруг торжествующий голос Робертса прорезал тишину:

— Я же говорил вам, что он одинаково владеет обеими руками.

На пятой секунде Дэнни перевернулся лицом вниз; когда судья сосчитал до семи, он уже отдыхал, стоя на одном колене, готовый подняться при счете девять, раньше чем будет произнесено десять. Если при счете десять колено Дэнни все еще будет касаться пола, его должны признать побежденным и выбывшим из боя. В момент, когда колено отрывается от пола, он считается «на ногах», и в этот момент Ривера уже вправе снова положить его. Ривера не хотел рисковать. Он приготовился ударить в ту секунду, когда колено Дэнни отделится от пола. Он обошел противника, но судья втиснулся между ними, и Ривера знал, что секунды тот считает слишком медленно. Все гринго были против него, даже судья.

При счете девять судья резко оттолкнул Риверу. Это было неправильно, зато Дэнни успел подняться, и улыбка снова появилась на его губах. Согнувшись почти пополам, защищая руками лицо и живот, он ловко вошел в клинч. По правилам судья должен был его остановить, но он этого не сделал, и Дэнни буквально прилип к противнику, с каждой секундой восстанавливая свои силы. Последняя минута раунда была на исходе. Если он выдержит до конца, у него будет потом целая минута, чтобы прийти в себя. И он выдержал, продолжая улыбаться, несмотря на отчаянное положение.

— А все ведь улыбается! — крикнул кто-то, и публика облегченно засмеялась.

— Черт знает какой удар у этого мексиканца,— шепнул Дэнни тренеру, покуда секунданты, не щадя сил, трудились над ним.

Второй и третий раунды прошли бледно. Дэнни, хитрый и многоопытный король ринга, только маневрировал, финтил, стремясь выиграть время и оправиться от страшного удара, полученного им в первом раунде. В четвертом раунде он был уже в форме. Расстроенный и потрясенный, он все же благодаря силе своего тела и духа сумел прийти в себя. Правда, свирепой тактики он уже больше не применял. Мексиканец оказывал потрясающее сопротивление. Теперь Дэнни призвал на помощь весь свой опыт. Этот великий мастер, ловкий и умелый боец, приступил к методическому изматыванию противника, не будучи в силах нанести ему решительный удар. На каждый удар Риверы он отвечал тремя, но этим он скорее мстил противнику, чем приближал его к нокауту. Опасность заключалась в сумме ударов. Дэнни почтительно и с опаской относился к этому мальчишке, обладавшему удивительной способностью обеими руками наносить короткие боковые удары.

В защите Ривера прибег к смутившему противника отбиву левой рукой. Раз за разом пользовался он этим приемом, гибельным для носа и губ Дэнни. Но Дэнни был многообразен в приемах. Поэтому-то его и прочили в чемпионы. Он умел на ходу менять стиль боя. Теперь он перешел к ближнему бою, в котором был особенно страшен, и это дало ему возможность спастись от страшного отбива противника. Несколько раз подряд вызывал он бурные овации великолепным апперкотом, поднимавшим мексиканца на воздух и затем валившим его с ног. Ривера отдыхал на одном колене, сколько позволял счет, зная, что для него судья отсчитывает очень короткие секунды.

В седьмом раунде Дэнни применил поистине дьявольский апперкот, но Ривера только пошатнулся. И тотчас же, не дав ему опомниться, Дэнни нанес противнику второй страшный удар, отбросивший его на канаты. Ривера шлепнулся на сидевших внизу репортеров, и они толкнули его обратно на край платформы. Он отдохнул на одном колене, покуда судья торопливо отсчитывал секунды. По ту сторону каната его дожидался противник. Судья и не думал вмешиваться или отталкивать Дэнни. Публика была вне себя от восторга.

Вдруг раздался крик:

— Прикончи его, Дэнни, прикончи!

Сотни голосов, точно волчья стая, подхватили этот вопль.

Дэнни сделал все от него зависящее, но Ривера при счете восемь, а не девять неожиданно проскочил под канат и вошел в клинч. Судья опять захлопотал, отводя Риверу так, чтобы Дэнни мог ударить его, и предоставляя любимцу все преимущества, какие только может предоставить пристрастный судья.

Но Ривера продолжал держаться, и туман в его мозгу рассеялся. Все было в порядке вещей. Эти ненавистные гринго бесчестны все до одного! Знакомые видения снова пронеслись перед ним: железнодорожные пути в пустыне; жандармы и американские полисмены; тюрьмы и полицейские застенки; бродяги у водокачек — вся его страшная и горькая одиссея после Рио-Бланко и забастовки. И в блеске и сиянии славы он увидел великую красную Революцию, шествующую по стране. Винтовки! Вот они здесь, перед ним! Каждое ненавистное лицо — винтовка. За винтовки он примет бой. Он сам — винтовка! Он сам — Революция! Он бьется за всю Мексику!

Поведение Риверы стало явно раздражать публику. Почему он не принимает предназначенной ему трепки? Ведь все равно он будет побит, зачем же так упрямо оттягивать исход? Очень немногие желали удачи Ривере, хотя были и такие. На каждом состязании немало людей, которые ставят на темную лошадку. Почти уверенные, что победит Дэнни, они все же поставили на мексиканца: четыре против десяти и один против трех. Большинство из них, правда, ставило на то, сколько раундов выдержит Ривера. Бешеные суммы ставили на то, что он не продержится и до шестого или седьмого раунда. Уже выигравшие эти пари теперь, когда их рискованное предприятие окончилось так благополучно, на радостях тоже аплодировали фавориту.

Ривера не желал быть побитым. В восьмом раунде его противник тщетно пытался повторить апперкот. В девятом Ривера снова поверг публику в изумление. Во время клинча он легким, быстрым движением отодвинулся от противника, и правая рука его ударила в узкий промежуток между их телами. Дэнни упал, надеясь уже только на спасительный счет. Толпа обомлела. Дэнни стал жертвой своего же собственного приема. Знаменитый апперкот правой руки теперь обрушился на него самого. Ривера не сделал попытки схватиться с ним, когда он поднялся при счете девять. Судья явно хотел застопорить схватку, хотя,

когда ситуация была обратной и подняться должен был Ривера, он стоял не вмешиваясь.

В десятом раунде Ривера дважды прибег к апперкоту, то есть нанес удар «правой снизу», от пояса к подбородку противника. Бешенство охватило Дэнни. Улыбка по-прежнему не сходила с его лица, но он вернулся к своим свирепым приемам. Несмотря на ураганный натиск, ему не удалось вывести Риверу из строя, а Ривера умудрился среди этого вихря, этой бури ударов три раза кряду положить Дэнни. Теперь Дэнни оживал уже не так быстро, и к одиннадцатому раунду положение его стало очень серьезным. Но с этого момента и до четырнадцатого раунда он демонстрировал все свои боксерские навыки и качества, бережливо расходуя силы. Кроме того, он прибегал к таким подлым приемам, которые известны только опытному боксеру. Все трюки и подвохи были им использованы до отказа: он как бы случайно прижимал локтем к боку перчатку противника, затыкал ему рот, не давал дышать; входя в клинч, шептал своими рассеченными, но улыбающимися губами в ухо Ривере нестерпимые и грязные оскорбления. Все до единого, начиная от судьи и кончая публикой, держали сторону Дэнни, помогали ему, отлично зная, что́ у него на уме.

Нарвавшись на такую неожиданность, он все ставил теперь на один решительный удар. Он открывался, финтил, изворачивался во имя этой единственной оставшейся ему возможности: нанести удар, вложив в него всю свою силу, и тем самым вырвать у противника инициативу. Как это уже было сделано однажды до него неким еще более известным боксером, он должен нанести удар справа и слева, в солнечное сплетение и челюсть. И Дэнни мог это сделать, ибо, пока он держался на ногах, руки его сохраняли силу.

Секунданты Риверы не очень-то заботились о нем в промежутках между раундами. Они махали полотенцами лишь для виду, почти не подавая воздуха его задыхающимся легким. Спайдер Хагэрти усиленно шептал ему советы, но Ривера знал, что следовать им нельзя. Все были против него. Его окружало предательство. В четырнадцатом раунде он снова положил Дэнни, а сам, бессильно опустив руки, отдыхал, покуда судья отсчитывал секунды. В противоположном углу послышалось подозрительное пе-



решептывание. Ривера увидел, как Майкл Келли направился к Робертсу и, нагнувшись, что-то зашептал. Слух у Риверы был как у дикой кошки, и он уловил обрывки разговора. Но ему хотелось услышать больше, и, когда его противник поднялся, он сманеврировал так, чтобы схватиться с ним над самыми канатами.

— Придется! — услышал он голос Майкла Келли. И Робертс одобрительно кивнул.— Дэнни должен победить... не то я теряю огромную сумму... я всадил в это дело уйму денег. Если он выдержит пятнадцать — я пропал... Вас мальчишка послушает. Необходимо что-то предпринять.

С этой минуты никакие видения уже не отвлекали Риверу. Они пытаются надуть его! Он снова положил Дэнни и отдыхал, уронив руки. Робертс встал.

— Ну, готов,— сказал он.— Ступай в свой угол.

Он произнес это повелительным тоном, каким не раз говорил с Риверой на тренировочных занятиях. Но Ривера только с ненавистью взглянул на него, продолжая ждать, когда Дэнни поднимется.

В последовавший затем минутный перерыв Келли пробрался в угол Риверы.

— Брось эти шутки, черт тебя побери! — зашептал он.— Ложись, Ривера. Послушай меня, и я устрою твое бу-

дущее. В следующий раз я дам тебе побить Дэнни. Но сегодня ты должен лечь.

Ривера взглядом показал, что расслышал, но не подал ни знака согласия, ни отказа.

— Что же ты молчишь? — злобно спросил Келли.

— Так или иначе — ты проиграешь,— поддал жару Спайдер Хагэрти.— Судья не отдаст тебе победы. Послушайся Келли и ложись.

— Ложись, мальчик,— настаивал Келли,— и я сделаю из тебя чемпиона.

Ривера не отвечал.

— Честное слово, сделаю! А сейчас выручи меня.

Удар гонга зловеще прозвучал для Риверы. Публика ничего не замечала. Он и сам еще не знал, в чем опасность, знал только, что она приближается. Былая уверенность, казалось, вернулась к Дэнни. Это испугало Риверу. Ему готовили какой-то подвох. Дэнни ринулся на него, но Ривера ловко уклонился. Его противник жаждал клинча. Видимо, это было необходимо ему для задуманного подвоха. Ривера отступал, увертывался, но знал, что рано или поздно ему не избежать ни клинча, ни подвоха. В отчаянии он решил выиграть время. Он сделал вид, что готов схватиться с Дэнни при первом же его натиске. Вместо этого, когда их тела вот-вот должны были соприкоснуться, Ривера отпрянул. В это мгновение в углу Дэнни завопили: «Нечестно!» Ривера одурачил их. Судья в нерешительности остановился. Слова, уже готовые сорваться с его губ, так и не были произнесены, потому что пронзительный мальчишеский голос крикнул с галерки:

— Грубая работа!

Дэнни вслух обругал Риверу и двинулся на него. Ривера стал пятиться. Мысленно он решил больше не наносить ударов в корпус. Правда, таким образом терялась половина шансов на победу, но он знал, что если победит, то только с дальней дистанции. Все равно теперь по малейшему поводу его станут обвинять в нечестной борьбе. Дэнни уже послал к черту всякую осторожность. Два раунда кряду он беспощадно дубасил этого мальчишку, не смевшего схватиться с ним вплотную.

Ривера принимал удар за ударом, он принимал их десятками, лишь бы избегнуть губительного клинча. Во время этого великолепного натиска Дэнни публика вскочила на ноги. Казалось, все сошли с ума. Никто ничего не

понимал. Они видели только одно: их любимец побеждает!

— Не уклоняйся от боя! — в бешенстве орали Ривере.— Трус! Раскройся, щенок! Раскройся! Прикончи его, Дэнни! Твое дело верное!

Во всем зале один Ривера сохранял спокойствие. По темпераменту, по крови он был самым горячим, самым страстным из всех, но он закалился в волнениях, настолько больших, что эта бурная страсть толпы, нараставшая, как морские волны, для него была не чувствительнее легкого дуновения вечерней прохлады.

На семнадцатом раунде Дэнни привел в исполнение свой замысел. Под тяжестью его удара Ривера согнулся. Руки его бессильно опустились. Он отступил шатаясь. Дэнни решил, что счастливый миг настал. Мальчишка был в его власти. Но Ривера этим маневром усыпил его бдительность и сам нанес ему сокрушительный удар в челюсть, Дэнни упал. Три раза он пытался подняться, и три раза Ривера повторил этот удар. Никакой судья не посмел бы назвать его неправильным.

— Билл, Билл! — взмолился Келли, обращаясь к судье.

— Что я могу сделать? — в тон ему отвечал судья.— Мне не к чему придраться.

Дэнни, побитый, но решительный, всякий раз поднимался снова. Келли и другие сидевшие возле самого ринга начали звать полицию, чтобы прекратить это избиение, хотя секунданты Дэнни, отказываясь признать поражение, по-прежнему держали наготове полотенце. Ривера видел, как толстый полисмен неуклюже полез под канаты. Что это может значить? Сколько разных надувательств у этих гринго! Дэнни, поднявшись на ноги, как пьяный, бессмысленно топтался перед ним. Судья и полисмен одновременно добежали до Риверы в тот миг, когда он наносил последний удар. Нужды прекращать борьбу уже не было: Дэнни больше не поднялся.

— Считай! — хрипло крикнул Ривера.

Когда судья кончил считать, секунданты подняли Дэнни и оттащили его в угол.

— За кем победа? — спросил Ривера.

Судья неохотно взял его руку в перчатке и высоко поднял ее.

Никто не поздравлял Риверу. Он один прошел в свой угол, где секунданты даже не поставили для него стула.

Он прислонился спиной к канатам и с ненавистью посмотрел на секундантов, затем перевел взгляд дальше и еще дальше, пока не охватил им все десять тысяч гринго. Колени у него дрожали, он всхлипывал в изнеможении. Ненавистные лица плыли и качались перед ним. Но вдруг оп вспомнил: это — винтовки! Винтовки принадлежат ему! Революция будет продолжаться!





БЕЛЫЙ КЛЫК

Повесть





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

ПОГОНЯ ЗА ДОБЫЧЕЙ

Темный сосновый лес стоял, нахмурившись, по обоим берегам скованной льдом реки. Недавно пронесшийся ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, черные, зловещие, клонились друг к другу в надвигающихся сумерках. Глубокое безмолвие царило вокруг. Весь этот край, лишенный признаков жизни с ее движением, был так пустынен и холоден, что дух, витающий над ним, нельзя было назвать даже духом скорби. Смех, но смех страшнее скорби, слышался здесь, смех безрадостный, точно улыбка сфинкса, смех, леденящий своим бездушием, как стужа. Это извечная мудрость — властная, вознесенная над миром — смеялась, видя тщету жизни, тщету борьбы. Это была глушь — дикая, оледеневшая до самого сердца Северная глушь.

И все же что-то живое двигалось в ней и бросало ей вызов. По замерзшему речному руслу пробиралась упряжка ездовых собак. Взъерошенная шерсть их заиндевела на морозе, дыхание застывало в воздухе и кристаллами оседало на шкуре. Собаки были в кожаной упряжи, и кожаные постромки шли от нее к волочившимся сзади

саням. Сани без полозьев, из толстой березовой коры, всей поверхностью ложились на снег. Передок их был загнут кверху, как свиток, чтобы приминать мягкие снежные волны, встававшие им навстречу. На санях стоял крепко притороченный узкий, продолговатый ящик. Были там и другие вещи: одежда, топор, кофейник, сковорода; но прежде всего бросался в глаза узкий, продолговатый ящик, занимавший бо́льшую часть саней.

Впереди собак на широких лыжах с трудом ступал человек. За санями шел второй. На санях, в ящике, лежал третий, для которого с земными трудами было покончено, ибо Северная глушь одолела, сломила его, так что он не мог больше ни двигаться, ни бороться. Северная глушь не любит движения. Она ополчается на жизнь, ибо жизнь есть движение, а Северная глушь стремится остановить все то, что движется. Она замораживает воду, чтобы задержать ее бег к морю; она высасывает соки из дерева, и его могучее сердце коченеет от стужи; но с особенной яростью и жестокостью Северная глушь ломает упорство человека, потому что человек — самое мятежное существо в мире, потому что человек всегда восстает против ее воли, согласно которой всякое движение в конце концов должно прекратиться.

И все-таки впереди и сзади саней шли два бесстрашных и непокорных человека, еще не расставшихся с жизнью. Их одежда была сшита из меха и мягкой дубленой кожи. Ресницы, щеки и губы у них так обледенели от застывающего на воздухе дыхания, что под ледяной коркой не было видно лица. Это придавало им вид каких-то призрачных масок, могильщиков из потустороннего мира, совершающих погребение призрака. Но это были не призрачные маски, а люди, проникшие в страну скорби, насмешки и безмолвия, смельчаки, вложившие все свои жалкие силы в дерзкий замысел и задумавшие потягаться с могуществом мира, столь же далекого, пустынного и чуждого им, как и необъятное пространство космоса.

Они шли молча, сберегая дыхание для ходьбы. Почти осязаемое безмолвие окружало их со всех сторон. Оно давило на разум, как вода на большой глубине давит на тело водолаза. Оно угнетало безграничностью и непреложностью своего закона. Оно добиралось до самых сокровенных тайников их сознания, выжимая из него, как сок из винограда, все напускное, ложное, всякую склонность к слиш-

ком высокой самооценке, свойственную человеческой душе, и внушало им мысль, что они всего лишь ничтожные, смертные существа, пылинки, мошки, которые бесхитростно прокладывают свой путь, не замечая игры слепых сил природы.

Прошел час, прошел другой. Бледный свет короткого, тусклого дня начал меркнуть, когда в окружающей тишине пронесся слабый, отдаленный вой. Он стремительно взвился кверху, достиг высокой ноты, задержался на ней, дрожа, но не сбавляя силы, а потом постепенно замер. Его можно было принять за стенание чьей-то погибшей души, если б в нем не слышались угрюмая ярость и ожесточение голода.

Человек, шедший впереди, обернулся, поймал взгляд того, который брел позади саней, и оба они кивнули друг другу. И снова тишину, как иголкой, пронзил вой. Они прислушались, стараясь определить направление звука. Он доносился из тех снежных просторов, которые они только что прошли.

Вскоре послышался ответный вой, тоже откуда-то сзади, но на этот раз левее.

— За нами гонятся, Билл,— сказал шедший впереди. Голос его прозвучал хрипло и неестественно, и говорил он с явным трудом.

— Добычи у них мало,— ответил его товарищ.— Вот уже сколько дней я не видел ни одного кроличьего следа.

Путники замолчали, напряженно прислушиваясь к вою, который поминутно раздавался позади них.

Как только наступила темнота, они повернули собак к соснам на берегу реки и остановились на привал. Гроб, снятый с саней, служил им и столом и скамьей. Сбившись в кучу по другую сторону костра, собаки рычали и грызлись, но не выказывали ни малейшего желания убежать в темноту.

— Что-то они уж слишком жмутся к огню,— сказал Билл.

Генри, присевший на корточки перед костром, чтобы установить на огне кофейник с куском льда, молча кивнул. Заговорил он только после того, как сел на гроб и принялся за еду.

— Шкуру свою берегут. Знают, что тут их накормят, а там они сами пойдут кому-нибудь на корм. Собак не проведешь.

Билл покачал головой:

— Кто их знает!

Товарищ посмотрел на него с любопытством.

— Первый раз слышу, чтобы ты сомневался в их уме.

— Генри,— сказал тот, медленно разжевывая бобы,— а ты не заметил, как собаки грызлись, когда я кормил их?

— Действительно, возни было больше, чем всегда,— подтвердил Генри.

— Сколько у нас собак, Генри?

— Шесть.

— Так вот...— Билл сделал паузу, чтобы придать своим словам больше веса.— Я тоже говорю, что у нас шесть собак. Я взял шесть рыб из мешка, дал каждой собаке по рыбе. И одной не хватило, Генри.

— Значит, обсчитался.

— У нас шесть собак,— безучастно повторил тот.— Я взял шесть рыб. Одноухому рыбы не хватило. Мне пришлось взять из мешка еще одну рыбу.

— У нас всего шесть собак,— стоял на своем Генри.

— Генри,— продолжал Билл,— я не говорю, что все были собаки, но рыба досталась семерым.

Генри перестал жевать, посмотрел через костер на собак и пересчитал их.

— Сейчас там только шесть,— сказал он.

— Седьмая убежала, я видел,— со спокойной настойчивостью проговорил Билл.— Их было семь.

Генри взглянул на него с состраданием и сказал:

— Поскорее бы нам с тобой добраться до места.

— Это как же понимать?

— А так, что от этой поклажи, которую мы везем, ты сам не свой стал, вот тебе и мерещится бог знает что.

— Я об этом уж думал,— ответил Билл серьезно.— Как только она побежала, я сразу взглянул на снег и увидел следы; потом сосчитал собак — их было шесть. А следы — вот они. Хочешь взглянуть? Пойдем — покажу.

Генри ничего ему не ответил и молча продолжал жевать. Съев бобы, он запил их чашкой кофе, вытер рот рукой и сказал:

— Значит, по-твоему, это...

Протяжный, тоскливый вой не дал ему договорить. Он молча прислушался, а потом закончил начатую фразу, ткнув пальцем назад, в темноту:

— ...это гость оттуда?

Билл кивнул.

— Как ни вертись, больше ничего не придумаешь. Ты же сам слышал, какую грызню подняли собаки.

Протяжный вой слышался все чаще и чаще, издалека доносились ответные завывания,— тишина превратилась в сущий ад. Вой несся со всех сторон, и собаки в страхе сбились в кучу так близко к костру, что огонь чуть ли не подпаливал им шерсть.

Билл подбросил хвороста в костер и закурил трубку.

— Я вижу, ты совсем захандрил,— сказал Генри.

— Генри...— Билл задумчиво пососал трубку.— Я все думаю, Генри: он куда счастливее нас с тобой.—И Билл постучал пальцем по гробу, на котором они сидели.— Когда мы умрем, Генри, хорошо, если хоть кучка камней будет лежать над нашими телами, чтобы их не сожрали собаки.

— Да ведь ни у тебя, ни у меня нет ни родни, ни денег,— сказал Генри.— Вряд ли нас с тобой повезут хоронить в такую даль, нам такие похороны не по карману.

— Чего я никак не могу понять, Генри, это — зачем человеку, который был у себя на родине не то лордом, не то вроде этого и ему не приходилось заботиться ни о еде, ни о теплых одеялах,— зачем такому человеку понадобилось рыскать на краю света, по этой богом забытой стране?..

— Да. Сидел бы дома, дожил бы до старости,— согласился Генри.

Его товарищ открыл было рот, но так ничего и не сказал. Вместо этого он протянул руку в темноту, стеной надвигавшуюся на них со всех сторон. Во мраке нельзя было разглядеть никаких определенных очертаний — виднелась только пара глаз, горящих, как угли.

Генри молча указал на вторую пару и на третью. Круг горящих глаз стягивался около их стоянки. Время от времени какая-нибудь пара меняла место или исчезала, с тем чтобы снова появиться секундой позже.

Собаки беспокоились все больше и больше и вдруг, охваченные страхом, сбились в кучу почти у самого костра, подползли к ногам людей и прижались к ним. В свалке одна собака попала в костер; она завизжала от боли и ужаса, и в воздухе запахло паленой шерстью. Кольцо глаз на минуту разомкнулось и даже чуть-чуть отступило назад, но как только собаки успокоились, оно снова оказалось на прежнем месте.

— Вот беда, Генри! Патронов мало!

Докурив трубку, Билл помог своему спутнику разложить меховую постель и одеяло поверх сосновых веток, которые он еще перед ужином набросал на снег. Генри крякнул и принялся развязывать мокасины.

— Сколько у тебя осталось патронов? — спросил он.

— Три,— послышалось в ответ.— А надо бы триста. Я бы им показал, дьяволам!

Он злобно погрозил кулаком в сторону горящих глаз и стал устанавливать свои мокасины перед огнем.

— Когда только эти морозы кончатся! — продолжал Билл.— Вот уже вторую неделю все пятьдесят да пятьдесят градусов. И зачем только я пустился в это путешествие, Генри! Не нравится оно мне. Не по себе мне как-то. Приехать бы уж поскорее, и дело с концом! Сидеть бы нам с тобой сейчас у камина в форте Мак-Гэрри, играть в крибедж... Много бы я дал за это!

Генри проворчал что-то и стал укладываться. Он уже начал дремать, как вдруг голос товарища разбудил его:

— Знаешь, Генри, что меня беспокоит? Почему собаки не накинулись на того — пришлого, которому тоже досталась рыба?

— Уж очень ты стал беспокойный, Билл,— послышался сонный ответ.— Раньше с тобой этого не было. Перестань болтать, спи, а утром встанешь как ни в чем не бывало. Изжога у тебя, оттого ты и беспокоишься.

Они спали рядом, под одним одеялом, тяжело дыша во сне. Костер потухал, и круг горящих глаз, оцепивших стоянку, смыкался все теснее и теснее.

Собаки жались одна к другой, угрожающе рычали, когда какая-нибудь пара глаз подбиралась слишком близко. Вот они зарычали так громко, что Билл проснулся. Осторожно, стараясь не разбудить товарища, он вылез из-под одеяла и подбросил в костер хвороста. Огонь вспыхнул ярче, и кольцо глаз подалось назад.

Билл посмотрел на сбившихся в кучу собак, протер глаза, вгляделся попристальнее и снова забрался под одеяло.

— Генри! — окликнул он товарища.— Генри!

Генри застонал, просыпаясь, и спросил:

— Ну, что там?

— Ничего,— услышал он,— только их опять семь. Я сейчас пересчитал.

Генри встретил это известие ворчанием, тотчас же перешедшим в храп, и снова погрузился в сон.

Утром он проснулся первым и разбудил товарища. До рассвета оставалось еще часа три, хотя было уже шесть часов утра. В темноте Генри занялся приготовлением завтрака, а Билл свернул постель и стал укладывать вещи в сани.

— Послушай, Генри,— спросил он вдруг,—сколько ты, говоришь, у нас было собак?

— Шесть.

— Вот и неверно! — заявил он с торжеством.

— Опять семь? — спросил Генри.

— Нет, пять. Одна пропала.

— Что за дьявол! — крикнул рассвирепевший Генри и, бросив стряпню, подошел пересчитать собак.

— Правильно, Билл,— сказал он.— Фэтти сбежал.

— Улизнул так быстро, что и не заметили. Пойди-ка сыщи его теперь.

— Пропащее дело,— ответил Генри.— Живьем слопали. Он, наверное, не один раз взвизгнул, когда эти дьяволы принялись его рвать.

— Фэтти всегда был глуповат,— сказал Билл.

— У самого глупого пса все-таки хватит ума не идти на верную смерть.

Он оглядел остальных собак, быстро оценивая в уме достоинства каждой.

— Эти умнее, они такой штуки не выкинут.

— Их от костра и палкой не отгонишь,— согласился Билл.— Я всегда считал, что у Фэтти не все в порядке.

Таково было надгробное слово, посвященное собаке, погибшей на Северном пути, и оно было ничуть не скупее многих других эпитафий погибшим собакам,— да, пожалуй, и людям.

Глава вторая

ВОЛЧИЦА

Позавтракав и уложив в сани свои скудные пожитки, Билл и Генри покинули приветливый костер и двинулись в темноту. И тотчас же послышался вой — дикий, заунывный вой; сквозь мрак и холод он долетал до

них отовсюду. Путники шли молча. Рассвело в девять часов.

В полдень небо на юге порозовело — в том месте, где выпуклость земного шара встает преградой между полуденным солнцем и страной Севера. Но розовый отблеск быстро померк. Серый дневной свет, сменивший его, продержался до трех часов, потом и он погас, и над пустынным, безмолвным краем опустился полог арктической ночи.

Как только наступила темнота, вой, преследовавший путников и справа, и слева, и сзади, послышался ближе; по временам он раздавался так близко, что собаки не выдерживали и начинали метаться в постромках.

После одного из таких припадков панического страха, когда Билл и Генри снова привели в порядок упряжку, Билл сказал:

— Хорошо бы, они на какую-нибудь дичь напали и оставили нас в покое.

— Да, слушать их малоприятно,— согласился Генри.

И они замолчали до следующей стоянки.

Генри стоял, нагнувшись над закипающим котелком с бобами, и подкладывал туда колотый лед, когда за его спиной вдруг послышался звук удара, возглас Билла и пронзительный визг собак. Он выпрямился и успел разглядеть только неясные очертания какого-то зверя, промчавшегося по снегу и скрывшегося в темноте. Потом Генри увидел, что Билл не то с торжествующим, не то с убитым видом стоит среди собак, держа в одной руке палку, а в другой хвост вяленого лосося.

— Половину все-таки утащил! — крикнул он.— Зато я всыпал ему как следует! Слышал визг?

— А кто это? — спросил Генри.

— Не разобрал. Могу только сказать, что ноги, и пасть, и шкура у него имеются, как у всякой собаки.

— Ручной волк, что ли?

— Волк или не волк, только, должно быть, действительно ручной, если является прямо к кормежке и хватает рыбу.

Этой ночью, когда они сидели после ужина на ящике, покуривая трубки, круг горящих глаз сузился еще больше.

— Хорошо бы, они стадо лосей где-нибудь спугнули и оставили нас в покое,— сказал Билл.

Его товарищ пробормотал что-то не совсем любезное,

и минут двадцать они сидели молча: Генри — уставившись на огонь, а Билл — на круг горящих глаз, светившийся в темноте, совсем близко от костра.

— Хорошо было бы сейчас подкатить к Мак-Гэрри...— снова начал Билл.

— Да брось ты свое «хорошо бы», перестань ныть! — не выдержал Генри.— Изжога у тебя, вот ты и скулишь. Выпей соды — сразу полегчает, и мне с тобою будет веселее.

Утром Генри разбудила отчаянная ругань. Он поднялся на локте и увидел, что Билл стоит среди собак у разгорающегося костра и с искаженным от бешенства лицом яростно размахивает руками.

— Эй! — крикнул Генри.— Что случилось?

— Фрог убежал,— услышал он в ответ.

— Быть не может!

— Говорю тебе, убежал.

Генри выскочил из-под одеяла и кинулся к собакам. Внимательно пересчитав их, он присоединил свой голос к проклятиям, которые его товарищ посылал по адресу всесильной Северной глуши, лишившей их еще одной собаки.

— Фрог был самый сильный во всей упряжке,— закончил свою речь Билл.

— И ведь смышленый! — прибавил Генри.

Такова была вторая эпитафия за эти два дня.

Завтрак прошел невесело; оставшуюся четверку собак запрягли в сани. День этот был точным повторением многих предыдущих дней. Путники молча брели по снежной пустыне. Безмолвие нарушал лишь вой преследователей, которые гнались за ними по следам, не показываясь на глаза. С наступлением темноты, когда погоня, как и следовало ожидать, приблизилась, вой послышался почти рядом; собаки тревожились, дрожали от страха и путали постромки, еще больше угнетая этим людей.

— Ну, безмозглые твари, теперь уж никуда не денетесь,— с довольным видом сказал Билл на очередной стоянке.

Генри оставил стряпню и подошел посмотреть. Его товарищ привязал собак по индейскому способу, к палкам. На шею каждой собаки он надел кожаную петлю, к петле привязал толстую длинную палку — вплотную к шее; другой конец палки был прикреплен кожаным ремнем к вби-

тому в землю колу. Собаки не могли перегрызть ремень около шеи, а палки мешали им достать зубами привязь у кола.

Генри одобрительно кивнул головой.

— Одноухого только таким способом и можно удержать. Ему ничего не стоит перегрызть ремень — все равно что ножом полоснуть. А так к утру все целы будут.

— Ну еще бы! — сказал Билл.— Если хоть одна пропадет, я завтра от кофе откажусь.

— А ведь они знают, что у нас нечем их припугнуть,— заметил Генри, укладываясь спать и показывая на мерцающий круг, который окаймлял их стоянку.— Пальнуть бы в них разок-другой — живо бы уважение к нам почувствовали. С каждой ночью все ближе и ближе подбираются. Отведи глаза от огня, вглядись-ка в ту сторону. Ну? Видел вон того?

Оба стали с интересом наблюдать за смутными силуэтами, двигающимися позади костра. Пристально всматриваясь в то место, где в темноте сверкала пара глаз, можно было разглядеть очертания зверя. По временам удавалось даже заметить, как эти звери переходят с места на место.

Возня среди собак привлекла внимание Билла и Генри. Нетерпеливо повизгивая, Одноухий то рвался с привязи в темноту, то, отступая назад, с остервенением грыз палку.

— Смотри, Билл! — прошептал Генри.

В круг, освещенный костром, неслышными шагами, боком, проскользнул зверь, похожий на собаку. Он подходил трусливо и в то же время нагло, устремив все внимание на собак, но не упуская из виду и людей. Одноухий рванулся к пришельцу, насколько позволяла палка, и нетерпеливо заскулил.

— Этот болван, кажется, ни капли не боится,— тихо сказал Билл.

— Волчица,— шепнул Генри.— Теперь я понимаю, что произошло с Фэтти и с Фрогом. Стая выпускает ее как приманку. Она завлекает собак, а остальные набрасываются и сжирают их.

В огне что-то затрещало. Головня откатилась в сторону с громким шипением. Испуганный зверь одним прыжком скрылся в темноте.

— Знаешь, что я думаю, Генри? — сказал Билл.

— Что?

— Это та самая, которую я огрел палкой.

— Можешь не сомневаться,— ответил Генри.

— Я вот что хочу сказать,— продолжал Билл,— видно, она привыкла к кострам, а это весьма подозрительно.

— Она знает больше, чем полагается знать уважающей себя волчице,— согласился Генри.— Волчица, которая является к кормежке собак,— бывалый зверь.

— У старика Виллэна была когда-то собака, и она ушла вместе с волками,— размышлял вслух Билл.— Кому это знать, как не мне? Я подстрелил ее в стае волков на лосином пастбище у Литл-Стика. Старик Виллэн плакал, как ребенок. Говорил, что целых три года ее не видел. И все эти три года она с волками бегала.

— Это не волк, а собака, и ей не раз приходилось есть рыбу из рук человека. Ты попал в самую точку, Билл.

— Если мне только удастся, я ее уложу, и она будет не волк и не собака, а просто падаль,— заявил Билл.— Нам больше нельзя собак терять.

— Да ведь у тебя только три патрона,— возразил ему Генри.

— А я буду целиться наверняка,— последовал ответ.

Утром Генри снова разжег костер и занялся приготовлением завтрака под храп товарища.

— Уж больно ты хорошо спал,— сказал он, поднимая его ото сна.— Будить тебя не хотелось.

Еще не проснувшись как следует, Билл принялся за еду. Заметив, что его чашка пуста, он потянулся за кофейником. Но кофейник стоял далеко, возле Генри.

— Слушай, Генри,— сказал он с мягким упреком,— ты ничего не забыл?

Генри внимательно огляделся по сторонам и покачал головой. Билл протянул ему пустую чашку.

— Не будет тебе кофе,— объявил Генри.

— Неужели весь вышел? — испуганно спросил тот.

— Нет, не вышел.

— Боишься, что у меня желудок испортится?

— Нет, не боюсь.

Краска гнева залила лицо Билла.

— Так в чем же тогда дело, объясни, не томи меня! — сказал он.

— Спэнкер убежал,— ответил Генри.

Медленно, с видом полнейшей покорности судьбе

Билл повернул голову и, не сходя с места, пересчитал собак.

— Как это случилось? — безучастно спросил он.

Генри пожал плечами:

— Не знаю. Должно быть, Одноухий перегрыз ему ремень. Сам-то он, конечно, не мог этого сделать.

— Проклятая тварь! — медленно проговорил Билл, ничем не выдавая кипевшего в нем гнева.— У себя ремень перегрызть не мог, так у Спэнкера перегрыз.

— Ну, для Спэнкера теперь все жизненные тревоги кончились. Волки, наверно, уже переварили его, и теперь он у них в кишках,— такую эпитафию прочел Генри третьей собаке.— Выпей кофе, Билл.

Но Билл покачал головой.

— Ну, выпей,— настаивал Генри, подняв кофейник.

Билл отодвинул свою чашку.

— Будь я проклят, если выпью! Сказал, что не буду, если собака пропадет,— значит, не буду.

— Прекрасный кофе! — соблазнял его Генри.

Но Билл не сдался и позавтракал всухомятку, сдабривая еду нечленораздельными проклятиями по адресу Одноухого, сыгравшего с ними такую скверную шутку.

— Сегодня на ночь привяжу их всех поодиночке,— сказал Билл, когда они тронулись в путь.

Пройдя не больше ста шагов, Генри, шедший впереди, нагнулся и поднял какой-то предмет, попавший ему под лыжи. В темноте он не мог разглядеть, что это такое, но узнал на ощупь и швырнул эту вещь назад, так что она стукнулась о сани и отскочила прямо к лыжам Билла.

— Может быть, тебе это еще понадобится,— сказал Генри.

Билл ахнул. Вот все, что осталось от Спэнкера,— палка, которая была привязана ему к шее.

— Начисто сожрали,— сказал Билл.— И даже ремней на палке не оставили. Здорово же они проголодались, Генри... Чего доброго, еще и до нас с тобой доберутся.

Генри вызывающе рассмеялся.

— Правда, волки никогда за мной не гонялись, но мне приходилось и хуже этого, а все-таки жив остался. Десятка назойливых тварей еще недостаточно, чтобы доконать твоего покорного слугу, Билл!

— Посмотрим, посмотрим...— зловеще пробормотал его товарищ.

— Ну вот, когда будем подъезжать к Мак-Гэрри, тогда и посмотришь.

— Не очень-то я на это надеюсь,— стоял на своем Билл.

— Ты просто не в духе, и больше ничего,— решительно заявил Генри.— Тебе надо хины принять. Вот дай только до Мак-Гэрри добраться, я тебе вкачу хорошую дозу.

Билл проворчал что-то, выражая свое несогласие с таким диагнозом, и погрузился в молчание.

День прошел, как и все предыдущие.

Рассвело в девять часов. В двенадцать горизонт на юге порозовел от невидимого солнца, и наступил хмурый день, который через три часа должна была поглотить ночь.

Как раз в ту минуту, когда солнце сделало слабую попытку выглянуть из-за горизонта, Билл вынул из саней ружье и сказал:

— Ты не останавливайся, Генри. Я пойду взглянуть, что там делается.

— Не отходи от саней! — крикнул ему Генри.— Ведь у тебя всего три патрона. Кто его знает, что может случиться...

— Ага! Теперь ты заскулил? — торжествующе спросил тот.

Генри промолчал и пошел дальше один, то и дело беспокойно оглядываясь назад, в пустынную мглу, где исчез его товарищ.

Час спустя Билл догнал сани, сократив расстояние напрямик.

— Широко разбрелись,— сказал он,— повсюду рыщут, но и от нас не отстают. Видно, уверены, что мы от них не уйдем. Решили потерпеть немного, не хотят упускать ничего съедобного.

— То есть им кажется, что мы не уйдем от них,— подчеркнул Генри.

Но Билл оставил эти слова без внимания.

— Я некоторых видел — тощие! Наверно, давно им ничего не перепадало, если не считать Фэтти, Фрога и Спэнкера. А стая большая, съели и не насытились. Здорово отощали. Ребра как стиральная доска, и животы совсем подвело. Одним словом, дошли до крайности. Того и гляди, всякий страх забудут, а тогда держи ухо востро!

Через несколько минут Генри, который шел теперь за санями, издал тихий, предостерегающий свист.

Билл оглянулся и спокойно остановил собак. За поворотом, который они только что прошли, по их свежим следам бежал поджарый пушистый зверь. Принюхиваясь к снегу, он бежал легкой, скользящей рысцой. Когда люди остановились, остановился и он, вытянув морду и втягивая вздрагивающими ноздрями доносившиеся до него запахи.

— Она, волчица,— сказал Билл.

Собаки лежали на снегу. Он прошел мимо них к товарищу, стоявшему около саней. Оба стали разглядывать странного зверя, который уже несколько дней преследовал их и уничтожил половину упряжки.

Выждав и осмотревшись, зверь сделал несколько шагов вперед. Он повторял этот маневр до тех пор, пока не подошел к саням ярдов на сто, потом остановился около сосен, поднял морду и, поводя носом, стал внимательно следить за наблюдавшими за ним людьми. В этом взгляде было что-то тоскливое, напоминавшее взгляд собаки, но без тени собачьей преданности. Это была тоска, рожденная голодом, жестоким, как волчьи клыки, безжалостным, как стужа.

Для волка зверь был велик, и, несмотря на его худобу, видно было, что он принадлежит к самым крупным представителям своей породы.

— Ростом фута два с половиной,— определил Генри.— И от головы до хвоста наверняка около пяти будет.

— Не совсем обычная масть для волка,— сказал Билл.— Я никогда рыжих не видал. А этот какой-то красновато-коричневый.

Билл ошибался. Шерсть у зверя была настоящая волчья. Преобладал в ней серый волос, но легкий красноватый оттенок, то исчезающий, то появляющийся снова, создавал обманчивое впечатление — шерсть казалась то серой, то вдруг отливала рыжим.

— Самая настоящая ездовая лайка, только покрупнее,—сказал Билл.— Того и гляди, хвостом завиляет.

— Эй ты, лайка! — крикнул он.— Подойди-ка сюда... Как там тебя зовут!

— Да она ни капельки не боится,— засмеялся Генри.

Его товарищ крикнул громче и погрозил зверю кулаком, однако тот не проявил ни малейшего страха и только еще больше насторожился. Он продолжал смотреть на них все с той же беспощадной голодной тоской. Перед ним

было мясо, а он голодал. И, если бы у него только хватило смелости, он кинулся бы на людей и сожрал их.

— Слушай, Генри,— сказал Билл, бессознательно понизив голос до шепота.— У нас три патрона. Но ведь ее можно наповал убить. Тут не промахнешься. Трех собак как не бывало, надо же положить этому конец. Что ты скажешь?

Генри кивнул головой в знак согласия.

Билл осторожно вытащил ружье из саней, поднял было его, но так и не донес до плеча. Волчица прыгнула с тропы в сторону и скрылась среди сосен. Друзья посмотрели друг на друга. Генри многозначительно засвистал.

— Эх, не сообразил я! — воскликнул Билл, кладя ружье на место.— Как же такой волчице не знать ружья, когда она знает время кормежки собак! Говорю тебе, Генри, во всех наших несчастьях виновата она. Если бы не эта тварь, у нас сейчас было бы шесть собак, а не три. Нет, Генри, я до нее доберусь. На открытом месте ее не убьешь, слишком умна. Но я ее выслежу. Я подстрелю эту тварь из засады.

— Только далеко не отходи,— предупредил его Генри.— Если они на тебя всей стаей набросятся, три патрона тебе помогут, как мертвому припарки. Уж очень это зверье проголодалось. Смотри, Билл, попадешься им!

В эту ночь остановка была сделана рано. Три собаки не могли везти сани так быстро и так подолгу, как это делали шесть; они заметно выбились из сил. Билл привязал их подальше друг от друга, чтобы они не перегрызли ремней, и оба путника сразу легли спать. Но волки осмелели и ночью не раз будили их. Они подходили так близко, что собаки начинали беситься от страха, и, для того чтобы удерживать осмелевших хищников на расстоянии, приходилось то и дело подкладывать сучья в костер.

— Моряки рассказывают, будто акулы любят плавать за кораблями,— сказал Билл, забираясь под одеяло после одной из таких прогулок к костру.— Так вот, волки — это сухопутные акулы. Они свое дело получше нас с тобой знают и бегут за нами вовсе не для моциона. Попадемся мы им, Генри. Вот увидишь, попадемся.

— Ты, можно считать, уже попался, если столько говоришь об этом! — отрезал его товарищ.— Кто боится порки, тот все равно что выпорот, а ты — все равно что у волков на зубах.

— Они приканчивали людей и получше нас с тобой,— ответил Билл.

— Да перестань ты скулить! Сил моих больше нет!

Генри сердито перевернулся на другой бок, удивляясь тому, что Билл промолчал. Это на него не было похоже, потому что резкие слова легко выводили его из себя. Генри долго думал об этом, прежде чем заснуть, но в конце концов веки его начали слипаться, и он погрузился в сон с такой мыслью: «Хандрит Билл. Надо будет растормошить его завтра».

Глава третья

ПЕСНЬ ГОЛОДА

Поначалу день сулил удачу. За ночь не пропало ни одной собаки, и Генри с Биллом бодро двинулись в путь среди окружающего их безмолвия, мрака и холода. Билл как будто не вспоминал о мрачных предчувствиях, тревоживших его прошлой ночью, и даже изволил подшутить над собаками, когда на одном из поворотов они опрокинули сани. Все смешалось в кучу. Перевернувшись, сани застряли между деревом и громадным валуном, и, чтобы разобраться во всей этой путанице, пришлось распрягать собак. Путники нагнулись над санями, стараясь поднять их, как вдруг Генри увидел, что Одноухий убегает в сторону.

— Назад, Одноухий! — крикнул он, вставая с колен и глядя собаке вслед.

Но Одноухий припустился еще быстрее, волоча по снегу постромки. А там, на только что пройденном ими пути, его поджидала волчица. Подбегая к ней, Одноухий осторожно навострил уши, перешел на легкий, мелкий шаг, потом остановился. Он глядел на нее внимательно, недоверчиво, но с жадностью. А она скалила зубы, как будто улыбаясь ему вкрадчивой улыбкой, потом сделала несколько игривых прыжков и остановилась. Одноухий пошел к ней, все еще с опаской, задрав хвост, навострив уши и высоко подняв голову.

Он хотел было обнюхать ее, но волчица подалась назад, лукаво заигрывая с ним. Каждый раз, как он делал шаг вперед, она отступала назад. И так, шаг за шагом, волчица

увлекала Одноухого за собой, все дальше от его надежных защитников — людей. И вдруг как будто неясное опасение остановило Одноухого. Он повернул голову и посмотрел на опрокинутые сани, на своих товарищей по упряжке и на подзывающих его хозяев. Но, если что-нибудь подобное и мелькнуло в голове у пса, волчица вмиг рассеяла всю его нерешительность: она подошла к нему, на мгновение коснулась его носом, а потом снова начала, играя, отходить все дальше и дальше.

Тем временем Билл вспомнил о ружье. Но оно лежало под перевернутыми санями. И, пока Генри помог ему разобрать поклажу, Одноухий и волчица так близко подошли друг к другу, что стрелять на таком расстоянии было рискованно.

Слишком поздно понял Одноухий свою ошибку. Еще не догадываясь, в чем дело, Билл и Генри увидели, как он повернулся и бросился бежать назад, к ним. А потом они увидели штук двенадцать тощих серых волков, которые мчались под прямым углом к дороге, наперерез Одноухому. В одно мгновение волчица оставила всю свою игривость и лукавство — с рычанием кинулась она на Одноухого. Тот отбросил ее плечом, убедился, что обратный путь отрезан, и, все еще надеясь добежать до саней, бросился к ним по кругу. С каждой минутой волков становилось все больше и больше. Волчица неслась за собакой, держась на расстоянии одного прыжка от нее.

— Куда ты? — вдруг крикнул Генри, схватив товарища за плечо.

Билл стряхнул его руку.

— Довольно! — сказал он.— Больше они ни одной собаки не получат!

С ружьем наперевес он бросился в кустарник, окаймлявший речное русло. Его намерения были совершенно ясны: приняв сани за центр круга, по которому бежала собака, Билл рассчитывал перерезать этот круг в той точке, куда погоня еще не достигла. Среди бела дня, имея в руках ружье, отогнать волков и спасти собаку было вполне возможно.

— Осторожнее, Билл! — крикнул ему вдогонку Генри.— Не рискуй зря!

Генри сел на сани и стал ждать, что будет дальше. Больше ему ничего не оставалось делать. Билл уже скрылся из виду, но в кустах и среди растущих кучками сосен то

появлялся, то снова исчезал Одноухий. Генри понял, что положение собаки безнадежно. Она прекрасно сознавала опасность, но ей приходилось бежать по внешнему кругу, тогда как стая волков мчалась по внутреннему, более узкому. Нечего было и думать, что Одноухий сможет настолько опередить своих преследователей, чтобы пересечь их путь и добраться до саней. Обе линии каждую минуту могли сомкнуться. Генри знал, что где-то там, в снегах, заслоненные от него деревьями и кустарником, в одной точке должны сойтись стая волков, Одноухий и Билл.

Все произошло быстро, гораздо быстрее, чем он ожидал. Раздался выстрел, потом еще два, один за другим, и Генри понял, что заряды у Билла вышли. Вслед за тем послышались визги и громкое рычание. Генри различил голос Одноухого, взвывшего от боли и ужаса, и вой раненого, очевидно волка.

И все. Рычание смолкло. Визг прекратился. Над безлюдным краем снова нависла тишина.

Генри долго сидел на санях. Ему незачем было идти туда: все было ясно, как будто встреча Билла со стаей произошла у него на глазах. Только один раз он вскочил с места и быстро вытащил из саней топор, но потом снова опустился на сани и хмуро уставился прямо перед собой, а две уцелевшие собаки жались к его ногам и дрожали от страха.

Наконец он поднялся — так устало, как будто мускулы его потеряли всякую упругость,— и стал запрягать. Одну постромку он надел себе на плечи и вместе с собаками потащил сани. Но шел он недолго и, как только стало темнеть, сделал остановку и заготовил как можно больше хвороста; потом накормил собак, поужинал и постелил себе около самого костра.

Но ему не суждено было насладиться сном. Не успел он закрыть глаза, как волки подошли чуть ли не вплотную к огню. Чтобы разглядеть их, уже не нужно было напрягать зрение. Тесным кольцом окружили они костер, и Генри совершенно ясно видел, как одни из них лежали, другие сидели, третьи подползали на брюхе поближе к огню или бродили вокруг него. Некоторые даже спали. Они свертывались на снегу клубочком, по-собачьи, и спали крепким сном, а он сам не мог теперь сомкнуть глаз.

Генри развел большой костер, так как он знал, что

только огонь служит преградой между его телом и клыками голодных волков. Обе собаки сидели у ног своего хозяина — одна справа, другая слева — в надежде, что он защитит их: они выли, взвизгивали и принимались исступленно лаять, если какой-нибудь волк подбирался к костру ближе остальных. Заслышав лай, весь круг приходил в движение, волки вскакивали со своих мест и порывались вперед, нетерпеливо воя и рыча, потом снова укладывались на снегу и один за другим погружались в сон.

Круг сжимался все теснее и теснее. Мало-помалу, дюйм за дюймом, то один, то другой волк ползком подвигался вперед, пока все они не оказывались на расстоянии почти одного прыжка от Генри. Тогда он выхватывал из костра головни и швырял ими в стаю. Это вызывало поспешное отступление, сопровождаемое разъяренным воем и испуганным рычанием, если пущенная меткой рукой головня попадала в какого-нибудь слишком смелого волка.

К утру Генри осунулся, глаза у него запали от бессонницы. В темноте он сварил себе завтрак, а в девять часов, когда дневной свет разогнал волков, принялся за дело, которое обдумал в долгие ночные часы. Он срубил несколько молодых сосен и, привязав их высоко к деревьям, устроил поперечные перекладины, затем с помощью собак поднял на веревку гроб и установил его там, наверху.

— До Билла добрались и до меня, может, доберутся, но вас-то, молодой человек, им не достать,— сказал он, обращаясь к мертвецу, погребенному высоко на деревьях.

Покончив с этим, Генри пустился в путь. Порожние сани легко подпрыгивали за собаками, которые прибавили ходу, зная, что опасность минует их только тогда, когда они доберутся до форта Мак-Гэрри.

Теперь волки совсем осмелели: спокойной рысцой бежали они позади саней и рядом, высунув языки, поводя тощими боками. Волки были до того худы — кожа да кости, только мускулы проступали, точно веревки,— что Генри удивлялся, как они держатся на ногах и не валятся в снег.

Он боялся, что темнота застанет его в пути. В полдень солнце не только согрело южную часть неба, но даже бледным золотистым ободком показалось над горизонтом. Генри увидел в этом доброе предзнаменование. Дни становились длиннее. Солнце дольше оставалось на небе. Но как только приветливые лучи его померкли, Генри сделал при-

вал. До полной темноты оставалось еще несколько часов серого дневного света и мрачных сумерек, и он употребил их на то, чтобы запасти как можно больше хвороста.

Вместе с темнотой к нему пришел ужас. Волки осмелели, да и проведенная без сна ночь давала себя знать. Закутавшись в одеяло, положив топор между ног, Генри сидел около костра и никак не мог преодолеть дремоту. Обе собаки жались вплотную к нему. Среди ночи он проснулся и в каких-нибудь двенадцати футах от себя увидел большого серого волка, одного из самых крупных во всей стае. Зверь медленно потянулся, точно разленившийся пес, и всей пастью зевнул Генри прямо в лицо, поглядывая на него, как на свою собственность, как на добычу, которая рано или поздно достанется ему.

Такая уверенность чувствовалась в поведении всей стаи. Генри насчитал штук двадцать волков, смотревших на него голодными глазами или спокойно спавших на снегу. Они напоминали ему детей, которые собрались вокруг накрытого стола и ждут только разрешения, чтобы наброситься на лакомство. И этим лакомством суждено стать ему! «Когда же волки начнут свое пиршество?» — думал он.

Подкладывая хворост в костер, Генри заметил, что теперь он совершенно по-новому относится к собственному телу. Он наблюдал за работой своих мускулов и с интересом разглядывал хитрый механизм пальцев. При свете костра он несколько раз подряд сгибал их, то поодиночке, то все сразу, то растопыривал, то быстро сжимал в кулак. Он приглядывался к строению ногтей, пощипывал кончики пальцев то сильнее, то мягче, испытывая чувствительность своей нервной системы. Все это восхищало Генри, и он внезапно проникся нежностью к своему телу, которое работало так легко, так точно и совершенно. Потом он бросал боязливый взгляд на волков, смыкавшихся вокруг него все теснее, и его, словно громом, поражала вдруг мысль, что это чудесное тело, эта живая плоть есть не что иное, как мясо,— предмет вожделения прожорливых зверей, которые разорвут, раздерут его своими клыками, утолят им свой голод, так же как он сам не раз утолял голод мясом лося и кролика.

Он очнулся от дремоты, граничившей с кошмаром, и увидел перед собой рыжую волчицу. Она сидела в каких-нибудь шести футах от костра и тоскливо погляды-

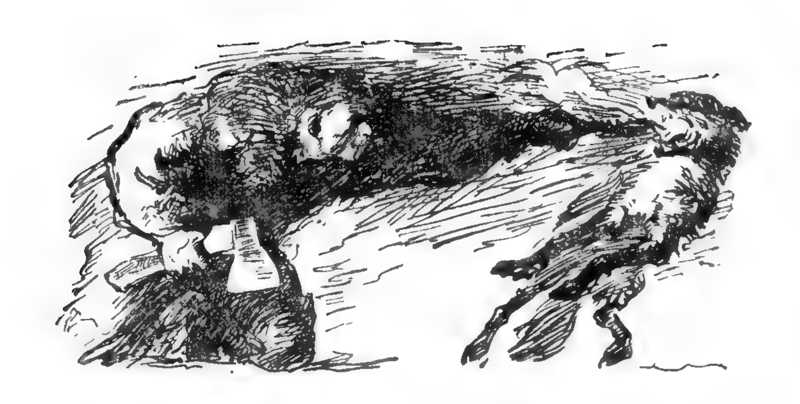
вала на человека. Обе собаки скулили и рычали у него в ногах, но волчица словно и не замечала их. Она смотрела на человека, и в течение нескольких минут он отвечал ей тем же. Вид у нее был совсем не свирепый. В глазах ее светилась страшная тоска, но Генри знал, что тоска эта порождена таким же страшным голодом. Он был пищей, и вид этой пищи возбуждал в волчице вкусовые ощущения. Пасть ее была разинута, слюна капала на снег, и она облизывалась, предвкушая поживу.

Безумный страх охватил Генри. Он быстро протянул руку за головней, но не успел дотронуться до нее, как волчица отпрянула назад: видимо, она привыкла к тому, чтобы в нее швыряли чем попало. Волчица огрызнулась, оскалив белые клыки до самых десен; выражение тоскливости в ее глазах сменилось такой кровожадной злобой, что Генри вздрогнул. Он взглянул на свою руку, заметил, с какой ловкостью пальцы держали головню, как они прилаживались ко всем ее неровностям, охватывая со всех сторон шероховатую поверхность, как мизинец помимо его воли, сам собой отодвинулся подальше от горячего места,— взглянул и в ту же минуту ясно представил себе, как белые зубы волчицы вонзятся в эти тонкие, нежные пальцы и разорвут их. Никогда еще Генри не любил своего тела так, как теперь, когда существование его было столь непрочно.

Всю ночь Генри отбивался от голодной стаи горящими головнями, засыпа́л, когда бороться с дремотой не хватало сил, и просыпался от визга и рычания собак. Наступило утро, но на этот раз дневной свет не прогнал волков. Человек напрасно ждал, что его преследователи разбегутся. Они по-прежнему кольцом оцепляли костер и смотрели на Генри с такой наглой уверенностью, что он снова лишился мужества, которое вернулось было к нему вместе с рассветом.

Генри тронулся в путь, но едва он вышел из-под защиты огня, как на него бросился самый смелый волк из стаи; однако прыжок был плохо рассчитан, и волк промахнулся. Генри спасся тем, что отпрыгнул назад, и зубы волка щелкнули в каких-нибудь нескольких дюймах от его бедра.

Вся стая кинулась к человеку, заметалась вокруг него, и только горящие головни отогнали ее на почтительное расстояние.



Даже при дневном свете Генри не осмеливался отойти от огня и нарубить хвороста. Шагах в двадцати от саней стояла громадная засохшая сосна. Он потратил половину дня, чтобы растянуть до нее цепь костров, все время держа наготове для своих преследователей несколько горящих веток. Добравшись до цели, он огляделся вокруг, высматривая, где больше хвороста, чтобы свалить сосну в ту сторону.

Эта ночь была точным повторением предыдущей, с той только разницей, что Генри почти не мог бороться со сном. Он уже не просыпался от рычания собак. К тому же они рычали не переставая, а его усталый, погруженный в дремоту мозг уже не улавливал оттенков в их голосах.

И вдруг он проснулся, будто от толчка. Волчица стояла совсем близко. Машинально, не выпуская головни из рук, он ткнул ею в ее оскаленную пасть. Волчица отпрянула назад, воя от боли, а Генри с наслаждением вдыхал запах паленой шерсти и горелого мяса, глядя, как зверь трясет головой и злобно рычит уже в нескольких шагах от него.

Но на этот раз, прежде чем заснуть, Генри привязал к правой руке тлеющий сосновый сучок. Едва он закрывал глаза, как боль от ожога будила его. Так продолжалось несколько часов. Просыпаясь, он отгонял волков горящими головнями, подбрасывал в огонь хвороста и снова прилаживал сучок на руку. Все шло хорошо; но в одно из таких пробуждений Генри плохо привязал сучок, и, как только глаза его закрылись, сучок выпал у него из руки.

Ему снился сон. Форт Мак-Гэрри. Тепло, уютно. Он



играет в криббедж с начальником фактории. И ему снится, что волки осаждают форт. Волки воют у самых ворот, и они с начальником по временам отрываются от игры, чтобы прислушаться к вою и посмеяться над тщетными усилиями волков проникнуть внутрь форта. Потом — какой странный сон ему снился! — раздался треск. Дверь распахнулась настежь. Волки ворвались в комнату. Они кинулись на него и на начальника. Как только дверь распахнулась, вой стал оглушительным, он уже не давал ему покоя. Сон принимал какие-то другие очертания. Генри не мог еще понять какие, и понять это ему мешал вой, не прекращающийся ни на минуту.

А потом он проснулся и услышал вой и рычание уже наяву. Волки всей стаей бросились на него. Чьи-то клыки впились ему в руку. Он прыгнул в костер и, прыгая, почувствовал, как острые зубы полоснули его по ноге. И вот началась битва. Толстые рукавицы защищали его руки от огня, он полными горстями расшвыривал во все стороны горящие угли, и костер стал под конец чем-то вроде вулкана.

Но это не могло продолжаться долго. Лицо у Генри покрылось волдырями, брови и ресницы были опалены, ноги уже не терпели жара. Схватив в руки по головне, он прыгнул ближе к краю костра. Волки отступили. Справа и слева — всюду, куда только падали угли, шипел снег, и по отчаянным прыжкам, фырканью и рычанию можно было догадаться, что волки наступали на них.

Расшвыряв головни, человек сбросил с рук тлеющие рукавицы и принялся топать по снегу ногами, чтобы осту-

дить их. Обе собаки исчезли, и он прекрасно знал, что они послужили очередным блюдом на том затянувшемся пиру, который начался с Фэтти и в один из ближайших дней, может быть, закончится им самим.

— А все-таки до меня вы еще не добрались! — крикнул он, бешено погрозив кулаком голодным зверям.

Услышав его голос, стая заметалась, дружно зарычала, а волчица подступила к нему почти вплотную и уставилась на него тоскливыми, голодными глазами.

Генри принялся обдумывать новый план обороны. Разложив костер широким кольцом, он бросил на тающий снег свою постель и сел на ней внутри этого кольца. Как только человек скрылся за огненной оградой, вся стая окружила ее, любопытствуя, куда он девался. До сих пор им не было доступа к огню, а теперь они расселись около него тесным кругом и, как собаки, жмурились, зевали и потягивались в непривычном для них тепле. Потом волчица уселась на задние лапы, подняла голову и начала выть. Волки один за другим подтягивали ей, и наконец вся стая, уставившись мордами в звездное небо, затянула песнь голода.

Стало светать, потом наступил день. Костер догорал, хворост подходил к концу, надо было пополнить запас. Человек попытался выйти за пределы огненного кольца, но волки кинулись ему навстречу. Горящие головни заставляли их отскакивать в стороны, но назад они уже не убегали. Тщетно старался человек прогнать их. Убедившись наконец в безнадежности своих попыток, он отступил внутрь горящего кольца, и в это время один из волков прыгнул на него, но промахнулся и всеми четырьмя лапами угодил в огонь. Зверь взвыл от страха, огрызнулся и отполз от костра, стараясь остудить на снегу обожженные лапы.

Человек, сгорбившись, сидел на одеяле. По безвольно опущенным плечам и поникшей голове можно было понять, что у него больше нет сил продолжать борьбу. Время от времени он поднимал голову и смотрел на догорающий костер. Кольцо огня и тлеющих углей кое-где уже разомкнулось, распалось на отдельные костры. Свободный проход между ними все увеличивался, а сами костры уменьшались.

— Ну, теперь вы до меня доберетесь,— пробормотал Генри.— Но мне все равно, я хочу спать...

Проснувшись, он увидел между двумя кострами прямо перед собой волчицу, смотревшую на него пристальным взглядом.

Спустя несколько минут, которые показались ему часами, он снова поднял голову. Произошла какая-то непонятная перемена, настолько непонятная для него, что он сразу очнулся. Что-то случилось. Сначала он не мог понять, что именно. Потом догадался: волки исчезли. Только по вытоптанному кругом снегу можно было судить, как близко они подбирались к нему.

Волна дремоты снова охватила Генри, голова его упала на колени, но вдруг он вздрогнул и проснулся.

Откуда-то доносились людские голоса, скрип саней, нетерпеливое повизгивание собак. От реки к стоянке между деревьями подъезжало четверо саней. Несколько человек окружили Генри, скорчившегося в кольце угасающего огня. Они расталкивали и трясли его, стараясь привести в чувство. Он смотрел на них, как пьяный, и бормотал вялым, сонным голосом:

— Рыжая волчица... приходила к кормежке собак... Сначала сожрала собачий корм... потом собак... А потом Билла...

— Где лорд Альфред? — крикнул ему в ухо один из приехавших, с силой тряхнув его за плечо.

Он медленно покачал головой.

— Его она не тронула... Он там, на деревьях... у последней стоянки.

— Умер?

— Да. В гробу,— ответил Генри.

Он сердито дернул плечом, высвобождаясь от наклонившегося над ним человека.

— Оставьте меня в покое, я не могу... Спокойной ночи...

Веки Генри дрогнули и закрылись, голова упала на грудь. И, как только его опустили на одеяло, в морозной тишине раздался громкий храп.

Но к этому храпу примешивались и другие звуки. Издали, еле уловимый на таком расстоянии, доносился вой голодной стаи, погнавшейся за другой добычей, взамен только что оставленного ими человека.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

БИТВА КЛЫКОВ

Волчица первая услышала звуки человеческих голосов и повизгивание ездовых собак, и она же первая отпрянула от человека, загнанного в круг угасающего огня. Неохотно расставаясь с уже затравленной добычей, стая помедлила несколько минут, прислушиваясь, а потом кинулась следом за волчицей.

Во главе стаи бежал крупный серый волк, один из ее вожаков. Он-то и направил стаю по следам волчицы, предостерегающе огрызаясь на более молодых своих собратьев и отгоняя их ударами клыков, когда те отваживались забегать вперед. И это он прибавил ходу, завидев впереди волчицу, медленной рысцой бежавшую по снегу.

Волчица побежала рядом с ним, как будто место это было предназначено для нее, и уже больше не удалялась от стаи. Вожак не рычал и не огрызался на волчицу, когда случайный скачок выносил ее вперед,— напротив, он, по-видимому, был очень расположен к ней, потому что старался все время бежать рядом. А ей это не нравилось, и она рычала и скалила зубы, не подпуская его к себе.

Иногда волчица не останавливалась даже перед тем, чтобы куснуть его за плечо. В таких случаях вожак не выказывал никакой злобы, а только отскакивал в сторону и делал несколько неуклюжих скачков, всем своим видом и поведением напоминая сконфуженного деревенского ухажера.

Это было единственное, что мешало ему управлять стаей. Но волчицу одолевали другие неприятности. Справа от нее бежал тощий старый волк, серая шкура которого носила следы многих битв. Он все время держался справа от волчицы. Объяснялось это тем, что у него был только один глаз, левый. Старый волк то и дело теснил ее, тыкаясь своей покрытой рубцами мордой то в бок ей, то в плечо, то в шею. Она встречала его ухаживания лязганьем зубов, так же как и ухаживание самца, бежавшего слева, и, когда оба они начинали приставать к ней одновременно, ей приходилось туго: надо было рвануть зубами обоих, в то же время не отставать от стаи и смотреть себе под ноги. В такие минуты оба волка угрожающе рычали и скалили друг на друга зубы. В другое время они бы подрались, но сейчас даже любовь и соперничество уступали место более сильному чувству — чувству голода, терзающего всю стаю.

После каждого такого отпора старый волк отскакивал от строптивого предмета своих вожделений и сталкивался с молодым, трехлетним волком, который бежал справа, со стороны его слепого глаза. Трехлеток был вполне возмужалый и, если принять во внимание слабость и истощенность остальных волков, выделялся из всей стаи своей силой и живостью. И все-таки он бежал так, что голова его была вровень с плечом одноглазого волка. Лишь только он отваживался поравняться с ним (что случалось довольно редко), старик рычал, лязгал зубами и тотчас же осаживал его на прежнее место. Однако время от времени трехлеток отставал и украдкой втискивался между ним и волчицей. Этот маневр встречал двойной, даже тройной отпор. Как только волчица начинала рычать, старый волк делал крутой поворот и набрасывался на трехлетка. Иногда заодно со стариком на него набрасывалась и волчица, а иногда к ним присоединялся и вожак, бежавший слева.

Видя перед собой три свирепые пасти, молодой волк останавливался, оседал на задние лапы и, весь ощетинившись, показывал зубы. Замешательство во главе стаи не-

изменно сопровождалось замешательством и в задних рядах. Волки натыкались на трехлетка и выражали свое недовольство тем, что злобно кусали его за ляжки и за бока. Его положение было опасно, так как голод и ярость обычно сопутствуют друг другу. Но безграничная самоуверенность молодости толкала его на повторение этих попыток, хотя они не имели ни малейшего успеха и доставляли ему лишь одни неприятности.

Попадись волкам какая-нибудь добыча — любовь и соперничество из-за любви тотчас же завладели бы стаей, и она рассеялась бы. Но положение ее было отчаянное. Волки отощали от длительной голодовки и подвигались вперед гораздо медленнее обычного. В хвосте плелись слабые — самые молодые и старики. Сильные шли впереди. Все они походили скорее на скелеты, чем на настоящих волков. И все-таки в их движениях — если не считать тех, кто прихрамывал,— не было заметно ни усталости, ни малейших усилий. Казалось, что в мускулах, выступавших у них на теле, как веревки, таится неиссякаемый запас мощи. За каждым движением стального мускула следовало другое движение, за ним третье, четвертое — и так без конца.

В тот день волки пробежали много миль. Они бежали и ночью. Наступил следующий день, а они все еще бежали. Оледеневшее мертвое пространство. Нигде ни малейших признаков жизни. Только они одни двигались в этой застывшей пустыне. Только в них была жизнь, и они рыскали в поисках других живых существ, чтобы растерзать их — и жить, жить!

Волкам пришлось пересечь не один водораздел и обогнуть не один ручей в низинах, прежде чем поиски их увенчались успехом. Они встретили лосей. Первой их добычей был крупный лось-самец. Это была жизнь. Это было мясо, и его не защищали ни таинственный костер, ни летающие головни. С раздвоенными копытами и ветвистыми рогами волкам приходилось встречаться не впервые, и они отбросили свое обычное терпение и осторожность. Битва была короткой и жаркой. Лося окружили со всех сторон. Меткими ударами тяжелых копыт он распарывал волкам животы, пробивал черепа, громадными рогами ломал им кости. Лось подминал их под себя, катаясь по снегу, но он был обречен на гибель, и в конце концов ноги у него подломились. Волчица с остервенением впилась ему в горло,

а зубы остальных волков рвали его на части — живьем, не дожидаясь, пока он затихнет и перестанет отбиваться.

Еды было вдоволь. Лось весил свыше восьмисот фунтов — по двадцати фунтов на каждую волчью глотку. Если волки с поразительной выдержкой умели поститься, то не менее поразительна была и быстрота, с которой они пожирали пищу, и вскоре от великолепного, полного сил животного, столкнувшегося несколько часов назад со стаей, осталось лишь несколько разбросанных по снегу костей.

Теперь волки подолгу отдыхали и спали. На сытый желудок самцы помоложе начали ссориться и драться, и это продолжалось весь остаток дней, предшествовавших распаду стаи. Голод кончился. Волки дошли до богатых дичью мест; охотились они по-прежнему всей стаей, но действовали уже с большей осторожностью, отрезая от небольших лосиных стад, попадавшихся им на пути, стельных самок или старых, больных лосей.

И вот наступил день в этой стране изобилия, когда волчья стая разбилась на две. Волчица, молодой вожак, бежавший слева от нее, и Одноглазый, бежавший справа, повели свою половину стаи на восток, к реке Макензи и дальше, к озерам. И эта маленькая стая тоже с каждым днем уменьшалась. Волки разбивались на пары — самец с самкой. Острые зубы соперника то и дело отгоняли прочь какого-нибудь одинокого волка. И наконец волчица, молодой вожак, Одноглазый и дерзкий трехлеток остались вчетвером.

К этому времени характер у волчицы окончательно испортился. Следы ее зубов имелись у всех троих ухаживателей. Но волки ни разу не ответили ей тем же, ни разу не попробовали защищаться. Они только подставляли плечи под самые свирепые укусы волчицы, повиливали хвостом и семенили вокруг нее, стараясь умерить ее гнев. Но если к самке волки проявляли кротость, то по отношению друг к другу они были сама злоба. Свирепость трехлетка перешла все границы. В одну из очередных ссор он подлетел к старому волку с той стороны, с которой тот ничего не видел, и на клочки разорвал ему ухо. Но седой одноглазый старик призвал на помощь против молодости и силы всю свою долголетнюю мудрость и весь свой опыт. Его вытекший глаз и исполосованная рубцами морда достаточно красноречиво говорили о том, какого рода был этот опыт. Слишком много битв пришлось ему пережить

на своем веку, чтобы хоть на одну минуту задуматься над тем, как следует поступить сейчас.

Битва началась честно, но нечестно кончилась. Трудно было бы заранее судить о ее исходе, если бы к старому вожаку не присоединился молодой; вместе они набросились на дерзкого трехлетка. Безжалостные клыки бывших собратьев вонзались в него со всех сторон. Позабыты были те дни, когда волки вместе охотились; добыча, которую они вместе убивали; голод, одинаково терзавший их троих. Все это было делом прошлого. Сейчас перед ними стояла любовь — чувство еще более суровое и жестокое, чем голод.

Тем временем волчица — причина всех раздоров — с довольным видом уселась на снегу и стала следить за битвой. Ей это даже нравилось. Пришел ее час — что случается редко,— когда шерсть встает дыбом, клык ударяется о клык, рвет, полосует податливое тело,— и все это только ради обладания ею.

И трехлеток, впервые в своей жизни столкнувшийся с любовью, поплатился из-за нее жизнью. Оба соперника стояли над его телом. Они смотрели на волчицу, которая сидела на снегу и улыбалась им. Но старый волк был мудр — мудр в делах любви не меньше, чем в битвах. Молодой вожак повернул голову — зализать рану на плече. Загривок его был обращен к сопернику. Своим единственным глазом старик углядел, какой удобный случай представляется ему. Кинувшись стрелой на молодого волка, он полоснул его клыками по шее, оставив на ней длинную, глубокую рану и вспоров вену, и тут же отскочил назад.

Молодой вожак зарычал, но его страшное рычание сразу перешло в судорожный кашель. Истекая кровью, кашляя, он кинулся на старого волка, но жизнь уже покидала его, ноги подкашивались, глаза застилал туман. Удары и прыжки становились все слабее и слабее.

А волчица сидела в сторонке и улыбалась. Зрелище битвы вызывало в ней какое-то смутное чувство радости, ибо такова любовь в Северной глуши, а трагедию ее познает лишь тот, кто умирает. Для тех же, кто остается в живых, она уже не трагедия, а торжество осуществившегося желания.

Когда молодой волк вытянулся на снегу, Одноглазый гордой поступью направился к волчице. Впрочем, полному торжеству победителя мешала необходимость быть начеку.

Он простодушно ожидал резкого приема и так же простодушно удивился, когда волчица не показала ему зубов,— впервые за все это время его встретили так ласково. Она обнюхалась с ним и даже принялась прыгать и резвиться, совсем как щенок. И Одноглазый, забыв свой почтенный возраст и умудренность опытом, тоже превратился в щенка, пожалуй даже еще более глупого, чем волчица.

Забыты были и побежденные соперники, и повесть о любви, кровью написанная на снегу. Только раз вспомнил об этом Одноглазый, когда остановился на минуту, чтобы зализать рану. И тогда губы его злобно задрожали, шерсть на шее и на плечах поднялась дыбом, когти судорожно впились в снег, тело изогнулось, приготовившись к прыжку. Но в следующую же минуту все было забыто, и он бросился вслед за волчицей, игриво манившей его в лес.

А потом они побежали рядом, как добрые друзья, пришедшие наконец к взаимному соглашению. Дни шли, а они не расставались — вместе гонялись за добычей, вместе убивали ее, вместе съедали. Но потом волчицей овладело беспокойство. Казалось, она ищет что-то и никак не может найти. Ее влекли к себе укромные местечки под упавшими деревьями, и она проводила целые часы, обнюхивая запорошенные снегом расселины в утесах и пещеры под нависшими берегами реки. Старого волка все это нисколько не интересовало, но он покорно следовал за ней, а когда эти поиски затягивались, ложился на снег и ждал ее.

Не задерживаясь подолгу на одном месте, они пробежали до реки Макензи и уже не спеша отправились вдоль берега, время от времени сворачивая в поисках добычи на небольшие притоки, но неизменно возвращаясь к реке. Иногда им попадались другие волки, бродившие обычно парами; но ни та, ни другая сторона не выказывала ни радости при встрече, ни дружелюбных чувств, ни желания снова собраться в стаю. Встречались на их пути и одинокие волки. Это были самцы, которые охотно присоединились бы к Одноглазому и его подруге. Но Одноглазый не допускал этого, и стоило только волчице стать плечо к плечу с ним, ощетиниться и оскалить зубы, как навязчивые чужаки отступали, поворачивали вспять и снова пускались в свой одинокий путь.

Как-то раз, когда они бежали лунной ночью по затихшему лесу, Одноглазый вдруг остановился. Он задрал

кверху морду, напружил хвост и, раздув ноздри, стал нюхать воздух. Потом поднял переднюю лапу, как собака на стойке. Что-то встревожило его, и он продолжал принюхиваться, стараясь разгадать несущуюся по воздуху весть. Волчица потянула носом и побежала дальше, подбодряя своего спутника. Все еще не успокоившись, он последовал за ней, но то и дело останавливался, чтобы вникнуть в предостережение, которое нес ему ветер.

Осторожно ступая, волчица вышла из-за деревьев на большую поляну. Несколько минут она стояла там одна. Потом, весь насторожившись, каждым своим волоском излучая безграничное недоверие, к ней подошел Одноглазый. Они стали рядом, продолжая прислушиваться, всматриваться, поводить носом.

До их слуха донеслись звуки собачьей грызни, гортанные голоса мужчин, пронзительная перебранка женщин и даже тонкий жалобный плач ребенка. С поляны им были видны только большие, обтянутые кожей палатки, пламя костров, которое поминутно заслоняли человеческие фигуры, и дым, медленно поднимающийся в спокойном воздухе. Но их ноздри уловили множество запахов индейского поселка, говорящих о вещах, совершенно непонятных Одноглазому и знакомых волчице до мельчайших подробностей. Волчицу охватило странное беспокойство, и она продолжала принюхиваться все с большим и большим наслаждением. Но Одноглазый все еще сомневался. Он нерешительно тронулся с места и выдал этим свои опасения. Волчица повернулась, ткнула его носом в шею, как бы успокаивая, потом снова стала смотреть на поселок. В ее глазах светилась тоска, но это уже не была тоска, рожденная голодом. Она дрожала от охватившего ее желания спуститься туда, подойти ближе к кострам, вмешаться в собачью драку, увертываться и отскакивать от неосторожных шагов людей.

Одноглазый нетерпеливо топтался возле нее; но вот прежнее беспокойство вернулось к волчице, она снова почувствовала непреодолимую потребность найти то, что так долго искала. Она повернулась и, к большому облегчению Одноглазого, побежала в лес, под прикрытие деревьев.

Бесшумно, как тени, скользя в освещенном луной лесу, они напали на тропинку и сразу уткнулись носом в снег. Следы на тропинке были совсем свежие. Одноглазый осторожно двигался вперед, а его подруга следовала за ним по

пятам. Их широкие лапы с толстыми подушками мягко, как бархат, ложились на снег. Но вот Одноглазый увидел что-то белое на такой же белой снежной глади. Скользящая поступь Одноглазого скрадывала быстроту его движений, но теперь он оставил всякую осторожность. Впереди него мелькало какое-то неясное белое пятно.

Они с волчицей бежали по узкой прогалине, окаймленной по обеим сторонам зарослью молодых сосен и выходившей на залитую луной поляну. Старый волк настигал мелькавшее перед ним пятнышко. Каждый его прыжок сокращал расстояние между ними. Вот оно уже совсем близко. Еще один прыжок — и зубы волка вопьются в него. Но прыжка этого так и не последовало. Белое пятно, оказавшееся кроликом, взвилось высоко в воздухе прямо над головой Одноглазого и стало подпрыгивать и раскачиваться там, наверху, не касаясь земли, точно танцуя какой-то фантастический танец.

С испуганным фырканьем Одноглазый отскочил назад и, припав на снег, грозно зарычал на этот страшный и непонятный предмет. Однако волчица преспокойно обошла его, примерилась к прыжку и подскочила, стараясь схватить кролика. Она взвилась высоко, но промахнулась и только лязгнула зубами. За первым прыжком последовали второй и третий.

Медленно поднявшись, Одноглазый наблюдал за волчицей. Наконец ее промахи рассердили его, он подпрыгнул сам и, ухватив кролика зубами, опустился на землю вместе с ним. Но в ту же минуту позади послышался какой-то подозрительный шорох, и Одноглазый увидел склонившуюся над ним молодую сосну, которая готова была вот-вот ударить его. Челюсти волка разжались; оскалив зубы, он метнулся от этой непонятной опасности назад, в горле его заклокотало рычание, шерсть встала дыбом от ярости и страха. А стройное деревце выпрямилось, и кролик снова заплясал высоко в воздухе.

Волчица рассвирепела. Она укусила Одноглазого в плечо, а он, испуганный этим неожиданным наскоком, с остервенением полоснул ее зубами по морде. Такой отпор, в свою очередь, оказался неожиданностью для волчицы, и она накинулась на Одноглазого, рыча от негодования. Тот уже понял свою ошибку и попытался умилостивить волчицу, но она продолжала кусать его. Тогда, оставив все надежды на примирение, Одноглазый начал

увертываться от ее укусов, пряча голову и подставляя под ее зубы то одно плечо, то другое.

Тем временем кролик продолжал плясать в воздухе. Волчица уселась на снегу. И Одноглазый, боясь теперь своей подруги еще больше, чем таинственной сосны, снова сделал прыжок. Схватив кролика и опустившись с ним на землю, он уставился своим единственным глазом на деревце. Как и прежде, оно согнулось до самой земли. Волк съежился, ожидая неминуемого удара, шерсть на нем встала дыбом, но зубы не выпускали добычи. Однако удара не последовало. Деревце так и осталось склоненным над ним. Стоило волку двинуться, как сосна тоже двигалась, и он ворчал на нее сквозь стиснутые челюсти; когда он стоял спокойно, деревце тоже не шевелилось, и волк решил, что так безопаснее. Но теплая кровь кролика была такая вкусная!

Из этого затруднительного положения Одноглазого вывела волчица. Она взяла у него кролика и, пока сосна угрожающе раскачивалась и колыхалась над ней, спокойно отгрызла ему голову. Сосна сейчас же выпрямилась и больше не беспокоила их, заняв подобающее ей вертикальное положение, в котором дереву положено расти самой природой. А волчица с Одноглазым поделили между собой добычу, пойманную для них этой таинственной сосной.

Много попадалось им таких тропинок и прогалин, где кролики раскачивались высоко в воздухе, и волчья пара обследовала их все. Волчица всегда была первой, а Одноглазый шел за ней следом, наблюдая и учась, как надо обкрадывать капканы. И наука эта впоследствии сослужила ему хорошую службу.

Глава вторая

ЛОГОВИЩЕ

Два дня и две ночи бродили волчица и Одноглазый около индейского поселка. Одноглазый беспокоился и трусил, а волчицу поселок чем-то притягивал, и она никак не хотела уходить. Но однажды утром, когда в воздухе, совсем неподалеку от них, раздался выстрел и пуля ударила в дерево всего в нескольких дюймах от головы Одно-

глазого, волки уже больше не колебались и пустились в путь длинными ровными прыжками, быстро увеличивая расстояние между собой и опасностью.

Они бежали недолго — всего дня три. Волчица все с большей настойчивостью продолжала свои поиски. Она сильно отяжелела за эти дни и не могла быстро бегать. Однажды, погнавшись за кроликом, которого в обычное время ей ничего не стоило бы поймать, она вдруг оставила погоню и прилегла на снег отдохнуть. Одноглазый подошел к ней, но не успел он тихонько коснуться носом ее шеи, как она с такой яростью укусила его, что он упал на спину и, являя собой весьма комическое зрелище, стал отбиваться от ее зубов. Волчица сделалась еще раздражительнее, чем прежде; но Одноглазый был терпелив и заботлив, как никогда.

И вот наконец волчица нашла то, что искала. Нашла в нескольких милях вверх по течению небольшого ручья, летом впадавшего в Макензи; теперь, промерзнув до каменистого дна, ручей затих, превратившись от истоков до устья в сплошной лед. Волчица усталой рысцой бежала позади Одноглазого, ушедшего далеко вперед, и вдруг приметила, что в одном месте высокий глинистый берег нависает над ручьем. Она свернула в сторону и подбежала туда. Буйные весенние ливни и тающие снега размыли узкую трещину в береге и образовали там небольшую пещеру.

Волчица остановилась у входа в нее и внимательно оглядела наружную стену пещеры, потом обежала ее с обеих сторон до того места, где обрыв переходил в пологий скат. Вернувшись к пещере, она вошла внутрь через узкое отверстие. Первые фута три ей пришлось ползти, потом стены раздались вширь и ввысь, и волчица вышла на небольшую круглую площадку футов шести в диаметре. Головой она почти касалась потолка. Внутри было сухо и уютно. Волчица принялась обследовать пещеру, а Одноглазый стоял у входа и терпеливо наблюдал за ней. Опустив голову и почти касаясь носом близко сдвинутых лап, волчица несколько раз перевернулась вокруг себя, не то с усталым вздохом, не то с ворчанием подогнула ноги и растянулась на земле, головой ко входу. Одноглазый, навострив уши, посмеивался над ней, и волчице было видно, как кончик его хвоста добродушно ходит взад и вперед на фоне светлого пятна — входа в пещеру. Она прижала свои

острые уши, открыла пасть и высунула язык, всем своим видом выражая полное удовлетворение и спокойствие.

Одноглазому хотелось есть. Он заснул у входа в пещеру, но сон его был тревожен. Он то и дело просыпался и, навострив уши, прислушивался к тому, что говорил ему мир, залитый ярким апрельским солнцем, играющим на снегу. Лишь только Одноглазый начинал дремать, до ушей его доносился еле уловимый шепот невидимых ручейков, и он поднимал голову, напряженно вслушиваясь в эти звуки. Солнце снова появилось на небе, и пробуждающийся Север слал свой призыв волку. Все вокруг оживало. В воздухе чувствовалась весна, под снегом зарождалась жизнь, деревья набухали соком, почки сбрасывали с себя ледяные оковы.

Одноглазый беспокойно поглядывал на свою подругу, но она не выказывала ни малейшего желания подняться с места. Он посмотрел по сторонам, увидел стайку пуночек, вспорхнувших неподалеку от него, приподнялся, но, взглянув еще раз на свою подругу, лег и снова задремал. До его слуха донеслось слабое жужжание. Сквозь дремоту он несколько раз обмахнул лапой морду, потом проснулся. У кончика его носа с жужжанием вился комар. Комар был большой,— вероятно, он провел всю зиму в сухом пне, а теперь солнце вывело его из оцепенения. Волк был не в силах противиться зову окружающего мира; кроме того, ему хотелось есть.

Одноглазый подполз к своей подруге и попробовал убедить ее подняться. Но она только огрызнулась на него. Тогда волк решил отправиться один и, выйдя на яркий солнечный свет, увидел, что снег под ногами проваливается и путешествие будет делом не легким. Он побежал вверх по замерзшему ручью, где снег в тени деревьев был все еще твердый. Побродив часов восемь, Одноглазый вернулся затемно, еще голоднее прежнего. Он не раз видел дичь, но не мог поймать ее. Кролики легко скакали по таявшему насту, а он проваливался и барахтался в снегу.

Какое-то смутное подозрение заставило Одноглазого остановиться у входа в пещеру. Оттуда доносились странные слабые звуки. Они не были похожи на голос волчицы, но вместе с тем в них чудилось что-то знакомое. Он осторожно вполз внутрь и услышал предостерегающее рычание своей подруги. Это не смутило Одноглазого, но заставило все же держаться в некотором отдалении; его интересо-

вали другие звуки — слабое, приглушенное повизгиванье и плач.

Волчица сердито заворчала на него. Одноглазый свернулся клубком у входа в пещеру и заснул. Когда наступило утро и в логовище проник тусклый свет, волк снова стал искать источник этих смутно знакомых звуков. В предостерегающем рычании волчицы появились новые нотки: в нем слышалась ревность,— и это заставляло волка держаться от нее на почтительном расстоянии. И все-таки ему удалось разглядеть, что между ногами волчицы, прильнув к ее животу, копошились пять маленьких живых клубочков; слабые, беспомощные, они тихо повизгивали и не открывали глаз на свет. Волк удивился. Это случалось не в первый раз в его долгой и удачливой жизни, это случалось часто, и все-таки каждый раз он заново удивлялся. Волчица смотрела на него с беспокойством. Время от времени она тихо ворчала, а когда волк, как ей казалось, подходил слишком близко, это ворчание становилось грозным. Инстинкт, опережающий у всех матерей-волчиц опыт, смутно подсказывал ей, что отцы могут съесть свое беспомощное потомство, хотя до сих пор она не знала такой беды. И страх заставлял ее гнать Одноглазого от порожденных им волчат.

Впрочем, волчатам ничто не грозило. Старый волк, в свою очередь, почувствовал веление инстинкта, перешедшего к нему от его отцов. Не задумываясь над ним, не противясь ему, он ощутил это веление всем своим существом и, повернувшись спиной к своему новорожденному семейству, отправился на поиски пищи.

В пяти-шести милях от логовища ручей разветвлялся, и оба его рукава под прямым углом поворачивали к горам. Волк пошел вдоль левого рукава и вскоре наткнулся на чьи-то следы. Обнюхав их и убедившись, что следы совсем свежие, он припал на снег и взглянул в том направлении, куда они вели. Потом не спеша повернулся и побежал вдоль правого рукава. Следы были гораздо крупнее его собственных,— и он знал, что там, куда они приведут, надежды на добычу мало.

Пробежав с полмили вдоль правого рукава, волк уловил своим чутким ухом какой-то скрежещущий звук. Подкравшись ближе, он увидел дикобраза, который, встав на задние лапы, точил зубы о дерево. Одноглазый осторожно подобрался к нему, не надеясь, впрочем, на удачу. Так да-

леко на севере дикобразы ему не попадались, но он знал этих зверьков, хотя за всю свою жизнь ни разу не попробовал их мяса. Однако опыт научил волка, что бывает в жизни счастье или удача, и он продолжал подбираться к дикобразу. Трудно угадать, чем кончится эта встреча, ведь исхода борьбы с живым существом никогда нельзя знать заранее.

Дикобраз свернулся клубком, растопырив во все стороны свои длинные острые иглы, и нападение стало теперь невозможным. В молодости Одноглазый ткнулся однажды мордой в такой же вот безжизненный с виду клубок игл и неожиданно получил удар хвостом по носу. Одна игла так и осталась торчать у него в носу, причиняя жгучую боль, и вышла из раны только через несколько недель. Он лег, приготовившись к прыжку и держа нос на расстоянии целого фута от хвоста дикобраза. Замерев на месте, он ждал. Кто знает? Все может быть. Вдруг дикобраз развернется. Вдруг представится случай ловким ударом лапы распороть нежное, ничем не защищенное брюхо.

Но через полчаса Одноглазый поднялся, злобно зарычал на неподвижный клубок и побежал дальше. Слишком часто приходилось ему в прошлом караулить дикобразов — вот так же, без всякого толка,— чтобы сейчас тратить на это время. И он побежал дальше по правому рукаву ручья. День подходил к концу, а его поиски все еще не увенчались успехом.

Проснувшийся инстинкт отцовства управлял волком. Он знал, что пищу надо найти во что бы то ни стало. В полдень ему попалась белая куропатка. Он выбежал из зарослей кустарника и очутился нос к носу с этой глупой птицей. Она сидела на пне в каком-нибудь футе от его морды. Они увидели друг друга одновременно. Птица испуганно взмахнула крыльями, но волк ударил ее лапой, сшиб на землю и схватил зубами как раз в тот миг, когда она заметалась по снегу, пытаясь взлететь на воздух. Как только зубы Одноглазого вонзились в нежное мясо, ломая хрупкие кости, челюсти его заработали. Потом он вдруг вспомнил что-то и пустился бежать к пещере, прихватив куропатку с собой.

Пробежав еще с милю своей бесшумной поступью, скользя, словно тень, и внимательно приглядываясь к каждому новому береговому изгибу, он опять наткнулся на следы все тех же больших лап. Следы удалялись в ту сто-

рону, куда лежал и его путь, и он приготовился в любую минуту встретить обладателя этих лап.

Волк осторожно высунул голову из-за скалы в том месте, где ручей круто поворачивал в сторону, и его зоркий глаз заприметил нечто такое, что заставило его сейчас же прильнуть к земле. Это был тот самый зверь, который оставил большие следы на снегу,— крупная самка-рысь. Она лежала перед свернувшимся в тугой клубок дикобразом в той же позе, в какой рано утром лежал перед таким же дикобразом и сам волк. Если раньше Одноглазого можно было сравнить со скользящей тенью, то теперь это был призрак той тени, осторожно огибающий с подветренной стороны безмолвную, неподвижную пару — дикобраза и рысь.

Волк лег на снег, положив куропатку рядом с собой, и сквозь иглы низкорослой сосны стал пристально следить за игрой жизни, развертывающейся у него на глазах,— за рысью и дикобразом, которые хоть и притаились, но были полны сил и отстаивали каждый свое существование. Смысл же этой игры заключался в том, что один из ее участников хотел съесть другого, а тот не хотел быть съеденным. Старый волк тоже принимал участие в этой игре из своего прикрытия, надеясь, а вдруг счастье окажется на его стороне и он добудет пищу, необходимую ему, чтобы жить.

Прошло полчаса, прошел час; все оставалось по-прежнему. Клубок игл сохранял полную неподвижность, и его легко можно было принять за камень; рысь превратилась в мраморное изваяние; а Одноглазый — тот был точно мертвый. Однако все трое жили такой напряженной жизнью, напряженной почти до ощущения физической боли, что вряд ли когда-нибудь им приходилось чувствовать в себе столько сил, сколько они чувствовали сейчас, когда тела их казались окаменелыми.

Одноглазый подался вперед, насторожившись еще больше. Там, за сосной, произошли какие-то перемены. Дикобраз в конце концов решил, что враг его удалился. Медленно, осторожно стал он расправлять свою непроницаемую броню. Его не тревожило ни малейшее подозрение. Колючий клубок медленно-медленно развернулся и начал выпрямляться. Одноглазый почувствовал, что рот у него наполняется слюной при виде живой дичи, лежавшей перед ним, как готовое пиршество.

Еще не успев развернуться до конца, дикобраз увидел своего врага. И в это мгновение рысь ударила его.

Удар был быстрый, как молния. Лапа с крепкими когтями, согнутыми, как у хищной птицы, распорола нежное брюхо и тотчас же отдернулась назад. Если бы дикобраз развернулся во всю длину или заметил врага на какую-нибудь десятую долю секунды позже, лапа осталась бы невредимой, но в то мгновение, когда рысь отдернула лапу, дикобраз ударил ее сбоку хвостом и вонзил в нее свои острые иглы.

Все произошло одновременно: удар, ответный удар, предсмертный визг дикобраза и крик раненой большой кошки, ошеломленной болью. Одноглазый привстал, навострил уши и вытянул хвост, дрожащий от волнения. Рысь не помнила себя от злобы; она с яростью набросилась на зверя, причинившего ей такую боль. Но дикобраз, хрипя, взвизгивая и пытаясь свернуться в клубок, чтобы спрятать вывалившиеся из распоротого брюха внутренности, еще раз ударил хвостом. Большая кошка снова взвыла от боли и с фырканьем отпрянула назад; нос ее, весь утыканный иглами, стал похож на подушку для булавок. Она царапала его лапами, стараясь избавиться от этих жгучих, как огонь, стрел, тыкалась мордой в снег, терлась о ветки и прыгала вперед, назад, направо, налево, не помня себя от безумной боли и страха.

Не переставая фыркать, рысь судорожно дергала своим коротким хвостом, потом мало-помалу затихла. Одноглазый продолжал следить за ней и вдруг вздрогнул и ощетинился: рысь с отчаянным воем взметнулась высоко в воздух и кинулась прочь, сопровождая каждый свой прыжок пронзительным визгом. И только тогда, когда она скрылась и визги ее замерли вдали, Одноглазый решился выйти вперед. Он ступал с такой осторожностью, как будто весь снег был усыпан иглами, готовыми каждую минуту вонзиться в мягкие подушки на его лапах. Дикобраз встретил появление волка яростным визгом и лязганьем зубов. Он ухитрился кое-как свернуться, но это уже не был прежний непроницаемый клубок: порванные мускулы не повиновались ему — он был разорван почти пополам и истекал кровью.

Одноглазый хватал пастью и с наслаждением глотал окровавленный снег. После такой закуски голод его только усилился; но он недаром пожил на свете,— жизнь научила

его осторожности. Надо было выждать время. Он лег на снег перед дикобразом, а тот скрежетал зубами, хрипел и тихо повизгивал. Несколько минут спустя Одноглазый заметил, что иглы дикобраза мало-помалу опускаются и по всему его телу пробегает дрожь. Потом дрожь сразу прекратилась. Длинные зубы лязгнули в последний раз, иглы опустились, тело обмякло и больше уже не двигалось.

Робким, боязливым движением лапы Одноглазый растянул дикобраза во всю длину и перевернул его на спину. Все обошлось благополучно. Дикобраз был мертв. После внимательного осмотра волк осторожно взял свою добычу в зубы и побежал вдоль ручья, волоча ее за собой и повернув голову в сторону, чтобы не наступать на колючие иглы. Но вдруг он вспомнил что-то, бросил дикобраза и вернулся к куропатке. Он не колебался ни минуты, он знал, что надо сделать: надо съесть куропатку. И, съев ее, Одноглазый побежал туда, где лежала его добыча.

Когда он втащил свою ношу в логовище, волчица осмотрела ее, подняла голову и лизнула волка в шею. Но сейчас же вслед за тем она легонько зарычала, отгоняя его от волчат; правда, на этот раз рычание было не такое уж злобное: в нем слышалось скорее извинение, чем угроза. Инстинктивный страх перед отцом ее потомства постепенно пропадал. Одноглазый вел себя, как и подобало волку-отцу, и не проявлял беззаконного желания сожрать малышей, произведенных ею на свет.

Глава третья

СЕРЫЙ ВОЛЧОНОК

Он сильно отличался от своих братьев и сестер. Их шерсть уже принимала рыжеватый оттенок, унаследованный от матери-волчицы, а он пошел весь в Одноглазого. Он был единственным серым волчонком во всем помете. Он родился настоящим волком и очень напоминал отца, с той лишь разницей, что у него самого было два глаза, а у отца — один.

Глаза у серого волчонка только недавно открылись, а он уже хорошо видел. И, даже когда глаза у него были еще закрыты, чувства обоняния, осязания и вкуса уже

служили ему. Он прекрасно знал своих двух братьев и двух сестер. Он поднимал с ними неуклюжую возню, подчас уже переходившую в драку, и его горлышко начинало дрожать от хриплых звуков, предвестников рычания. Задолго до того, как у него открылись глаза, он научился по запаху, осязанию и вкусу узнавать волчицу — источник тепла, пищи и нежности. И, когда она своим мягким, ласкающим языком касалась его нежного тельца, он успокаивался, прижимался к ней и мирно засыпал.

Первый месяц его жизни почти весь прошел во сне; но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало-помалу начинал знакомиться с миром. Мир его был темен, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Волчонка окружала полутьма, но глазам его не приходилось приспосабливаться к иному освещению. Мир его был очень мал: он ограничивался стенами логовища; волчонок не имел никакого понятия о необъятности внешнего мира, и поэтому жизнь в таких тесных пределах не казалась ему тягостной.

Впрочем, он очень скоро обнаружил, что одна из стен его мира отличается от других,— там был выход из пещеры, и оттуда шел свет. Он обнаружил, что эта стена не похожа на другие, еще задолго до того, как у него появились мысли и осознанные желания. Она непреодолимо влекла к себе волчонка еще в ту пору, когда он не мог видеть ее. Свет, идущий оттуда, бил ему в сомкнутые веки, и его зрительные нервы отвечали на эти теплые искорки, вызывавшие такое приятное и вместе с тем странное ощущение. Жизнь его тела, каждой клеточки его тела, жизнь, составляющая самую его сущность и действующая помимо его воли, рвалась к этому свету, влекла его к нему, так же как сложный химический состав заставляет растение поворачиваться к солнцу.

Еще задолго до того, как в волчонке забрезжило сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры. Сестры и братья не отставали от него. И в эту пору их жизни никто из них не забирался в темные углы у задней стены. Свет привлекал их к себе, как будто они были растениями; химический процесс, называющийся жизнью, требовал света; свет был необходимым условием их существования; и крохотные щенячьи тельца тянулись к нему, точно усики виноградной лозы, не размышляя, повинуясь только инстинкту. Позднее, когда в каждом из них начала

проявляться индувидуальность, когда у каждого появились желания и сознательные побуждения, тяга к свету только усилилась. Они непрестанно ползли и тянулись к нему, и матери приходилось то и дело загонять их обратно.

Вот тут-то волчонок узнал и другие особенности своей матери, помимо ее мягкого, ласкающего языка.

Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у матери есть нос, которым она в наказание может отбросить его назад; затем он узнал и лапу, умевшую примять его к земле и быстрым, точно рассчитанным движением перекатить в угол. Так он впервые испытал боль и стал избегать ее, сначала просто не подвергая себя такому риску, а потом научившись увертываться и удирать от наказания. Это уже были сознательные поступки — результат появившейся способности обобщать явления мира. До сих пор он увертывался от боли бессознательно,— так же бессознательно, как и лез к свету. Но теперь он увертывался от нее потому, что знал, что такое боль.

Он был очень свирепым волчонком. И такими же были его братья и сестры. Этого и следовало ожидать. Ведь он был хищником и происходил из рода хищников, питавшихся мясом. Молоко, которое он сосал с первого же дня своей едва теплившейся жизни, перерабатывалось из мяса; и теперь, когда ему исполнился месяц и глаза его уже целую неделю были открыты, он тоже начал есть мясо, наполовину пережеванное волчицей для ее пяти подросших детенышей, которым теперь не хватало молока.

С каждым днем серый волчонок становился все злее и злее. Рычание получалось у него более хриплым и громким, чем у братьев и сестер, припадки щенячьей ярости были страшнее. Он первый научился ловким ударом лапы опрокидывать их навзничь. И он же первый схватил другого волчонка за ухо и принялся теребить и таскать его из стороны в сторону, яростно рыча сквозь стиснутые челюсти. И, уж конечно, он больше всех других волчат причинял беспокойство матери, старавшейся отогнать свой выводок от выхода из пещеры.

Свет с каждым днем все сильнее и сильнее манил к себе серого волчонка. Он поминутно пускался в странствования по пещере, стремясь к выходу из нее, и так же поминутно его оттаскивали назад. Правда, он не знал, что это был выход. Он не подозревал о существовании разных входов и выходов, которые ведут из одного места в другое.

Он вообще не имел понятия о существовании других мест, а о способах добраться туда и подавно. Поэтому выход из пещеры казался ему стеной — стеной света. Чем солнце было для живущих на воле, тем для него была эта стена — солнцем его мира. Она притягивала его к себе, как огонь притягивает бабочку. Он беспрестанно стремился добраться туда. Жизнь, быстро растущая в нем, толкала его к стене света. Жизнь, таившаяся в нем, знала, что это единственный путь в мир — путь, на который ему суждено ступить. Но сам он ничего не знал об этом. Он не знал, что внешний мир существует.

У этой стены света было одно странное свойство. Его отец (а волчонок уже признал в нем одного из обитателей своего мира — похожее на мать существо, которое спит ближе к свету и приносит пищу) — его отец имел обыкновение проходить прямо сквозь далекую светлую стену и исчезать за ней. Серый волчонок не мог понять этого. Мать не позволяла ему приближаться к светлой стене, но он подходил к другим стенам пещеры, и всякий раз его нежный нос натыкался на что-то твердое. Это причиняло боль. И после нескольких таких путешествий обследование стен прекратилось. Не задумываясь, он принял исчезновение отца за его отличительное свойство, так же как молоко и мясная жвачка были отличительными свойствами матери.

В сущности говоря, серый волчонок не умел мыслить, во всяком случае так, как мыслят люди. Мозг его работал в потемках. И все-таки его выводы были не менее четки и определенны, чем выводы людей. Он принимал вещи такими, как они есть, не утруждая себя вопросом, почему случилось то-то или то-то. Достаточно было знать, что это случилось. Таков был его метод познания окружающего мира. И поэтому, ткнувшись несколько раз подряд носом в стены пещеры, он примирился с тем, что не может проходить сквозь них, не может делать то, что делает отец. Но желание разобраться в разнице между отцом и собой никогда не возникало у него. Логика и физика не принимали участия в формировании его мозга.

Как и большинству обитателей Северной глуши, ему рано пришлось испытать чувство голода. Наступили дни, когда отец перестал приносить мясо, когда даже материнские соски не давали молока. Волчата повизгивали и скулили и бóльшую часть времени проводили во сне; потом

на них напало голодное оцепенение. Не было уже возни и драк, никто из них не приходил в ярость, не пробовал рычать; и путешествия к далекой белой стене прекратились. Они спали, а жизнь, чуть теплившаяся в них, мало-помалу гасла.

Одноглазый совсем потерял покой. Он рыскал повсюду и мало спал в логовище, которое стало теперь унылым и безрадостным. Волчица тоже оставила свой выводок и вышла на поиски корма. В первые дни после рождения волчат Одноглазый не раз наведывался к индейскому поселку и обкрадывал кроличьи силки, но, как только снег растаял и реки вскрылись, индейцы ушли дальше, и этот источник пищи иссяк.

Когда серый волчонок немного окреп и снова стал интересоваться далекой белой стеной, он обнаружил, что население его мира сильно уменьшилось. У него осталась только одна сестра. Остальные исчезли. Лишь только силы вернулись к нему, он стал играть, но играть в одиночестве, потому что сестра не могла ни поднять головы, ни шевельнуться. Его маленькое тело округлилось от мяса, которое он ел теперь; а для нее пища пришла слишком поздно. Она все время спала, и искра жизни в ее маленьком тельце, похожем на обтянутый кожей скелет, мерцала все слабее и слабее и наконец угасла.

Потом наступило время, когда Одноглазый перестал появляться сквозь стену и исчезать за ней; место, где он спал у входа в пещеру, опустело. Это случилось в конце второй, менее свирепой голодовки. Волчица знала, почему Одноглазый не вернулся в логовище, но не могла рассказать серому волчонку о том, что ей пришлось увидеть.

Отправившись за добычей вверх по левому рукаву ручья, туда, где жила рысь, она напала на вчерашний след Одноглазого. И там, где следы кончились, она нашла его самого, вернее, то, что от него осталось. Все кругом говорило о недавней схватке и о том, что, выиграв эту схватку, рысь ушла к себе в нору. Волчица отыскала эту нору, но, судя по многим признакам, рысь была там, и волчица не решилась войти к ней.

После этого волчица перестала охотиться на левом рукаве ручья. Она знала, что у рыси в норе есть детеныши и что сама рысь славится своей злобой и неустрашимостью в драках. Трем-четырем волкам ничего не стоит загнать

на дерево фыркающую, ощетинившуюся рысь; однако совсем иное дело встретиться с ней с глазу на глаз, особенно когда знаешь, что за спиной у нее голодный выводок.

Но Северная глушь есть Северная глушь, и материнство есть материнство — оно не останавливается ни перед чем как в Северной глуши, так и вне ее; и неминуемо должен был настать день, когда ради своего серого детеныша волчица отважится пойти по левому рукаву, к норе в скалах, навстречу разъяренной рыси.

Глава четвертая

СТЕНА МИРА

К тому времени, когда мать стала оставлять пещеру и уходить на охоту, волчонок уже постиг закон, согласно которому ему запрещалось приближаться к выходу из логовища. Закон этот много раз внушала ему мать, толкая его то носом, то лапой, да и в нем самом начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою короткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего такого, что могло испугать его, и все-таки он знал, что такое страх. Страх перешел к волчонку от отдаленных предков, через тысячу тысяч жизней. Это было наследие, полученное им непосредственно от Одноглазого и волчицы; но и к ним, в свою очередь, оно перешло через все поколения волков, бывших до них. Страх — наследие Северной глуши, и ни одному зверю не удается от него избавиться или променять его на чечевичную похлебку!

Итак, серый волчонок знал страх, хотя и не понимал его сущности. Он, вероятно, примирился с ним, как с одной из преград, которые ставит жизнь. А в том, что такие преграды существуют, ему уже пришлось убедиться: он испытал голод и, не имея возможности утолить его, наткнулся на преграду своим желаниям. Плотные стены пещеры, резкие толчки носом, которыми наделяла его мать, сокрушительный удар ее лапы, неутоленный голод выработали в нем уверенность, что не все в мире дозволено, что в жизни существует множество ограничений и запретов. И эти ограничения и запреты были законом. Повиноваться им — значило избегать боли и всяких жизненных осложнений.

Волчонок не размышлял обо всем этом так, как размышляют люди. Он просто разграничил окружающий мир на то, что причиняет боль, и то, что боли не причиняет, и, разграничив, старался избегать всего, причиняющего боль — то есть запретов и преград,—и пользоваться только наградами и радостями, которые дает жизнь.

Вот почему, повинуясь закону, внушенному матерью, повинуясь неведомому закону страха, волчонок держался подальше от выхода из пещеры. Выход все еще казался ему светлой белой стеной. Когда матери в пещере не было, он большей частью спал, а просыпаясь, лежал тихо и сдерживал жалобное повизгивание, которое щекотало ему горло и рвалось наружу.

Проснувшись однажды, он услышал у белой стены непривычные звуки. Он не знал, что это была росомаха, которая остановилась у входа в пещеру и, трепеща от собственной дерзости, осторожно принюхивалась к идущим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно: звуки были непривычные, странные, а значит, неизвестные и страшные,— ведь неизвестное было одним из основных элементов, из которых складывался страх.

Шерсть на спине у волчонка встала дыбом, но он молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки надо ощетиниться? У него не было такого опыта в прошлом,— и все же так проявлялся в нем страх, которому нельзя было найти объяснения в прожитой им жизни. Но страх сопровождался еще одним инстинктивным желанием — желанием притаиться, спрятаться. Волчонка охватил ужас, но он лежал без звука, без движения, застыв, окаменев,— лежал как мертвый. Вернувшись домой и учуяв следы росомахи, его мать зарычала, бросилась в пещеру и с необычной для нее нежностью принялась лизать и ласкать волчонка. И волчонок понял, что ему удалось избежать сильной боли.

Но в нем действовали и другие силы, главной из которых был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения, а рост требовал неповиновения. Мать и страх заставляли держаться подальше от белой стены, но рост есть жизнь, а жизни положено вечно тянуться к свету — и никакими преградами нельзя было остановить волны жизни, поднимавшейся в нем, поднимавшейся с каждым съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха. И наконец страх и послушание были отброшены в сторону напором

жизни, и в один прекрасный день волчонок неверными, робкими шагами направился к выходу из пещеры.

В противоположность другим стенам, с которыми ему приходилось сталкиваться, эта стена, казалось, отступала все дальше и дальше, по мере того как он приближался к ней. Испытующе вытянув вперед свой маленький, нежный нос, он ждал, что натолкнется на твердую поверхность, но стена оказалась такой же прозрачной и проницаемой, как свет. Волчонок вошел в то, что мнилось ему стеной, и погрузился в составляющее ее вещество.

Это сбивало его с толку — ведь он полз сквозь что-то твердое! А свет становился все ярче и ярче. Страх гнал волчонка назад, но крепнущая жизнь заставляла идти дальше. А вот и выход из пещеры. Стена, внутри которой, как ему казалось, он находился, неожиданно отошла неизмеримо далеко. От яркого света стало больно глазам, он ослеплял волчонка; внезапно раздвинувшееся пространство кружило ему голову. Глаза понемногу привыкали к яркому свету и приноравливались к увеличивавшемуся расстоянию между предметами. Сначала стена отодвинулась так далеко, что потерялась из виду. Теперь он снова разглядел ее, но она отступила вдаль и выглядела уже совсем по-другому. Стена стала пестрой: в нее входили деревья, окаймляющие ручей, и гора, возвышающаяся позади деревьев, и небо, которое было еще выше горы.

На волчонка напал ужас. Неизвестных и грозных вещей стало еще больше. Он съежился у входа в пещеру и стал смотреть на открывшийся перед ним мир. Как страшно! Все неизвестное казалось ему враждебным. Шерсть у него на спине встала дыбом; он оскалил зубы, пытаясь издать яростное, устрашающее рычание. Крошечный испуганный звереныш бросал вызов и грозил всему миру.

Однако все обошлось благополучно. Волчонок продолжал смотреть и от любопытства даже позабыл, что надо рычать, забыл даже про свой испуг. Жизнь, крепнущая в нем, на время победила страх, и страх уступил место любопытству. Волчонок начал различать то, что было у него перед глазами: открытую часть ручья, сверкающего на солнце, засохшую сосну около откоса и самый откос, поднимающийся прямо к пещере, у входа в которую он примостился.

До сих пор серый волчонок жил на ровной поверхности, ему еще не приходилось испытывать ушибов от падения —

да он и не знал, что такое падение,— поэтому он смело шагнул прямо в воздух. Задние ноги у него задержались на выступе у входа в пещеру, так что он упал головой вниз. Земля больно стукнула его по носу, он жалобно тявкнул и тут же вслед за этим покатился кубарем по откосу. На него напал панический страх. Неизвестное наконец овладело им, оно держало его в своей власти и готовилось причинить ему невыносимую боль. Жизнь, крепнущая в нем, снова уступила место страху, и он завизжал, как завизжал бы всякий перепуганный щенок.

Неизвестное грозило ему; он еще не мог понять чем и выл и визжал не переставая. Это было куда хуже, чем лежать, замирая от страха, когда неизвестное только промелькнуло мимо него. Теперь оно завладело им целиком. Молчание ничему не поможет. Кроме того, теперь его терзал уже не страх, а ужас.

Но откос становился все более пологим, а у его подножия росла трава. Скорость падения уменьшилась. Остановившись наконец, волчонок отчаянно взвыл, потом заскулил протяжно и жалобно; а вслед за тем как ни в чем не бывало, точно ему уже тысячу раз приходилось заниматься своим туалетом, принялся слизывать приставшую к бокам сухую глину.

Покончив с этим, он сел и осмотрелся по сторонам, так же как это сделал бы первый человек, попавший с земли на Марс. Волчонок пробился сквозь стену мира, неизвестное выпустило его из своих объятий, и он остался невредимым. Но первый человек на Марсе встретил бы гораздо меньше необычного для себя, чем волчонок здесь, на земле. Без всякого предварительного знания, без всякой подготовки он очутился в роли исследователя совершенно незнакомого ему мира.

Теперь, когда страшная неизвестность отпустила волчонка на свободу, он забыл обо всех ее ужасах. Он испытывал лишь любопытство ко всему, что его окружало. Он осмотрел траву под собой, кустик брусники чуть подальше, ствол засохшей сосны, которая стояла на краю полянки, окруженной деревьями. Белка выбежала из-за сосны прямо на волчонка и привела его в ужас. Он прижался к земле и зарычал. Но белка перепугалась еще больше; она быстро вскарабкалась на дерево и, очутившись в безопасности, сердито застрекотала оттуда.

Это придало волчонку храбрости, и, хотя дятел, с ко-

торым ему пришлось вслед за тем встретиться, заставил его вздрогнуть, он уверенно продолжал свой путь. Уверенность эта возросла до такой степени, что, когда какая-то дерзкая птица подскочила к волчонку, он, играя, протянул к ней лапу. В ответ на это птица больно клюнула его в нос; он припал к земле и завизжал. Птица испугалась его визга и тут же упорхнула.

Волчонок учился. Его маленький, слабый мозг хоть и бессознательно, но сделал вывод. Вещи бывают живые и неживые. И живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда остаются на одном месте, а живые двигаются, и никогда нельзя знать заранее, что они могут сделать. От них надо ждать всяких неожиданностей, с ними надо быть начеку.

Волчонок шагал неуклюже, он то и дело натыкался на что-нибудь. Ветка, которая, казалось, была так далеко, задевала его по носу или хлестала по бокам; земля была неровная. Он спотыкался, ушибал нос, лапы. Мелкие камни выскальзывали у него из-под ног, лишь только он наступал на них. И наконец волчонок понял, что не все неживые вещи находятся в состоянии устойчивого равновесия, как его пещера, и что маленькие неживые вещи гораздо чаще падают и переворачиваются, чем большие. С каждой своей ошибкой волчонок узнавал все больше и больше. Чем дальше он шел, тем тверже становился его шаг. Он приспособлялся. Он учился рассчитывать свои движения, приноравливаться к своим физическим возможностям, измерять расстояния между различными предметами, а также между ними и собой.

Счастье всегда сопутствует новичкам. Рожденный, чтобы стать охотником (хотя сам он и не знал этого), волчонок напал на дичь сразу около пещеры, в первую же свою вылазку на свет божий. Искусно спрятанное гнездо куропатки попалось ему только вследствие его же собственной неловкости: он свалился на него. Он попробовал пройтись по стволу упавшей сосны, гнилая кора подалась под его ногами, и он с отчаянным визгом сорвался с круглого ствола, упал на куст и, пролетев сквозь листву и ветви, очутился в гнезде, где сидели семь птенцов куропатки.

Птенцы запищали, и волчонок сначала испугался; потом, увидев, что они совсем маленькие, он осмелел. Птенцы двигались. Он примял одного лапой, и тот затрепыхался еще сильнее. Волчонку это очень понравилось. Он обнюхал

птенца, взял его в рот. Птенец бился и щекотал ему язык. В ту же минуту волчонок почувствовал голод. Челюсти его сомкнулись, нежные косточки хрустнули, и он почувствовал на языке теплую кровь. Кровь оказалась очень вкусной. В зубах у него была дичь, такая же дичь, какую ему приносила мать, только гораздо вкуснее, потому что она была живая. Волчонок съел птенца и остановился только тогда, когда покончил со всем выводком. Вслед за тем он облизнулся, точно так же, как это делала его мать, и стал выбираться из куста.

Его встретил крылатый вихрь. Стремительный натиск и яростные удары крыльев ослепили, ошеломили волчонка. Он уткнулся головой в лапы и завизжал. Удары посыпались с новой силой. Куропатка-мать была вне себя от ярости. Тогда волчонок разозлился. Он вскочил с рычанием и начал отбиваться лапами, потом запустил свои мелкие зубы в крыло птицы и принялся что есть силы дергать и таскать ее из стороны в сторону. Куропатка рвалась, ударяя его другим крылом. Это была первая схватка волчонка. Он ликовал. Он забыл весь свой страх перед неизвестным и уже ничего не боялся. Он рвал и бил живое существо, которое наносило ему удары. Кроме того, это живое существо было мясо. Волчонком овладела жажда крови. Он только что уничтожил семь маленьких живых существ. Сейчас он уничтожит большое живое существо. Он был слишком поглощен дракой и слишком счастлив, чтобы ощущать свое счастье. Он весь дрожал от возбуждения, которого до сих пор ему никогда не приходилось испытывать.

Он не выпускал крыла и рычал сквозь стиснутые зубы. Куропатка вытащила его из куста. Когда же она попыталась втащить его туда обратно, он выволок ее на открытое место. Птица кричала и била его свободным крылом, а перья ее разлетались по воздуху, как снежные хлопья. Волчонок уже не помнил себя от ярости, воинственная кровь предков поднялась и забушевала в нем. Сам того не ощущая, волчонок жил в эти минуты полной жизнью. Он выполнял предназначенную ему роль, делал то дело, для которого был рожден,— убивал добычу и дрался, прежде чем убить ее. Он оправдывал свое существование, выполняя высшее назначение жизни, потому что жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда все ее силы устремляются на осуществление поставленных перед ней целей.

Наконец птица перестала бороться. Волчонок все еще держал ее за крыло. Они лежали на земле и смотрели друг на друга. Он попробовал яростно и угрожающе зарычать. Куропатка клюнула его в нос, и без того болевший. Волчонок вздрогнул, но не выпустил крыла. Птица клюнула его еще и еще раз. Он завизжал и попятился, не сообразив, что вместе с крылом потащит за собой и птицу. Град ударов посыпался на его многострадальный нос. Воинственный пыл волчонка погас. Выпустив добычу, он со всех ног пустился в бесславное бегство на другую сторону поляны и лег там возле кустарника, тяжело дыша, высунув язык и жалобно повизгивая. И вдруг предчувствие неминуемой беды сжало ему сердце. Неизвестное со всеми своими ужасами снова обрушилось на волчонка. Он инстинктивно отпрянул под защиту куста. На него пахнуло ветром, и большое крылатое тело в зловещем молчании пронеслось мимо: ястреб, ринувшийся на волчонка из поднебесья, промахнулся.

Пока волчонок лежал под кустом и, мало-помалу приходя в себя, начинал боязливо выглядывать оттуда, на другой стороне поляны из разоренного гнезда выпорхнула куропатка,— горе утраты заставило ее забыть о крылатой молнии небес. Но волчонок все видел, и это послужило ему предостережением и уроком. Он видел, как ястреб камнем упал вниз, пронесся над землей, почти задевая траву крыльями, вонзил когти в куропатку, пронзительно вскрикнувшую от смертельной боли и ужаса, и взмыл ввысь, унося ее с собой.

Волчонок долго не выходил из своего убежища. Он познал многое. Живые существа — это мясо, они приятны на вкус. Но большие живые существа причиняют боль. Надо есть маленьких — таких, как птенцы куропатки, а с большими, как сама куропатка, лучше не связываться. И все же его самолюбие было ущемлено. Ему вдруг захотелось еще раз схватиться с большой птицей — жаль, что ястреб унес ее. А может быть, найдутся другие куропатки? Надо пойти поискать.

Волчонок спустился по отлогому берегу к ручью. Воды он до сих пор еще не видал. На первый взгляд она была вполне надежная, никаких неровностей. Он смело шагнул вперед и, визжа от страха, пошел ко дну, прямо в объятия неизвестного. Стало холодно, у него перехватило дыхание. Вместо воздуха, которым он привык дышать, в легкие хлы-

нула вода. Удушье сдавило ему горло, как смерть. Для волчонка оно было равносильно смерти. Он не знал, что́ такое смерть, но, как и все жители Северной глуши, боялся ее. Она была для него олицетворением самой страшной боли. В ней таилась самая сущность неизвестного, совокупность всех его ужасов. Это была последняя непоправимая беда, которой он страшился, хоть и не мог представить ее себе до конца.

Волчонок выбрался на поверхность и всей пастью глотнул свежего воздуха. На этот раз он не пошел ко дну. Он ударил всеми четырьмя лапами, словно это было для него самым привычным делом, и поплыл. Ближний берег находился в каком-нибудь ярде от волчонка, но он вынырнул спиной к нему и, увидев дальний, сейчас же устремился туда. Ручей был узкий, но как раз в этом месте разливался широкой заводью.

На середине волчонка подхватило и понесло вниз по течению, прямо на маленькие пороги, начинавшиеся там, где русло снова суживалось. Плыть здесь было трудно. Спокойная вода вдруг забурлила. Волчонок то выбивался на поверхность, то уходил с головой под воду. Его кидало из стороны в сторону, переворачивало то на бок, то на спину, ударяло о камни. При каждом таком ударе он взвизгивал, и по этим визгам можно было сосчитать, сколько подводных камней попалось ему на пути.

Ниже порогов, где берега снова расширялись, волчонок попал в водоворот, который легонько отнес его к берегу и так же легонько положил на отмель. Он выкарабкался из воды и лег. Его знакомство с внешним миром продолжалось. Вода была не живая и все-таки двигалась! Кроме того, на первый взгляд она казалась твердой, как земля, на самом же деле твердости в ней не было и в помине. И волчонок пришел к выводу, что вещи не всегда таковы, какими кажутся. Страх перед неизвестным, бывший ничем иным, как унаследованным от предков недоверием к окружающему миру, только усилился после столкновения с действительностью. Отныне в нем на всю жизнь укоренится это недоверие к внешнему виду вещей. И, прежде чем довериться им, он постарается узнать, каковы они на самом деле.

В этот день волчонку было суждено испытать еще одно приключение. Он вдруг вспомнил, что у него есть мать, и почувствовал, что она нужна ему больше всего на свете.

От всех перенесенных испытаний у него устало не только тело — устал и мозг. За всю предыдущую жизнь мозгу его не приходилось так работать, как за один этот день. К тому же волчонку захотелось спать. И он отправился на поиски пещеры и матери, испытывая гнетущее чувство одиночества и полной беспомощности.

Пробираясь сквозь кустарник, волчонок вдруг услышал пронзительный, свирепый крик. Перед глазами у него промелькнуло что-то желтое. Он увидел метнувшуюся в кусты ласку. Ласка была маленькая, и волчонок не испугался ее. Потом у самых своих ног он увидел живое существо, совсем крохотное,— это был детеныш ласки, который, так же как и волчонок, убежал из дому и отправился путешествовать. Крохотная ласка юркнула в траву. Волчонок перевернул ее на спину. Ласка пискнула — голос у нее был скрипучий. В ту же минуту перед глазами у волчонка снова пронеслось желтое пятно. Он услышал свирепый крик, что-то сильно ударило его по голове, и острые зубы ласки-матери впились ему в шею.

Пока он с визгом и воем пятился назад, ласка подбежала к своему детенышу и скрылась с ним в кустах. Боль от укуса все еще не проходила, но боль от обиды давала себя чувствовать еще сильнее, и волчонок сел и тихо заскулил. Ведь ласка-мать была такая маленькая, а кусалась так больно! Волчонок еще не знал, что маленькая ласка — один из самых свирепых, мстительных и страшных хищников Северной глуши, но скоро ему предстояло узнать это.

Он еще не перестал скулить, когда ласка-мать снова появилась перед ним. Она не бросилась на него сразу, потому что теперь ее детеныш был в безопасности. Она приближалась осторожно, так что он мог рассмотреть ее тонкое змеиное тельце и высоко поднятую змеиную головку. В ответ на резкий, угрожающий крик ласки шерсть на спине у волчонка поднялась дыбом, и он зарычал. Она подходила все ближе и ближе. И вдруг прыжок, за которым он не мог уследить своим неопытным глазом,— тонкое желтое тело на одну секунду исчезло из его поля зрения,— и ласка вцепилась ему в горло, глубоко прокусив шкуру.

Волчонок рычал, отбивался, но он был очень молод, это был его первый выход в мир, и поэтому рычание его перешло в визг, и он уже не дрался, а старался вырваться из зубов ласки и убежать. Но ласка не отпускала волчон-

ка. Продолжая висеть у него на шее, она добиралась до вены, где пульсирует жизнь. Ласка любила кровь и предпочитала сосать ее прямо из горла — средоточия жизни.

Серого волчонка ждала верная гибель, и рассказ о нем остался бы ненаписанным, если бы волчица не выскочила из-за кустов. Ласка выпустила его и метнулась к горлу волчицы, но, промахнувшись, вцепилась ей в челюсть. Волчица взмахнула головой, как бичом, зубы ласки сорвались, и она взлетела высоко в воздух. Не дав тонкому желтому тельцу даже опуститься на землю, волчица подхватила его на лету, и ласка встретила свою смерть на ее острых зубах.

Новый прилив материнской нежности послужил наградой волчонку. Мать радовалась еще больше, чем сын. Она легонько подкидывала его носом, зализывала ему раны. А потом оба они поделили между собой кровопийцу-ласку, съели ее, вернулись в пещеру и легли спать.

Глава пятая

ЗАКОН ДОБЫЧИ

Волчонок развивался с поразительной быстротой. Два дня он отдыхал, а затем снова отправился путешествовать. В этот свой выход он встретил молодую ласку, мать которой была съедена с его помощью, и позаботился, чтобы детеныш отправился вслед за матерью. Но теперь он уже не плутал и, устав, нашел дорогу к пещере и лег спать. После этого волчонок каждый день отправлялся на прогулку и с каждым разом заходил все дальше и дальше.

Он привык точно соразмерять свою силу и слабость, соображая, когда надо проявить отвагу, а когда — осторожность. Оказалось, что осторожность следует соблюдать всегда, за исключением тех редких случаев, когда уверенность в собственных силах позволяет дать волю злобе и жадности.

При встречах с куропатками волчонок становился сущим дьяволом. Точно так же не упускал он случая ответить злобным рычанием на трескотню белки, которая попалась ему впервые около засохшей сосны. И один только вид птицы, напоминавшей ему ту, что клюнула его в нос, почти неизменно приводил его в бешенство.

Но бывало и так, что волчонок не обращал внимания

даже на птиц,— и это случалось тогда, когда ему грозило нападение других хищников, которые, так же как он, рыскали в поисках добычи. Волчонок не забыл ястреба и, завидев его тень, скользящую по траве, прятался подальше в кусты. Лапы его больше не разъезжались на ходу в разные стороны: он уже перенял от матери ее легкую, бесшумную походку, быстрота которой была неприметна для глаза.

Что касается охоты, то удачи его кончились с первым же днем. Семь птенцов куропатки и маленькая ласка — вот и вся добыча волчонка. Но жажда убивать крепла в нем день ото дня, и он лелеял мечту добраться когда-нибудь до белки, которая своей трескотней извещала всех обитателей леса о его приближении. Но белка с такой же легкостью лазала по деревьям, с какой птицы летали по воздуху, и волчонку оставалось только одно: незаметно подкрадываться к ней, пока она была на земле.

Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести сыну его долю. Больше того, она ничего не боялась. Волчонку не приходило в голову, что это бесстрашие — плод опыта и знания. Он думал, что бесстрашие есть выражение силы. Мать была олицетворением силы; и, подрастая, он ощутил эту силу и в более резких ударах ее лапы, и в том, что толчки носом, которыми мать наказывала его прежде, заменились теперь свирепыми укусами. Это тоже внушало волчонку уважение к матери. Она требовала от него покорности, и, чем больше он подрастал, тем суровее становилось ее обращение с ним.

Снова наступил голод, и теперь волчонок уже вполне сознательно испытывал его муки. Волчица совсем отощала в поисках пищи. Проводя почти все время на охоте, и большей частью безуспешно, она редко приходила спать в пещеру. На этот раз голодовка была недолгая, но свирепая. Волчонок не мог высосать ни капли молока из материнских сосков, а мяса ему уже давно не перепадало.

Прежде он охотился ради забавы, ради того удовольствия, которое доставляет охота, теперь же принялся за это по-настоящему, и все-таки ему не везло. Но неудачи лишь способствовали развитию волчонка. Он с еще большей старательностью изучал повадки белки и прилагал еще больше усилий к тому, чтобы подкрасться к ней незамеченным. Он выслеживал полевых мышей и учился

выкапывать их из норок, узнал много нового о дятлах и других птицах. И вот наступило время, когда волчонок уже не забирался в кусты при виде скользящей по земле тени ястреба. Он стал сильнее, опытнее, чувствовал в себе бо́льшую уверенность. Кроме того, голод ожесточил его. Теперь он садился посреди поляны на самом видном месте и ждал, когда ястреб спустится к нему. Там, над ним, в синеве неба летала пища — пища, которой так настойчиво требовал его желудок. Но ястреб отказывался принять бой, и волчонок забирался в чащу, жалобно скуля от разочарования и голода.

Голод кончился. Волчица принесла домой мясо. Мясо было необычное, совсем не похожее на то, которое она приносила раньше. Это был детеныш рыси, уже подросший, но не такой крупный, как волчонок. И все мясо целиком предназначалось волчонку. Мать уже успела утолить свой голод, хотя сын ее и не подозревал, что для этого ей понадобился весь выводок рыси. Не подозревал он и того, какой отчаянный поступок пришлось совершить матери. Волчонок знал только одно: молоденькая рысь с бархатистой шкуркой была мясом; и он ел это мясо, наслаждаясь каждым проглоченным куском.

Полный желудок располагает к покою, и волчонок прилег в пещере рядом с матерью и заснул. Его разбудил ее голос. Никогда еще волчонок не слыхал такого страшного рычания. Возможно, за всю свою жизнь его мать никогда не рычала страшнее. Но для такого рычания повод был, и никто не знал этого лучше, чем сама волчица. Выводок рыси нельзя уничтожить безнаказанно.

В ярких лучах полуденного солнца волчонок увидел самку-рысь, припавшую к земле у входа в пещеру. Шерсть у него на спине поднялась дыбом. Ужас смотрел ему в глаза — он понял это, не дожидаясь подсказки инстинкта. И если бы даже вид рыси был недостаточно грозен, то ярость, которая послышалась в ее хриплом визге, внезапно сменившем рычание, говорила сама за себя.

Жизнь, крепнущая в волчонке, словно подтолкнула его вперед. Он зарычал и храбро занял место рядом с матерью. Но его позорно оттолкнули назад. Низкий вход не позволял рыси сделать прыжок; она скользнула в пещеру, но волчица ринулась ей навстречу и прижала ее к земле. Мало что удалось волчонку разобрать в этой схватке. Он слышал только рев, фырканье и пронзительный визг. Оба зверя



катались по земле; рысь рвала свою противницу зубами и когтями, а волчица могла пускать в ход только зубы.

Волчонок подскочил к рыси и с яростным рычанием вцепился ей в заднюю ногу. Тяжестью своего тела он, сам того не подозревая, мешал ее движениям и помогал матери. Борьба приняла новый оборот: сражающиеся подмяли под себя волчонка, и ему пришлось разжать зубы. Но вот обе матери отскочили друг от друга, и рысь, прежде чем снова сцепиться с волчицей, ударила волчонка своей могучей лапой, разорвала ему плечо до самой кости и отбросила его к стене. Теперь к реву сражающихся прибавился жалобный плач. Но схватка так затянулась, что у волчонка было достаточно времени, чтобы наплакаться вдоволь и испытать новый прилив мужества. И к концу схватки он снова вцепился в заднюю ногу рыси, яростно рыча сквозь сжатые челюсти.

Рысь была мертва. Но и волчица ослабела от полученных ран. Она принялась было ласкать волчонка и лизать ему плечо, но потеря крови лишила ее сил, и весь этот день и всю ночь она пролежала около своего мертвого врага, не двигаясь и еле дыша. Следующую неделю, выходя из пещеры только для того, чтобы напиться, волчица еле передвигала ноги, так как каждое движение причиняло ей боль. А потом, когда рысь была съедена, раны волчицы уже настолько зажили, что она могла снова начать охоту.

Плечо у волчонка все еще болело, и он еще долго ходил прихрамывая. Но за это время его отношение к миру изменилось. Он держался теперь с большей уверенностью, с чувством гордости, незнакомой ему до схватки с рысью.



Он убедился, что жизнь сурова; он участвовал в битве; он вонзил зубы в тело врага и остался жив. И это придало ему смелости, в нем появился даже задор, чего раньше не было. Он перестал робеть и уже не боялся мелких зверьков, но неизвестное с его тайнами и ужасами по-прежнему властвовало над ним и не переставало угнетать его.

Волчонок стал сопровождать волчицу на охоту, много раз видел, как она убивает дичь, и сам принимал участие в этом. Он смутно начинал постигать закон *добычи.* В жизни есть две породы — его собственная и чужая. К первой принадлежит он с матерью, ко второй — все остальные существа, обладающие способностью двигаться. Но и они, в свою очередь, не едины. Среди них существуют нехищники и мелкие хищники — те, кого убивают и едят его сородичи; и существуют враги, которые убивают и едят его сородичей или сами попадаются им. И из этого разграничения складывался закон. Цель жизни — добыча. Сущность жизни — добыча. Жизнь питается жизнью. Все живое в мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил: *ешь,* или *съедят тебя самого.* Волчонок не мог ясно и четко сформулировать этот закон и не пытался сделать из него вывод. Он даже не думал о нем, а просто жил согласно его велениям.

Действие этого закона волчонок видел повсюду. Он съел птенцов куропатки. Ястреб съел их мать и хотел съесть самого волчонка. Позднее, когда волчонок подрос, ему захотелось съесть ястреба. Он съел маленькую рысь. Мать-рысь съела бы волчонка, если бы сама не была убита и съедена. Так оно и шло. Все живое вокруг волчонка жило согласно этому закону, крохотной частицей которого яв-

лялся и он сам. Он был хищником. Он питался только мясом, живым мясом, которое убегало от него, взлетало на воздух, карабкалось по деревьям, пряталось под землю или вступало с ним в бой, а иногда и обращало его в бегство.

Если бы волчонок умел мыслить, как человек, он, возможно, пришел бы к выводу, что жизнь — это неутомимая жажда насыщения, а мир — арена, где сталкиваются все те, кто, стремясь к насыщению, преследуют друг друга, охотятся друг за другом, поедают друг друга; арена, где льется кровь, где царит жестокость, слепая случайность и хаос без начала и конца.

Но волчонок не умел мыслить, как человек, и не обладал способностью к обобщениям. Поставив себе какую-нибудь одну цель, он только о ней и думал, только ее одной и добивался. Кроме закона добычи, в жизни волчонка было множество других, менее важных законов, которые все же следовало изучить и, изучив, повиноваться им. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, играющая в волчонке, силы, управляющие его телом, служили ему неиссякаемым источником счастья. Погоня за добычей заставляла его дрожать от наслаждения. Ярость и битвы приносили с собой одно удовольствие. И даже ужасы и тайны неизвестного помогали ему жить.

Кроме этого, в жизни было много других приятных ощущений. Полный желудок, ленивая дремота на солнышке — все это служило волчонку наградой за его рвение и труды, а рвение и труды сами по себе доставляли ему радость. И волчонок жил в ладу с окружающей его враждебной средой. Он был полон сил, он был счастлив и гордился собой.





ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

ТВОРЦЫ ОГНЯ

Волчонок наткнулся на это совершенно неожиданно. Все произошло по его вине. Осторожность — вот что было забыто. Он вышел из пещеры и побежал к ручью напиться. Причиной его оплошности, возможно, было еще и то, что ему хотелось спать. (Вся ночь прошла на охоте, и волчонок только что проснулся.) Но ведь дорога к ручью была ему так хорошо знакома! Он столько раз бегал по ней, и до сих пор все сходило благополучно.

Волчонок спустился по тропинке к засохшей сосне, пересек полянку и побежал между деревьями. И вдруг он одновременно увидел и почуял что-то незнакомое. Перед ним молча сидели на корточках пять живых существ — таких ему еще не приходилось видеть. Это была первая встреча волчонка с людьми. Но люди не вскочили, не оскалили зубов и не зарычали на него. Они не двигались и продолжали сидеть на корточках, храня зловещее молчание.

Не двигался и волчонок. Повинуясь инстинкту, он, не раздумывая, кинулся бы бежать от них, но впервые за всю его жизнь в нем внезапно возникло другое, совершенно противоположное чувство: волчонка объял трепет. Сознание собственной слабости и ничтожества лишило его способности двигаться. Перед ним были власть и сила, неведомые ему до сих пор.

Волчонок никогда еще не видел человека, но инстинктивно понял все его могущество. Где-то в глубине его сознания возникла уверенность, что это живое существо отвоевало себе право первенства у всех остальных обитателей Северной глуши. На человека сейчас смотрела не одна пара глаз — на него уставились глаза всех предков волчонка, круживших в темноте вокруг бесчисленных зимних стоянок, приглядывавшихся издали, из-за густых зарослей, к странному двуногому существу, которое взяло в свои руки власть над всеми другими живыми существами. Волчонок очутился в плену у своих предков, в плену благоговейного страха, рожденного вековой борьбой и опытом, накопленным поколениями. Это наследие подавило волка, который был всего-навсего волчонком. Будь он постарше, он бы убежал. Но сейчас он припал к земле, скованный страхом и готовый изъявить ту покорность, с которой его отдаленный предок шел к человеку, чтобы погреться у разведенного им костра.

Один из индейцев встал, подошел к волчонку и нагнулся над ним. Волчонок еще ниже припал к земле. Неизвестное обрело наконец плоть и кровь, приблизилось к нему и протянуло руку, собираясь схватить его. Шерсть у волчонка поднялась дыбом, губы дрогнули, обнажив маленькие клыки. Рука, нависшая над ним, на минуту задержалась, и человек сказал со смехом:

— Вабам вабиска ип пит та! (Смотрите! Какие белые клыки!)

Остальные громко рассмеялись и стали подзадоривать индейца, чтобы он взял волчонка. Рука опускалась все ниже и ниже, а в волчонке бушевали два инстинкта: один внушал, что надо покориться, другой толкал на борьбу. В конце концов волчонок пошел на сделку с самим собой. Он послушался обоих инстинктов: покорялся до тех пор, пока рука не коснулась его, а потом решил бороться и схватил ее зубами. И сейчас же вслед за тем удар по голове свалил его на бок. Всякая охота бороться пропала.

Волчонок превратился в покорного щенка, сел на задние лапы и заскулил. Но человек, которого он укусил за руку, рассердился. Волчонок получил второй удар по голове и, поднявшись на ноги, заскулил еще громче прежнего.

Индейцы рассмеялись, и даже тот, с укушенной рукой, присоединился к их смеху. Все еще смеясь, они окружили волчонка, продолжавшего выть от боли и ужаса.

И вдруг он насторожился. Индейцы тоже насторожились. Волчонок узнал этот голос и, издав последний протяжный вопль, в котором звучало скорее торжество, чем горе, смолк и стал ждать появления матери — своей неустрашимой, свирепой матери, которая умела сражаться с противниками, умела убивать их и никогда ни перед кем не трусила. Волчица приближалась с громким рычанием: она услыхала крики своего детеныша и бежала к нему на помощь.

Волчица бросилась к людям. Разъяренная, готовая на все, она являла собой малоприятное зрелище, но волчонка ее спасительный гнев только обрадовал.

Он взвизгнул от счастья и кинулся ей навстречу, а люди быстро отступили на несколько шагов назад. Волчица стала между своим детенышем и людьми. Шерсть на ней поднялась дыбом, в горле клокотало яростное рычание, губы и нос судорожно подергивались.

И вдруг один из индейцев крикнул:

— Кичи!

В этом возгласе слышалось удивление.

Волчонок почувствовал, как мать съежилась при звуке человеческого голоса.

— Кичи! — снова крикнул индеец, на этот раз резко и повелительно.

И тогда волчонок увидел, как волчица, его бесстрашная мать, припала к земле, коснувшись ее брюхом, и завиляла хвостом, повизгивая и прося мира. Волчонок ничего не понял. Его охватил ужас. Он снова затрепетал перед человеком. Инстинкт говорил ему правду. И мать подтвердила это. Она тоже выражала покорность людям.

Человек, сказавший «Кичи», подошел к волчице. Он положил ей руку на голову, и волчица еще ниже припала к земле. Она не укусила его, да и не собиралась этого делать. Те четверо тоже подошли к ней, стали ощупывать и гладить ее, но она не протестовала. Волчонок не сводил глаз с людей. Их рты издавали громкие звуки. В этих зву-

ках не было ничего угрожающего. Волчонок прижался к матери и решил смириться, но шерсть у него на спине все-таки стояла дыбом.

— Что же тут удивительного? — заговорил один из индейцев.— Отец у нее был волк, а мать собака. Ведь брат мой привязывал ее весной на три ночи в лесу! Значит, отец Кичи был волк.

— С тех пор как Кичи убежала, Серый Бобр, прошел целый год,— сказал другой индеец.

— И тут нет ничего удивительного, Язык Лосося,— ответил Серый Бобр.— Тогда был голод и собакам не хватало мяса.

— Она жила среди волков,— сказал третий индеец.

— Ты прав, Три Орла,— усмехнулся Серый Бобр, дотронувшись до волчонка,— и вот доказательство твоей правоты.

Почувствовав прикосновение человеческой руки, волчонок глухо зарычал, и рука отдернулась назад, готовясь ударить его. Тогда он спрятал клыки и покорно приник к земле, а рука снова опустилась и стала почесывать у него за ухом и гладить его по спине.

— Вот доказательство твоей правоты,— повторил Серый Бобр.— Кичи — его мать. Но отец у него был волк. Поэтому собачьего в нем мало, а волчьего много. У него белые клыки, и я дам ему кличку Белый Клык. Я сказал. Это моя собака. Разве Кичи не принадлежала моему брату? И разве брат мой не умер?

Волчонок, получивший имя, лежал и слушал. Люди продолжали говорить. Потом Серый Бобр вынул нож из ножен, висевших у него на шее, подошел к кусту и вырезал палку. Белый Клык наблюдал за ним. Серый Бобр сделал на обоих концах палки по зарубке и обвязал вокруг них ремни из сыромятной кожи. Один ремень он надел на шею Кичи, подвел ее к невысокой сосне и привязал второй ремень к дереву.

Белый Клык пошел за матерью и улегся рядом с ней. Язык Лосося протянул к волчонку руку и опрокинул его на спину. Кичи испуганно смотрела на них. Белый Клык почувствовал, как страх снова охватывает его. Он не удержался и зарычал, но кусаться уже не посмел. Рука с растопыренными крючковатыми пальцами стала почесывать ему живот и перекатывать с боку на бок. Лежать на спине с задранными вверх ногами было глупо и унизительно.

Кроме того, Белый Клык чувствовал себя совершенно беспомощным, и все его существо восставало против такого унижения. Но что тут поделаешь? Если этот человек захочет причинить ему боль, он в его власти. Разве можно отскочить в сторону, когда все четыре ноги болтаются в воздухе? И все-таки покорность взяла верх над страхом, и Белый Клык ограничился тихим рычанием. Рычания он не смог подавить, но человек не рассердился и не ударил его по голове. И, как это ни странно, Белый Клык испытывал какое-то необъяснимое удовольствие, когда рука человека гладила его по шерсти взад и вперед. Перевернувшись на бок, он перестал рычать. Пальцы начали скрести и почесывать у него за ухом, и от этого приятное ощущение только усилилось. И, когда наконец человек погладил его в последний раз и отошел, Белый Клык окончательно приободрился. Ему предстояло еще не один раз испытать страх перед человеком, но дружеские отношения между ними зародились в эти минуты.

Спустя немного Белый Клык услышал приближение каких-то странных звуков. Он быстро догадался, что звуки эти исходят от людей. Вскоре на тропинку вереницей вышло все индейское племя, перекочевывавшее на другое место. Их было человек сорок — мужчин, женщин, детей, сгибавшихся под тяжестью лагерного скарба. С ними шло много собак; и все собаки, кроме щенят, тоже были нагружены разной поклажей. Каждая собака несла на спине мешок с вещами фунтов в двадцать — тридцать весом.

Белый Клык никогда еще не видел собак, но сразу почувствовал, что они немногим отличаются от его собственной породы. Учуяв волчонка и его мать, собаки сейчас же доказали, как незначительна эта разница. Началась свалка. Весь ощетинившись, Белый Клык рычал и огрызался на окружившие его со всех сторон разверстые собачьи пасти; собаки повалили волчонка, но он не переставал кусать и рвать их за ноги и за брюхо, чувствуя в то же время, как собачьи зубы впиваются ему в тело. Поднялся оглушительный лай. Волчонок слышал рычание Кичи, рванувшейся ему на подмогу, слышал крики людей, удары палок и визг собак, которым доставались эти удары.

Через несколько секунд волчонок снова был на ногах. Он увидел, что люди отгоняют собак палками и камнями, защищая, спасая его от свирепых клыков этих существ, которые все же чем-то отличались от волчьей породы.

И хотя волчонок не мог ясно представить себе такого отвлеченного понятия, как справедливое возмездие, тем не менее он по-своему почувствовал справедливость человека и признал в нем существо, которое устанавливает закон и следит за его выполнением. Оценил он также способ, которым люди заставляют подчиняться своим законам. Они не кусались и не пускали в ход когти, как все прочие звери, а использовали силу неживых предметов. Неживые предметы подчинялись их воле. Так, камни и палки, брошенные этими странными существами, летали по воздуху, как живые, и наносили собакам чувствительные удары.

Власть эта казалась Белому Клыку необычайной, божественной властью, она выходила за пределы всего мыслимого. Белый Клык по самой природе своей не мог даже подозревать о существовании богов, в лучшем случае он чувствовал, что есть вещи непостижимые. Но благоговение и трепет, которые ему внушали люди, были сродни тому благоговению и трепету, которые ощутил бы человек при виде божества, мечущего с горной вершины молнии на землю.

Но вот последняя собака отбежала в сторону, суматоха улеглась. И Белый Клык принялся зализывать раны, размышляя о своем первом приобщении к стае и о своем первом знакомстве с ее жестокостью. До сих пор ему казалось, что вся их порода состоит из Одноглазого, матери и его самого. Они трое стояли особняком. Но вдруг, совершенно внезапно, обнаружилось, что есть еще много других существ, принадлежащих, очевидно, к его породе. И где-то в глубине сознания у волчонка появилось чувство обиды на своих собратьев, которые, только завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью. Кроме того, он негодовал, что мать привязали к палке, хотя это и было сделано руками высшего существа. Тут попахивало капканом, неволей. Но что волчонок мог знать о капкане, о неволе? Свободу бродить, бегать, лежать, когда заблагорассудится, он унаследовал от предков. Теперь движения волчицы ограничивались длиной палки, и та же самая палка ограничивала и движения волчонка, потому что он еще не мог обойтись без матери.

Волчонку это не нравилось, и, когда люди поднялись и отправились в путь, он окончательно остался недоволен такими порядками, потому что какое-то маленькое человеческое существо взяло в руки палку, к которой была при-

вязана Кичи, и повело ее за собой, как пленницу, а за Кичи побрел и Белый Клык, очень смущенный и обеспокоенный всем происходящим.

Они отправились вниз по речной долине, гораздо дальше тех мест, куда заходил в своих скитаниях Белый Клык, и дошли до самого конца ее, где речка впадала в Макензи. На берегу стояли пироги, поднятые на высокие шесты, лежали решетки для сушки рыбы. Индейцы разбили здесь стоянку. Белый Клык с удивлением осматривался вокруг себя. Могущество людей росло с каждой минутой. Он уже убедился в их власти над свирепыми собаками. Эта власть говорила о силе. Но еще больше изумляла Белого Клыка власть людей над неживыми предметами, их способность изменять лицо мира. Это было самое поразительное. Вот люди установили шесты для вигвамов; тут, собственно, не было ничего примечательного,— это делали те же самые люди, которые умели бросать камни и палки. Однако, когда шесты обтянули кожей и парусиной и они стали вигвамами, Белый Клык окончательно растерялся.

Больше всего его поражали огромные размеры вигвамов. Они росли повсюду с чудовищной быстротой, словно какие-то живые существа. Они занимали почти все поле зрения. Он боялся их. Вигвамы зловеще маячили в вышине. И, когда ветер пробегал по стоянке, вздувая на них парусину и кожу, Белый Клык в страхе припадал к земле, не сводя глаз с этих громад и готовясь отскочить в сторону, как только они начнут валиться на него.

Но скоро Белый Клык привык к вигвамам. Он видел, что женщины и дети входят и выходят оттуда без всякого вреда для себя, что собакам тоже хочется проникнуть внутрь, но люди прогоняют их с бранью и швыряют камни им вслед. К концу дня Белый Клык оставил Кичи и осторожно подполз к ближайшему вигваму. Его подстрекала любознательность — потребность учиться жить, действовать и набираться опыта. Последние несколько шагов, отделявших его от стены вигвама, Белый Клык полз мучительно долго и осторожно. События этого дня уже подготовили его к тому, что неизвестное имеет склонность появляться самым неожиданным, самым невероятным образом. Наконец его нос коснулся парусины. Белый Клык ждал, что будет. Ничего... Все обошлось благополучно. Тогда он понюхал это страшное вещество, пропитанное запахом человека, взял его зубами и слегка потянул к себе.

Опять все обошлось благополучно, хотя парусиновая стена и дрогнула. Он потянул еще раз. Стена заколыхалась. Ему это очень понравилось. Он тянул все сильнее и сильнее, пока вся стена не пришла в движение. Тогда в вигваме послышался резкий окрик индианки, и Белый Клык опрометью бросился к Кичи. Но с тех пор он перестал бояться высоких вигвамов.

Не прошло и пяти минут, как Белый Клык снова убежал от матери. Она была привязана к колышку, вбитому в землю, и не могла пойти за своим детенышем. К волчонку с воинственным видом приближался щенок гораздо старше и крупнее его. Щенка звали Лип-Лип, как это узнал позднее Белый Клык. Он уже был искушен в боях и слыл большим забиякой среди своих собратьев.

Белый Клык признал в щенке существо своей породы, к тому же на вид совсем не опасное, и, не ожидая от него никаких враждебных действий, приготовился оказать ему дружеский прием. Но как только незнакомец оскалил зубы и весь подобрался, Белый Клык тоже подобрался и тоже оскалил зубы. Ощетинившись и грозно рыча, волчонок и щенок стали кружить друг за другом, готовые ко всему. Это продолжалось довольно долго, и Белому Клыку такая игра начинала нравиться. И вдруг Лип-Лип сделал стремительный прыжок, рванул волчонка зубами и отскочил в сторону. Укус пришелся как раз в то плечо, которое все еще болело у Белого Клыка после схватки с рысью,— болело глубоко, около самой кости. Белый Клык взвыл от неожиданности и боли, но тут же с яростью кинулся на Лип-Липа и впился в него зубами.

Но Лип-Лип недаром родился в индейском поселке и недаром участвовал в стольких драках со щенками. Новичку пришлось плохо от его мелких острых зубов, и он с визгом постыдно бежал под защиту матери. Это была первая схватка Белого Клыка с Лип-Липом, и таких схваток им предстояло много, потому что они с первой же встречи почувствовали глубокую врожденную ненависть друг к другу, которая приводила к непрестанным столкновениям.

Кичи ласково облизывала своего детеныша и старалась удержать его около себя, но любопытство Белого Клыка было ненасытно. Несколько минут спустя он снова отправился на разведку и натолкнулся на человека, которого звали Серым Бобром. Присев на корточки, Серый Бобр

делал что-то с сухим мохом и палками, разложенными возле него на земле. Белый Клык подошел поближе и стал наблюдать за ним. Серый Бобр издал какие-то звуки, в которых, как показалось Белому Клыку, не было ничего враждебного, и он подошел еще ближе.

Женщины и дети подносили Серому Бобру палки и сучья. По-видимому, готовилось что-то интересное. Любопытство Белого Клыка так разгорелось, что он подошел к Серому Бобру вплотную, забыв, что перед ним находится грозное человеческое существо. И вдруг он увидел, что из-под рук Серого Бобра над сучьями и мохом поднимается что-то странное, похожее на туман. Потом из этого тумана, крутясь и извиваясь, возникло что-то живое, красное, как солнце в небе. Белый Клык не подозревал о существовании огня. Но огонь притягивал его к себе, как когда-то в пещере в дни младенчества его притягивал свет. Он подполз поближе, услышал над собой смех Серого Бобра и понял, что и в этих звуках нет ничего враждебного. Потом Белый Клык коснулся пламени носом и одновременно высунул язык.

В первую секунду он оцепенел. Притаившись среди сучьев и моха, неизвестное вцепилось ему в нос. Белый Клык отпрянул от огня, разразившись отчаянным визгом. Услышав этот визг, Кичи с рычанием рванулась вперед, насколько позволяла палка, и заметалась в бессильной ярости, чувствуя, что не может помочь сыну. Но Серый Бобр смеялся, хлопая себя по бедрам, и рассказывал всем о случившемся, и все тоже громко смеялись. А Белый Клык, усевшись на задние лапы, визжал и визжал и казался таким маленьким и жалким среди окружающих его людей.

Это была самая сильная боль, которую ему пришлось испытать. Живое существо, возникшее под руками Серого Бобра и похожее цветом на солнце, обожгло ему нос и язык. Белый Клык скулил, скулил не переставая, и каждый его вопль люди встречали новым взрывом смеха. Он попробовал лизнуть нос, но прикосновение обожженного языка к обожженному носу только усилило боль, и он завыл еще отчаянней, еще тоскливей.

А потом ему стало стыдно. Он понял, почему люди смеются. Нам не дано знать, каким образом некоторые животные понимают, что такое смех, и догадываются, что мы смеемся над ними. Вот это и произошло с Белым Клы-

ком, и ему стало стыдно, когда люди подняли его на смех. Он повернулся и убежал, но убежать его заставила не боль от ожогов, а смех, потому что смех проникал глубже и ранил сильнее, чем огонь. Белый Клык кинулся к матери, бесновавшейся на привязи,— к единственному в мире существу, которое не смеялось над ним.

Наступили сумерки, вслед за ними пришла ночь, а Белый Клык не отходил от Кичи. Нос и язык у него попрежнему болели, но ему не давало успокоиться другое, еще более сильное чувство. Его охватила тоска. Он ощущал какую-то пустоту в себе, он томился по тишине и миру, царившим у ручья и в родной пещере. Жизнь стала слишком беспокойной. Тут было слишком много человеческих существ — мужчин, женщин, детей,— все они шумели и раздражали его. Собаки непрестанно ссорились, рычали, грызлись. Спокойное одиночество, которое он знал раньше, кончилось. Здесь даже самый воздух был насыщен жизнью. Она жужжала и гудела вокруг Белого Клыка, не умолкая ни на минуту. Новые звуки смущали и тревожили его, заставляя все время ждать новых событий.

Белый Клык наблюдал за людьми, которые ходили между вигвамами, исчезали, снова появлялись. Подобно тому как человек взирает на им же сотворенных богов, Белый Клык взирал на окружающих его людей. Они были для него высшими существами — божеством. Он видел во всех их деяниях ту же чудотворную силу, которой человек наделяет бога. Они обладали непостижимым, безграничным могуществом. Они были властелинами живого и неживого мира; они держали в повиновении все, что способно двигаться, и сообщали движение неподвижным вещам; из сухого моха и палок они творили жизнь, которая больно жгла и цветом своим напоминала солнце. Они творили огонь! Они были боги!

Глава вторая

НЕВОЛЯ

Каждый новый день приносил Белому Клыку что-нибудь новое. Пока мать сидела на привязи, он бегал по всему поселку, исследуя, изучая его и набираясь опыта.

Он быстро ознакомился с повадками человеческих существ, но такое близкое знакомство не вызвало в нем пренебрежения к ним. Чем больше он узнавал людей, тем больше убеждался в их могуществе.

Человек испытывает душевную боль, когда его богов ниспровергают и когда алтари, воздвигнутые его руками, рушатся, но волку и дикой собаке такая боль неведома. В противоположность человеку, боги которого — это легкая дымка мечты, никогда не обретающая реальности, это призраки, наделенные добротой и силой, это взлеты его *я* в царство духа,— в противоположность человеку, волк и дикая собака, пригревшиеся у разведенного человеком костра, видят, что их боги облечены в плоть и кровь, что они осязаемы, занимают определенное место в пространстве и подчиняются закону времени, чтобы выполнить поставленные ими перед собой цели и оправдать свое назначение в жизни. Вера в таких богов дается легко, ее ничто не может поколебать. От такого бога никуда не уйдешь. Вот он стоит во весь рост, с палкой в руке — всесильный, гневный и добрый. В нем тайна и могущество, облеченные плотью, которая истекает кровью, когда ее рвут, и которая на вкус ничем не хуже любого другого мяса.

Так было и с Белым Клыком. Человеческие существа казались ему богами, несомненными и вездесущими богами. И он покорился им, так же как покорилась его мать Кичи, едва только она услышала свое имя из их уст. Он уступал им дорогу. Когда они подзывали его, он подходил; когда прогоняли прочь, поспешно убегал; когда грозили, припадал к земле; потому что каждое их желание подкреплялось силой, которая проявлялась при помощи кулака и палки, летающих по воздуху камней и обжигающих болью ударов бича.

Белый Клык принадлежал людям, как принадлежали им все собаки. Его поступки зависели от их велений. Его тело они вольны были искалечить, растоптать или пощадить. Этот урок Белый Клык запомнил быстро, но дался он ему нелегко: слишком многое в его натуре восставало против того, с чем ему приходилось сталкиваться на каждом шагу. И вместе с тем, незаметно для самого себя, Белый Клык начинал постигать прелесть новой жизни, хотя привыкать к ней было и трудно и неприятно. Он отдал свою судьбу в чужие руки и снял с себя всякую ответственность за собственное существование. Уже одно это служило ему

наградой, потому что опираться на другого всегда легче, чем стоять одному.

Но все это случилось не сразу — за один день нельзя отдаться человеку и душой и телом. Белый Клык не мог отречься от наследия предков, не мог забыть Северную глушь. Бывали дни, когда он выходил на опушку леса и стоял там, прислушиваясь к зовам, влекущим его вдаль. И с таких прогулок он возвращался беспокойный, встревоженный, жалобно и тихо повизгивая, ложился рядом с Кичи и лизал ей морду своим быстрым пытливым язычком.

Белый Клык быстро изучил жизнь индейского поселка. Он узнал, как несправедливы и жадны взрослые собаки при раздаче мяса и рыбы. Убедился, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добры и от них скорее, чем от других, можно получить кусок мяса или кость. А после двух или трех стычек с матерями щенят Белый Клык понял, что с этими фуриями лучше не связываться,— чем дальше от них держаться, тем будет спокойнее.

Но больше всех ему отравлял жизнь Лип-Лип. Он был старше и сильнее его. Белый Клык не избегал драк с ним, но всегда терпел поражение. Такой противник был ему не по силам. Лип-Лип преследовал свою жертву всюду. Стоило Белому Клыку отойти от матери, и забияка был тут как тут, ходил за ним по пятам, рычал, привязывался к нему и, если людей поблизости не было, лез в драку. Эти стычки доставляли Лип-Липу громадное удовольствие, потому что он всегда выходил из них победителем. Но то, что было для Лип-Липа самым большим наслаждением в жизни, приносило Белому Клыку лишь одни страдания.

Однако запугать Белого Клыка было не так легко. Он терпел поражение за поражением, но не смирялся. И все-таки эта вечная вражда начинала сказываться на нем. Он стал злобным и угрюмым. Свирепость была свойственна ему, как волку, а бесконечные преследования еще больше ожесточали его. То добродушное, веселое, юное, что было в нем, не находило себе выхода. Он никогда не играл и не возился со своими сверстниками — Лип-Лип не допускал этого. Стоило Белому Клыку появиться среди щенят, как Лип-Лип подлетал к нему, затевал ссору и в конце концов прогонял его прочь.

Вскоре почти все щенячье, что было в Белом Клыке, исчезло, и он стал казаться гораздо старше своего возраста. Лишенный возможности давать выход своей энер-

гии в игре, он ушел в себя и стал развиваться умственно. В нем появилась хитрость, а времени, чтобы обдумать свои проделки, у него было достаточно. Так как ему мешали получать свою долю мяса и рыбы во время общей кормежки собак, он сделался ловким вором. Приходилось самому заботиться о себе, и Белый Клык ухитрялся промышлять еду так искусно, что стал настоящим бичом для индианок. Он шнырял по всему поселку, знал, где что происходит, все видел и слышал, применялся к обстоятельствам и всячески избегал встреч со своим заклятым врагом.

Еще в первые дни своей жизни в поселке Белый Клык сыграл злую шутку с Лип-Липом и вкусил сладость мести. Он заманил его прямо в пасть свирепой Кичи примерно тем же способом, каким она когда-то заманивала собак и уводила их от людской стоянки на съедение волкам. Спасаясь от Лип-Липа, Белый Клык побежал не напрямик, а стал кружить между вигвамами. Бегал он хорошо, быстрее любого щенка его возраста и быстрее самого Лип-Липа. Но на этот раз он не особенно торопился и подпустил своего преследователя на расстояние всего только одного прыжка от себя.

Возбужденный погоней и близостью жертвы, Лип-Лип оставил всякую осторожность и забыл, где находится. Когда он вспомнил об этом, было уже поздно. На всем бегу обогнув вигвам, он с размаху налетел прямо на Кичи, лежавшую на привязи. Лип-Лип взвыл от ужаса. Хотя Кичи и была привязана, но отделаться от нее оказалось не так-то легко. Она сбила его с ног, чтобы он не мог убежать, и впилась в него зубами.

Откатившись наконец от волчицы в сторону, Лип-Лип с трудом поднялся, весь взлохмаченный, побитый и телесно и морально. Шерсть на нем торчала клочьями в тех местах, где по ней прошлись зубы Кичи. Он раскрыл пасть и разразился протяжным, душераздирающим щенячьим воем. Но Белый Клык не дал ему докончить, он кинулся на своего врага и рванул его за заднюю ногу. Куда девалась былая воинственность щенка! Лип-Лип пустился наутек, а его жертва гналась за ним по пятам и не отстала до тех пор, пока ее мучитель не добежал до своего вигвама. Тут на выручку Лип-Липу подоспели индианки, и Белый Клык, превратившийся в разъяренного дьявола, отступил только под градом сыпавшихся на него камней.

Настал день, когда Серый Бобр отвязал Кичи, решив, что теперь она уже не убежит. Белый Клык ликовал, видя мать на свободе. Он с радостью отправился бродить с ней по всему поселку. И, пока Кичи была близко, Лип-Лип держался от Белого Клыка на почтительном расстоянии. Белый Клык даже ощетинивался и подходил к нему с воинственным видом, но Лип-Лип не принимал вызова. Он был неглуп и решил подождать с отмщением до тех пор, пока не встретится с Белым Клыком один на один.

В тот день Кичи и Белый Клык вышли на опушку леса неподалеку от поселка. Белый Клык постепенно, шаг за шагом, уводил туда мать, и, когда она остановилась на опушке, он попробовал завлечь ее дальше. Ручей, логовище и спокойный лес манили к себе Белого Клыка, и ему хотелось, чтобы мать ушла вместе с ним. Он отбежал на несколько шагов, остановился и посмотрел на нее. Она стояла не двигаясь. Белый Клык жалобно заскулил и, играя, стал бегать среди кустов, потом вернулся, лизнул мать в морду и снова отбежал. Но она продолжала стоять на месте. Белый Клык смотрел на нее, и казалось, что настойчивость и нетерпение вселились вдруг в волчонка и затем медленно покинули его, когда Кичи повернула голову и посмотрела на поселок.

Даль звала Белого Клыка. И мать слышала этот зов. Но еще яснее она слышала зов огня и человека — зов, на который из всех зверей откликается только волк — волк и дикая собака, ибо они братья.

Кичи повернулась и медленно, рысцой побежала обратно. Поселок держал ее в своей власти крепче всякой привязи. Невидимыми, таинственными путями боги завладели волчицей и не отпускали ее от себя. Белый Клык сел в тени березы и тихо заскулил. Пахло сосной, нежные лесные ароматы наполняли воздух, напоминая Белому Клыку о прежней вольной жизни, на смену которой пришла неволя. Но Белый Клык был всего-навсего щенком, и зов матери доносился до него яснее, чем зов Северной глуши или человека. Он привык полагаться на нее во всем. Независимость была еще впереди. Белый Клык встал и грустно поплелся в поселок, но по дороге раза два остановился и поскулил, прислушиваясь к зову, который все еще летел из лесной чащи.

В Северной глуши мать и детеныш недолго живут друг подле друга, но люди часто сокращают и этот короткий срок. Так было и с Белым Клыком. Серый Бобр задолжал другому индейцу, которого звали Три Орла. А Три Орла уходил вверх по реке Макензи на Большое Невольничье Озеро. Кусок красной материи, медвежья шкура, двадцать патронов и Кичи пошли в уплату долга. Белый Клык увидел, как Три Орла взял его мать к себе в пирогу, и хотел последовать за ней. Ударом кулака Три Орла отбросил его обратно на берег. Пирога отчалила. Белый Клык прыгнул в воду и поплыл за ней, не обращая внимания на крики Серого Бобра. Белый Клык не внял даже голосу человека, так боялся он разлуки с матерью.

Но боги привыкли, чтобы им повиновались, и разгневанный Серый Бобр, спустив на воду пирогу, поплыл вдогонку за Белым Клыком. Настигнув беглеца, он вытащил его за загривок из воды и, держа в левой руке, задал ему хорошую трепку. Белому Клыку попало как следует. Рука у индейца была тяжелая, удары были рассчитаны точно и сыпались один за другим.

Под градом этих ударов Белый Клык болтался из стороны в сторону, как испортившийся маятник. Самые разнообразные чувства волновали его. Сначала он удивился, потом на него напал страх, и он начал взвизгивать от каждого удара. Но страх вскоре сменился злобой. Свободолюбивая натура заявила о себе — Белый Клык оскалил зубы и бесстрашно зарычал прямо в лицо разгневанному божеству. Божество разгневалось еще больше. Удары посыпались чаще, стали тяжелее и больнее.

Серый Бобр не переставал бить Белого Клыка, Белый Клык не переставал рычать. Но это не могло продолжаться вечно, кто-то должен был уступить — и уступил Белый Клык. Страх снова овладел им. В первый раз в жизни человек бил его по-настоящему. Боль от случайных ударов палкой или камнем казалась лаской по сравнению с тем, что ему пришлось испытать сейчас. Белый Клык сдался и начал визжать и выть. Сначала он взвизгивал от каждого удара, но скоро страх его перешел в ужас, и визги сменились непрерывным воем, не совпадающим с ритмом побоев. Наконец Серый Бобр опустил правую руку. Белый Клык продолжал выть, повиснув в воздухе, как тряпка. Хозяин, по-видимому, остался доволен этим и швырнул его на дно пироги. Тем временем пирогу отнесло вниз по тече-

нию. Серый Бобр взялся за весло. Белый Клык мешал ему грести. Серый Бобр злобно толкнул его ногой. В этот миг свободолюбие снова дало себя знать в Белом Клыке, и он впился зубами в ногу, обутую в мокасин.

Предыдущая трепка была ничто в сравнении с той, которую ему пришлось вынести. Гнев Серого Бобра был страшен, и Белого Клыка обуял ужас. На этот раз Серый Бобр пустил в ход тяжелое весло, и, когда Белый Клык очутился на дне пироги, на всем его маленьком теле не было ни одного живого места. Серый Бобр еще раз ударил его ногой. Белый Клык не бросился на эту ногу. Неволя преподала ему еще один урок: никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя кусать бога — твоего хозяина и повелителя; тело бога священно, и зубы таких, как Белый Клык, не смеют осквернять его. Это считалось, очевидно, самой страшной обидой, самым страшным проступком, за которые не было ни пощады, ни снисхождения.

Пирога причалила к берегу, но Белый Клык не шевельнулся и продолжал лежать, повизгивая и дожидаясь, когда Серый Бобр изъявит свою волю. Серый Бобр пожелал, чтобы Белый Клык вышел из пироги, и швырнул его на берег так, что тот со всего размаха ударился боком о землю. Дрожа всем телом, Белый Клык встал и заскулил. Лип-Лип, который наблюдал за происходящим с берега, кинулся, сшиб его с ног и впился в него зубами. Белый Клык был слишком беспомощен и не мог защищаться; и ему бы несдобровать, если бы Серый Бобр не ударил Лип-Липа ногой так, что тот взлетел высоко в воздух и шлепнулся на землю далеко от Белого Клыка.

Такова была человеческая справедливость. И Белый Клык, несмотря на боль и страх, не мог не почувствовать признательности к человеку. Он послушно поплелся за Серым Бобром через весь поселок к его вигваму. И с того дня Белый Клык запомнил, что право наказывать боги оставляют за собой, а животных, подвластных им, этого права лишают.

В ту же ночь, когда в поселке все стихло, Белый Клык вспомнил мать и загрустил. Но грустил он так громко, что разбудил Серого Бобра, и тот побил его. После этого в присутствии богов он тосковал молча и давал волю своему горю лишь тогда, когда выходил один на опушку леса.

В эти дни Белый Клык мог бы внять голосу прошлого,

который звал его обратно к пещере и ручью, но память о матери удерживала его на месте. Может быть, она вернется в поселок, как возвращаются люди после охоты. И Белый Клык оставался в неволе, поджидая Кичи.

Подневольная жизнь не так уж тяготила Белого Клыка. Многое в ней его интересовало. События в поселке следовали одно за другим. Странным поступкам, которые совершали боги, не было конца, а Белый Клык всегда отличался любопытством. Кроме того, он научился ладить с Серым Бобром. Послушание — строгое, неукоснительное послушание требовалось от Белого Клыка; и, усвоив это, он не вызывал гнева у людей и избегал побоев.

А иногда случалось даже, что Серый Бобр сам швырял Белому Клыку кусок мяса и, пока тот ел, не подпускал к нему других собак. И такому куску не было цены. Он один был почему-то дороже, чем десяток кусков, полученных из рук женщин. Серый Бобр ни разу не погладил и не приласкал Белого Клыка. И, может быть, его тяжелый кулак, может быть, его справедливость и могущество или все это вместе влияло на Белого Клыка, но в нем начинала зарождаться привязанность к угрюмому хозяину.

Какие-то предательские силы незаметно опутывали Белого Клыка узами неволи, и действовали они так же безошибочно, как палка или удар кулаком. Инстинкт, который издавна гонит волков к костру человека, развивается быстро. Развивался он и в Белом Клыке. И, хотя его теперешняя жизнь была полна горестей, поселок становился ему все дороже и дороже. Но сам он не подозревал этого. Он чувствовал только тоску по Кичи, надеялся на ее возвращение и жадно тянулся к прежней, свободной жизни.

Глава третья

ОТВЕРЖЕННЫЙ

Лип-Лип до такой степени отравлял жизнь Белому Клыку, что тот становился злее и свирепее, чем это полагалось ему от природы. Свирепость была свойственна его нраву, но теперь она перешла всякие границы. Он был известен своей злобой даже людям. Каждый раз, когда в поселке слышался лай, собачья грызня или женщины поднимали крик из-за украденного куска мяса, никто не

сомневался, что причина всего этого Белый Клык. Люди не старались разобраться в причинах такого поведения. Они видели только следствия, и следствия эти были дурные. Белый Клык слыл пронырой, вором и зачинщиком всех драк; разгневанные индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой конец, а он, слушая все это, зорко следил за ними и каждую минуту готов был увернуться от удара палкой или камнем.

Белый Клык чувствовал себя отщепенцем среди обитателей поселка. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Между ними и Белым Клыком было какое-то различие. Может быть, собаки чуяли в нем другую породу и питали к нему инстинктивную вражду, которая всегда возникает между домашней собакой и волком. Как бы то ни было, но они присоединились к Лип-Липу. И, объявив Белому Клыку войну, собаки имели достаточно поводов, чтобы не прекращать ее. Все они до одной познакомились с его острыми зубами, и, надо отдать ему справедливость, он воздавал своим врагам сторицей. Многих собак он мог бы одолеть один на один, но такой возможности не выпадало. Начало каждой драки служило сигналом для всех молодых собак — они сбегались со всего поселка и набрасывались на Белого Клыка.

Вражда с собачьей сворой научила его двум важным вещам: отбиваться сразу от всей стаи и, имея дело с одним противником, наносить ему возможно большее количество ран в кратчайший срок. Не упасть, устоять среди осаждающих его со всех сторон врагов — значило сохранить жизнь, и Белый Клык постиг эту науку в совершенстве. Он умел держаться на ногах не хуже кошки. Даже взрослые собаки могли сколько угодно теснить его,— Белый Клык подавался назад, подскакивал, ускользал в сторону, и все же ноги не изменяли ему и твердо стояли на земле.

Перед каждой дракой собаки обычно соблюдают некий ритуал: рычат, прохаживаются друг перед другом, шерсть у них встает дыбом. Белый Клык обходился без этого. Всякая задержка грозила появлением всей собачьей стаи. Дело надо делать быстро, а затем удирать. И Белый Клык не показывал своих намерений. Он кидался в драку без всякого предупреждения и начинал кусать и рвать своего противника, не дожидаясь, когда тот приготовится. Таким образом, он научился наносить собакам тяжелые раны. Кроме того, Белый Клык понял, что важно застать врага

врасплох, надо напасть неожиданно, распороть ему плечо, изорвать в клочья ухо, прежде чем он опомнится,— и тогда дело наполовину сделано.

Он убедился, что собаку, застигнутую врасплох, ничего не стоит сбить с ног, а тогда самое уязвимое место у нее на шее будет незащищенным. Белый Клык знал, где находится это место. Знание это досталось ему по наследству от многих поколений волков. И, нападая, он придерживался такой тактики: во-первых, подстерегал собаку, когда она была одна; во-вторых, налетал на нее неожиданно и сбивал с ног; и, в-третьих, вцеплялся ей в горло.

Белый Клык был еще молод, и его неокрепшие челюсти не могли наносить смертельных ударов, но все же не один щенок бегал по поселку со следами его зубов на шее. И как-то раз, поймав одного из своих врагов на опушке леса, он все же ухитрился перекусить ему горло и выпустил из него дух вон. В тот вечер поселок заволновался. Его проделку заметили, весть о ней дошла до хозяина издохшей собаки, женщины припомнили Белому Клыку все его кражи, и около жилища Серого Бобра собралась толпа народу. Но он решительно закрыл вход в вигвам, где отсиживался преступник, и отказался выдать его своим соплеменникам.

Белого Клыка возненавидели и люди и собаки. Он не знал ни минуты покоя. Каждая собака скалила на него зубы, каждый человек на него замахивался. Сородичи встречали его рычанием, боги — проклятиями и камнями. Он держался все время начеку: каждую минуту был готов напасть, отразить нападение или увернуться от удара. Он действовал стремительно и хладнокровно: сверкнув клыками, кидался на противника или с грозным рычанием отскакивал назад.

Что до рычания, то рычать он умел пострашнее собак — и старых и молодых. Цель рычания — предостеречь или испугать врага; и надо хорошо разбираться в том, когда и при каких обстоятельствах следует пускать в ход такое средство. И Белый Клык знал это. В свое рычание он вкладывал всю ярость и злобу, все, чем только мог устрашить врага. Вздрагивающие ноздри, вставшая дыбом шерсть, язык, красной змейкой извивающийся между зубами, прижатые уши, горящие ненавистью глаза, подергивающиеся губы, оскаленные клыки заставляли призадуматься многих собак. Когда Белого Клыка застигали врас-

плох, ему было достаточно секунды, чтобы обдумать план действий. Но часто пауза эта затягивалась, противник отказывался от драки, и рычание Белого Клыка сплошь и рядом давало ему возможность отступить с почетом даже при стычках со взрослыми собаками.

Изгнав Белого Клыка из стаи, объявив ему войну, молодые собаки тем самым поставили себя лицом к лицу с его злобой, ловкостью и силой. Дело обернулось так, что теперь враги Белого Клыка и сами ни на шаг не могли отойти от стаи. Он не допускал этого. Молодые собаки каждую минуту ждали его нападения и не решались бегать поодиночке. Всем им, за исключением Лип-Липа, приходилось держаться стаей, чтобы общими усилиями отбиваться от своего грозного противника. Отправляясь в одиночестве к реке, щенок или шел на верную смерть, или оглашал весь поселок пронзительным визгом, улепетывая от выскочившего из засады волчонка.

Но Белый Клык продолжал мстить собакам даже после того, как они запомнили раз и навсегда, что им надо держаться всем вместе. Он нападал на собак, заставая их поодиночке; они нападали на него всей сворой. Стоило собакам завидеть Белого Клыка, как они дружно кидались за ним в погоню, и в таких случаях его спасали только быстрые ноги. Но горе тому псу, который, увлекшись, обгонял своих товарищей! Белый Клык на всем ходу поворачивался к преследователю, несущемуся впереди стаи, и бросался на него. Это случалось часто, потому что возбужденные погоней собаки забывали обо всем на свете, а Белый Клык всегда сохранял хладнокровие. То и дело оглядываясь назад, он готов был в любую минуту сделать на всем бегу крутой поворот и кинуться на слишком рьяного преследователя, отделившегося от своих товарищей.

В молодых собаках живет непреодолимая потребность играть, и враги Белого Клыка удовлетворяли эту потребность, превращая войну с ним в увлекательную забаву. Охота за волчонком стала для них самым любимым развлечением — правда, развлечением нешуточным и подчас смертельно опасным. А Белый Клык, с которым никто из собак не мог сравниться быстротой ног, в свою очередь, не останавливался перед риском. В те дни, когда надежда на возвращение Кичи еще не покидала Белого Клыка, он часто заманивал собачью стаю в соседний лес. Но собакам

не удавалось догнать его там. По тявканью и вою Белый Клык определял, где они находятся; сам же он бежал молча, тенью скользя между деревьями, как это делали его отец и мать. Кроме того, связь его с Северной глушью была теснее, чем у собак,— он лучше понимал все ее тайны и хитрости. Чаще всего Белый Клык прибегал к такой уловке: переплывал ручей, запутывал свои следы и спокойно отлеживался где-нибудь в лесных зарослях, прислушиваясь к лаю потерявших его преследователей.

Вызывая и у своих собратьев, и у людей только одну ненависть и вечно враждуя со всеми, Белый Клык развивался быстро, но односторонне. При такой жизни в нем не могли зародиться ни добрые чувства, ни потребность в ласке. Обо всем этом он не имел ни малейшего понятия. Повинуйся сильному, угнетай слабого — вот закон, который руководил им. Серый Бобр — божество, он наделен силой; поэтому Белый Клык повиновался ему. Но собаки — те, которые моложе и меньше его ростом,— слабы, и их надо уничтожать.

В Белом Клыке развивались все те качества, которые помогали ему противостоять опасности, часто грозившей его жизни. Стальные мускулы выступали на его худом, гибком теле, как веревки. В проворстве и хитрости с ним не мог сравниться никто: он бегал быстрее, был беспощаднее в драках, выносливее, злее, ожесточеннее и умнее всех остальных собак. Белый Клык должен был стать таким, иначе он не уцелел бы в той враждебной среде, в которую привела его жизнь.

Глава четвертая

ПОГОНЯ ЗА БОГАМИ

Осенью, когда дни стали короче и в воздухе уж чувствовалось приближение холодов, Белому Клыку представился случай вырваться на свободу. Уже несколько дней в поселке царила суматоха. Индейцы разбирали летние вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту. Белый Клык зорко следил за этими приготовлениями, и, когда вигвамы были разобраны, а вещи погружены на пироги, он понял все. Пироги одна за другой начали отчаливать от берега, и часть их уже скрылась из виду.

Белый Клык решил остаться и при первой же возмож-

ности улизнул из поселка в лес. Переплыв ручей, который уже затягивался льдом, он запутал свои следы. Потом забрался поглубже в чащу и стал ждать. Время шло. Он успел несколько раз заснуть, проснуться и снова заснуть. Его разбудил голос Серого Бобра. Потом послышались и другие голоса: жены хозяина, принимавшей участие в поисках, и Мит-Са — сына Серого Бобра.

Белый Клык задрожал от страха, услышав свою кличку, но устоял и не вышел из лесу, хотя что-то подстрекало его откликнуться на зов хозяина. Вскоре голоса замерли вдали, и тогда он выбрался из кустарника, довольный, что побег удался. Наступали сумерки. Белый Клык резвился между деревьями, радуясь свободе. И вдруг его охватило чувство одиночества. Он сел, тревожно прислушиваясь к лесной тишине: ни звука, ни движения... Это показалось ему подозрительным, его подстерегала какая-то неведомая опасность. Он всматривался в смутные очертания высоких деревьев, в густые тени между ними, где мог притаиться любой враг.

Потом ему стало холодно. Теплой стены вигвама, около которой он всегда грелся, здесь не было. Он сидел, поочередно поджимая то одну, то другую переднюю лапу, потом прикрыл их своим пушистым хвостом, и в эту минуту перед ним пронеслось видение. В этом не было ничего странного: перед его глазами встали знакомые картины. Он снова увидел поселок, вигвамы, пламя костров. Он услышал пронзительные голоса женщин, грубый бас мужской речи, лай собак. Белый Клык проголодался и вспомнил куски мяса и рыбы, которые ему перепадали от людей. Но сейчас его окружала тишина, сулившая не еду, а опасность.

Неволя изнежила Белого Клыка. Зависимость от людей лишила его части силы. Он разучился добывать себе корм. Над ним спускалась ночь. Его зрение и слух, привыкшие к шуму и движению поселка, к непрерывному чередованию звуков и картин, не находили себе работы. Ему нечего было делать, нечего слушать, не на что смотреть. Он старался уловить хоть малейший шорох или движение. В этом безмолвии и неподвижности природы таилась какая-то страшная опасность.

И вдруг Белый Клык вздрогнул. Что-то громадное и бесформенное пронеслось у него перед глазами: на землю легла тень дерева, освещенного выглянувшей из-за обла-

ков луной. Успокоившись, он тихо заскулил, но, вспомнив, что это может привлечь к нему притаившегося где-нибудь врага, смолк.

Дерево, схваченное ночным морозом, громко скрипнуло у него над головой. Белый Клык взвыл и, не чуя под собой ног от ужаса, опрометью кинулся к поселку. Он чувствовал непреодолимую потребность в людском обществе, в защите, которую оно дает. В его ноздрях стоял запах дыма от костров, в ушах звенели голоса и крики. Он выбежал из лесу на залитую луной поляну, где не было ни теней, ни мрака, но глаза его не увидели знакомого поселка. Он забыл, что люди ушли оттуда.

Белый Клык остановился как вкопанный. Бежать было некуда. Он грустно бродил по опустевшему становищу, обнюхивая кучи мусора и хлама, оставленного богами. Теперь его обрадовал бы даже камень, брошенный какой-нибудь рассерженной женщиной, даже тяжелая рука Серого Бобра, а Лип-Липа и всю рычащую трусливую свору собак он встретил бы с восторгом.

Он побрел к тому месту, где стоял прежде вигвам Серого Бобра, сел посередине и поднял морду к луне. Спазмы сжимали ему горло; пасть у него раскрылась и одиночество, страх, тоска по Кичи, все прошлые горести и предчувствие грядущих невзгод и страданий — все это вылилось в протяжном, тоскливом вое. Это был волчий вой, впервые вырвавшийся из груди Белого Клыка.

С наступлением утра его страхи исчезли, но чувство одиночества только усилилось. Вид заброшенного становища, в котором еще так недавно кипела жизнь, наводил на него тоску. Долго раздумывать ему не пришлось: он повернул в лес и побежал вдоль берега реки. Он бежал весь день, не давая себе ни минуты отдыха. Казалось, он может бежать вечно. Его сильное тело не знало утомления. И даже когда утомление все-таки пришло, выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала гнать его все дальше и дальше.

Там, где река протекала между крутыми берегами, Белый Клык бежал в обход, по горам. Ручьи и речки, впадавшие в Макензи, он переплывал или переходил вброд. Часто ему приходилось бежать по узкой кромке льда, намерзшей около берега: тонкий лед ломался, и, проваливаясь в ледяную воду, Белый Клык не раз бывал на волосок от гибели. И все это время он ждал, что вот-

вот нападет на след богов в том месте, где они причалят к берегу и направятся в глубь страны.

По уму Белый Клык превосходил многих своих собратьев, и все-таки мысль о другом береге реки Макензи не приходила ему в голову. Что, если след богов выйдет на ту сторону? Этого он не мог сообразить. Вероятно, позднее, когда Белый Клык набрался бы опыта в странствиях, повзрослел, научился бы отыскивать следы вдоль речных берегов, он допустил бы и эту возможность. Такая зрелость ждала его в будущем. Сейчас же он бежал наугад, принимая в расчет только один берег Макензи.

Белый Клык бежал всю ночь, натыкаясь в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но не отбивали охоты двигаться дальше. К середине второго дня, через тридцать часов, его железные мускулы стали сдавать, поддерживало только напряжение воли. Он ничего не ел почти двое суток и совсем обессилел от голода. Сказывались на нем и непрестанные погружения в ледяную воду. Его великолепная шкура была вся в грязи, широкие подушки на лапах кровоточили. Он начал прихрамывать — сначала слегка, потом все больше и больше. В довершение всего небо нахмурилось и пошел снег — мокрый, тающий снег, который прилипал к его разъезжавшимся лапам, заволакивал все вокруг и скрывал неровности почвы, затрудняя и без того мучительную дорогу.

В эту ночь Серый Бобр решил сделать привал на дальнем берегу реки Макензи, потому что путь к местам охоты шел в том направлении. Но незадолго до темноты Клу-Куч, жена Серого Бобра, приметила на ближнем берегу лося, который подошел к реке напиться. И вот, не подойди лось к берегу, не сбейся Мит-Са из-за метели с правильного курса, Клу-Куч не заметила бы лося, Серый Бобр не уложил бы его метким выстрелом из ружья, и все дальнейшие события сложились бы совершенно по-иному. Серый Бобр не сделал бы привала на ближнем берегу реки Макензи, а Белый Клык, пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим диким сородичам и остался бы волком до конца своих дней.

Наступила ночь. Снег повалил сильнее. И Белый Клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. След был настолько свеж, что Белый Клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпения, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей его донеслись

знакомые звуки. Он увидел пламя костра, Клу-Куч, занятую стряпней, Серого Бобра, присевшего на корточки и жевавшего кусок сырого сала. У людей было свежее мясо!

Белый Клык ожидал расправы. При мысли о ней шерсть у него на спине встала дыбом. Потом он, крадучись, двинулся вперед. Он боялся ненавистных ему побоев и знал, что их не миновать. Но он знал также, что будет греться около огня, будет пользоваться покровительством богов, встретит общество собак, хоть и враждебное ему, но все же общество, которое способно удовлетворить его потребность в близости к живым существам.

Белый Клык ползком приближался к костру. Серый Бобр увидел его и перестал жевать сало. Белый Клык пополз еще медленнее; чувство унижения и покорности давило его, заставляя пресмыкаться перед человеком. Он полз прямо к Серому Бобру, все замедляя и замедляя движения, как будто ползти ему с каждым дюймом становилось труднее, и наконец лег у ног хозяина, которому предался отныне добровольно душой и телом. По собственному желанию подошел он к костру человека и признал над собой человеческую власть. Белый Клык дрожал, ожидая неминуемого наказания. Рука поднялась над ним. Он весь съежился, готовясь принять удар. Но удара не последовало.

Белый Клык украдкой взглянул вверх. Серый Бобр разорвал сало на две части. Серый Бобр протягивал ему кусок сала! Осторожно и недоверчиво Белый Клык понюхал его, а потом потянул к себе. Серый Бобр велел дать Белому Клыку мяса и, пока он ел, не подпускал к нему других собак. Благодарный и довольный, Белый Клык улегся у ног своего хозяина, глядя на жаркое пламя костра и сонно щурясь. Он знал, что утро застанет его не в мрачном лесу, а в поселке, среди богов, которым он отдавал всего себя и от воли которых теперь зависел.

Глава пятая

ДОГОВОР

В середине декабря Серый Бобр отправился вверх по реке Макензи. Мит-Са и Клу-Куч поехали вместе с ним. Сани Серого Бобра везли собаки, которых он выменял или взял на время у соседей. Во вторые сани, поменьше, были

впряжены молодые собаки, и ими правил Мит-Са. Упряжка и сани больше походили на игрушечные, но Мит-Са был в восторге: он чувствовал, что исполняет настоящую мужскую работу. Кроме того, он учился управлять собаками и натаскивать их, и щенки тоже привыкали к упряжи. Сани Мит-Са шли не пустые, а везли около двухсот фунтов всякого скарба и провизии.

Белому Клыку приходилось и раньше видеть ездовых собак, и, когда его самого в первый раз запрягли в сани, он не противился этому. На шею ему надели набитый мохом ошейник, от которого шли две лямки к ремню, перекинутому поперек груди и через спину; к этому ремню была привязана длинная веревка, соединявшая его с санями.

Упряжка состояла из семи собак. Всем им исполнилось по девять-десять месяцев, и только одному Белому Клыку было восемь. Каждая собака шла на отдельной веревке. Все веревки были разной длины, и разница между ними измерялась длиной корпуса собаки. Соединялись они в кольце на передке саней. Передок был загнут кверху, чтобы сани — берестяные, без полозьев — не зарывались в мягкий, пушистый снег. Благодаря такому устройству тяжесть самих саней и поклажи распределялась на бо́льшую поверхность. С той же целью — как можно более равномерного распределения тяжести — собак привязывали к передку саней веером, и ни одна из них не шла по следу другой.

У веерообразной упряжки было еще одно преимущество: разная длина веревок мешала собакам, бегущим сзади, кидаться на передних, а затевать драку можно было только с той соседкой, которая шла на более короткой веревке. Однако тогда нападающий оказывался лицом к лицу со своим врагом и, кроме того, подставлял себя под удары бича погонщика. Но самое большое преимущество этой упряжки заключалось в том, что, стараясь напасть на передних собак, задние налегали на постромки, а чем быстрее катились сани, тем быстрее бежала и преследуемая собака. Таким образом, задняя никогда не могла догнать переднюю. Чем быстрее бежала одна, тем быстрее удирала от нее другая и тем быстрее бежали все остальные собаки. В результате всего этого быстрее катились и сани. Вот такими хитрыми уловками человек и укреплял свою власть над животными.

Мит-Са, очень похожий на отца, унаследовал от него

и мудрость. Он давно уже заметил, что Лип-Лип не дает прохода Белому Клыку; но тогда у Лип-Липа были свои хозяева и Мит-Са осмеливался только исподтишка бросить в него камнем. А теперь Лип-Лип принадлежал Мит-Са, и, решив отомстить ему за прошлое, Мит-Са привязал его на самую длинную веревку. Таким образом, Лип-Лип стал вожаком, ему как будто оказали большую честь, но на самом деле чести в этом было мало, потому что забияку и главаря всей стаи Лип-Липа ненавидели и преследовали теперь все собаки.

Так как Лип-Лип был привязан на самую длинную веревку, собакам казалось, что он удирает от них. Им были видны только его задние ноги и пушистый хвост, а это далеко не так страшно, как вставшая дыбом шерсть и сверкающие клыки. Кроме того, зрелище бегущей собаки вызывает в других собаках уверенность, что она убегает именно от них и что ее надо во что бы то ни стало догнать.

Как только сани тронулись, вся упряжка погналась за Лип-Липом, и эта погоня продолжалась весь день. На первых порах оскорбленный Лип-Лип то и дело порывался кинуться на своих преследователей, но Мит-Са каждый раз хлестал его по голове тридцатифутовым бичом, свитым из вяленых оленьих кишок, и заставлял вернуться на место. Лип-Лип не побоялся бы схватиться со всей стаей, однако бич был куда страшнее,— и ему не оставалось ничего другого, как натягивать веревку и уносить свои бока от зубов товарищей.

Ум индейца неистощим на хитрости. Чтобы усилить вражду всей упряжки к Лип-Липу, Мит-Са стал отличать его перед другими собаками, возбуждая в них ревность и ненависть к вожаку. Мит-Са кормил его мясом в присутствии всей своры и никому другому мяса не давал. Собаки приходили в ярость. Они метались вокруг Лип-Липа, пока он ел, но близко подходить не осмеливались, так как Мит-Са стоял возле него с бичом в руке. А когда мяса не было, Мит-Са отгонял упряжку подальше и делал вид, что кормит Лип-Липа.

Белый Клык принялся за работу охотно. Покорившись богам, он в свое время проделал гораздо более длинный путь, чем остальные собаки, и гораздо глубже, чем они, постиг всю тщетность сопротивления воле богов. Кроме того, ненависть, которую питали к нему все собаки, уменьшала их значение в его глазах и увеличивала значе-



ние человека. Он не нуждался в обществе своих собратьев: Кичи была почти забыта, и верность богам, власть которых признал над собой Белый Клык, служила ему чуть ли не единственным способом выражать свои чувства. И Белый Клык усердно работал, слушался приказаний и подчинялся дисциплине. Он трудился честно и охотно. Честность в труде присуща всем прирученным волкам и прирученным собакам, а Белый Клык был наделен этим качеством в полной мере.

Белый Клык общался и с собаками, но это общение выражалось во вражде и ненависти. Он никогда не играл с ними. Он умел драться — и дрался, воздавая сторицей за все укусы и притеснения, которые ему пришлось вынести в те дни, когда Лип-Лип был главарем стаи. Теперь Лип-Лип главенствовал над ней лишь тогда, когда бежал на конце длинной веревки впереди своих товарищей и подскакивающих по снегу саней. На стоянках Лип-Лип держался поближе к Мит-Са, Серому Бобру и Клу-Куч, не решаясь отойти от богов, потому что теперь клыки всех собак были направлены против него и он испытал на себе всю горечь вражды, которая приходилась раньше на долю Белого Клыка.

После падения Лип-Липа Белый Клык мог бы сделаться вожаком стаи, но он был слишком угрюм и замкнут для этого. Товарищи по упряжке получали от него только одни укусы, в остальном он словно не замечал их. При встречах с ним они сворачивали в сторону, и ни одна, даже самая смелая, собака не решалась отнять у Белого Клыка его долю мяса. Напротив, они старались как можно



скорее проглотить свою долю, боясь, как бы он не отнял ее. Белый Клык хорошо усвоил закон: *притесняй слабого и подчиняйся сильному.* Он торопливо съедал брошенный хозяином кусок, и тогда — горе той собаке, которая еще не кончила есть. Грозное рычание, оскаленные клыки — и ей оставалось только изливать свое негодование равнодушным звездам, пока Белый Клык доканчивал ее долю.

Время от времени то одна, то другая собака поднимала бунт против Белого Клыка, но он быстро усмирял их. Он ревниво оберегал свое обособленное положение в стае и нередко брал его с бою. Но такие схватки бывали непродолжительны. Собаки не могли тягаться с ним. Он наносил раны противнику, не дав ему опомниться, и собака истекала кровью, еще не успев как следует начать драку.

Белый Клык так же, как и боги, поддерживал среди своих собратьев суровую дисциплину. Он не давал им никаких поблажек и требовал безграничного уважения к себе. Между собой собаки могли делать все, что угодно. Это его не касалось. Белый Клык следил только за тем, чтобы собаки не посягали на его обособленность, уступали ему дорогу, когда он появлялся среди стаи, и признавали его господство над собой. Стоило какому-нибудь смельчаку принять воинственный вид, оскалить зубы или ощетиниться, как Белый Клык кидался на него и без всякой жалости доказывал ему ошибочность его поведения.

Он был свирепым тираном, он правил с железной непреклонностью. Слабые не знали пощады от него. Жестокая борьба за существование, которую ему пришлось ве-

сти с раннего детства, когда вдвоем с матерью, одни, без всякой помощи, они бились за жизнь, преодолевая враждебность Северной глуши, не прошла бесследно. При встречах с сильнейшим противником Белый Клык вел себя смирно. Он угнетал слабого, но зато уважал сильного. И, когда Серый Бобр встречал на своем долгом пути стоянки других людей, Белый Клык ходил между чужими взрослыми собаками тихо и осторожно.

Прошло несколько месяцев, а путешествие Серого Бобра все еще продолжалось. Долгая дорога и усердная работа в упряжке укрепили силы Белого Клыка, и умственное развитие его, видимо, завершилось. Окружающий мир был познан им до конца. И он смотрел на него мрачно, не питая по отношению к нему никаких иллюзий. Мир этот был суров и жесток, в нем не существовало ни тепла, ни ласки, ни привязанностей.

Белый Клык не чувствовал привязанности даже к Серому Бобру. Правда, Серый Бобр был богом, но богом жестоким. Белый Клык охотно признавал его власть над собой, хотя власть эта основывалась на умственном превосходстве и на грубой силе. В натуре Белого Клыка было нечто такое, что шло навстречу этому господству, иначе он не вернулся бы из Северной глуши и не доказал бы этим своей верности богам. В нем таились еще никем не исследованные глубины. Добрым словом или ласковым прикосновением Серый Бобр мог бы коснуться этих глубин, но Серый Бобр никогда не ласкал Белого Клыка, не сказал ему ни одного доброго слова. Это было не в его обычае. Превосходство Серого Бобра основывалось на жестокости, и с такой же жестокостью он повелевал, отправляя правосудие при помощи палки, наказуя преступление физической болью и воздавая по заслугам не лаской, а тем, что воздерживался от удара.

И Белый Клык не подозревал о том блаженстве, которым может наградить рука человека. Да он и не любил человеческих рук: в них было что-то подозрительное. Правда, иногда эти руки давали мясо, но чаще всего они причиняли боль. От них надо было держаться подальше: они швыряли камнями, размахивали палками, дубинками, бичами, они могли бить и толкать, а если и прикасались, то лишь затем, чтобы ущипнуть, дернуть, вырвать клок шерсти. В чужих поселках он узнал, что детские руки тоже умеют причинять боль. Какой-то малыш однажды

чуть не выколол ему глаз. После этого Белый Клык стал относиться к детям с большой подозрительностью. Он просто не выносил их. Когда те подходили и протягивали к нему свои руки, не сулившие добра, он вставал и уходил.

В одном из поселков на берегу Большого Невольничьего Озера Белому Клыку довелось уточнить преподанный ему Серым Бобром закон, согласно которому нападение на богов считается непростительным грехом. По обычаю всех собак во всех поселках, Белый Клык отправился на поиски пищи. Он увидел мальчика, который разрубал топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый Клык остановился и стал подбирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую дубинку. Белый Клык отскочил назад, еле успев увернуться от удара. Мальчик побежал за ним, и он, незнакомый с поселком, кинулся в проход между вигвамами и очутился в тупике перед высоким земляным валом.

Деваться было некуда. Мальчик загораживал единственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал шаг вперед. Белый Клык рассвирепел. Его чувство справедливости было возмущено, он весь ощетинился и встретил мальчика грозным рычанием. Белый Клык хорошо знал закон: все остатки мяса, например кусочки мерзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их находит; он не сделал ничего дурного, не нарушил никакого закона, и все-таки мальчик собирался побить его. Белый Клык сам не знал, как это случилось. Он сделал это в припадке бешенства, и все произошло так быстро, что его противник тоже ничего не успел понять. Мальчик вдруг растянулся на снегу, а зубы Белого Клыка прокусили ему руку, державшую дубинку.

Но Белый Клык знал, что закон, установленный богами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одного из богов должен ждать самого страшного наказания. Он убежал под защиту Серого Бобра и сидел, съежившись, у его ног, когда укушенный мальчик и вся его семья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем: Серый Бобр стал на защиту Белого Клыка. То же сделали Мит-Са и Клу-Куч. Прислушиваясь к перебранке людей и наблюдая за тем, как они гневно машут руками, Белый Клык начинал понимать, что для его проступка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги бывают разные: они делятся на его богов и на богов чужих; и это да-

леко не одно и то же. От своих богов следует принимать все — и справедливость и несправедливость. Но он не обязан сносить несправедливость чужих богов, он вправе мстить за нее зубами. И это также было законом.

В тот же день Белый Клык познакомился с новым законом еще ближе. Собирая хворост в лесу, Мит-Са натолкнулся на компанию мальчиков, среди которых был и потерпевший. Произошла ссора. Мальчики набросились на Мит-Са. Ему приходилось плохо. Удары сыпались на него со всех сторон. Белый Клык сначала просто наблюдал за дракой — это дело богов, это его не касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Мит-Са, одного из его собственных богов. И то, что он сделал вслед за этим, он сделал не рассуждая. Порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. Пять минут спустя мальчики разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорившие о том, что зубы Белого Клыка не бездействовали. Когда Мит-Са рассказал в поселке о случившемся, Серый Бобр велел дать Белому Клыку мяса. Он велел дать ему много мяса. И Белый Клык, насытившись, лег у костра и заснул, твердо уверенный в том, что понял закон правильно.

Вслед за этим Белый Клык усвоил закон собственности и то, что собственность хозяина надо охранять. От защиты тела бога до защиты его имущества был один шаг, и Белый Клык этот шаг сделал. То, что принадлежало богу, следовало защищать от всего мира, не останавливаясь даже перед нападением на других богов. Но поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда сопряжен с большой опасностью. Боги всемогущи, и собаке трудно тягаться с ними; и все-таки Белый Клык научился безбоязненно давать им отпор. Чувство долга побеждало в нем страх, и в конце концов вороватые боги решили оставить имущество Серого Бобра в покое.

Белый Клык скоро понял, что вороватые боги трусливы и, заслышав тревогу, сейчас же убегают. Кроме того (как он убедился на опыте), промежуток времени между поднятой тревогой и появлением Серого Бобра бывал обычно очень короткий. И он понял также, что вор убегает не потому, что боится его, Белого Клыка, а потому что боится Серого Бобра. Учуяв вора, Белый Клык не поднимал лая — да он и не умел лаять,— он кидался на непрошеного гостя и, если удавалось, впивался в него зу-

бами. Угрюмость и необщительность помогали Белому Клыку стать надежным сторожем при хозяйском добре, и Серый Бобр всячески поощрял его в этом. И в конце концов Белый Клык стал еще злее, еще неукротимее и окончательно замкнулся в самом себе.

Месяцы шли один за другим, и время все больше и больше скрепляло договор между собакой и человеком. Этот договор еще в незапамятные времена был заключен первым волком, пришедшим из Северной глуши к человеку. И, подобно всем своим предшественникам — волкам и диким собакам, Белый Клык сам выработал условия этого договора. Они были очень просты. За поклонение божеству он отдал свою свободу. От бога Белый Клык получал общение с ним, покровительство, корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, защищал его тело, работал на него и покорялся ему.

Если у тебя есть бог, ему надо служить. И Белый Клык служил своему богу, повинуясь чувству долга и благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал, что такое любовь, и никогда не испытывал этого чувства. Кичи стала далеким воспоминанием. Кроме того, отдавшись человеку, Белый Клык не только порвал с Северной глушью и со своими сородичами, но подчинился и такому условию договора, которое не позволило бы ему покинуть бога и пойти за Кичи, даже если бы он встретил ее. Преданность человеку стала законом для Белого Клыка, и закон этот был сильнее любви к свободе, сильнее кровных уз.

Глава шестая

ГОЛОД

Весна была уже не за горами, когда длинное путешествие Серого Бобра кончилось. В один из апрельских дней Белый Клык, которому к этому времени исполнился год, снова вернулся в старый поселок, и там Мит-Са снял с него упряжь. Хотя Белый Клык еще не достиг полной зрелости, все же после Лип-Липа он был самым крупным из годовалых щенков. Унаследовав свой рост и силу от отца-волка и от Кичи, он почти сравнялся со взрослыми собаками, но уступал им в крепости сложения. Тело у него было поджарое и стройное; в драках он брал скорее

увертливостью, чем силой; шкура — серая, как у волка. И по виду он казался самым настоящим волком. Кровь собаки, перешедшая к нему от Кичи, не оставила следов на его внешнем облике, но характер его складывался не без ее участия.

Белый Клык бродил по поселку, с чувством спокойного удовлетворения узнавая богов, знакомых ему еще до путешествия. Встречал он здесь и щенят, тоже подросших за это время, и взрослых собак, которые теперь уже не казались ему такими большими и страшными. Белый Клык почти перестал бояться их и прогуливался среди своры с непринужденностью, доставлявшей ему на первых порах большое удовольствие.

Был здесь и старый седой Бэсик, которому раньше требовалось только оскалить зубы, чтобы прогнать Белого Клыка за тридевять земель. В прежние дни Бэсик не раз заставлял Белого Клыка убеждаться в собственном ничтожестве, но теперь тот же Бэсик помог ему оценить происшедшие в нем самом перемены. Бэсик старел, дряхлел, а Белый Клык был молод, и сил у него прибывало с каждым днем.

Перемена во взаимоотношениях с собаками стала ясна Белому Клыку вскоре после возвращения в поселок. Люди разделывали тушу только что убитого лося. Он получил копыто с частью берцовой кости, на которой было довольно много мяса. Убежав от дерущихся собак подальше в лес, чтобы его никто не видел, Белый Клык принялся за свою добычу. И вдруг на него налетел Бэсик. Еще не успев как следует сообразить, в чем дело, Белый Клык дважды полоснул старого пса зубами и отскочил в сторону. Остолбенев от такой дерзкой и стремительной атаки, Бэсик бессмысленно уставился на Белого Клыка, а кость со свежим мясом лежала между ними.

Бэсик был стар и уже испытал на себе отвагу той самой молодежи, которую раньше ему ничего не стоило припугнуть. Как это ни было горько, но волей-неволей обиды приходилось глотать, призывая на помощь всю свою мудрость, чтобы не сплоховать перед молодыми собаками. В прежние дни справедливый гнев заставил бы его кинуться на дерзновенного юнца, но теперь убывающие силы не позволяли отважиться на такой поступок. Весь ощетинившись, он грозно поглядывал на Белого Клыка, а тот, вспомнив свой былой страх, съежился, словно маленький

щенок, и уже прикидывал мысленно, как бы ему отступить с возможно меньшим позором.

Тут-то Бэсик и совершил ошибку. Удовольствуйся он грозным и свирепым видом — все сошло бы хорошо. Приготовившийся к бегству Белый Клык отступил бы, оставив кость ему. Но Бэсик не захотел ждать. Решив, что победа осталась за ним, он сделал шаг вперед и понюхал кость. Белый Клык слегка ощетинился. Даже сейчас можно было спасти положение. Продолжай Бэсик стоять с высоко поднятой головой, грозно поглядывая на противника, Белый Клык в конце концов удрал бы. Но ноздри Бэсику щекотал запах свежего мяса, и, не удержавшись, он схватил кость.

Этого Белый Клык не смог перенести. Господство над товарищами по упряжке было еще свежо в его памяти, и он уже не мог совладать с собой, глядя, как другая собака пожирает принадлежащее ему мясо. По своему обыкновению, он кинулся на Бэсика, не дав тому опомниться. После первого же укуса правое ухо у старого пса повисло клочьями. Внезапность нападения ошеломила его. Но немедленно вслед за этим и с такой же внезапностью последовали еще более печальные события: Бэсик был сбит с ног, на шее его зияла рана. Не дав старику подняться, молодая собака дважды рванула его за плечо. Стремительность нападения была поистине ошеломляющей. Бэсик кинулся на Белого Клыка, но зубы его только яростно щелкнули в воздухе. В следующую же минуту нос у Бэсика оказался располосованным, и он, шатаясь, отступил прочь.

Положение круто изменилось. Над костью стоял грозно ощетинившийся Белый Клык, а Бэсик держался поодаль, готовясь в любую минуту отступить. Он не осмеливался затеять драку с молодым, быстрым, как молния, противником. И снова, с еще большей горечью, Бэсик почувствовал приближающуюся старость. Его попытка сохранить достоинство была поистине героической. Спокойно повернувшись спиной к молодой собаке и лежавшей на земле кости, как будто и то и другое совершенно не заслуживало внимания, он величественно удалился. И только тогда, когда Белый Клык уже не мог видеть его, Бэсик лег на землю и начал зализывать свои раны.

После этого случая Белый Клык окончательно уверовал в себя и возгордился. Теперь он спокойно расхаживал

среди взрослых собак, стал не так уступчив. Не то чтобы он искал поводов для ссоры, далеко нет,— он требовал внимания к себе. Он отстаивал свои права и не хотел отступать перед другими собаками. С ним приходилось считаться, вот и все. Никто не смел пренебрегать им. Это участь щенят, и мириться с такой участью приходилось упряжке Белого Клыка. Щенки сторонились взрослых собак, уступали им дорогу, а иногда были вынуждены отдавать им свою долю мяса. Но необщительный, одинокий, угрюмый, грозный, чуждающийся всех Белый Клык был принят как равный в среду взрослых собак. Они быстро поняли, что его надо оставить в покое, не объявляли ему войны и не делали попыток завязать с ним дружбу. Белый Клык платил им тем же, и после нескольких стычек собаки убедились, что такое положение дел устраивает всех как нельзя лучше.

В середине лета с Белым Клыком произошел неожиданный случай. Пробегая своей бесшумной рысцой в конец поселка, чтобы обследовать там новый вигвам, поставленный, пока он уходил с индейцами на охоту за лосем, Белый Клык наткнулся на Кичи. Он остановился и посмотрел на нее. Он помнил мать смутно, но все-таки *помнил*, а Кичи забыла сына. Грозно зарычав, она оскалила на него зубы, и Белый Клык вспомнил все. Детство и то, о чем говорило это рычание, предстало перед ним. До встречи с богами Кичи была для Белого Клыка центром вселенной. Старые чувства вернулись и овладели им. Он подскочил к матери, но она встретила его оскаленной пастью и распорола ему скулу до самой кости. Белый Клык не понял, что произошло, и растерянно попятился назад, ошеломленный таким приемом.

Но Кичи была не виновата. Волчицы забывают своих волчат, которым исполнился год или больше года. Так и Кичи забыла Белого Клыка. Он был для нее незнакомцем, чужаком, и выводок, которым она обзавелась за это время, давал ей право враждебно относиться к таким незнакомцам.

Один из ее щенков подполз к Белому Клыку. Сами того не зная, они приходились друг другу сводными братьями. Белый Клык с любопытством обнюхал щенка, за что Кичи еще раз наскочила на него и располосовала ему морду. Белый Клык попятился еще дальше. Все старые воспоминания, воскресшие было в нем, снова умерли и

превратились в прах. Он смотрел на Кичи, которая лизала своего детеныша и время от времени поднимала голову и рычала. Теперь Кичи была не нужна Белому Клыку. Он научился обходиться без нее и забыл, чем она была дорога́ ему. В его мире не осталось места для Кичи, так же как и в ее мире не осталось места для Белого Клыка.

Воспоминаний как не бывало — он стоял растерянный, ошеломленный всем случившимся. И тут Кичи метнулась к нему в третий раз, прогоняя его с глаз долой. Белый Клык покорился. Кичи была самка, а по закону, установленному его породой, самцы не должны драться с самками. Он ничего не знал об этом законе, он постиг его не на основании жизненного опыта — этот закон был подсказан ему инстинктом, тем самым инстинктом, который заставлял его выть на луну, на ночные звезды, бояться смерти и неизвестного.

Месяцы шли один за другим. Сил у Белого Клыка прибывало, он становился крупнее, шире в плечах, а характер его развивался по тому пути, который предопределяла наследственность и окружающая среда. Белый Клык был создан из материала, мягкого, как глина, и таившего в себе много всяких возможностей. Среда лепила из этой глины все, что ей было угодно, придавая ей любую форму. Так, не подойди Белый Клык на огонь, зажженный человеком, Северная глушь сделала бы из него настоящего волка. Но боги даровали ему другую среду, и из Белого Клыка получилась собака, в которой было много волчьего, и все-таки это была собака, а не волк.

И вот под влиянием окружающей обстановки податливый материал, из которого был сделан Белый Клык, принял определенную форму. Это было неизбежно. Он становился все угрюмее, злее, он сторонился своих собратьев. И они поняли, что с ним лучше жить в мире, чем враждовать, а Серый Бобр день ото дня все больше и больше ценил его.

Но возмужалость не освободила Белого Клыка от одной слабости: он не терпел, когда над ним смеялись. Человеческий смех выводил его из себя. Люди могли смеяться между собой над чем угодно, и он не обращал на это внимания. Но стоило кому-нибудь засмеяться над ним, как он приходил в ярость: степенная, полная достоинства собака неистовствовала до нелепости. Смех так озлоблял ее, что она превращалась в сущего дьявола.

И горе тем щенкам, которые попадались Белому Клыку в эти минуты! Он слишком хорошо знал закон, чтобы вымещать злобу на Сером Бобре; Серому Бобру помогали палка и ум, а у щенков не было ничего, кроме открытого пространства, которое и спасало их, когда перед ними появлялся Белый Клык, доведенный смехом до бешенства.

Когда Белому Клыку пошел третий год, индейцев, живших на реке Макензи, постиг голод. Летом не ловилась рыба. Зимой олени ушли со своих обычных мест. Лоси попадались редко, кролики почти исчезли. Хищные животные гибли. Изголодавшись, ослабев от голода, они стали пожирать друг друга. Выживали только сильные. Боги Белого Клыка всегда промышляли охотой. Старые и слабые среди них умирали один за другим. В поселке стоял плач. Женщины и дети уступали свою жалкую долю еды отощавшим, осунувшимся охотникам, которые рыскали по лесу в тщетных поисках дичи.

Голод довел богов до такой крайности, что они ели мокасины и рукавицы из сыромятной кожи, а собаки съедали свою упряжь и даже бичи. Кроме того, собаки ели друг друга, а боги ели собак. Сначала покончили с самыми слабыми и менее ценными. Собаки, оставшиеся в живых, видели все это и понимали, что их ждет такая же участь. Те, кто был посмелее и поумнее, покинули костры, разведенные человеком, около которых теперь шла бойня, и убежали в лес, где их ждала голодная смерть или волчьи зубы.

В это тяжелое время Белый Клык тоже убежал в лес. Он был более приспособлен к жизни, чем другие собаки,— сказывалась школа, пройденная в детстве. Особенно искусно выслеживал он маленьких зверьков. Он мог часами следить за каждым движением осторожной белки и ждать, когда она решится слезть с дерева на землю; при этом он проявлял такое громадное терпение, которое ни в чем не уступало мучившему его голоду. Белый Клык никогда не торопился. Он выжидал до тех пор, пока можно было действовать наверняка, не боясь, что белка опять удерет на дерево. Тогда, и только тогда, Белый Клык с молниеносной быстротой выскакивал из своей засады, как снаряд, никогда не пролетающий мимо намеченной цели — мимо белки, которую не могли спасти ее быстрые ноги.

Но хотя охота на белок обычно кончалась удачей, одно обстоятельство мешало Белому Клыку наедаться досыта: белки попадались редко, и ему волей-неволей приходилось охотиться на более мелкую дичь. По временам голод так мучил его, что он не останавливался даже перед тем, чтобы выкапывать мышей из норок. Не погнушался он и вступить в бой с лаской, такой же голодной, как он сам, но в тысячу раз более свирепой.

Когда голод донимал Белого Клыка особенно жестоко, он подкрадывался поближе к кострам богов, но вплотную к ним не подходил. Он бегал по лесу, избегая встреч с богами, и обкрадывал силки, когда в них изредка попадалась дичь. Однажды он даже обворовал силок на кролика, поставленный Серым Бобром, а Серый Бобр в это время шел, пошатываясь, по лесу и то и дело садился отдыхать, еле переводя дух от слабости.

Как-то раз Белый Клык накинулся на молодого волка, изможденного и еле державшегося на ногах. Если бы Белый Клык не был так голоден, он, вероятно, отправился бы дальше с ним и в конце концов примкнул бы к волчьей стае, но сейчас ему не оставалось ничего другого, как погнаться за волком, задрать и съесть его.

Судьба, казалось, благоприятствовала Белому Клыку. Всякий раз, когда недостаток в пище ощущался особенно остро, он находил какую-нибудь добычу. Счастье не изменило ему даже в те дни, когда сил совсем не стало,— ни разу за это время он не попался на глаза более крупным хищникам. Однажды, подкрепившись рысью, которой хватило на целых два дня, Белый Клык встретился с волчьей стаей. Началась долгая, жестокая погоня, но Белый Клык был крепче волков и в конце концов убежал от них. И не только убежал, а описал большой круг, и вернувшись назад, напал на одного из своих изможденных преследователей.

Вскоре Белый Клык покинул эти места и отправился в долину, на свою родину. Разыскав прежнее логовище, он встретил там Кичи. Кичи тоже покинула негостеприимные костры богов и, как только ей пришла пора щениться, вернулась в пещеру. К тому времени, когда около пещеры появился Белый Клык, из всего выводка Кичи остался лишь один волчонок, но и он доживал последние дни — молодой жизни трудно было уцелеть в такой голод.

Прием, который Кичи оказала своему взрослому сыну,

нельзя было назвать теплым. Но Белый Клык отнесся к этому равнодушно. Не нуждаясь больше в матери, он невозмутимо отвернулся от нее и побежал вверх по ручью. На левом его рукаве Белый Клык нашел логовище рыси, с которой некогда ему пришлось сразиться вместе с матерью. Здесь, в заброшенной норе, он лег и отдыхал весь день.

Ранним летом, когда голодовка уже подходила к концу, Белый Клык встретил Лип-Липа, который, так же как и он, убежал в лес и влачил там жалкое существование. Белый Клык встретил его совершенно неожиданно. Огибая с противоположных сторон крутой берег, они одновременно выбежали из-за высокой скалы и столкнулись нос к носу. Оба замерли, испуганные такой встречей, и уставились друг на друга.

Белый Клык был в прекрасном состоянии. Всю эту неделю он очень удачно охотился и ел много, а последней своей добычей был сыт до отвала. Но стоило ему только увидеть Лип-Липа, как шерсть у него на спине встала дыбом. Он ощетинился совершенно непроизвольно,— это внешнее проявление злобы в прошлом сопутствовало каждой встрече с забиякой Лип-Липом. Так было и теперь: завидев своего врага, Белый Клык ощетинился и зарычал на него. Ни одна минута не пропала даром. Все было сделано быстро, в одно мгновение. Лип-Лип попятился назад, но Белый Клык сшибся с ним плечо к плечу, сбил его с ног, опрокинул на спину и впился зубами в его жилистую шею. Лип-Лип бился в предсмертных судорогах, а Белый Клык похаживал вокруг, не сводя с него глаз. Затем он снова пустился в путь и исчез за крутым поворотом берега.

Вскоре после этого Белый Клык выбежал на опушку леса и по узкой прогалине спустился к реке Макензи. Он забегал сюда и раньше, но тогда на этом берегу было пусто, а сейчас тут виднелся поселок. Белый Клык остановился, и не выходя из-за деревьев, стал осматриваться. Звуки и запахи показались ему знакомыми. Это был старый поселок, перебравшийся на другое место, но в его звуках и запахах чувствовалось что-то новое. Не слышно было ни воя, ни плача. Эти звуки говорили о довольстве. И, когда Белый Клык услышал сердитый женский голос, он понял, что так сердиться можно только на сытый желудок. В воздухе пахло рыбой — значит, в поселке была

пища. Голод кончился. Он смело вышел из лесу и побежал прямо к хозяйскому вигваму. Самого хозяина не было дома, но Клу-Куч встретила Белого Клыка радостными криками, дала ему свежей рыбы. И он лег и стал ждать возвращения Серого Бобра.





ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава первая

ВРАГ

Если в натуре Белого Клыка была заложена хоть малейшая возможность сблизиться с представителями его породы, то возможность эта безвозвратно погибла после того, как он стал вожаком упряжки. Собаки возненавидели его; возненавидели за то, что Мит-Са подкидывал ему лишний кусок мяса; возненавидели за все те действительные и воображаемые преимущества, которыми он пользовался; возненавидели за то, что он всегда бежал в голове упряжки, доводя их до бешенства одним видом своего пушистого хвоста и быстро мелькающих ног.

И Белый Клык проникся к собакам точно такой же острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем, что ему приходится убегать от заливающихся лаем собак, которые в течение трех лет находились под его властью. Но с этим надо было мириться, иначе ему грозила гибель, а жизни, бившей в нем ключом, гибнуть не хотелось. Лишь только Мит-Са трогал с места, вся упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за Белым Клыком.

Защищаться он не мог: стоило ему повернуть голову к собакам, как Мит-Са хлестал его по морде бичом. Белому Клыку не оставалось ничего другого, как мчаться вперед. Отражать хвостом и задними ногами нападение всей завывающей своры он не мог — таким оружием нельзя обороняться против множества безжалостных клыков. И Белый Клык несся вскачь, каждым прыжком насилуя свою природу и унижая свою гордость, а бежать так приходилось целый день.

Такое насилие над собой не проходит безнаказанно. Если волос, выросший на теле, заставить расти в глубь кожи, он будет причинять мучительную боль. То же самое происходило и с Белым Клыком. Всем своим существом он стремился разделаться с собаками, преследующими его по пятам, но волю богов нарушать было нельзя, тем более что воля их подкреплялась ударами тридцатифутового бича, свитого из оленьих кишок. И Белый Клык терпел все это, затаив в себе такую ненависть и злобу, на какую только был способен его свирепый и неукротимый нрав.

Если какое-нибудь живое существо и можно было назвать врагом своих собратьев, то это относилось именно к Белому Клыку. Он никогда не просил пощады и сам никого не щадил. Раны и шрамы не сходили у него с тела, а собаки, в свою очередь, не расставались с отметинами его зубов. В противоположность многим вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только собак распрягали, Белый Клык пренебрегал такой защитой. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью расправляясь с собаками за все то, что приходилось терпеть от них днем. В те времена, когда Белый Клык еще не был вожаком, его теперешние товарищи по упряжке обычно старались не попадаться ему на дороге. Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся с утра и до вечера, сознание, что весь день Белый Клык убегал от них, находился в их власти,— все это не позволяло собакам отступать перед ним. Стоило ему появиться среди стаи, сейчас же начиналась драка. Его прогулки по стоянке сопровождались рычанием, грызней, визгом. Самый воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало ненависть и злобу в нем самом.

Когда Мит-Са приказывал упряжке остановиться, Белый Клык слушался его окрика. На первых порах эта

остановка вызывала замешательство среди собак, все они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут дело принимало совсем другой оборот: размахивая бичом, на помощь Белому Клыку приходил Мит-Са. И собаки поняли наконец, что, если сани останавливаются по приказанию Мит-Са, вожака лучше не трогать. Но если Белый Клык останавливался самовольно, значит, над ним можно было чинить расправу.

Вскоре Белый Клык перестал останавливаться без приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да Белый Клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь.

Но для собак эти уроки пропадали даром — они не оставляли его в покое на стоянках. Дневная погоня и яростный лай, в который упряжка вкладывала всю свою ненависть к вожаку, заставляли ее забывать то, что было предыдущей ночью; на следующую ночь урок повторялся, но к утру от него не оставалось и следа. Кроме того, вражду собак к Белому Клыку питало еще одно немаловажное обстоятельство: они чувствовали в нем иную породу, и этого было вполне достаточно, чтобы противопоставить их друг другу.

Так же как и Белый Клык, все они были прирученные волки, но за ними стояло уже несколько прирученных поколений. Многое, чем наделяет волка Северная глушь, было уже утеряно, и для собак в Северной глуши таилась лишь неизвестность, вечная угроза и вечная вражда. Но внешность Белого Клыка, все его повадки и инстинкты говорили о крепкой связи с Северной глушью; он был символом и олицетворением ее. И поэтому, скаля на него зубы, собаки тем самым охраняли себя от гибели, таившейся в сумраке лесов и во тьме, со всех сторон обступавшей костры человека.

Впрочем, один урок собаки заучили твердо: надо держаться вместе. Белый Клык был слишком опасным противником, и никто не решался встретиться с ним один на один. Собаки нападали на него всей сворой, иначе он разделался бы с ними за одну ночь. И Белому Клыку не удавалось разделаться ни с одним из своих врагов. Он сбивал противника с ног, но стая сейчас же набрасывалась на него, не давая ему прокусить собаке горло. При малейшем намеке на ссору вся упряжка дружно ополчалась на своего вожака. Собаки постоянно грызлись между собой, но

стоило только кому-нибудь из них затеять драку с Белым Клыком, как все прочие ссоры мигом забывались.

Однако загрызть Белого Клыка они не могли при всем своем старании. Он был слишком подвижен для них, слишком грозен и умен. Он избегал тех мест, где можно было попасть в ловушку, и всегда ускользал, когда свора старалась окружить его кольцом. А о том, чтобы сбить Белого Клыка с ног, не могла помышлять ни одна собака. Ноги его с таким же упорством цеплялись за землю, с каким сам он цеплялся за жизнь. И поэтому в той нескончаемой войне, которую Белый Клык вел со стаей, сохранить жизнь и удержаться на ногах — были для него понятия равнозначные, и никто не знал этого лучше, чем он сам.

Итак, Белый Клык стал непримиримым врагом своих собратьев — врагом волков, которые пригрелись у костра, разведенного человеком, и изнежились под спасительною сенью человеческого могущества. Таким сделала его жизнь. Он объявил кровную месть всем собакам и мстил так жестоко, что даже Серый Бобр, в котором было достаточно ярости и дикости, не мог надивиться злобе Белого Клыка. «Нет другой такой собаки!» — говорил Серый Бобр. И индейцы из чужих поселков подтверждали его слова, вспоминая, как Белый Клык расправлялся с их собаками.

Белому Клыку было около пяти лет, когда Серый Бобр снова взял его с собой в длинное путешествие, и в поселках у Скалистых Гор, вдоль рек Макензи и Поркьюпайна, вплоть до самого Юкона, долго помнили расправы Белого Клыка с собаками. Он упивался своей местью. Чужие собаки не ждали от него ничего плохого, им не приходилось встречаться с противником, который нападал бы так неожиданно и стремительно. Они не знали, что имеют дело с врагом, убивающим, как молния, с одного удара. Собаки в чужих поселках подходили к Белому Клыку с вызывающим видом, а он, не теряя времени на предварительные церемонии, кидался на них стремительно, словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за горло и убивал противника, не дав ему опомниться от изумления.

Белый Клык стал опытным бойцом. Он дрался расчетливо, никогда не тратил сил понапрасну, не затягивал борьбы. Он налетал и, если случалось промахнуться, сейчас же отскакивал назад. Как и все волки, Белый Клык

избегал длительного соприкосновения с противником. Он не выносил этого. Такое соприкосновение таило в себе опасность и приводило его в бешенство. Он хотел быть свободным, хотел твердо держаться на ногах. Северная глушь не выпускала Белого Клыка из своих цепких объятий и утверждала свою власть над ним. Отчужденность с самого раннего детства от общества ему подобных только усилила в нем это стремление к свободе. Непосредственная близость к противнику таила в себе какую-то угрозу. Белый Клык подозревал здесь ловушку, и страх перед этой ловушкой не покидал его.

Чужие собаки не могли тягаться с ним. Белый Клык увертывался от их клыков; он расправлялся с ними и убегал невредимый. Правда, нет правила без исключения. Бывало и так, что на Белого Клыка налетало сразу несколько противников и он не успевал убежать от них, а иногда ему здорово влетало и от какой-нибудь одной собаки. Но это случалось редко. Белый Клык стал таким искусным бойцом, что выходил с честью почти из всех драк.

Он обладал еще одним достоинством — умением правильно рассчитывать время и расстояние. Делалось это, разумеется, совершенно бессознательно. Просто его никогда не подводило зрение, и весь его организм, слаженный лучше, чем у других собак, работал точно и быстро. Координация сил умственных и физических была совершеннее, чем у них. Когда зрительные нервы передавали мозгу Белого Клыка движущееся изображение, его мозг без всякого усилия определял пространство и время, необходимое для того, чтобы это движение завершилось. Таким образом, он мог увернуться от прыжка собаки или от ее клыков и в то же время использовать каждую секунду, чтобы самому броситься на противника. Но воздавать ему хвалы за это не следует — природа одарила его более щедро, чем других, вот и все.

Было лето, когда Белый Клык попал в форт Юкон. В конце зимы Серый Бобр пересек водораздел между Макензи и Юконом и всю весну проохотился на западных отрогах Скалистых Гор. А когда река Поркьюпайн очистилась ото льда, Серый Бобр сделал пирогу и спустился вниз по ней к месту слияния ее с Юконом, как раз под самым Полярным кругом. Здесь стоял форт Компании Гудзонова залива. В форте было много индейцев, много съестных припасов, повсюду царило небывалое оживление.

Было лето 1898 года, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону, к Доусону и на Клондайк. До цели путешествия им оставались еще сотни миль, а между тем многие из них находились в пути уже год; меньше пяти тысяч миль не сделал никто, а некоторые приехали сюда с другого конца света.

В форте Юкон Серый Бобр сделал остановку. Слухи о «золотой лихорадке» достигли и до его ушей, и он привез с собой несколько тюков с мехами и один тюк с рукавицами и мокасинами. Серый Бобр никогда не отважился бы пуститься в такой далекий путь, если бы его не привлекла сюда надежда на большую наживу. Но то, что Серый Бобр увидел здесь, превзошло все его ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рассчитывал выручить от продажи мехов сто процентов, а убедился, что можно выручить и тысячу. И, как истинный индеец, Серый Бобр принялся за дело не спеша, решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не продешевить свои товары.

В форте Юкон Белый Клык впервые увидел белых людей. Рядом с индейцами они казались ему существами другой породы — богами, власть которых опиралась на еще большее могущество. Эта уверенность пришла к Белому Клыку сама собой; ему не надо было напрягать свои мыслительные способности, чтобы убедиться в могуществе белых богов. Он только чувствовал его, но чувствовал с необычайной силой. Вигвамы, построенные индейцами, казались ему когда-то свидетельством величия человека, а теперь его поражал громадный форт и дома из толстых бревен. Все это говорило о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть их простиралась дальше власти прежних богов Белого Клыка, среди которых самым могущественным существом был Серый Бобр. Но и Серый Бобр казался ничтожеством по сравнению с белокожими богами.

Разумеется, Белый Клык только чувствовал все это и не отдавал себе ясного отчета в своих ощущениях. Но животные действуют чаще всего на основании именно таких ощущений; и каждый поступок Белого Клыка объяснялся теперь уверенностью в могуществе белых богов. Он относился к ним с большой опаской. Кто знает, какого неведомого ужаса и какой новой беды можно ждать от них? Белый Клык с любопытством наблюдал за белыми богами, но боялся попадаться им на пути. Первые несколько часов

он довольствовался тем, что шнырял вокруг и следил за ними издали, но потом, увидев, что белые боги не причиняют никакого вреда своим собакам, подошел поближе.

В свою очередь, Белый Клык привлекал к себе всеобщее внимание: его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него друг другу пальцами. Это заставило Белого Клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось дотронуться до него рукой,— и хорошо, что не удавалось.

Вскоре Белый Клык узнал, что очень немногие из этих богов — всего человек десять — постоянно живут в форте. Каждые два-три дня к берегу приставал пароход (еще одно великое доказательство всемогущества белых людей) и по нескольку часов стоял у причала. Боги приезжали и снова уезжали на пароходах. Казалось, людям этим нет числа. В первые же два дня Белый Клык увидел их столько, сколько не видел индейцев за всю свою жизнь. И каждый день они приезжали, ходили по форту и снова уезжали вверх по реке.

Но если белые боги были всемогущи, то собаки их ничего не стоили. Белый Клык быстро убедился в этом, столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со своими хозяевами. Все они были не похожи одна на другую. У одних были короткие, слишком короткие ноги; у других — длинные, слишком длинные. Вместо густого меха их покрывала короткая шерсть, а у некоторых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак не умела драться.

Питая ненависть ко всей своей породе, Белый Клык считал себя обязанным вступать в драку и с этими собаками. После нескольких стычек он проникся к ним глубочайшим презрением: они оказались неуклюжими, беспомощными и старались одолеть Белого Клыка одной силой, тогда как он брал сноровкой и хитростью. Собаки кидались на него с лаем. Белый Клык прыгал в сторону. Они теряли его из виду, и тогда он налетал на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в горло.

Часто укус этот бывал смертельным, и его противник бился в грязи под ногами индейских собак, которые только и ждали той минуты, когда можно будет броситься всей стаей и разорвать чужака на куски. Белый Клык был мудр. Он уже давно знал, что боги гневаются, когда кто-нибудь убивает их собак. Белые боги не составляли ис-

ключения. Поэтому, свалив противника с ног и прокусив ему горло, он отбегал в сторону и позволял стае доканчивать начатое им дело. В это время белые люди подбегали и обрушивали свой гнев на стаю, а Белый Клык выходил сухим из воды. Обычно он стоял в стороне и наблюдал, как его собратьев бьют камнями, палками, топорами и всем, что только попадалось людям под руку. Белый Клык был очень мудр.

Но его собратья тоже кое-чему научились: они поняли, что самая потеха начинается в ту минуту, когда пароход пристает к берегу. Вот собаки сбежали с парохода, и две-три из них мгновенно оказались растерзанными. Тогда люди загоняют остальных обратно и принимаются за жестокую расправу. Однажды белый человек, на глазах у которого разорвали его собаку-сеттера, выхватил револьвер. Он выстрелил шесть раз подряд, и шесть собак из стаи повалились замертво. Это было еще одно проявление могущества белых людей, надолго запомнившееся Белому Клыку.

Белый Клык упивался всем этим, он не жалел своих собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стычках невредимым. На первых порах драки с собаками белых людей просто развлекали его, потом он принялся за это по-настоящему. Другого дела у него не было. Серый Бобр занялся торговлей, богател. И Белый Клык слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой беспутных индейских собак прибытия пароходов. Как только пароход причаливал к берегу, начиналась потеха. К тому времени, когда белые люди приходили в себя от неожиданности, собачья свора разбегалась в разные стороны и ожидала следующего парохода.

Однако Белого Клыка нельзя было считать членом собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался в стороне, никогда не терял своей независимости, и собаки даже побаивались его. Правда, он действовал с ними заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а Белый Клык сейчас же удирал, предоставляя своре получать наказание от разгневанных богов.

Для того чтобы затеять такую ссору, не требовалось большого труда. Белому Клыку стоило только показаться на пристани, когда чужие собаки сходили на берег,— этого было достаточно, они кидались на него. Так повеле-

вал им инстинкт. Собаки чуяли в Белом Клыке Северную глушь, неизвестное, ужас, вечную угрозу; чуяли в нем то, что ходило, крадучись, во мраке, окружающем человеческие костры, когда они, подобравшись к этим кострам, отказывались от своих прежних инстинктов и боялись Северной глуши, покинутой и преданной ими. От поколения к поколению передавался собакам этот страх перед Северной глушью. Северная глушь грозила гибелью, но их повелители дали им право убивать все живое, что приходит оттуда. И, воспользовавшись этим правом, они защищали себя и богов, допустивших их в свое общество.

И поэтому выходцам с юга, сбегавшим по трапу на берег Юкона, достаточно было увидеть Белого Клыка, чтобы почувствовать непреодолимое желание кинуться и растерзать его. Среди приезжих собак попадались и городские, но инстинктивный страх перед Северной глушью сохранился и в них. На представшего перед ними средь бела дня зверя, похожего на волка, они смотрели не только своими глазами — они смотрели на Белого Клыка глазами предков, и память, унаследованная от всех предыдущих поколений, подсказывала им, что перед ними стоит волк, к которому порода их питает извечную вражду.

Все это доставляло удовольствие Белому Клыку. Если одним своим видом он заставляет собак кидаться в драку, тем лучше для него и тем хуже для них самих. Они чуяли в Белом Клыке свою законную добычу, и точно так же относился к ним и он.

Недаром Белый Клык впервые увидел дневной свет в уединенном логовище и в первых же своих битвах имел таких противников, как белая куропатка, ласка и рысь. И недаром его раннее детство было омрачено враждой с Лип-Липом и со всей стаей молодых собак. Сложись его жизнь по-иному — и он сам был бы иным. Не будь в поселке Лип-Липа, Белый Клык подружился бы с другими щенками, был бы больше похож на собаку и с большей терпимостью относился бы к своим собратьям. Будь Серый Бобр мягче и добрее, он сумел бы пробудить в нем чувство привязанности и любви. Но все сложилось по-иному. Жизнь круто обошлась с Белым Клыком, и он стал угрюмым, замкнутым, злобным зверем — врагом своих собратьев.

Глава вторая

СУМАСШЕДШИЙ БОГ

Белых людей в форте Юкон было немного. Все они уже давно жили здесь, называли себя «кислым тестом» и очень гордились этим. Тех, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали. Люди, сходившие с парохода на берег, были новичками и назывались «чечакос». Новички сильно недолюбливали свое прозвище. Они замешивали тесто на соде, и это проводило резкую грань между ними и старожилами, которые ставили хлеб на закваске, потому что соды у них не было.

Но все это — между прочим. Жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие доставляли им расправы Белого Клыка и всей бесчинствующей своры с чужими собаками. Как только пароход подходил, старожилы форта спешили на берег, чтобы не прозевать потехи. Они предвкушали развлечение не меньше индейских собак и, конечно, сейчас же оценили ту роль, какую играл в этих драках Белый Клык.

Но был среди старожилов один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Заслышав гудок приближающегося парохода, он со всех ног пускался к берегу, а когда драка заканчивалась и свора во главе с Белым Клыком разбегалась в разные стороны, человек этот медленно уходил с пристани, всем своим видом выражая глубокое сожаление. Часто, когда изнеженная южная собака с предсмертным воем падала на землю и погибала, раздираемая на клочки налетевшей на нее сворой, человек этот кричал и прыгал от восторга. И каждый раз он завистливо поглядывал на Белого Клыка.

Старожилы форта прозвали этого человека «Красавчиком». Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как Красавчик Смит. Правда, красивого в нем было мало; поэтому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, а на его щуплом теле сидела неправильной формы, удлиненная голова. В детстве, еще до того как за ним укрепилось новое прозвище «Красавчик», сверстники звали его «Гвоздиком».

Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила Красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди, а может быть, это только так казалось, ибо шея у Красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши.

Нижняя челюсть придавала его лицу выражение свирепой решительности, но в эту решительность как-то не верилось,— возможно, потому, что челюсть была слишком уж велика и массивна. Другими словами, никакой решительности в натуре Красавчика Смита не было и в помине. Он слыл повсюду за презренного, жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть о том, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски, она соскребла для них все остатки со своей палитры — и получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на лице, напоминая растрепанный ветром сноп соломы.

Короче говоря, Красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек уродился. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую другую грязную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, Красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину, и стакан кофе с отравой. Но ведь кому-нибудь нужно было заниматься стряпней, а Красавчик Смит, несмотря на все его недостатки, знал свое дело.

Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью Белого Клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с Белым Клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Потом, когда заигрывания стали настойчивее, Белый Клык скалил на Красавчика Смита зубы, ощетинивался и убегал. Этот человек не нравился ему. Белый Клык чуял в нем что-то злое и ненави-

дел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса.

Добро и зло воспринимаются простым существом очень просто. Добро есть все то, что прекращает боль, что несет с собой свободу и удовлетворение. Поэтому добро приятно. Зло же ненавистно, потому что оно приносит беспокойство, опасность, страдание. Как над гнилым болотом поднимается туман, так и от уродливого тела и грязной душонки Красавчика Смита веяло чем-то дурным, нездоровым. Бессознательно, словно при помощи шестого чувства, Белый Клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть.

Белый Клык был дома, когда Красавчик Смит впервые зашел к Серому Бобру. Еще задолго до появления Красавчика Смита, по одному звуку его шагов, Белый Клык понял, кто идет к ним, и ощетинился. Хоть ему было и очень удобно лежать, но, лишь только этот человек подошел к палатке, он сейчас же поднялся и бесшумно, как настоящий волк, отбежал в сторону. Белый Клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком у Серого Бобра, он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы Красавчик Смит показал на Белого Клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии пятидесяти футов от него, а опускалась ему на спину. Красавчик Смит захохотал, и Белый Клык решил скрыться в лес и, убегая, все оглядывался назад, на разговаривавших людей.

Серый Бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь — ни на Макензи, ни на Юконе. Белый Клык — мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит — все равно что человеку прихлопнуть комара. (Глаза у Красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы.) Нет, Серый Бобр ни за какие деньги не продаст Белого Клыка.

Но Красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к Серому Бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством — оно возбуждает жажду. И такая жажда появилась у Серого Бобра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные

от продажи мехов, рукавиц и мокасин, начали таять. Их становилось все меньше и меньше, и, чем больше пустел мешок, в котором они хранились у Серого Бобра, тем он становился беспокойнее.

Наконец все ушло: и деньги, и товары, и спокойствие. У Серого Бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда Красавчик Смит снова завел речь о продаже Белого Клыка; но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и Серый Бобр прислушался к предложению более внимательно.

— Сумеешь поймать — собака твоя,— было его последнее слово.

Бутылки перешли к нему, но через два дня Красавчик Смит сам сказал Серому Бобру:

— Поймай собаку.

Вернувшись как-то вечером домой, Белый Клык со вздохом облегчения улегся около палатки. Страшного белого бога не было. За последние дни он все больше и больше приставал к Белому Клыку, и тот предпочел на это время совсем уйти из дому. Он не знал, какую опасность таят в себе руки этого человека, он только чуял что-то недоброе и решил держаться от них подальше.

Как только Белый Клык улегся, Серый Бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом Серый Бобр сел рядом с Белым Клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку и то и дело прикладывался к ней, и тогда Белый Клык слышал бульканье.

Так прошел час, и вдруг до ушей Белого Клыка донеслись звуки чьих-то шагов. Он различил их первый и, догадавшись, кто идет, весь ощетинился. Серый Бобр сидел и клевал носом. Белый Клык осторожно потянул ремень из рук хозяина, но ослабевшие пальцы сжались крепче, и Серый Бобр проснулся.

Красавчик Смит подошел к палатке и остановился рядом с Белым Клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала опускаться над его головой. Белый Клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускаться, а Белый Клык, злобно глядя на нее и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с рез-

ким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый Бобр ударил Белого Клыка по голове, и тот снова покорно лег на землю.

Белый Клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что Красавчик Смит ушел и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый Бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый Клык все еще лежал. Серый Бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый Клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил Белого Клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый Бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень, и Белый Клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги.

Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый Клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплелся за Красавчиком Смитом, а тот не спускал с него глаз и держал палку наготове.

Придя в форт, Красавчик Смит крепко привязал Белого Клыка и улегся спать. Белый Клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь десять секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну: ремень был перерезан наискось, как ножом. Оглядевшись по сторонам, Белый Клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к палатке Серого Бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя Серому Бобру, и никто другой, кроме Серого Бобра, не мог владеть им.

Все предыдущее повторилось, но с некоторой разницей. Серый Бобр снова привязал его и утром отвел к Красавчику Смиту. Вот тут-то Белый Клык и ощутил эту разницу. Красавчик Смит задал ему трепку. Белому Клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст. И таких побоев Белому Клыку не приходилось испытывать еще ни разу в жизни. Даже та порка, которую когда-

то давно ему задал Серый Бобр, была пустяком по сравнению с тем, что пришлось вынести теперь.

Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнем, когда Белый Клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Все живое любит власть, и Красавчик Смит не представлял собою исключения: не имея возможности властвовать над равными себе, он пользовался беззащитностью животных. Но Красавчика Смита не следует винить за это. Уродливое тело и низкий интеллект были даны ему от рождения, а жизнь обошлась с ним сурово и не выправила его.

Белый Клык знал, почему его бьют. Когда Серый Бобр надел ремень ему на шею и передал привязь Красавчику Смиту, Белый Клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И, когда Красавчик Смит посадил его на привязь в форте, он понял, что тот приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Ему приходилось и раньше видеть, как собак, убежавших от нового хозяина, били так же, как били сейчас его. Белый Клык был мудр, но в нем жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый Клык не любил Серого Бобра и все же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать. Таким он был создан. Верность была достоянием породы Белого Клыка, верность отличала его от всех других животных, верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами.

После избиения Белого Клыка оттащили обратно в форт, и на этот раз Красавчик Смит привязал его по индейскому способу — с палкой. Но отказываться от своего божества нелегко, и Белый Клык испытал это на себе. Серый Бобр был для него богом, и он продолжал цепляться за Серого Бобра против его воли. Серый Бобр предал и отверг Белого Клыка, но это ничего не значило. Недаром же Белый Клык отдался Серому Бобру телом и душой. Узы, связывающие его с хозяином, было не так легко порвать.

И ночью, когда весь форт спал, Белый Клык принялся

грызть палку, к которой его привязали. Палка была сухая и твердая и так близко примыкала к шее, что он с трудом, после мучительного напряжения мускулов, дотянулся до нее зубами, а для того чтобы перегрызть привязь, ему понадобилось несколько часов терпеливейшей работы. До него ни одна собака не делала ничего подобного, но Белый Клык сделал это и рано утром убежал из форта с болтавшимся на шее огрызком палки.

Белый Клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришел бы к Серому Бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью — он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. Снова Белый Клык позволил надеть себе ремень на шею, и снова за ним пришел Красавчик Смит. И на этот раз Белому Клыку досталось еще больше. Серый Бобр безучастно смотрел, как белый человек взмахивает хлыстом. Он не пытался защитить собаку. Она уже не принадлежала ему. Когда избиение кончилось, Белый Клык был чуть жив. Изнеженная южная собака не вынесла бы таких побоев, но Белый Клык вынес. Его закалила суровая жизненная школа. Он был слишком жизнеспособен, и его хватка за жизнь была сильнее, чем у других собак. Но сейчас Белый Клык еле дышал. Он не мог даже шевельнуться. Красавчику Смиту пришлось подождать с полчаса, прежде чем вести его домой. А потом Белый Клык встал, пошатываясь, и, ничего перед собой не видя, поплелся за Красавчиком Смитом в форт.

На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся Серый Бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Поркьюпайн на Макензи. Белый Клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для Белого Клыка Красавчик Смит стал богом — страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог, но Белый Клык не знал, что такое сумасшествие; он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы.

Глава третья

ЦАРСТВО НЕНАВИСТИ

В руках сумасшедшего бога Белый Клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, Красавчик Смит посадил Белого Клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими, но мучительными нападками. Он очень скоро обнаружил, что Белый Клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота. Издеваясь над Белым Клыком, бог показывал на него пальцем. В эти минуты собака теряла всякую власть над собой и в припадках ярости, обуревавшей ее, казалась более бешеной, чем Красавчик Смит.

До сих пор Белый Клык чувствовал вражду — правда, свирепую вражду — только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства Красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Он возненавидел свою цепь, людей, глазевших на него сквозь перекладины загородки, приходивших вместе с людьми собак, на злобное рычание которых он ничем не мог ответить. Белый Клык ненавидел даже доски, из которых была сделана его загородка. Но прежде всего и больше всего он ненавидел Красавчика Смита.

Обращаясь так с Белым Клыком, Красавчик Смит преследовал определенную цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошел к Белому Клыку, держа в руке палку, и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, Белый Клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Белый Клык был великолепен в своей ярости. Полных пяти футов в длину и двух с половиной в вышину, он весил девяносто фунтов — гораздо больше любого взрослого волка. Массивный корпус собаки он унаследовал от матери, причем на теле его не было и следов жира. Мускулы, кости, сухожилия — и ни унции лишнего веса, как и подобает бойцу, который находится в прекрасной форме.

Дверь в загородку снова приоткрылась. Белый Клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь открылась шире. И вдруг к нему втолкнули большую собаку.

Дверь тотчас же захлопнулась. Белый Клык никогда не видел такой породы (это был мастиф), но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой не дерево, не железо, а живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосовал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на Белого Клыка. Но Белый Клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь увертываться и ускользать от противника, и в то же время успевал рвать его клыками и снова отпрыгивать назад.

Зрители кричали, аплодировали, а Красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от Белого Клыка, расправлявшегося с противником. Грузный, неповоротливый мастиф был обречен с самого начала, и схватка кончилась тем, что Красавчик Смит палкой отогнал Белого Клыка, а мастифа, полумертвого, выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке Красавчика Смита зазвенели деньги.

С этого дня Белый Клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется толпа. Это предвещало драку, а драка стала теперь для него единственным способом проявлять себя вовне. Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы Белого Клыка, потому что Белый Клык всегда выходил победителем из таких сражений. Однажды к нему впустили одну за другой трех собак. Потом, через несколько дней,— только что пойманного взрослого волка. А в третий раз ему пришлось драться с двумя собаками сразу. Из всех его драк это была самая отчаянная, и хотя он уложил обоих своих противников, но к концу побоища и сам еле дышал.

Осенью, когда выпал первый снег и по реке потянулось сало, Красавчик Смит взял место для себя и для Белого Клыка на пароходе, отправлявшемся вверх по Юкону до Доусона. Слава о Белом Клыке прокатилась повсюду. Он был известен под кличкой «Боевого Волка», и поэтому около его клетки на палубе всегда толпились любопытные. Он рычал и кидался на зрителей или же лежал неподвижно и с холодной ненавистью смотрел на них. Разве эти люди не заслуживали его ненависти? Белый Клык ни-

когда не задавал себе такого вопроса. Он знал только одно это чувство и весь отдавался ему. Жизнь стала для него адом. Как и всякий дикий зверь, попавший в руки к человеку, он не мог сидеть взаперти. А ему приходилось терпеть неволю.

Зеваки глазели на Белого Клыка, совали палки сквозь решетку; он рычал, а они смеялись над ним. Эти люди будили в нем такую ярость, какой не предполагала наделить его и сама природа. Однако природа дала ему способность приспособляться. Там, где другое животное погибло бы или смирилось, Белый Клык применялся к обстоятельствам и продолжал жить, не ломая своего упорства. Возможно, что дьяволу в образе Красавчика Смита в конце концов и удалось бы сломить Белого Клыка, но пока что все его старания были тщетны.

Если в Красавчике Смите сидел дьявол, то и Белый Клык не уступал ему в этом, и оба дьявола вели нескончаемую войну друг против друга. Прежде у Белого Клыка хватало благоразумия на то, чтобы покориться человеку, который держит палку в руке; теперь же это благоразумие его оставило. Ему достаточно было увидеть Красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. И, когда они сталкивались и палка загоняла Белого Клыка в угол клетки, он и тогда не переставал рычать и скалить зубы. Унять его было невозможно. Красавчик Смит мог бить Белого Клыка как угодно и сколько угодно — тот не сдавался. Лишь только хозяин прекращал избиение и уходил, вслед ему слышался вызывающий рев или же Белый Клык кидался на прутья клетки и выл от бушевавшей в нем ненависти.

Когда пароход прибыл в Доусон, Белого Клыка свели на берег. Но и в Доусоне он жил по-прежнему на виду у всех, в клетке, постоянно окруженный зеваками. Красавчик Смит выставил напоказ своего Боевого Волка, и люди платили по пятидесяти центов золотым песком, чтобы поглядеть на него. У Белого Клыка не было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, поднимали с места палкой. Зрители хотели получить полное удовольствие за свои деньги. А для того чтобы сделать зрелище еще более занимательным, Белого Клыка постоянно держали в состоянии бешенства.

Но хуже всего была та атмосфера, в которой он жил. На него смотрели, как на страшного дикого зверя, и это

отношение людей проникало к Белому Клыку сквозь прутья клетки. Каждое их слово, каждое движение убеждало его в том, насколько страшна людям его ярость. Это лишь подливало масла в огонь, и свирепость Белого Клыка росла с каждым днем. Вот еще одно доказательство податливости материала, из которого он был сделан,— доказательство его способности применяться к окружающей среде.

Красавчик Смит не только выставил Белого Клыка напоказ, он сделал из него и профессионального бойца. Когда являлась возможность устроить бой, Белого Клыка выводили из клетки и вели в лес, за несколько миль от города. Обычно это делалось ночью, чтобы избежать столкновения с местной конной полицией. Через несколько часов, на рассвете, появлялись зрители и собака, с которой ему предстояло драться. Белому Клыку приходилось встречать противников всех пород и всех размеров. Он жил в дикой стране, и люди здесь были дикие, а собачьи бои обычно кончались смертью одного из участников.

Но Белый Клык продолжал сражаться, и, следовательно, погибали его противники. Он не знал поражений. Боевая закалка, полученная с детства, когда Белому Клыку приходилось сражаться с Лип-Липом и со всей стаей молодых собак, сослужила ему хорошую службу. Белого Клыка спасала твердость, с которой он держался на ногах. Ни одному противнику не удавалось повалить его. Собаки, в которых еще сохранилась кровь их далеких предков — волков, пускали в ход свой излюбленный боевой прием: кидались на противника прямо или неожиданным броском сбоку, рассчитывая ударить его в плечо и опрокинуть навзничь. Гончие с Макензи, ньюфаундленды, эскимосские собаки — все испробовали на Белом Клыке этот прием и ничего не добились. Не было случая, чтобы Белый Клык потерял равновесие. Люди рассказывали об этом друг другу и каждый раз надеялись, что его собьют с ног, но он неизменно разочаровывал их.

Белому Клыку помогала его молниеносная быстрота. Она давала ему громадный перевес над противниками. Даже самые опытные из них еще не встречали такого увертливого бойца. Приходилось считаться и с неожиданностью его нападения. Все собаки обычно выполняют перед дракой определенный ритуал — скалят зубы, ощетиниваются, рычат, и все собаки, которым приходилось

драться с Белым Клыком, бывали сбиты с ног и прикончены прежде, чем вступали в драку или приходили в себя от неожиданности. Это случалось так часто, что Белого Клыка стали придерживать, чтобы дать его противнику возможность выполнить положенный ритуал и даже первым броситься в драку.

Но самое большое преимущество в боях давал Белому Клыку его опыт. Белый Клык понимал толк в драках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех, умел отразить любое нападение, а его собственные боевые приемы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуждались в улучшении.

Но мало-помалу драться приходилось все реже и реже. Любители собачьих боев уже потеряли надежду подыскать Белому Клыку достойного соперника, и Красавчику Смиту не оставалось ничего другого, как выставлять его против волков. Индейцы ловили их капканами специально для этой цели, и бой Белого Клыка с волком неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось раздобыть где-то взрослую самку-рысь, и на этот раз Белому Клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь. Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в ярости и пускала в ход и зубы и острые когти, тогда как Белый Клык действовал только зубами.

Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому Клыку уже не с кем было драться — никто не мог выпустить на него достойного противника. И он просидел в клетке до весны, а весной в Доусон приехал некто Тим Кинен, по профессии картежный игрок. Кинен привез с собой бульдога — первого бульдога, появившегося на Клондайке. Встреча Белого Клыка с этой собакой была неизбежна. И в некоторых кварталах города предстоящая схватка между ними целую неделю служила главной темой разговоров.

Глава четвертая

ЦЕПКАЯ СМЕРТЬ

Красавчик Смит снял с него цепь и отступил назад.

И впервые Белый Клык кинулся в бой не сразу. Он стоял как вкопанный, навострив уши, и с любопытством всматривался в странное существо, представшее перед

ним. Он никогда не видел такой собаки. Тим Кинен подтолкнул бульдога вперед и сказал:

— Взять его!

Приземистый, неуклюжий пес проковылял на середину круга и, моргая глазами, остановился против Белого Клыка.

Из толпы закричали:

— Взять его, Чероки! Всыпь ему как следует! Взять, взять его!

Но Чероки, видимо, не имел ни малейшей охоты драться. Он повернул голову, посмотрел на кричавших людей и добродушно завилял обрубком хвоста. Чероки не боялся Белого Клыка, просто ему было лень начинать драку. Кроме того, он не был уверен, что с собакой, стоявшей перед ним, надо вступать в бой. Чероки не привык встречать таких противников и ждал, когда к нему приведут настоящего бойца.

Тим Кинен вошел в круг и, нагнувшись над бульдогом, стал поглаживать его против шерсти и легонько подталкивать вперед. Эти движения должны были подзадорить Чероки. И они не только подзадорили, но и разозлили его. Послышалось низкое, приглушенное рычание. Движения рук человека точно совпадали с рычанием собаки. Когда руки подталкивали Чероки вперед, он начинал рычать, потом умолкал, но на следующее прикосновение отвечал тем же. Каждое движение рук, поглаживавших Чероки против шерсти, заканчивалось легким толчком, и так же, словно толчком, из горла у него вырывалось рычание.

Белый Клык не мог оставаться равнодушным ко всему этому. Шерсть на загривке и на спине поднялась у него дыбом. Тим Кинен подтолкнул Чероки в последний раз и отступил назад. Пробежав по инерции несколько шагов вперед, бульдог не остановился и, быстро перебирая своими кривыми лапами, выскочил на середину круга. В эту минуту Белый Клык кинулся на него. Зрители восхищенно вскрикнули. Белый Клык с легкостью кошки в один прыжок покрыл все расстояние между собой и противником, с тем же кошачьим проворством рванул его клыками и отскочил в сторону.

На толстой шее у бульдога, около самого уха, показалась кровь. Словно не заметив этого, даже не зарычав, Чероки повернулся и побежал за Белым Клыком. Подвижность Белого Клыка и упорство Чероки разожгли страсти



толпы. Зрители заключали новые пари, увеличивали ставки. Белый Клык прыгнул на бульдога еще и еще раз, рванул его зубами и отскочил в сторону невредимым, а этот необычный противник продолжал спокойно и как бы деловито бегать за ним, не торопясь, но и не замедляя хода. В поведении Чероки чувствовалась какая-то определенная цель, от которой его ничто не могло отвлечь.

Все его движения, все повадки были проникнуты этой целью. Он сбивал Белого Клыка с толку. Никогда в жизни не встречалась ему такая собака. Шерсть у нее была совсем короткая, кровь показывалась на ее мягком теле от малейшей царапины. И где пушистый мех, который так мешает в драках? Зубы Белого Клыка без всякого труда впивались в податливое тело бульдога, который, судя по всему, совсем не умел защищаться. И почему он не визжит, не лает, как делают все собаки в таких случаях? Если не считать глухого рычания, бульдог терпел укусы молча и ни на минуту не прекращал погони за противником.

Чероки нельзя было упрекнуть в неповоротливости. Он вертелся и сновал из стороны в сторону, но Белый Клык все-таки ускользал от него. Чероки тоже был сбит с толку. Ему еще ни разу не приходилось драться с собакой, которая не подпускала бы его к себе. Желание сцепиться друг с другом до сих пор всегда было обоюдным. Но эта собака все время держалась на расстоянии, прыгала взад и вперед и увертывалась от него. И, даже рванув Чероки зубами, она сейчас же разжимала челюсти и отскакивала прочь.



А Белый Клык никак не мог добраться до горла своего противника. Бульдог был слишком мал ростом; кроме того, выдающаяся вперед челюсть служила ему хорошей защитой. Белый Клык бросался на него и отскакивал в сторону, ухитряясь не получить ни одной царапины, а количество ран на теле Чероки все росло и росло. Голова и шея у него были располосованы с обеих сторон, из ран хлестала кровь, но Чероки не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Он все так же упорно, так же добросовестно гонялся за Белым Клыком и за все это время остановился всего лишь раз, чтобы недоуменно посмотреть на людей и помахать обрубком хвоста в знак своей готовности продолжать драку.

В эту минуту Белый Клык налетел на Чероки и, рванув его за ухо, и без того изодранное в клочья, отскочил в сторону. Начиная сердиться, Чероки снова пустился в погоню, бегая внутри круга, который описывал Белый Клык, и стараясь вцепиться мертвой хваткой ему в горло. Бульдог промахнулся на самую малость, и Белый Клык, вызвав громкое одобрение толпы, спас себя только тем, что сделал неожиданный прыжок в противоположную сторону.

Время шло. Белый Клык плясал и вертелся около Чероки, то и дело кусая его и сейчас же отскакивая прочь. А бульдог с мрачной настойчивостью продолжал бегать за ним. Рано или поздно, а он добьется своего и, схватив Белого Клыка за горло, решит исход боя. Пока же ему не оставалось ничего другого, как терпеливо переносить все нападения противника. Короткие уши Чероки повисли

бахромой, шея и плечи покрылись множеством ран, и даже губы у него были располосованы и залиты кровью,— и все это наделали молниеносные укусы Белого Клыка, которых нельзя было ни предвидеть, ни избежать.

Много раз Белый Клык пытался сбить Чероки с ног, но разница в росте была слишком велика между ними. Чероки был коренастый, приземистый. И на этот раз счастье изменило Белому Клыку. Прыгая и вертясь юлой около Чероки, он улучил минуту, когда противник, не успев сделать крутой поворот, отвел голову в сторону и оставил плечо незащищенным. Белый Клык кинулся вперед, но его собственное плечо пришлось гораздо выше плеча противника, он не смог удержаться и со всего размаха перелетел через его спину. И впервые за всю боевую карьеру Белого Клыка люди стали свидетелями того, что Боевой Волк не сумел устоять на ногах. Он извернулся в воздухе, как кошка, и только это помешало ему упасть навзничь. Он грохнулся на бок и в следующее же мгновение опять стоял на ногах, но зубы Чероки уже впились ему в горло.

Хватка была не совсем удачная, она пришлась слишком низко, ближе к груди, но Чероки не разжимал челюстей. Белый Клык заметался из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть с себя бульдога. Эта волочащаяся за ним тяжесть доводила его до бешенства. Она связывала его движения, лишала его свободы, как будто он попал в капкан. Его инстинкт восставал против этого. Он не помнил себя. Жажда жизни овладела им. Его тело властно требовало свободы. Мозг, разум не участвовали в этой борьбе, отступив перед слепой тягой к жизни, к движению — прежде всего к движению, ибо в нем и проявляется жизнь.

Не останавливаясь ни на секунду, Белый Клык кружился, прыгал вперед, назад, силясь стряхнуть пятидесятифунтовый груз, повисший у него на шее. А бульдогу было важно только одно — не разжимать челюстей. Изредка, когда ему удавалось на одно мгновение коснуться лапами земли, он пытался сопротивляться Белому Клыку и тут же описывал круг в воздухе, повинуясь каждому движению обезумевшего противника. Чероки поступал так, как велел ему инстинкт. Он знал, что поступает правильно, что разжимать челюсти нельзя, и по временам вздрагивал от удовольствия. В такие минуты он даже за-

крывал глаза и, не считаясь с болью, позволял Белому Клыку крутить себя то вправо, то влево. Все это не имело значения. Сейчас Чероки важно было одно: не разжимать зубов, и он не разжимал их.

Белый Клык перестал метаться, только окончательно выбившись из сил. Он уже ничего не мог сделать, ничего не мог понять. Ни разу за всю его жизнь ему не приходилось испытывать ничего подобного. Собаки, с которыми он дрался раньше, вели себя совершенно по-другому. С ними надо было действовать так: вцепился, рванул зубами, отскочил; вцепился, рванул зубами, отскочил. Тяжело дыша, Белый Клык полулежал на земле. Не разжимая зубов, Чероки налегал на него всем телом, пытаясь повалить на бок. Белый Клык сопротивлялся и чувствовал, как челюсти бульдога, словно жуя его шкуру, передвигаются все выше и выше. С каждой минутой они приближались к горлу. Бульдог действовал расчетливо: стараясь не упустить захваченного, он пользовался малейшей возможностью захватить больше. Такая возможность предоставлялась ему, когда Белый Клык лежал спокойно, но лишь только тот начинал рваться, бульдог сразу сжимал челюсти.

Белый Клык мог дотянуться только до загривка Чероки. Он запустил ему зубы повыше плеча, но перебирать ими, как бы жуя шкуру, не смог — этот способ был незнаком ему, да и челюсти его не были приспособлены для такой хватки. Он судорожно рвал Чероки зубами и вдруг почувствовал, что положение их изменилось. Чероки опрокинул его на спину и, все еще не разжимая челюстей, ухитрился встать над ним. Белый Клык согнул задние ноги и, как кошка, начал рвать когтями своего врага. Чероки рисковал остаться с распоротым брюхом и спасся только тем, что прыгнул в сторону, под прямым углом к Белому Клыку.

Высвободиться из его хватки было немыслимо. Она сковывала с неумолимостью судьбы. Зубы Чероки медленно передвигались вверх, вдоль вены. Белого Клыка оберегали от смерти только широкие складки кожи и густой мех на шее. Чероки забил себе всю пасть его шкурой, но это не мешало ему пользоваться малейшей возможностью, чтобы захватить ее еще больше. Он душил Белого Клыка, и дышать тому с каждой минутой становилось все труднее и труднее.

Борьба, по-видимому, приближалась к концу. Те, кто

ставил на Чероки, были вне себя от восторга и предлагали чудовищные пари. Сторонники Белого Клыка приуныли и отказывались поставить десять против одного и двадцать против одного. Но нашелся один смельчак, который не побоялся принять пари в пятьдесят против одного. Это был Красавчик Смит. Он вошел в круг и, показав на Белого Клыка пальцем, стал презрительно смеяться над ним. Это возымело свое действие. Белый Клык обезумел от ярости. Он собрал последние силы и поднялся на ноги. Но стоило ему заметаться по кругу с пятидесятифунтовым грузом, повисшим у него на шее, как эта ярость уступила место ужасу. Жажда жизни снова овладела им, и разум в нем погас, подчиняясь велениям тела. Он бегал по кругу, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, взвивался на дыбы, вскидывал своего врага вверх, и все-таки все его попытки стряхнуть с себя цепкую смерть были тщетны.

Наконец Белый Клык опрокинулся навзничь, и бульдог сразу же перехватил зубами еще выше и, забирая его шкуру пастью, почти не давал ему перевести дух. Гром аплодисментов приветствовал победителя, из толпы кричали: «Чероки! Чероки!» Бульдог рьяно завилял обрубком хвоста. Но аплодисменты не помешали ему. Хвост и массивные челюсти действовали совершенно независимо друг от друга. Хвост ходил из стороны в сторону, а челюсти все сильнее и сильнее сдавливали Белому Клыку горло.

И тут зрители отвлеклись от этой забавы. Вдали послышались крики погонщиков собак, звон колокольчиков. Все, кроме Красавчика Смита, насторожились, решив, что нагрянула полиция. Но на дороге вскоре показались двое мужчин, бежавших рядом с санями. Они направлялись в город, возвращаясь, по всей вероятности, из какой-нибудь разведочной экспедиции. Увидев собравшуюся толпу, незнакомцы остановили собак и подошли узнать, что тут происходит.

Один из них был высокий молодой человек; его гладко выбритое лицо зарумянилось от быстрого движения на морозе. Другой, погонщик, был ниже ростом и с усами.

Белый Клык прекратил борьбу. Время от времени он начинал судорожно биться, но теперь всякое сопротивление было бесцельно. Безжалостные челюсти бульдога все сильнее сдавливали ему горло, воздуху не хватало, и ды-

хание его становилось все прерывистее и прерывистее. Чероки давно прокусил бы ему вену, если бы его зубы с самого начала не пришлись так близко к груди. Он перехватывал ими все выше, подбираясь к горлу, но на это уходило много времени, к тому же пасть его была вся забита толстыми складками шкуры Белого Клыка.

Тем временем зверская жестокость Красавчика Смита вытеснила в нем последние остатки разума. Увидев, что глаза Белого Клыка уже заволакивает пеленой, он понял, что бой проигран. Словно сорвавшись с цепи, он бросился к Белому Клыку и начал яростно бить его ногами. Зрители закричали, послышался свист, но тем дело и ограничилось. Не обращая внимания на эти протесты, Красавчик Смит продолжал бить Белого Клыка. Но вдруг в толпе произошло какое-то движение: высокий молодой человек пробирался вперед, бесцеремонно расталкивая всех направо и налево. Он вошел в круг как раз в ту минуту, когда Красавчик Смит заносил правую ногу для очередного удара; перенеся всю тяжесть на левую, он находился в состоянии неустойчивого равновесия. В это мгновение молодой человек с сокрушительной силой ударил его кулаком по лицу. Красавчик Смит не удержался и, подскочив в воздухе, рухнул на снег.

Молодой человек повернулся к толпе.

— Трусы! — закричал он.— Мерзавцы!

Он не помнил себя от гнева, того гнева, которым загорается только здравомыслящий человек. Его серые глаза сверкали стальным блеском. Красавчик Смит встал и боязливо двинулся к нему. Незнакомец не понял его намерений. Не подозревая, что перед ним отчаянный трус, он решил, что Красавчик Смит хочет драться, и, крикнув: «Мерзавец!» — вторично опрокинул его навзничь. Красавчик Смит сообразил, что лежать на снегу безопаснее, и уже не делал больше попыток подняться на ноги.

— Мэтт, помогите-ка мне! — сказал незнакомец погонщику, который вместе с ним вошел в круг.

Оба они нагнулись над собаками. Мэтт приготовился оттащить Белого Клыка в сторону, как только Чероки ослабит свою мертвую хватку. Молодой человек стал разжимать зубы бульдогу. Но все его усилия были напрасны. Сдавливая ему морду, стараясь разомкнуть челюсти, он не переставал повторять вполголоса: «Мерзавцы!»

Зрители заволновались, и кое-кто уже начинал проте-

стовать против такого непрошеного вмешательства. Но стоило незнакомцу поднять голову и посмотреть на толпу, как протестующие голоса смолкли.

— Мерзавцы вы такие! — крикнул он снова и принялся за дело.

— Нечего и стараться, мистер Скотт. Так мы их никогда не растащим,— сказал наконец Мэтт.

Они выпрямились и осмотрели сцепившихся собак.

— Крови вышло немного,— сказал Мэтт,— до горла еще не успел добраться.

— Того и гляди, доберется,— ответил Скотт.— Видали? Еще выше перехватил.

Волнение молодого человека и его страх за участь Белого Клыка росли с каждой минутой. Он ударил Чероки по голове — раз, другой. Но это не помогло. Чероки завилял обрубком хвоста в знак того, что, прекрасно понимая смысл этих ударов, он все же исполнит свой долг до конца и не разожмет челюстей.

— Помогите кто-нибудь! — крикнул Скотт, в отчаянии обращаясь к толпе.

Но ни один человек не двинулся с места. Зрители начинали подтрунивать над ним и засыпали его целым градом язвительных советов.

— Всуньте ему что-нибудь в пасть,— посоветовал Мэтт.

Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поясе, вынул револьвер и попробовал просунуть дуло между сжатыми челюстями бульдога. Он старался изо всех сил, слышно было, как сталь скрипит о стиснутые зубы Чероки. Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись над собаками.

Тим Кинен шагнул в круг. Подойдя к Скотту, он тронул его за плечо и проговорил угрожающим тоном:

— Не сломайте ему зубов, незнакомец.

— Не зубы, так шею сломаю,— ответил Скотт, продолжая всовывать револьверное дуло в пасть Чероки.

— Говорю вам, не сломайте зубов! — еще настойчивее повторил Тим Кинен.

Но если он рассчитывал запугать Скотта, это ему не удалось.

Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял голову и хладнокровно спросил:

— Ваша собака?

Тим Кинен буркнул что-то себе под нос.

— Тогда разожмите ей зубы.

— Вот что, друг любезный,— со злобой заговорил Тим,— это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, что тут делать.

— Тогда убирайтесь,— последовал ответ,— и не мешайте мне. Видите, я занят.

Тим Кинен не уходил, но Скотт уже не обращал на него никакого внимания. Он кое-как втиснул бульдогу дуло между зубами и теперь старался просунуть его дальше, чтобы оно вышло с другой стороны.

Добившись этого, Скотт начал осторожно, потихоньку разжимать бульдогу челюсти, а Мэтт тем временем освобождал из его пасти складки шкуры Белого Клыка.

— Держите свою собаку! —скомандовал Скотт Тиму.

Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками схватил бульдога.

— Ну! — крикнул Скотт, сделав последнее усилие.

Собак растащили в разные стороны. Бульдог отчаянно сопротивлялся.

— Уведите его! — приказал Скотт.

И Тим Кинен увел Чероки в толпу.

Белый Клык попытался встать — раз, другой. Но ослабевшие ноги подогнулись под ним, и он медленно повалился на снег. Его полузакрытые глаза потускнели, нижняя челюсть отвисла, язык вывалился наружу... Задушенная собака.

Мэтт осмотрел его.

— Чуть жив,— сказал он,— но дышит все-таки.

Красавчик Смит встал и подошел взглянуть на Белого Клыка.

— Мэтт, сколько стоит хорошая ездовая собака? — спросил Скотт.

Погонщик подумал с минуту и ответил, не поднимаясь с колен:

— Триста долларов.

— Ну, а такая, на которой живого места не осталось? — И Скотт ткнул Белого Клыка ногой.

— Половину,— решил погонщик.

Скотт повернулся к Красавчику Смиту:

— Слышали вы, зверь? Я беру у вас собаку и плачу за нее полтораста долларов.

Он открыл бумажник и отсчитал эту сумму.

Красавчик Смит заложил руки за спину, отказываясь взять протянутые ему деньги.

— Не продаю,— сказал он.

— Нет, продаете,—заявил Скотт,— потому что я покупаю. Получите деньги. Собака моя.

Все еще держа руки за спиной, Красавчик Смит попятился назад. Скотт шагнул к нему и замахнулся кулаком.

Красавчик Смит втянул голову в плечи.

— Собака моя...— начал было он.

— Вы потеряли все права на эту собаку,— перебил его Скотт.— Возьмите деньги, или мне ударить вас еще раз?

— Хорошо, хорошо,— испуганно забормотал Красавчик Смит.— Но вы меня принуждаете. Этой собаке цены нет. Я не позволю себя грабить. У каждого человека есть свои права.

— Верно,— ответил Скотт, передавая ему деньги.— У всякого человека есть свои права. Но вы не человек, а зверь!

— Дайте мне только вернуться в Доусон,— пригрозил ему Красавчик Смит,— там я найду на вас управу.

— Посмейте только рот открыть, я вас живо из Доусона выпровожу! Поняли?

Красавчик Смит пробормотал что-то невнятное.

— Поняли? — крикнул Скотт, рассвирепев.

— Да,— буркнул Красавчик Смит, попятившись от него.

— Как?

— Да, сэр! — рявкнул Красавчик Смит.

— Осторожнее. Он кусается! — крикнул кто-то, и в толпе захохотали.

Скотт повернулся к Красавчику Смиту спиной и подошел к погонщику, который все еще возился с Белым Клыком.

Кое-кто из зрителей уже уходил, другие собирались кучками, поглядывая на Скотта и переговариваясь между собой.

К одной из этих групп подошел Тим Кинен.

— Что это за птица? — спросил он.

— Уидон Скотт,— ответил кто-то.

— Какой такой Уидон Скотт?

— Да инженер с приисков. Он среди здешних запра-

вил свой человек. Если не хочешь нажить неприятностей, держись от него подальше. Ему сам начальник приисков друг-приятель.

— Я сразу понял, что это важная персона,— сказал Тим Кинен.— Нет, думаю, с таким лучше не связываться.

Глава пятая

НЕУКРОТИМЫЙ

— Безнадежно! — сказал Уидон Скотт.

Он опустился на ступеньку и посмотрел на погонщика, который так же безнадежно пожал плечами.

Оба перевели взгляд на Белого Клыка. Весь ощетинившись и злобно рыча, он рвался с цепи, стараясь добраться до собак, выпряженных из саней. Собаки же, получив изрядное количество наставлений от Мэтта — наставлений, подкрепленных палкой, понимали, что с Белым Клыком лучше не связываться.

Сейчас они лежали в сторонке и, казалось, совершенно забыли о его существовании.

— Нет, он волк, а волка не приручишь,— сказал Уидон Скотт.

— Да кто его знает? — возразил Мэтт.— Может, в нем от собаки больше, чем от волка. Но в чем я уверен, с того меня уж не собьешь...

Погонщик замолчал и с таинственным видом кивнул в сторону Лосиной горы.

— Ну, не заставляйте себя просить! — резко проговорил Скотт, так и не дождавшись продолжения.— Выкладывайте, в чем дело.

Погонщик ткнул большим пальцем назад, показывая на Белого Клыка.

— Волк он или собака — это неважно, а только его пробовали приручить.

— Быть того не может!

— Я вам говорю — пробовали. Он и в упряжке ходил. Вы посмотрите поближе. У него стертые места на груди.

— Правильно, Мэтт! До того как попасть к Красавчику Смиту, он ходил в упряжке.

— А почему бы ему не походить в упряжке и у нас?

— А в самом деле! — воскликнул Скотт.

Но появившаяся было надежда сейчас же угасла, и он сказал, покачивая головой:

— Мы его держим уже две недели, а он, кажется, еще злее стал.

— Давайте спустим его с цепи— посмотрим, что получится,— предложил Мэтт.

Скотт недоверчиво взглянул на него.

— Да, да!— продолжал Мэтт.— Я знаю, вы это уже пробовали, так попробуйте еще раз, только не забудьте взять палку.

— Хорошо, но теперь я поручу это вам.

Погонщик вооружился палкой и подошел к сидевшему на привязи Белому Клыку. Тот следил за палкой, как лев следит за бичом укротителя.

— Смотрите, как на палку уставился,— сказал Мэтт.— Это хороший признак. Значит, пес не так уж глуп. Не посмеет броситься на меня, пока я с палкой. Не бешеный же он, в конце концов.

Как только рука человека приблизилась к шее Белого Клыка, он ощетинился и с рычанием припал к земле. Не спуская глаз с руки Мэтта, он в то же время следил за палкой, занесенной над его головой. Мэтт быстро отстегнул цепь с ошейника и шагнул назад.

Белому Клыку не верилось, что он очутился на свободе. Многие месяцы прошли с тех пор, как им завладел Красавчик Смит, и за все это время его спускали с цепи только для драк с собаками, а потом опять сажали на привязь.

Что ему было делать со своей свободой? А вдруг боги снова замыслили какую-нибудь дьявольскую штуку?

Белый Клык сделал несколько медленных, осторожных шагов, каждую минуту ожидая нападения. Он не знал, как вести себя, настолько непривычна была эта свобода. На всякий случай лучше держаться подальше от наблюдающих за ним богов и отойти за угол хижины. Так он и сделал, и все обошлось благополучно.

Озадаченный этим, Белый Клык вернулся обратно и, остановившись футах в двенадцати от людей, настороженно уставился на них.

— А не убежит? — спросил новый хозяин.

Мэтт пожал плечами.

— Рискнем! Риск — благородное дело.

— Бедняга! Больше всего он нуждается в человеческой ласке,— с жалостью пробормотал Скотт и с этими словами вошел в хижину.

Он вынес оттуда кусок мяса и швырнул его Белому Клыку. Тот отскочил в сторону и стал недоверчиво разглядывать кусок издали.

— Назад, Майор! — крикнул Мэтт, но было уже поздно.

Майор кинулся к мясу, и в ту минуту, когда кусок уже был у него в зубах, Белый Клык налетел и сбил его с ног. Мэтт бросился к ним, но Белый Клык сделал свое дело быстро. Майор с трудом привстал, и кровь, хлынувшая у него из горла, красной лужей расползлась по снегу.

— Жалко Майора, но поделом ему,— поспешно сказал Скотт.

Но Мэтт уже занес ногу, чтобы ударить Белого Клыка. Быстро один за другим последовали прыжок, лязг зубов и громкий крик боли.

Свирепо рыча, Белый Клык отполз назад, а Мэтт нагнулся и стал осматривать свою прокушенную ногу.

— Цапнул все-таки,— сказал он, показывая на разорванную штанину и нижнее белье, на котором расплывался кровавый круг.

— Я же говорил вам, что это безнадежно,— упавшим голосом проговорил Скотт.— Я об этой собаке много думал, не выходит она у меня из головы. Ну что ж, ничего другого не остается.

С этими словами он нехотя вынул из кармана револьвер и, осмотрев барабан, убедился, что пули в нем есть.

— Послушайте, мистер Скотт,— взмолился Мэтт,— чего только этой собаке не пришлось испытать! Нельзя же требовать, чтобы она сразу превратилась в ангелочка. Дайте ей срок.

— Полюбуйтесь на Майора,— ответил Скотт.

Погонщик взглянул на искалеченную собаку. Она валялась на снегу в луже крови и была, по-видимому, при последнем издыхании.

— Поделом ему. Вы же сами так сказали, мистер Скотт. Позарился на чужой кусок — значит, спета его песенка. Этого следовало ожидать. Я и гроша ломаного не дам за собаку, которая отдаст свой корм без боя.

— Ну, а вы сами, Мэтт? Собаки собаками, но всему должна быть мера.

— И мне поделом,— не сдавался Мэтт.— За что, спрашивается, я его ударил? Вы же сами сказали, что он прав. Значит, не за что было его бить.

— Мы сделаем доброе дело, застрелив эту собаку,— настаивал Скотт.— Нам ее не приручить!

— Послушайте, мистер Скотт. Дадим ему, бедняге, показать себя. Ведь он черт знает что вытерпел, прежде чем попасть к нам. Давайте попробуем. А если он не оправдает нашего доверия, я его сам застрелю.

— Да мне вовсе не хочется его убивать,— ответил Скотт, пряча револьвер.— Пусть побегает на свободе, и посмотрим, чего от него можно добром добиться. Вот я сейчас попробую.

Он подошел к Белому Клыку и заговорил с ним мягким, успокаивающим голосом.

— Возьмите палку на всякий случай! — предостерег его Мэтт.

Скотт отрицательно покачал головой и продолжал говорить, стараясь завоевать доверие Белого Клыка.

Белый Клык насторожился. Ему грозила опасность. Он загрыз собаку этого бога, укусил его товарища. Чего же теперь ждать, кроме сурового наказания? И все-таки он не смирился. Шерсть на нем встала дыбом, все тело напряглось, он оскалил зубы и зорко следил за человеком, приготовившись ко всякой неожиданности. В руках у Скотта не было палки, и Белый Клык подпустил его к себе совсем близко. Рука бога стала опускаться над его головой. Белый Клык съежился и припал к земле. Вот где таится опасность и предательство! Руки богов с их непререкаемой властью и коварством были ему хорошо известны. Кроме того, он по-прежнему не выносил прикосновения к своему телу. Он зарычал еще злее и пригнулся к земле еще ниже, а рука все продолжала опускаться. Он не хотел кусать эту руку и терпеливо переносил опасность, которой она грозила, до тех пор, пока мог бороться с инстинктом — с ненасытной жаждой жизни.

Уидон Скотт был уверен, что всегда успеет вовремя отдернуть руку. Но тут ему довелось испытать на себе, как Белый Клык умеет разить с меткостью и стремительностью змеи, развернувшей свои кольца.

Скотт вскрикнул от неожиданности и схватил проку-

шенную правую руку левой рукой. Мэтт громко выругался и подскочил к нему. Белый Клык отполз назад, весь ощетинившись, скаля зубы и угрожающе поглядывая на людей. Теперь уж наверное его ждут побои, не менее страшные, чем те, которые приходилось выносить от Красавчика Смита.

— Что вы делаете? — вдруг крикнул Скотт.

А Мэтт уже успел сбегать в хижину и появился на пороге с ружьем в руках.

— Ничего особенного,— медленно, с напускным спокойствием проговорил он.— Хочу сдержать свое обещание. Сказал, что застрелю собаку, значит, застрелю.

— Нет, не застрелите!

— Нет, застрелю! Вот смотрите.

Теперь настала очередь Уидона Скотта вступиться за Белого Клыка, как вступился за него несколько минут назад укушенный Мэтт.

— Вы сами предлагали испытать его, так испытайте! Мы же только начали, нельзя сразу бросать дело. Я сам виноват. И... посмотрите-ка на него!

Глядя на них из-за угла хижины, Белый Клык рычал с такой яростью, что кровь стыла в жилах, но ярость его вызывал не Скотт, а погонщик.

— Ну что ты скажешь! — воскликнул Мэтт.

— Видите, какой он понятливый! — торопливо продолжал Скотт.— Он не хуже нас с вами знает, что такое огнестрельное оружие. С такой умной собакой стоит повозиться. Отставьте ружье.

— Ладно. Давайте попробуем.— И Мэтт прислонил ружье к штабелю дров.— Да нет! Вы только полюбуйтесь на него! — воскликнул он в ту же минуту.

Белый Клык успокоился и перестал ворчать.

— Попробуйте еще раз. Следите за ним.

Мэтт взял ружье — и Белый Клык снова зарычал. Мэтт отошел от ружья — Белый Клык спрятал зубы.

— Ну, еще раз. Это просто интересно!

Мэтт взял ружье и стал медленно поднимать его к плечу. Белый Клык сразу же зарычал, и рычание его становилось все громче и громче, по мере того как ружье поднималось кверху. Но не успел Мэтт навести на него дуло, как он отпрыгнул в сторону и скрылся за углом хижины. На прицеле у Мэтта был белый снег, а место, где только что стояла собака, пустовало.

Погонщик медленно опустил ружье, повернулся и посмотрел на своего хозяина.

— Правильно, мистер Скотт. Пес слишком умен. Жалко его убивать.

Глава шестая

НОВАЯ НАУКА

Увидев приближающегося Уидона Скотта, Белый Клык ощетинился и зарычал, давая этим понять, что не потерпит расправы над собой. С тех пор как он прокусил Скотту руку, которая была теперь забинтована и висела на перевязи, прошли сутки. Белый Клык помнил, что боги иногда откладывают наказание, и сейчас ждал расплаты за свой проступок. Иначе не могло и быть. Он совершил святотатство: впился зубами в священное тело бога, притом белокожего бога. По опыту, который остался у него от общения с богами, Белый Клык знал, какое суровое наказание грозит ему.

Бог сел в нескольких шагах от него. В этом еще не было ничего страшного — обычно они наказывают стоя. Кроме того, у этого бога не было ни палки, ни хлыста, ни ружья, да и сам Белый Клык находился на свободе. Ничто его не удерживало — ни цепь, ни ремень с палкой, и он мог спастись бегством прежде, чем бог успеет встать на ноги. А пока что надо подождать и посмотреть, что будет дальше.

Бог сидел совершенно спокойно, не делая попыток встать с места, и злобный рев Белого Клыка постепенно перешел в глухое ворчание, а потом и ворчание смолкло. Тогда бог заговорил, и при первых же звуках его голоса шерсть на загривке у Белого Клыка поднялась дыбом, в горле снова заклокотало. Но бог продолжал говорить все так же спокойно, не делая никаких резких движений. Белый Клык рычал в унисон с его голосом, и между словами и рычанием установился согласный ритм. Но речь человека лилась без конца. Он говорил так, как еще никто никогда не говорил с Белым Клыком. В мягких, успокаивающих словах слышалась нежность, и эта нежность находила какой-то отклик в Белом Клыке. Невольно, вопреки всем предостережениям инстинкта, он почувствовал доверие к своему новому богу. В нем родилась уверенность в собственной безопасности — в том, в чем ему

столько раз приходилось разубеждаться при общении с людьми.

Бог говорил долго, а потом встал и ушел! Когда же он снова появился на пороге хижины, Белый Клык подозрительно осмотрел его. В руках у него не было ни хлыста, ни палки, ни оружия. И здоровая рука его не пряталась за спину. Он сел на то же самое место в нескольких шагах от Белого Клыка и протянул ему мясо. Навострив уши, Белый Клык недоверчиво оглядел кусок, ухитряясь смотреть одновременно и на него и на бога, и приготовился отскочить в сторону при первом же намеке на опасность.

Но наказание все еще откладывалось. Бог протягивал ему еду — только и всего. Мясо как мясо, ничего страшного в нем не было. Но Белый Клык все еще сомневался и не взял протянутого куска, хотя рука Скотта подвигалась все ближе и ближе к его носу. Боги мудры — кто знает, какое коварство таится в этой безобидной с виду подачке? По своему прошлому опыту, особенно когда приходилось иметь дело с женщинами, Белый Клык знал, что мясо и наказание сплошь и рядом имели между собой тесную и неприятную связь.

В конце концов бог бросил мясо на снег, к ногам Белого Клыка. Тот тщательно обнюхал подачку, не глядя на нее,— глаза его были устремлены на бога. Ничего плохого не произошло. Тогда он взял кусок в зубы и проглотил его. Но и тут все обошлось благополучно. Бог предлагал ему другой кусок. И во второй раз Белый Клык отказался принять его из рук, и бог снова бросил мясо на снег. Так повторилось несколько раз. Но наступило время, когда бог отказался бросить мясо. Он держал кусок и настойчиво предлагал Белому Клыку взять подачку у него из рук.

Мясо было вкусное, а Белый Клык проголодался. Мало-помалу, с бесконечной осторожностью он подошел ближе и наконец решился взять кусок из человеческих рук. Не спуская глаз с бога, Белый Клык вытянул шею и прижал уши, шерсть у него на загривке встала дыбом, в горле клокотало глухое рычание, как бы предостерегающее человека, что шутки сейчас неуместны. Белый Клык съел кусок, и ничего с ним не случилось. И так мало-помалу он съел все мясо, и все-таки с ним ничего не случилось. Значит, наказание откладывалось.

Белый Клык облизнулся и стал ждать, что будет

дальше. Бог продолжал говорить. В голосе его слышалась ласка— то, о чем Белый Клык не имел до сих пор никакого понятия. И ласка эта будила в нем неведомые до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокойствие, словно удовлетворялась какая-то его потребность, заполнялась какая-то пустота в его существе. Потом в нем снова проснулся инстинкт, и прошлый опыт снова послал ему предостережение. Боги хитры — трудно угадать, какой путь они выберут, чтобы добиться своих целей.

Так и есть! Коварная рука тянется все дальше и дальше и опускается над его головой. Но бог продолжает говорить. Голос его звучит мягко и успокаивающе. Несмотря на угрозу, которую таит в себе рука, голос внушает доверие. И, несмотря на всю мягкость голоса, рука внушает страх. Противоположные чувства и ощущения боролись в Белом Клыке. Казалось, он упадет замертво, раздираемый на части враждебными силами, ни одна из которых не получала перевеса в этой борьбе только потому, что он прилагал неимоверные усилия, чтобы обуздать их.

И Белый Клык пошел на сделку с самим собой: он рычал, прижимал уши, но не делал попыток ни укусить Скотта, ни убежать от него. Рука опускалась. Расстояние между ней и головой Белого Клыка становилось все меньше и меньше. Вот она коснулась вставшей дыбом шерсти. Белый Клык припал к земле. Рука последовала за ним, прижимаясь плотнее и плотнее. Съежившись, чуть ли не дрожа, он все еще сдерживал себя. Он испытывал муку от прикосновения этой руки, насиловавшей его инстинкты. Он не мог забыть в один день все то зло, которое причинили ему человеческие руки. Но такова была воля бога, и он делал все возможное, чтобы заставить себя подчиниться ей.

Рука поднялась и снова опустилась, лаская и гладя его. Так повторилось несколько раз, но стоило только руке подняться, как поднималась и шерсть на спине у Белого Клыка. И каждый раз, как рука опускалась, уши его прижимались к голове и в горле начинало клокотать рычание. Белый Клык рычал, предупреждая бога, что готов отомстить за боль, которую ему причинят. Кто знает, когда наконец обнаружатся истинные намерения бога! В любую минуту его мягкий, внушающий такое доверие голос может перейти в гневный крик, а эти нежные,

ласкающие пальцы сожмут Белого Клыка, словно тисками, и лишат его всякой возможности сопротивляться наказанию.

Но слова бога были по-прежнему ласковы, а рука его все так же поднималась и снова касалась Белого Клыка, и в этих прикосновениях не было ничего враждебного. Белый Клык испытывал двойственное чувство. Инстинкт восставал против такого обращения, оно стесняло его, шло наперекор его стремлению к свободе. И все-таки физической боли он не испытывал. Наоборот, эти прикосновения были даже приятны. Мало-помалу рука бога передвинулась к его ушам и стала осторожно почесывать их; приятное ощущение как будто даже усилилось. Но страх не оставлял Белого Клыка: он все так же настораживался, ожидая чего-то недоброго и испытывая попеременно то страдание, то удовольствие, в зависимости от того, какое из этих чувств одерживало в нем верх.

— Ах черт возьми!

Эти слова вырвались у Мэтта. Он вышел из хижины с засученными рукавами, неся в руках таз с грязной водой, и только хотел выплеснуть ее на снег, как вдруг увидел, что Уидон Скотт ласкает Белого Клыка.

При первых же звуках его голоса Белый Клык отскочил назад и свирепо зарычал.

Мэтт посмотрел на своего хозяина, неодобрительно и сокрушенно покачав головой.

— Вы меня извините, мистер Скотт, но, ей-богу, в вас сидят по крайней мере семнадцать дураков, и каждый орудует на свой лад.

Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства, встал и нагнулся над Белым Клыком. Он ласково заговорил с ним, потом медленно протянул руку и снова начал гладить его по голове. Белый Клык терпеливо сносил это поглаживание, но смотрел он — смотрел во все глаза — не на того, кто его ласкал, а на Мэтта, стоявшего в дверях хижины.

— Может быть, из вас и получился первоклассный инженер, мистер Скотт,— разглагольствовал погонщик,— но, я считаю, вы многое утратили в жизни: вам бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в цирк.

Белый Клык зарычал, услышав голос Мэтта, но на этот раз уже не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове и по шее.

И это было началом конца прежней жизни, конца прежнего царства ненависти. Для Белого Клыка началась новая, непостижимо прекрасная жизнь. В этом деле от Уидона Скотта требовалось много терпения и ума. А Белый Клык должен был преодолеть веления инстинкта, пойти наперекор собственному опыту, отказаться от всего, чему научила его жизнь.

Прошлое не только не вмещало всего нового, что ему пришлось узнать теперь, но опровергало эту новизну. Короче говоря, от Белого Клыка требовалось неизмеримо большее умение разбираться в окружающей обстановке, чем то, с которым он пришел из Северной глуши и добровольно подчинился власти Серого Бобра. В то время он был всего-навсего щенком, еще не сложившимся, готовым принять любую форму под руками жизни. Но теперь все шло по-иному. Прошлая жизнь обработала Белого Клыка слишком усердно: она ожесточила его, превратила в свирепого, неукротимого Боевого Волка, который никого не любил и не пользовался ничьей любовью. Переродиться — значило для него пройти через полный внутренний переворот, отбросить все прежние навыки. И это требовалось от него теперь, когда молодость была позади, когда гибкость была утрачена и мягкая ткань приобрела несокрушимую твердость, стала узловатой, неподатливой, как железо, а инстинкты раз и навсегда установили потребности и законы поведения.

И все-таки новая обстановка, в которой очутился Белый Клык, опять взяла его в обработку. Она смягчала в нем ожесточенность, лепила из него иную, более совершенную форму. В сущности говоря, все зависело от Уидона Скотта. Он добрался до самых глубин натуры Белого Клыка и лаской вызвал к жизни все те чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли в нем. Так Белый Клык узнал, что такое *любовь*. Она заступила место *склонности* — самого теплого чувства, доступного ему в общении с богами.

Но любовь не может прийти в один день. Возникнув из склонности, она развивалась очень медленно. Белому Клыку нравился его вновь обретенный бог, и он не убегал от него, хотя все время оставался на свободе. Жить у нового бога было несравненно лучше, чем в клетке у Красавчика Смита; кроме того, Белый Клык не мог обойтись без божества. Чувствовать над собой человеческую власть

стало для него необходимостью. Печать зависимости от человека осталась на Белом Клыке с тех далеких дней, когда он покинул Северную глушь и подполз к ногам Серого Бобра, покорно ожидая побоев. Эта неизгладимая печать снова была наложена на него, когда он во второй раз вернулся из Северной глуши после голодовки и почувствовал запах рыбы в поселке Серого Бобра.

И Белый Клык остался у своего нового хозяина, потому что он не мог обходиться без божества и потому что Уидон Скотт был лучше Красавчика Смита. В знак преданности он взял на себя обязанности сторожа при хозяйском добре. Он бродил вокруг хижины, когда ездовые собаки уже спали, и первому же запоздалому гостю Скотта пришлось отбиваться от него палкой до тех пор, пока на выручку не прибежал сам хозяин. Но Белый Клык вскоре научился отличать воров от честных людей, понял, как много значат походка и поведение. Человека, который твердой поступью шел прямо к дверям, он не трогал, хотя и не переставал зорко следить за ним, пока дверь не открывалась и благонадежность посетителя не получала подтверждения со стороны хозяина. Но тот, кто пробирался крадучись, окольными путями, стараясь не попасться на глаза,— тот не знал пощады от Белого Клыка и пускался в поспешное и позорное бегство.

Уидон Скотт задался целью вознаградить Белого Клыка за все то, что ему пришлось вынести, вернее, искупить грех, в котором человек был повинен перед ним. Это стало для Скотта делом принципа, делом совести. Он чувствовал, что люди остались в долгу перед Белым Клыком и долг этот надо выплатить,— и поэтому он старался проявлять к Белому Клыку как можно больше нежности. Он взял себе за правило ежедневно и подолгу ласкать и гладить его.

На первых порах эта ласка вызывала у Белого Клыка одни лишь подозрения и враждебность, но мало-помалу он начал находить в ней удовольствие. И все-таки от одной своей привычки Белый Клык никак не мог отучиться: как только рука человека касалась его, он начинал рычать и не умолкал до тех пор, пока Скотт не отходил. Но в этом рычании появились новые нотки. Посторонний не расслышал бы их: для него рычание Белого Клыка оставалось по-прежнему выражением первобытной дикости, от которой у человека кровь стынет в жилах. С той дальней

поры, когда Белый Клык жил с матерью в пещере и первые приступы ярости овладевали им, его горло огрубело от рычания, и он уже не мог выразить по-иному своих чувств. Тем не менее чуткое ухо Скотта различало в этом свирепом реве новые нотки, которые только одному ему чуть слышно говорили о том, что собака испытывает удовольствие.

Время шло, и *любовь,* возникшая из *склонности,* все крепла и крепла. Белый Клык сам начал чувствовать это, хотя и бессознательно. Любовь давала знать о себе ощущением пустоты, которая настойчиво, жадно требовала заполнения. Любовь принесла с собой боль и тревогу, которые утихали только от прикосновения руки нового бога. В эти минуты любовь становилась радостью — необузданной радостью, пронизывающей все существо Белого Клыка. Но стоило богу уйти, как боль и тревога возвращались и Белого Клыка снова охватывало ощущение пустоты, ощущение голода, властно требующего насыщения.

Белый Клык понемногу находил самого себя. Несмотря на свои зрелые годы, несмотря на жестокость формы, в которую он был отлит жизнью, в характере его возникали все новые и новые черты. В нем зарождались непривычные чувства и побуждения. Теперь Белый Клык вел себя совершенно по-другому. Прежде он ненавидел неудобства и боль и всячески старался избегать их. Теперь все стало иначе: ради нового бога Белый Клык часто терпел неудобства и боль. Так, например, по утрам, вместо того чтобы бродить в поисках пищи или лежать где-нибудь в укромном уголке, он проводил целые часы на холодном крыльце, ожидая появления Скотта. Поздно вечером, когда тот возвращался домой, Белый Клык оставлял теплую нору, вырытую в сугробе, ради того, чтобы почувствовать прикосновение дружеской руки, услышать приветливые слова. Он забывал о еде — даже о еде! — лишь бы побыть около бога, получить от него ласку или отправиться вместе с ним в город.

И вот склонность уступила место любви. Любовь затронула в нем такие глубины, куда никогда не проникала склонность. За любовь Белый Клык платил любовью. Он обрел божество, лучезарное божество, в присутствии которого он расцветал, как растение под лучами солнца. Белый Клык не умел проявлять свои чувства. Он был уже

немолод и слишком суров для этого. Постоянное одиночество выработало в нем сдержанность. Его угрюмый нрав был результатом долголетнего опыта. Он не умел лаять и уже не мог научиться приветствовать своего бога лаем. Он никогда не лез ему на глаза, не суетился и не прыгал, чтобы доказать свою любовь, никогда не кидался навстречу, а ждал в сторонке, но ждал всегда. Любовь эта граничила с немым, молчаливым обожанием. Только пристальный взгляд глаз, следивших за каждым движением хозяина, выдавал чувства Белого Клыка. Когда же хозяин смотрел на него и заговаривал с ним, он смущался, не зная, как выразить любовь, завладевшую всем его существом.

Белый Клык начинал приспособляться к новой жизни. Так он понял, что собак хозяина трогать нельзя. Но его властный характер заявлял о себе, и собакам пришлось убедиться на деле в превосходстве своего нового вожака. Признав его власть над собой, они уже не доставляли ему хлопот. Стоило Белому Клыку появиться среди стаи, как собаки уступали ему дорогу и покорялись его воле.

Точно так же он привык и к Мэтту, как к собственности хозяина. Уидон Скотт сам очень редко кормил Белого Клыка, эта обязанность возлагалась на Мэтта,— и Белый Клык понял, что пища, которую он ест, принадлежит хозяину, поручившему Мэтту заботиться о нем. Тот же самый Мэтт попробовал как-то запрячь его в сани вместе с другими собаками. Но эта попытка потерпела неудачу, и Белый Клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в сани. Он понял: хозяин хочет, чтобы Мэтт правил им так же, как и другими собаками.

У клондайкских саней, в отличие от тех, на которых ездят на Макензи, есть полозья. Способ запряжки здесь тоже совсем другой. Собаки бегут гуськом в двойных постромках, а не расходятся веером. И здесь, на Клондайке, вожак действительно вожак. На первое место ставят самую понятливую и самую сильную собаку, которой боится и слушается вся упряжка. Как и следовало ожидать, Белый Клык вскоре занял это место. После многих хлопот Мэтт понял, что на меньшее тот не согласится. Белый Клык сам выбрал себе это место, и Мэтт, не стесняясь в выражениях, подтвердил правильность его выбора после первой же пробы. Бегая целый день в упряжке, Белый Клык не забывал и о том, что ночью надо сторожить хо-

зяйское добро. Таким образом, он верой и правдой служил Скотту, и у того во всей упряжке не было более ценной собаки, чем Белый Клык.

— Если уж вы разрешите мне высказать свое мнение,— заговорил как-то Мэтт,— то доложу вам, что с вашей стороны было очень умно дать за эту собаку полтораста долларов. Ловко вы провели Красавчика Смита, уж не говоря о том, что и по физиономии ему съездили.

Серые глаза Уидона Скотта снова загорелись гневом, и он сердито пробормотал: «Мерзавец!»

Поздней весной Белого Клыка постигло большое горе: внезапно, без всякого предупреждения, хозяин исчез. Собственно говоря, предупреждение было, но Белый Клык не имел опыта в таких делах и не знал, чего надо ждать от человека, который укладывает свои чемоданы. Впоследствии он вспомнил, что укладывание вещей предшествовало отъезду хозяина, но тогда у него не зародилось ни малейшего подозрения. Вечером Белый Клык, как всегда, ждал его прихода. В полночь поднялся ветер; он укрылся от холода за хижиной и лежал там, прислушиваясь сквозь дремоту, не раздадутся ли знакомые шаги. Но в два часа ночи беспокойство выгнало его из-за хижины, он свернулся клубком на холодном крыльце и стал ждать дальше.

Хозяин не приходил. Утром дверь открылась, и на крыльцо вышел Мэтт. Белый Клык тоскливо посмотрел на погонщика: у него не было другого способа спросить о том, что ему так хотелось знать. Дни шли за днями, а хозяин не появлялся. Белый Клык, не знавший до сих пор, что такое болезнь, заболел. Он был плох, настолько плох, что Мэтту пришлось в конце концов взять его в хижину. Кроме того, в своем письме к хозяину Мэтт приписал несколько строк о Белом Клыке.

Получив письмо в Серкл-сити, Уидон Скотт прочел следующее:

«Проклятый волк отказывается работать. Ничего не ест. Совсем приуныл. Собаки не дают ему проходу. Хочет знать, куда вы девались, а я не умею растолковать ему. Боюсь, как бы не сдох».

Мэтт писал правду. Белый Клык затосковал, перестал есть, не отбивался от налетавших на него собак. Он лежал в комнате на полу около печки, потеряв всякий интерес к еде, к Мэтту, ко всему на свете. Мэтт пробовал говорить с ним ласково, пробовал кричать — ничего не действова-

ло: Белый Клык поднимал на него потускневшие глаза, а потом снова ронял голову на передние лапы.

Но однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом и читал, шепотом бормоча слова и шевеля губами, внимание его привлекло тихое повизгивание Белого Клыка. Белый Клык встал с места, навострил уши, глядя на дверь, и внимательно прислушивался. Минутой позже Мэтт услышал шаги. Дверь открылась, и вошел Уидон Скотт. Они поздоровались. Потом Скотт огляделся по сторонам.

— А где волк? — спросил он и увидел его.

Белый Клык стоял около печки. Он не бросился вперед, как это сделала бы всякая другая собака, а стоял и смотрел на своего хозяина.

— Черт возьми! — воскликнул Мэтт.— Да он хвостом виляет!

Уидон Скотт вышел на середину комнаты и подозвал Белого Клыка к себе. Белый Клык не прыгнул к нему навстречу, но сейчас же подошел на зов. Движения его сковывала застенчивость, но в глазах появилось какое-то новое, необычное выражение: чувство глубокой любви засветилось в них.

— На меня небось ни разу так не взглянул, пока вас не было,— сказал Мэтт.

Но Уидон Скотт ничего не слышал. Присев на корточки перед Белым Клыком, он ласкал его — почесывал ему за ушами, гладил шею и плечи, нежно похлопывал по спине. А Белый Клык тихо рычал в ответ, и мягкие нотки слышались в его рычании яснее, чем прежде.

Но это было не все. Каким образом радость помогла найти выход глубокому чувству, рвавшемуся наружу? Белый Клык вдруг вытянул шею и сунул голову хозяину под мышку; и, спрятавшись так, что на виду оставались одни только уши, он уже не рычал больше и прижимался к хозяину все теснее и теснее.

Мужчины переглянулись. У Скотта блестели глаза.

— Вот поди ж ты! — воскликнул пораженный Мэтт. Потом добавил: — Я всегда говорил, что это не волк, а собака. Полюбуйтесь на него!

С возвращением хозяина, научившего его любви, Белый Клык быстро пришел в себя. В хижине он провел еще две ночи и день, а потом вышел на крыльцо. Собаки уже успели забыть его доблести, у них осталось в памяти, что за последнее время Белый Клык был слаб и болен,—

и как только он появился на крыльце, они кинулись на него со всех сторон.

— Ну и свалка! — с довольным видом пробормотал Мэтт, наблюдавший эту сцену с порога хижины.— Нечего с ними церемониться, волк! Задай им как следует. Ну, еще, еще!

Белый Клык не нуждался в поощрении. Приезда любимого хозяина было вполне достаточно — чудесная буйная жизнь снова забилась в его жилах. Он дрался, находя в драке единственный выход для своей радости. Конец мог быть только один — собаки разбежались, потерпев поражение, и вернулись обратно лишь с наступлением темноты, униженно и кротко заявляя Белому Клыку о своей покорности.

Научившись прижиматься к хозяину головой, Белый Клык частенько пользовался этим новым способом выражения своих чувств. Это был предел, дальше которого он не мог идти. Голову свою он оберегал больше всего и не выносил, когда до нее дотрагивались. Так велела ему Северная глушь: бойся капкана, бойся всего, что может причинить боль. Инстинкт требовал, чтобы голова оставалась свободной. А теперь, прижимаясь к хозяину, Белый Клык по собственной воле ставил себя в совершенно беспомощное положение. Он выражал этим беспредельную веру, беззаветную покорность хозяину и как бы говорил ему: «Отдаю себя в твои руки. Поступай со мной как знаешь».

Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт играл с Мэттом в криббедж на сон грядущий.

— Пятнадцать и два, пятнадцать и четыре, и еще двойка...— подсчитывал Мэтт, как вдруг снаружи послышались чьи-то крики и рычание.

Переглянувшись, они вскочили из-за стола.

— Волк дерет кого-то! — сказал Мэтт.

Отчаянный вопль заставил их броситься к двери.

— Посветите мне! — крикнул Скотт, выбегая на крыльцо.

Мэтт последовал за ним с лампой, и при свете ее они увидели человека, навзничь лежавшего на снегу. Он закрывал лицо и шею руками, пытаясь защититься от зубов Белого Клыка. И это была не лишняя предосторожность: не помня себя от ярости, Белый Клык старался во что бы то ни стало добраться зубами до горла незнакомца; от

рукавов куртки, синей фланелевой блузы и нижней рубашки у того остались одни клочья, а искусанные руки были залиты кровью.

Скотт и погонщик разглядели все это в одну секунду. Скотт схватил Белого Клыка за шею и оттащил назад. Белый Клык рвался с рычанием, но не кусал хозяина и после его резкого окрика быстро успокоился.

Мэтт помог человеку встать на ноги. Поднимаясь, тот отнял руки от лица, и, увидев зверскую физиономию Красавчика Смита, погонщик отскочил назад как ошпаренный. Щурясь на свету, Красавчик Смит огляделся по сторонам. Лицо его перекосило от ужаса, как только он взглянул на Белого Клыка.

В ту же минуту погонщик увидел, что на снегу что-то лежит. Он поднес лампу поближе и подтолкнул носком сапога стальную цепь и толстую палку.

Уидон Скотт понимающе кивнул головой. Они не произнесли ни слова. Погонщик взял Красавчика Смита за плечо и повернул к себе спиной. Все было понятно. Красавчик Смит припустил во весь дух.

А хозяин гладил Белого Клыка и говорил:

— Хотел увести тебя, да? А ты не позволил? Так, так, значит, просчитался этот молодчик!

— Он небось подумал, что на него вся преисподняя кинулась,— ухмыльнулся Мэтт.

А Белый Клык продолжал рычать; но мало-помалу шерсть у него на спине улеглась, и мягкая нотка, совсем было потонувшая в этом злобном рычании, становилась все слышнее и слышнее.





ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава первая

В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ

Это носилось в воздухе. Белый Клык почувствовал беду еще задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Весть о грядущей перемене какими-то неведомыми путями дошла до него. Предчувствие зародилось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчета в том, как и почему это случилось. Сами того не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не покидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают.

— Послушайте-ка! — сказал как-то за ужином погонщик.

Уидон Скотт прислушался. Из-за двери доносилось тихое тревожное поскуливанье, похожее, скорее, на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как Белый Клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз.

— Чует, в чем дело,— сказал погонщик.

Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз.

— На кой черт мне волк в Калифорнии? — спросил он.

— Вот я то же самое говорю,— ответил Мэтт.— На кой черт вам волк в Калифорнии?

Но эти слова не удовлетворили Уидона Скотта; ему показалось, что Мэтт осуждает его.

— Наши собаки с ним не справятся,— продолжал Скотт.— Он их всех перегрызет. И, если даже я не разорюсь окончательно на одни штрафы, полиция все равно отберет его у меня и разделается с ним по-своему.

— Настоящий бандит, что и говорить!— подтвердил погонщик.

Уидон Скотт недоверчиво взглянул на него.

— Нет, это невозможно,— сказал он решительно.

— Конечно, невозможно,— согласился Мэтт.— Да вам придется специального человека к нему приставить.

Все колебания Скотта исчезли. Он радостно кивнул головой. В наступившей тишине стало слышно, как Белый Клык тихо поскуливает, словно сдерживая плач, и обнюхивает дверь.

— А все-таки здорово он к вам привязался,— сказал Мэтт.

Хозяин вдруг вскипел:

— Да ну вас к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать.

— Я не спорю, только...

— Что «только»? — оборвал его Скотт.

— Только...— тихо начал погонщик, но вдруг осмелел и не стал скрывать, что сердится: —Чего вы так взъерошились? Глядя на вас, можно подумать, что вы так-таки и не знаете, что делать.

Минуту Уидон Скотт боролся с самим собой, а потом сказал уже гораздо более мягким тоном:

— Вы правы, Мэтт. Я сам не знаю, что делать. В том-то вся и беда...— И, помолчав, добавил: — Да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой.

— Я с вами совершенно согласен,— ответил Мэтт.

Но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина.

— Каким образом он догадывается, что вы уезжаете, вот чего я не могу понять! — как ни в чем не бывало продолжал Мэтт.

— Я и сам этого не понимаю,— ответил Скотт, грустно покачав головой.

А потом наступил день, когда в открытую дверь хижины Белый Клык увидел, как хозяин укладывает вещи в тот самый проклятый чемодан. Хозяин и Мэтт то и дело уходили и приходили, и мирная жизнь хижины была нарушена. У Белого Клыка не осталось никаких сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит: бог снова готовился к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмет и теперь.

Этой ночью Белый Клык поднял вой — протяжный волчий вой. Белый Клык выл, подняв морду к безучастным звездам, и изливал им свое горе так же, как в детстве, когда, прибежав из Северной глуши, он не нашел поселка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам Серого Бобра.

В хижине только что легли спать.

— Он опять перестал есть,— сказал со своей койки Мэтт.

Уидон Скотт пробормотал что-то и заворочался под одеялом.

— В тот раз тосковал, а уж теперь, наверно, сдохнет.

Одеяло на другой койке опять пришло в движение.

— Да замолчите вы! — крикнул в темноте Скотт.— Заладили одно, как старая баба!

— Совершенно справедливо,— ответил погонщик.

И у Скотта не было твердой уверенности, что тот не подсмеивается над ним втихомолку.

На следующий день беспокойство и страх Белого Клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам, а когда Скотт заходил в хижину, торчал на крыльце. В открытую дверь ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяла и меховую одежду хозяина в брезентовый мешок. Белый Клык заскулил, глядя на эти приготовления.

Вскоре у хижины появились два индейца. Белый Клык внимательно следил, как они взвалили вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вернулся. Хозяин вышел на крыльцо и позвал Белого Клыка в хижину.

— Эх ты, бедняга,— ласково сказал он, почесывая ему за ухом и гладя по спине.— Уезжаю, старина. Тебя в такую даль с собой не возьмешь. Ну, порычи на прощанье, порычи, порычи как следует.

Но Белый Клык отказывался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный, пытливый взгляд и спрятал голову у него под мышкой.

— Гудок! — крикнул Мэтт.

С Юкона донесся резкий вой пароходной сирены.

— Кончайте прощаться! Да не забудьте закрыть переднюю дверь! Я выйду через заднюю. Поторапливайтесь!

Обе двери захлопнулись одновременно. И Скотт подождал на крыльце, пока Мэтт выйдет из-за угла хижины. За дверью слышалось тихое повизгиванье, похожее на плач. Потом Белый Клык стал глубоко, всей грудью втягивать воздух, уткнувшись носом в порог.

— Берегите его, Мэтт,— говорил Скотт, когда они спускались с холма.— Напишите мне, как ему тут живется.

— Обязательно,— ответил погонщик.— Стойте!.. Слышите?

Он остановился. Белый Клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшем вверх в новом порыве отчаяния.

Пароход «Аврора» первый в этом году отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золотом, и люди, которых «золотая лихорадка» разорила,— и все они стремились уехать из этой страны, так же как в свое время стремились попасть сюда.

Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы, и он не ответил на рукопожатие Скотта. Тот обернулся: Белый Клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина.

Мэтт чертыхнулся вполголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении.

— Вы заперли переднюю дверь?

Скотт кивнул головой и спросил:

— А вы заднюю?

— Конечно, запер! — горячо ответил Мэтт.

Белый Клык с заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним.

— Придется увести его с собой.

Мэтт сделал два шага по направлению к Белому Клыку; тот метнулся в сторону. Погонщик бросился за ним,

но Белый Клык проскользнул между ногами пассажиров. Увертываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал по палубе и не давался Мэтту.

Но стоило хозяину заговорить, как Белый Клык покорно подошел к нему.

— Сколько времени кормил его, а он меня теперь и близко не подпускает! — обиженно пробормотал погонщик.— А вы хоть бы раз покормили с того первого дня! Убейте меня—не знаю, как он догадался, что хозяин — вы.

Скотт, гладивший Белого Клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами.

Мэтт провел рукой ему по брюху.

— А про окно-то мы с вами забыли! Глядите, все брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил.

Но Уидон Скотт не слушал его, он быстро обдумывал что-то. «Аврора» дала последний гудок. Провожающие торопливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять Белого Клыка на привязь. Скотт схватил его за руку.

— Прощайте, Мэтт! Прощайте, дружище! Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка... Я... я...

— Что? — вскрикнул погонщик.— Неужели вы...

— Вот именно. Возьмите свой платок. Я вам сам про него напишу.

Мэтт задержался на сходнях.

— Он не перенесет климата! Вам придется стричь его в жару!

Сходни втащили на палубу, и «Аврора» отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощанье рукой и повернулся к Белому Клыку, стоявшему рядом с ним.

— Ну, теперь рычи, негодяй, рычи,— сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам Белого Клыка и почесывая его за ушами.

Глава вторая

НА ЮГЕ

Белый Клык сошел с парохода в Сан-Франциско.

Он был потрясен. Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о божестве. И нико-

гда еще белые люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуарам Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хижин по сторонам высились громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей — повозок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в нагруженные доверху фургоны,— а по самой середине их двигались страшные трамваи, непрестанно грозя Белому Клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах.

Все вокруг говорило о могуществе. За всем этим чувствовалось присутствие властного человека, утвердившего свое господство над миром вещей. Белый Клык был ошеломлен и подавлен этим зрелищем. Ему стало страшно. Сознание собственного ничтожества охватило гордую, полную сил собаку, как будто она снова превратилась в щенка, прибежавшего из Северной глуши к поселку Серого Бобра. А сколько богов здесь было! От них у Белого Клыка рябило в глазах. Уличный грохот оглушал его, он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать его из виду.

Город пронесся кошмаром, но воспоминание о нем долгое время преследовало Белого Клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного вагона, среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь, где их подхватывали другие боги.

И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул Белого Клыка,— по крайней мере, Белый Клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйских вещей, и, учуяв, стал на стражу около них.

— Вовремя пожаловали,— проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт.— Эта собака дотронуться мне не дала до ваших чемоданов.

Белый Клык вышел из вагона. Опять неожиданность! Кошмар кончился. Он принимал вагон за комнату в доме, который со всех сторон был окружен городом. Но за этот час город исчез. Грохот его уже не лез в уши. Перед Белым Клыком расстилалась веселая, залитая солнцем, спокойная страна. Но удивляться этой перемене было неко-

гда. Белый Клык смирился с ней, как смирялся со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов.

Их ожидала коляска. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею... Это враг! В следующую же минуту Уидон Скотт вырвался из ее объятий и схватил Белого Клыка, который рычал и бесновался, вне себя от ярости.

— Ничего, мама! — говорил Скотт, не отпуская Белого Клыка и стараясь усмирить его.— Он думал, что вы хотите меня обидеть, а этого делать не разрешается. Ничего, ничего. Он скоро все поймет.

— А до тех пор я смогу выражать свою любовь к сыну только тогда, когда его собаки не будет поблизости,— засмеялась миссис Скотт, хотя лицо ее побелело от страха.

Она смотрела на Белого Клыка, который все еще рычал и, весь ощетинившись, не сводил с нее глаз.

— Он скоро все поймет, вот увидите,— должен понять! — сказал Скотт.

Он начал ласково говорить с Белым Клыком и, окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом:

— Лежать! Тебе говорят!

Белому Клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хоть и неохотно.

— Ну, мама!

Скотт протянул руки, не сводя глаз с Белого Клыка.

— Лежать! — крикнул он еще раз.

Белый Клык ощетинился, привстал, но сейчас же опустился на место, не переставая наблюдать за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в нее сами, и Белый Клык побежал следом за ней, время от времени подскакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда богу, которого они так быстро везли по дороге.

Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. За аллеей по обе стороны расстилался большой луг с видневшимися на нем кое-где могучими дубами. Подстриженную зелень луга оттеняли золотисто-коричневые, выжженные солнцем поля; еще

дальше были холмы с пастбищами на склонах. В конце аллеи, на невысоком пригорке, стоял дом с длинной верандой и множеством окон.

Но Белый Клык не успел как следует рассмотреть все это. Едва только коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый Клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча, он приготовился нанести ей сокрушительный удар, но удара этого так и не последовало. Белый Клык остановился на полдороге как вкопанный и осел на задние лапы, стараясь во что бы то ни стало избежать соприкосновения с собакой, которую минуту тому назад он хотел сбить с ног. Это была самка, а закон его породы охранял ее от таких нападений. Напасть на самку — значило бы для Белого Клыка ни больше ни меньше, как пойти против велений инстинкта.

Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед Северной глушью и особенно перед таким ее обитателем, как волк. Белый Клык был для овчарки волком, исконным врагом, грабившим стада еще в те далекие времена, когда первая овца была поручена заботам ее отдаленных предков. И поэтому, как только Белый Клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не укусил овчарку, а только смущенно попятился назад, стараясь обежать ее сбоку. Однако все его старания были напрасны — овчарка не давала ему проходу.

— Назад, Колли! — крикнул незнакомец, сидевший в коляске.

Уидон Скотт засмеялся.

— Ничего, отец. Это хороший урок Белому Клыку. Ему ко многому придется привыкать. Пусть начинает сразу. Ничего, обойдется как-нибудь.

Коляска удалялась, а Колли все еще преграждала Белому Клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свернув с дороги, кинулся через лужайку, но овчарка бежала по внутреннему кругу, и Белый Клык всюду натыкался на ее оскаленную пасть. Он повернул назад, к другой лужайке, но она и здесь обогнала его.

А коляска увозила хозяина. Белый Клык видел, как



она мало-помалу исчезает за деревьями. Положение было безвыходное. Он пробовал описать еще один круг. Овчарка не отставала. Тогда Белый Клык на всем ходу повернул к ней. Он решился на свой испытанный боевой прием — ударил ее в плечо и сшиб с ног. Овчарка бежала так быстро, что удар этот не только свалил ее на землю, но заставил по инерции перевернуться несколько раз подряд. Пытаясь остановиться, она загребала когтями землю и громко выла от негодования и оскорбленной гордости.

Белый Клык не стал ждать. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Не переставая тявкать, овчарка бросилась за ним вдогонку. Он взял напрямик, а уж что касается умения бегать, так тут овчарка могла многому поучиться у него. Она мчалась с истерическим лаем, собирая все свои силы для каждого прыжка, а Белый Клык несся вперед молча, без малейшего напряжения и, словно призрак, скользил по траве.

Обогнув дом, Белый Клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый Клык хотел оказать ей достойный прием, но не смог остановиться сразу, а борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданного удара Белый Клык со всего размаха кубарем покатился по земле. А когда он вскочил на ноги, вид его был страшен: уши, прижатые вплотную к голове, судорожно подергивающиеся губы и



нос, клыки, лязгнувшие в каком-нибудь дюйме от горла борзой.

Хозяин бросился на выручку, но он был слишком далеко от них, и спасителем борзой оказалась овчарка Колли. Подбежав как раз в ту минуту, когда Белый Клык готовился к прыжку, она не позволила ему нанести смертельный удар противнику. Колли налетела как шквал. Чувство оскорбленного достоинства и справедливый гнев только разожгли в овчарке ненависть к этому выходцу из Северной глуши, который ухитрился ловким маневром провести и обогнать ее и вдобавок вывалял в пыли. Она кинулась на Белого Клыка под прямым углом в тот миг, когда он метнулся к борзой, и вторично сшибла его с ног.

Подоспевший к этому времени хозяин схватил Белого Клыка, а отец хозяина отозвал собак.

— Нечего сказать, хороший прием здесь оказывают несчастному волку, приехавшему из Арктики,— говорил Скотт, успокаивая Белого Клыка.— За всю свою жизнь он только раз был сбит с ног, а здесь его опрокинули дважды за какие-нибудь полминуты.

Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнакомые боги. Некоторые из них остановились на почтительном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли и обняли его за шею. Белый Клык начинал понемногу привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги произносили при этом, не чувствовалось ни малейшей угрозы. Незнакомцы попытались было подойти к Белому Клыку,

но он предостерегающе зарычал, а хозяин подтвердил его предостережение словами. Белый Клык жался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, ласково поглаживая по голове.

По команде: «Дик! На место!» — борзая взбежала по ступенькам и легла на веранде, все еще рыча и не спуская глаз с пришельца. Одна из женщин обняла Колли за шею и принялась ласкать и гладить ее. Но Колли никак не могла успокоиться и, возмущенная присутствием волка, скулила, в полной уверенности, что боги совершают ошибку, допуская его в свое общество.

Боги поднялись на веранду. Белый Клык шел за хозяином по пятам. Дик зарычал на него; Белый Клык ощетинился и ответил ему тем же.

— Уведите Колли в дом, а эти двое пусть подерутся,— сказал отец Скотта.— После драки они станут друзьями.

— Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дику, Белому Клыку придется выступить в роли главного плакальщика на его похоронах,— засмеялся хозяин.

Отец недоверчиво посмотрел сначала на Белого Клыка, потом на Дика и в конце концов на сына.

— Ты думаешь, что?..

Уидон кивнул головой.

— Вы угадали. Ваш Дик отправится на тот свет через минуту, самое большее — через две.

Он повернулся к Белому Клыку.

— Пойдем, волк. Видно, в дом придется увести не Колли, а тебя.

Белый Клык осторожно поднялся по ступенькам и прошел всю веранду, подняв хвост, не сводя глаз с Дика и в то же время готовясь к любой неожиданности, которая могла встретить его в доме. Но ничего страшного там не было. Войдя в комнаты, он тщательно обследовал все углы, по-прежнему ожидая, что ему грозит опасность. Потом с довольным ворчанием улегся у ног хозяина, не переставая следить за всем, что происходило вокруг, и готовясь каждую минуту вскочить с места и вступить в бой с теми ужасами, которые, как ему казалось, таились в этой западне.

Глава третья

ВЛАДЕНИЯ БОГА

Переезды с места на место заметно развили в Белом Клыке умение приспособляться к окружающей среде, дарованное ему от природы, и укрепили в нем сознание необходимости такого приспособления. Он быстро свыкся с жизнью в Сиерра-Висте — так называлось поместье судьи Скотта. Никаких серьезных недоразумений с собаками больше не было. Здесь, на Юге, собаки знали обычаи богов лучше, чем он, и в их глазах существование Белого Клыка уже оправдывалось тем фактом, что боги разрешили ему войти в свое жилище. До сих пор Колли и Дику никогда не приходилось сталкиваться с волком, но раз боги допустили его к себе, им обоим не оставалось ничего другого, как подчиниться.

На первых порах отношение Дика к Белому Клыку не могло не быть несколько настороженным, но вскоре он примирился с ним, как с неотъемлемой принадлежностью Сиерра-Висты. Если бы все зависело от одного Дика, они стали бы друзьями, но Белый Клык не чувствовал необходимости в дружбе. Он требовал, чтобы собаки оставили его в покое. Всю жизнь он держался особняком от своих собратьев и не имел ни малейшего желания нарушать теперь этот порядок вещей. Дик надоедал ему своими приставаниями, и он, рыча, прогонял его прочь. Еще на Севере Белый Клык понял, что хозяйских собак трогать нельзя, и не забывал этого урока и здесь. Но он продолжал настаивать на своей обособленности и замкнутости и до такой степени игнорировал Дика, что этот добродушный пес оставил все попытки завязать дружбу с волком и в конце концов уделял ему внимания не больше, чем коновязи около конюшни.

Но с Колли дело обстояло несколько иначе. Смирившись с тем, что боги разрешили волку жить в доме, она все же не видела в этом достаточных оснований для того, чтобы совсем оставить его в покое. В памяти у Колли стояли бесчисленные преступления, совершенные волком и его родичами против ее предков. Набеги на овчарни нельзя забыть ни за один день, ни за целое поколение, они взывали о мести. Колли не смела нарушить волю богов, подпустивших к себе Белого Клыка, но это не мешало

ей отравлять ему жизнь. Между ними была вековая вражда, и Колли взялась непрестанно напоминать об этом Белому Клыку.

Воспользовавшись преимуществами, которые давал ей пол, она всячески изводила и преследовала его. Инстинкт не позволял Белому Клыку нападать на Колли, но оставаться равнодушным к ее настойчивым приставаниям было просто невозможно. Когда овчарка кидалась на него, он подставлял под ее острые зубы свое плечо, покрытое густой шерстью, и величественно отходил в сторону; если это не помогало, с терпеливым и скучающим видом начинал ходить кругами, пряча от нее голову. Впрочем, когда она все же ухитрялась вцепиться ему в заднюю ногу, отступать приходилось гораздо поспешнее, уже не думая о величественности. Но в большинстве случаев Белый Клык сохранял достойный и почти торжественный вид. Он не замечал Колли, если только это было возможно, и старался не попадаться ей на глаза, а увидев или заслышав ее поблизости, вставал с места и уходил.

Белый Клык много чему должен был научиться в Сиерра-Висте. Жизнь на Севере была проста по сравнению со здешними сложными делами. Прежде всего ему пришлось познакомиться с семьей хозяина, но это было для него не в новинку. Мит-Са и Клу-Куч принадлежали Серому Бобру, ели добытое им мясо, грелись около его костра и спали под его одеялами; точно так же и все обитатели Сиерра-Висты принадлежали хозяину Белого Клыка.

Но и тут чувствовалась разница, и разница довольно значительная. Сиерра-Виста была куда больше вигвама Серого Бобра. Белому Клыку приходилось сталкиваться здесь с очень многими людьми. В Сиерра-Висте был судья Скотт со своей женой. Потом там были две сестры хозяина — Бэт и Мери. Была жена хозяина, Элис, и, наконец, его дети Уидон и Мод, двое малышей четырех и шести лет. Никто не мог рассказать Белому Клыку о всех этих людях, а об узах родства и человеческих взаимоотношениях он ничего не знал, да и никогда не смог бы узнать. И все-таки он быстро понял, что все эти люди принадлежат его хозяину. Потом, наблюдая за их поведением, вслушиваясь в их речь и интонацию голосов, он мало-помалу разобрался в степени близости каждого из обитателей Сиерра-Висты к хозяину, почувствовал меру

расположения, которым он дарил их. И соответственно всему этому Белый Клык и сам стал относиться к новым богам: то, что ценил хозяин, ценил и он; то, что было дорого хозяину, надлежало всячески охранять и ему самому.

Так обстояло дело с хозяйскими детьми. Всю свою жизнь Белый Клык не терпел детей, боялся и не переносил прикосновения их рук: он не забыл детской жестокости и тирании, с которыми ему приходилось сталкиваться в индейских поселках. И, когда Уидон и Мод в первый раз подошли к нему, он предостерегающе зарычал и злобно сверкнул глазами. Удар кулаком и резкий окрик хозяина заставили Белого Клыка подчиниться их ласкам, хотя он не переставал рычать, пока крошечные руки гладили его, и в этом рычании не слышалось ласковой нотки. Позднее, заметив, что мальчик и девочка дороги хозяину, он позволял им гладить себя, уже не дожидаясь удара и резкого окрика.

Все же проявлять свои чувства Белый Клык не умел. Он покорялся детям хозяина с откровенной неохотой и переносил их приставания, как переносят мучительную операцию. Если они уж очень надоедали ему, он вставал и с решительным видом уходил прочь. Но вскоре Уидон и Мод расположили к себе Белого Клыка, хотя он все еще никак не выказывал своего отношения к ним. Он никогда не подходил к детям сам, но уже не убегал от них и ждал, когда они подойдут. А потом взрослые стали замечать, что при виде детей в глазах Белого Клыка появляется довольное выражение, которое уступает место чему-то вроде легкой досады, как только они оставляли его для других игр.

Много нового пришлось постичь Белому Клыку, но на все это требовалось время. Следующее место после детей Белый Клык отводил судье Скотту. Объяснялось это двумя причинами: во-первых, хозяин, очевидно, очень ценил его, во-вторых, судья Скотт был человек сдержанный. Белый Клык любил лежать у его ног, когда тот читал газету на просторной веранде. Взгляд или слово, изредка брошенные в сторону Белого Клыка, говорили ему, что судья Скотт замечает его присутствие и умеет дать почувствовать это без всякой навязчивости. Но так бывало, когда хозяин куда-нибудь уходил. Стоило только ему показаться, и весь остальной мир переставал существовать для Белого Клыка.

Белый Клык позволял всем членам семьи Скотта гладить и ласкать себя, но ни к кому из них он не относился так, как к хозяину. Никакие ласки не могли вызвать любовных ноток в его рычании. Как ни старались родные Скотта, а никому из них не удалось заставить Белого Клыка прижаться к себе головой. Этим выражением безграничного доверия, подчинения и преданности Белый Клык удостаивал одного Уидона Скотта. В сущности говоря, остальные члены семьи были для него ничем иным, как хозяйской собственностью.

Точно так же Белый Клык очень рано почувствовал разницу между членами семьи хозяина и слугами. Слуги боялись его, а он со своей стороны воздерживался от нападений на этих людей только потому, что считал их тоже хозяйской собственностью. Между ними и Белым Клыком поддерживался нейтралитет, и только. Они варили обед для хозяина, мыли посуду и исполняли всякую другую работу, точно так же как на Клондайке все это делал Мэтт. Короче говоря, слуги входили необходимой составной частью в жизненный уклад Сиерра-Висты.

Много нового пришлось узнать Белому Клыку и за пределами поместья. Владения хозяина были широки и обширны, но и они имели свои границы. Около Сиерра-Висты проходило шоссе. За ним начинались общие владения всех богов — дороги и улицы. Личные же их владения стояли за изгородями. Все это управлялось бесчисленным множеством законов, которые диктовали Белому Клыку его поведение, хотя он и не понимал языка богов и мог знакомиться с их законами только на основании собственного опыта. Он действовал сообразно своим инстинктам до тех пор, пока не сталкивался с одним из людских законов. После нескольких таких столкновений Белый Клык постигал закон и больше никогда не нарушал его.

Но сильнее всего действовали на Белого Клыка строгие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина. Белый Клык любил своего бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли причинить ни Серый Бобр, ни Красавчик Смит. Их побои были ощутимы только для тела, а дух, гордый, неукротимый дух Белого Клыка продолжал бушевать. Удары нового хозяина были чересчур слабы, чтобы причинить боль, и все-таки они проникали глубже. Хозяин выражал свое

неодобрение Белому Клыку и этим уязвлял его в самое сердце.

В сущности говоря, Белому Клыку не так уж часто попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне достаточно; по этому голосу Белый Клык судил, правильно он поступает или нет, к нему приноравливал свое поведение, поступки. Этот голос был для него компасом, по которому он направлял свой путь, компасом, который помогал ему знакомиться с новой страной и новой жизнью.

На Севере единственным прирученным животным была собака. Все остальные жили на воле и являлись законной добычей каждой собаки, если только она могла с ней справиться. Раньше Белому Клыку часто приходилось промышлять охотой, и ему было невдомек, что на Юге дело обстоит по-иному. Убедился он в этом в самом начале своего пребывания в долине Санта-Клара. Гуляя как-то рано утром около дома, он вышел из-за угла и наткнулся на курицу, убежавшую с птичьего двора. Вполне понятно, что ему захотелось съесть ее. Прыжок, сверкнувшие зубы, испуганное кудахтанье — и отважная путешественница встретила свой конец. Курица была хорошо откормленная, жирная и нежная на вкус; Белый Клык облизнулся и решил, что еда попалась неплохая.

В тот же день он набрел около конюшни еще на одну заблудшую курицу. На выручку ей прибежал конюх. Не зная нрава Белого Клыка, он захватил с собой для устрашения тонкий хлыстик. После первого же удара Белый Клык оставил курицу и бросился на человека. Его можно было бы остановить палкой, но не хлыстом. Второй удар, встретивший его на середине прыжка, он принял молча, не дрогнув от боли. Конюх вскрикнул, шарахнулся назад от прыгнувшей ему на грудь собаки, уронил хлыст, схватился за шею руками. В результате рука его была располосована от локтя вниз до самой кости.

Конюх страшно перепугался. Его ошеломила не столько злоба Белого Клыка, сколько то, что он бросился молча, не залаяв, не зарычав. Все еще не отнимая искусанной и залитой кровью руки от лица и горла, конюх начал отступать к сараю. Не появись на сцене Колли, ему бы несдобровать. Колли спасла конюху жизнь, так же как в свое время она спасла жизнь Дику. Не помня себя от ярости, овчарка кинулась на Белого Клыка. Она оказалась умнее слишком доверчивых богов. Все ее подозрения

оправдались: это грабитель! Он снова принялся за свои старые проделки! Он неисправим!

Конюх убежал на конюшню, а Белый Клык начал отступать перед свирепыми зубами Колли, кружась и подставляя под ее укусы то одно, то другое плечо. Но Колли не оставляла его в покое, не ограничиваясь на этот раз обычным наказанием. Ее волнение и злоба разгорались с каждой минутой, и в конце концов Белый Клык забыл все свое достоинство и удрал в поле.

— Он не будет охотиться на кур,— сказал хозяин,— но сначала мне нужно застать его на месте преступления.

Случай представился два дня спустя, но хозяин даже не предполагал, каких размеров достигнет это преступление. Белый Клык внимательно следил за птичьим двором и его обитателями. Вечером, когда куры уселись на насест, он взобрался на груду недавно привезенного теса, перепрыгнул оттуда на крышу курятника, перелез через ее гребень и соскочил на землю. Секундой позже в курятнике началось смертоубийство.

Утром, когда хозяин вышел на веранду, глазам его предстало любопытное зрелище: конюх выложил на траве в один ряд пятьдесят зарезанных белых леггорнов. Скотт тихо засвистал, сначала от удивления, потом от восторга. Глазам его предстал также и Белый Клык, который не выказывал ни малейших признаков смущения или сознания собственной вины. Он держался очень горделиво, как будто и в самом деле совершил поступок, достойный всяческих похвал. При мысли о предстоящей ему неприятной задаче хозяин сжал губы; затем он резко заговорил с безмятежно настроенным преступником, и в голосе его — голосе бога — слышался гнев. Больше того: хозяин ткнул Белого Клыка носом в зарезанных кур и ударил его кулаком.

С тех пор Белый Клык уже не совершал налетов на курятник. Куры охранялись законом, и Белый Клык понял это. Вскоре хозяин взял его с собой на птичий двор. Как только живая птица засновала чуть ли не под самым носом у Белого Клыка, он сейчас же приготовился к прыжку. Это было вполне естественное движение, но голос хозяина заставил его остановиться. Они пробыли на птичьем дворе с полчаса. И каждый раз, когда Белый Клык, поддаваясь инстинкту, бросался за птицей, голос хозяина останавливал его. Таким образом он усвоил еще один

закон и тут же, не выходя из этого птичьего царства, научился не замечать его обитателей.

— Такие охотники на кур неисправимы,— грустно покачивая головой, проговорил за завтраком судья Скотт, когда сын рассказал ему об уроке, преподанном Белому Клыку.— Стоит им только повадиться на птичий двор и попробовать вкус крови...— И он снова с грустью покачал головой.

Но Уидон Скотт не соглашался с отцом.

— Знаете, что я сделаю? — сказал он наконец.— Я запру Белого Клыка в курятнике на целый день.

— Что же будет с курами! — запротестовал отец.

— Больше того,— продолжал сын,— за каждую задушенную курицу я плачу золотой доллар.

— На папу тоже надо наложить какой-нибудь штраф,— вмешалась Бэт.

Сестра поддержала ее, и все сидевшие за столом хором одобрили это предложение. Судья не стал возражать.

— Хорошо! — Уидон Скотт на минуту задумался.— Если к концу дня Белый Клык не тронет ни одного куренка, за каждые десять минут, проведенные им на птичьем дворе, вы скажете ему совершенно серьезным и торжественным голосом, как в суде во время оглашения приговора: «Белый Клык, ты умнее, чем я думал».

Выбрав такие места, где их не было видно, все члены семьи приготовились наблюдать за событиями. Но им пришлось потерпеть сильное разочарование. Как только хозяин ушел со двора, Белый Клык лег и заснул. Потом проснулся и подошел к корыту напиться. На кур он не обращал ни малейшего внимания — они для него не существовали. В четыре часа он прыгнул с разбегу на крышу курятника, соскочил на землю по другую сторону и степенной рысцой побежал к дому... Он усвоил новый закон. И судья Скотт, к великому удовольствию всей семьи, собравшейся на веранде, торжественным голосом сказал шестнадцать раз подряд: «Белый Клык, ты умнее, чем я думал».

Но многообразие законов очень часто сбивало Белого Клыка с толку и повергало его в немилость. В конце концов он твердо уяснил себе, что нельзя трогать и кур, принадлежащих другим богам. То же самое относилось к кошкам, кроликам и индюшкам. Откровенно говоря, после первого ознакомления с этим законом у него созда-

лось впечатление, что все живые существа неприкосновенны. Перепелки вспархивали на лугу из-под самого его носа и улетали невредимыми. Белый Клык дрожал всем телом, но все же смирял в себе инстинктивное желание схватить птицу. Он повиновался воле богов.

Но вот однажды ему пришлось увидеть, как Дик спугнул на лугу зайца. Хозяин тоже видел это и не только не вмешивался, но даже подстрекал Белого Клыка присоединиться к погоне. Таким образом Белый Клык узнал, что новый закон не распространяется на зайцев, и в конце концов усвоил его целиком. С домашними животными надо жить в мире. Если дружба с ними не ладится, то нейтралитет следует поддерживать во всяком случае. Но другие животные — белки, перепела и зайцы, не порвавшие связи с лесной глушью и не покорившиеся человеку,— законная добыча каждой собаки. Боги защищали только ручных животных и не позволяли им враждовать между собой. Боги были властны в жизни и смерти своих подданных и ревниво оберегали эту власть.

Жизнь в Сиерра-Висте была далеко не так проста, как на Севере. Цивилизация требовала от Белого Клыка прежде всего власти над самим собой и выдержки — той уравновешенности, которая неосязаема, словно паутинка, и в то же время тверже стали. Жизнь здесь была тысячелика, и Белый Клык соприкасался с ней во всем ее многообразии. Так, когда ему приходилось бежать вслед за хозяйской коляской по городу Сан-Хосе или ждать хозяина на улице, жизнь текла мимо него глубоким, необъятным потоком, непрестанно требуя мгновенного приспособления к своим законам и почти всегда заставляя его заглушать в себе все естественные порывы.

В городе он видел мясные лавки, в которых на самом виду висело мясо. Но трогать его не разрешалось. В домах, куда заходил хозяин, были кошки, которых тоже следовало оставлять в покое. А собаки встречались повсюду, и драться с ними было нельзя, хоть они и рычали на него. Кроме того, по тротуарам сновало бесчисленное множество людей, чье внимание он привлекал к себе. Люди останавливались, показывали на него друг другу, разглядывали его со всех сторон, заговаривали с ним и, что было хуже всего, трогали его руками. Приходилось терпеливо выносить прикосновение чужих рук, но терпением Белый Клык уже успел запастись. Он сумел даже

преодолеть свою неуклюжую застенчивость и с высокомерным видом принимал все знаки внимания, которыми наделяли его незнакомые боги. Они снисходили до него, и он отвечал им тем же. И все же в Белом Клыке было что-то такое, что препятствовало слишком фамильярному обращению с ним. Прохожие гладили его по голове и отправлялись дальше, довольные собственной смелостью.

Но Белому Клыку не всегда удавалось отделываться так легко. Когда хозяйская коляска проезжала предместьями Сан-Хосе, мальчишки, попадавшиеся на пути, встречали его камнями. Белый Клык знал, что догнать их и разделаться с ними как следует нельзя. Приходилось поступать вопреки инстинкту самосохранения, и он, заглушая в себе голос инстинкта, становился мало-помалу совсем ручной, цивилизованной собакой.

И все же такое положение дел не совсем удовлетворяло Белого Клыка, хоть он и не знал, что такое беспристрастие и честность. Но каждое живое существо до известной степени обладает чувством справедливости, и Белому Клыку трудно было примириться с тем, что ему не позволяют защищаться от этих мальчишек. Он забыл, что договор, заключенный между ним и богами, обязывал последних заботиться о нем и охранять его. И вот однажды хозяин выскочил из коляски с хлыстом в руках и как следует проучил сорванцов. После этого они перестали бросаться камнями, и Белый Клык все понял и почувствовал полное удовлетворение.

Вскоре Белому Клыку пришлось испытать другой подобный же случай. Около салуна, мимо которого он пробегал по дороге в город, всегда слонялись три пса, взявших себе за правило бросаться на него. Зная, чем кончаются все схватки Белого Клыка с собаками, хозяин неустанно втолковывал ему закон, запрещающий драки. Белый Клык хорошо усвоил этот закон и, пробегая мимо салуна на перекрестке, всегда попадал в очень неприятное положение. Его злобное рычание сейчас же отгоняло всех трех собак на приличную дистанцию, но они продолжали свою погоню, издали лаяли, оскорбляли его. Так продолжалось довольно долгое время. Посетители салуна даже поощряли собак и как-то раз совершенно открыто натравили их на Белого Клыка. Тогда хозяин остановил коляску.

— Взять их! — сказал он Белому Клыку.

Белый Клык не поверил собственным ушам. Он посмотрел на хозяина, посмотрел на собак. Потом еще раз бросил на хозяина вопросительный и тревожный взгляд.

Тот кивнул головой:

— Возьми их, старик! Задай им как следует.

Белый Клык отбросил все колебания. Он повернулся и молча кинулся на врагов. Те не отступили. Началась свалка. Собаки лаяли, рычали, лязгали зубами. Вставшая столбом пыль заслонила поле битвы. Но через несколько минут две собаки уже бились на дороге в предсмертных судорогах, а третья бросилась наутек. Она перепрыгнула канаву, проскочила сквозь изгородь и убежала в поле. Белый Клык мчался за ней совершенно бесшумно, как настоящий волк, не уступая волку и в быстроте, и на середине поля настиг и прикончил ее.

Это тройное убийство положило конец его неладам с чужими собаками. Слух о происшествии разошелся по всей долине, и люди стали следить за тем, чтобы их собаки не приставали к Боевому Волку.

Глава четвертая
ГОЛОС КРОВИ

Месяцы шли один за другим. Еды на Юге было вдоволь, работы от Белого Клыка не требовали, и он вошел в тело, благоденствовал и был счастлив. Юг стал для Белого Клыка не только географической точкой — он жил на юге жизни. Человеческая ласка согревала его, как солнце, и он расцветал, словно растение, посаженное в добрую почву.

И все-таки между Белым Клыком и собаками чувствовалась какая-то разница. Он знал все законы даже лучше своих собратьев, которым не приходилось жить в других условиях, и соблюдал их с большой точностью,— и тем не менее свирепость не изменяла ему, как будто Северная глушь все еще держала его в своей власти, как будто волк, живший в нем, только задремал на время.

Белый Клык не дружил с собаками. Он всегда был одиночкой и намеревался держаться в стороне от своих собратьев и впредь. С первых лет своей жизни, омраченных враждой с Лип-Липом и со всей сворой щенков, и за те месяцы, которые ему пришлось провести у Красавчика

Смита, Белый Клык возненавидел собак. Жизнь его уклонилась от нормального течения, и он сблизился с человеком, отдалившись от своих сородичей.

Кроме того, на Юге собаки относились к Белому Клыку с большой подозрительностью: он будил в них инстинктивный страх перед Северной глушью, и они встречали его лаем и рычанием, в котором слышалась ненависть. Он же со своей стороны понял, что кусать их совсем не обязательно. Оскаленные клыки и злобно вздрагивающие губы действовали безошибочно и останавливали почти любую разъяренную собаку.

Но жизнь послала Белому Клыку испытание, и этим испытанием была Колли. Она не давала ему ни минуты покоя. Закон не обладал для нее такой же непреложной силой, как для Белого Клыка, и Колли противилась всем попыткам хозяина заставить их подружиться. Ее злобное, истеричное рычание неотвязно преследовало Белого Клыка: Колли не могла простить ему историю с курами и была твердо уверена в преступности всех его намерений. Она находила вину там, где ее еще и не было. Она отравляла Белому Клыку существование, следуя за ним по пятам, как полисмен, и стоило ему только бросить любопытный взгляд на голубя или курицу, как овчарка поднимала яростный, негодующий лай. Излюбленный способ Белого Клыка отделаться от нее заключался в том, что он ложился на землю, опускал голову на передние лапы и притворялся спящим. В таких случаях она всегда терялась и сразу умолкала.

За исключением неприятностей с Колли, все остальное шло гладко. Белый Клык научился сдерживать себя, твердо усвоил законы. В характере его появилась положительность, спокойствие, философское терпение. Среда перестала быть враждебной ему. Предчувствия опасности, угрозы боли и смерти как не бывало. Мало-помалу исчез и ужас перед неизвестным, подстерегавшим его раньше на каждом шагу. Жизнь стала спокойной и легкой. Она текла ровно, не омрачаемая ни страхами, ни враждой.

Ему не хватало снега, но сам он не понимал этого. «Как затянулось лето!» — подумал бы, вероятно, Белый Клык, если бы мог так подумать. Потребность в снеге была смутная, бессознательная. Точно так же в летние дни, когда солнце жгло безжалостно, он испытывал легкие приступы тоски по Северу. Но тоска эта проявлялась

только в беспокойстве, причины которого оставались неясными ему самому.

Белый Клык никогда не отличался экспансивностью. Он прижимался головой к хозяину, ласково ворчал и только такими способами выражал свою любовь. Но вскоре ему пришлось узнать и третий способ. Он не мог оставаться равнодушным, когда боги смеялись. Смех приводил его в бешенство, заставлял терять рассудок от ярости. Но на хозяина Белый Клык не мог сердиться, и, когда тот начал однажды добродушно подшучивать и смеяться над ним, он растерялся. Прежняя злоба поднималась в нем, но на этот раз ей приходилось бороться с любовью. Сердиться он не мог — что же ему было делать? Он старался сохранить величественный вид, но хозяин захохотал громче. Он набрался еще больше величия, а хозяин все хохотал и хохотал. В конце концов Белый Клык сдался. Верхняя губа у него дрогнула, обнажив зубы, и глаза загорелись не то лукавым, не то любовным огоньком. Белый Клык научился смеяться.

Научился он и играть с хозяином: позволял валить себя с ног, опрокидывать на спину, проделывать над собой всякие шутки, а сам притворялся разъяренным, весь ощетинивался, рычал и лязгал зубами, делая вид, что хочет укусить хозяина. Но до этого никогда не доходило: его зубы щелкали в воздухе, не задевая Скотта. И в конце такой возни, когда удары, толчки, лязганье зубами и рычание становились все сильнее и сильнее, человек и собака вдруг отскакивали в разные стороны, останавливались и смотрели друг на друга. А потом так же внезапно — будто солнце вдруг проглянуло над разбушевавшимся морем — они начинали смеяться. Игра обычно заканчивалась тем, что хозяин обнимал Белого Клыка за шею, а тот заводил свою ворчливо-нежную любовную песенку.

Но, кроме хозяина, никто не осмеливался поднимать такую возню с Белым Клыком. Он не допускал этого. Стоило кому-нибудь другому покуситься на его чувство собственного достоинства, как угрожающее рычание и вставшая дыбом шерсть убивали у этого смельчака всякую охоту поиграть с ним. Если Белый Клык разрешал хозяину вольности, это вовсе не значило, что он расточает свою любовь направо и налево, как обыкновенная собака, готовая возиться и играть с кем угодно. Он любил только одного человека и отказывался разменивать свою любовь.

Хозяин много ездил верхом, и Белый Клык считал своей первейшей обязанностью сопровождать его в такие прогулки. На Севере он доказывал свою верность людям тем, что ходил в упряжке, но на Юге никто не ездил на санях, и здешних собак не нагружали тяжестями. Поэтому Белый Клык всегда был при хозяине во время его поездок, найдя в этом новый способ для выражения своей преданности. Ему ничего не стоило бежать так хоть целый день. Он бежал без малейшего напряжения, не чувствуя усталости, ровной волчьей рысью и, проделав миль пятьдесят, все так же резво несся впереди лошади.

Эти поездки хозяина дали Белому Клыку возможность научиться еще одному способу выражения своих чувств, и замечательно то, что он воспользовался им только два раза за всю свою жизнь. Впервые это случилось, когда Уидон Скотт добивался от горячей чистокровной лошади, чтобы она позволила ему открывать и закрывать калитку, не сходя с седла. Раз за разом он подъезжал к калитке, пытаясь закрыть ее за собой, но лошадь испуганно пятилась назад, шарахалась в сторону. Она горячилась все больше и больше, взвивалась на дыбы, а когда хозяин давал ей шпоры и заставлял опустить передние ноги, начинала бить задом. Белый Клык следил за ними с возрастающим беспокойством и под конец, не имея больше сил сдерживать себя, подскочил к лошади и злобно и угрожающе залаял на нее.

После случая с лошадью он часто пытался лаять, и хозяин поощрял его попытки, но сделать это ему удалось еще только один раз, причем хозяина в то время не было поблизости. Поводом к этому послужили следующие события: хозяин скакал верхом по полю, как вдруг лошадь метнулась в сторону, испугавшись выскочившего из-под самых ее копыт зайца, споткнулась, хозяин вылетел из седла, упал и сломал ногу. Белый Клык рассвирепел и хотел было вцепиться провинившейся лошади в горло, но хозяин остановил его.

— Домой! Ступай домой! — крикнул он, удостоверившись, что нога сломана.

Белый Клык не желал оставлять его одного. Хозяин хотел написать записку, но не нашел в карманах ни карандаша, ни бумаги. Тогда он снова приказал Белому Клыку бежать домой.

Белый Клык тоскливо посмотрел на него, сделал не-

сколько шагов, вернулся и тихо заскулил. Хозяин заговорил с ним ласковым, но серьезным тоном; Белый Клык насторожил уши, с мучительным напряжением вслушиваясь в слова.

— Не смущайся, старик, ступай домой,— говорил Уидон Скотт.— Ступай домой и расскажи там, что случилось. Домой, волк, домой!

Белый Клык знал слово «домой» и, не понимая остального, все же догадался, о чем говорит хозяин. Он повернулся и нехотя побежал по полю. Потом остановился в нерешительности и посмотрел назад.

— Домой! — раздалось строгое приказание, и на этот раз Белый Клык повиновался.

Когда он подбежал к дому, все сидели на веранде, наслаждаясь вечерней прохладой. Белый Клык был весь в пыли и тяжело дышал.

— Уидон вернулся,— сказала мать Скотта.

Дети встретили Белого Клыка радостными криками и кинулись ему навстречу. Он ускользнул от них в дальний конец веранды, но маленький Уидон и Мод загнали его в угол между качалкой и перилами. Он зарычал, пытаясь вырваться на свободу. Жена Скотта испуганно посмотрела в ту сторону.

— Все-таки я в постоянной тревоге за детей, когда они вертятся около Белого Клыка,— сказала она.— Только и ждешь, что в один прекрасный день он бросится на них.

Белый Клык с яростным рычанием выскочил из ловушки, свалив мальчика и девочку с ног. Мать подозвала их к себе и стала утешать и уговаривать оставить Белого Клыка в покое.

— Волк всегда останется волком,— заметил судья Скотт.— На него нельзя полагаться.

— Но он не настоящий волк,— вмешалась Бэт, вставая на сторону отсутствующего брата.

— Ты полагаешься на слова Уидона,— возразил судья.— Он думает, что в Белом Клыке есть собачья кровь, но ведь это только его предположение. А по виду...

Судья не закончил фразу. Белый Клык остановился перед ним и яростно зарычал.

— Пошел на место! На место! — строго проговорил судья Скотт.

Белый Клык повернулся к жене хозяина. Она испуганно вскрикнула, когда он схватил ее зубами за платье и, потянув к себе, разорвал легкую материю.

Тут уж Белый Клык стал центром всеобщего внимания. Он стоял, высоко подняв голову, и вглядывался в лица людей. Горло его подергивалось судорогой, но не издавало ни звука. Он силился как-то выразить то, что рвалось в нем наружу и не находило себе выхода.

— Уж не взбесился ли он? — сказала мать Уидона.— Я говорила Уидону, что северная собака не перенесет теплого климата.

— Он, того и гляди, заговорит! — воскликнула Бэт.

В эту минуту Белый Клык обрел дар речи и разразился оглушительным лаем.

— Что-то случилось с Уидоном,— с уверенностью сказала жена Скотта.

Все вскочили с мест, а Белый Клык бросился вниз по ступенькам, оглядываясь назад и словно приглашая людей следовать за собой. Он лаял второй и последний раз в жизни и добился, что его поняли.

После этого случая обитатели Сиерра-Висты стали лучше относиться к Белому Клыку, и даже конюх с искусанной рукой признал, что Белый Клык — умный пес, хоть он и волк. Судья Скотт тоже придерживался этой точки зрения и, к всеобщему неудовольствию, приводил в доказательство своей правоты описания и таблицы, взятые из энциклопедии и различных книг по естествознанию.

Дни шли один за другим, щедро заливая долину Санта-Клара солнечными лучами. Но с приближением зимы, второй его зимы на Юге, Белый Клык сделал странное открытие — зубы Колли перестали быть такими острыми: ее игривые, легкие укусы уже не причиняли боли. Белый Клык забыл, что когда-то овчарка отравляла ему жизнь, и, стараясь отвечать ей такой же игривостью, проделывал это до смешного неуклюже.

Однажды Колли долго носилась по лугу, а потом увлекла Белого Клыка за собой в лес. Хозяин собирался покататься верхом с утра, и Белый Клык знал об этом: оседланная лошадь стояла у подъезда. Белый Клык колебался. Он чувствовал в себе нечто такое, что было сильнее всех познанных им законов, сильнее всех привычек, сильнее любви к хозяину, сильнее воли к жизни. И, когда овчарка куснула его и побежала прочь, он оставил свою

нерешительность, повернулся и последовал за ней. В тот день хозяин ездил один, а Белый Клык бегал по лесу бок о бок с Колли — так же, как много лет назад в безмолвной северной чаще его мать Кичи бегала с Одноглазым.

Глава пятая

ДРЕМЛЮЩИЙ ВОЛК

Приблизительно в это же время в газетах появились сообщения о смелом побеге из сан-квентинской тюрьмы одного заключенного, славившегося своей свирепостью. Это была натура, исковерканная с самого рождения и не получившая ни малейшей помощи от окружающей среды, натура, являвшая собой поразительный пример того, во что может обратиться человеческий материал, когда он попадает в безжалостные руки общества. Это было животное — правда, животное в образе человека, но тем не менее иначе как хищником его нельзя было назвать.

В сан-квентинской тюрьме он считался неисправимым. Никакое наказание не могло сломить его упорство. Он был способен бунтовать до последнего издыхания, не помня себя от ярости, но не мог жить побитым, покоренным. Чем яростнее бунтовал он, тем суровее общество обходилось с ним, и эта суровость только разжигала его злобу. Смирительная рубашка, голод, побои не достигали своей цели, а ничего другого Джим Холл не получал от жизни. Так обращались с ним с самого раннего детства, проведенного им в трущобах Сан-Франциско, когда Джим Холл был мягкой глиной, готовой принять любую форму в руках общества.

В третий раз отбывая срок заключения в тюрьме, Джим Холл встретил там сторожа, который был почти таким же зверем, как и он сам. Сторож всячески преследовал его, оклеветал перед смотрителем, и Джима лишили последних тюремных поблажек. Вся разница между Джимом и сторожем заключалась лишь в том, что сторож носил при себе связку ключей и револьвер, а у Джима Холла были только голые руки да зубы. Но однажды он бросился на сторожа и вцепился зубами ему в горло, как дикий зверь в джунглях.

После этого Джима Холла перевели в одиночную камеру. Он прожил в ней три года. Пол, стены и потолок

камеры были обиты железом. За все это время он ни разу не вышел из нее, ни разу не увидел неба и солнца. Вместо дня в камере стояли сумерки, вместо ночи — черное безмолвие. Джим Холл был заживо погребен в железной могиле. Он не видел человеческого лица, не обменялся ни с кем ни словом. Когда ему просовывали пищу, он рычал, как дикий зверь. Он ненавидел весь мир. Он мог выть от ярости день за днем, ночь за ночью, потом замолкал на недели и месяцы, не издавая ни звука в этом черном безмолвии, проникавшем ему в самую душу.

А потом как-то ночью он убежал. Смотритель уверял, что это немыслимо, но тем не менее камера была пуста, а на пороге ее лежал убитый сторож. Еще два трупа отмечали путь преступника через тюрьму к наружной стене,— всех троих Джим Холл убил голыми руками, чтобы ничего не было слышно.

Сняв с убитых сторожей оружие, Джим Холл скрылся в горы. Голову его оценили в крупную сумму золотом. Алчные фермеры гонялись за ним с ружьями. Ценой его крови можно было выкупить закладную или послать сына в колледж. Граждане, воодушевившиеся чувством долга, вышли на Холла с винтовками в руках. Свора ищеек мчалась по его кровавым следам. А ищейки закона, состоявшие на жалованье у общества, звонили по телефону, слали телеграммы, заказывали специальные поезда, ни днем ни ночью не прекращая своих розысков.

Время от времени Джим Холл попадался на глаза своим преследователям, и тогда люди геройски шли ему навстречу или кидались от него врассыпную, к великому удовольствию всей страны, читавшей об этом в газетах за завтраком. После таких стычек убитых и раненых развозили по больницам, а их места занимали другие любители охоты на человека.

А затем Джим Холл исчез. Ищейки тщетно рыскали по его следам. Вооруженные люди задерживали ни в чем не повинных фермеров и требовали, чтобы те удостоверили свою личность. А жаждавшие получить выкуп за голову Холла десятки раз находили в горах его труп.

Все это время газеты читались и в Сиерра-Висте, но не столько с интересом, сколько с беспокойством. Женщины были перепуганы. Судья Скотт хорохорился и подшучивал над ними,— впрочем, без всяких оснований, так как незадолго до того, как он вышел в отставку, Джим

Холл предстал перед ним в суде и выслушал от него свой приговор. И там же, в зале суда, перед всей публикой Джим Холл заявил, что настанет день, когда он отомстит судье, вынесшему этот приговор.

На этот раз Джим Холл был невиновен. Его осудили неправильно. В воровском мире и среди полицейских это называлось «закатать в тюрьму».

Джима Холла «закатали» за преступление, которого он не совершал. Приняв во внимание две прежние судимости Джима Холла, судья Скотт дал ему пятьдесят лет тюрьмы.

Судья Скотт не знал многих обстоятельств дела, не подозревал он и того, что стал невольным соучастником сговора полицейских, что показания были подстроены и извращены, что Джим Холл не был причастен к преступлению. А Джим Холл, со своей стороны, не знал, что судья Скотт действовал по неведению. Джим Холл был уверен, что судья Скотт прекрасно обо всем осведомлен и, вынося этот чудовищный по своей несправедливости приговор, действует рука об руку с полицией. И поэтому, когда судья Скотт огласил приговор, осуждающий Джима Холла на пятьдесят лет жизни, мало чем отличающейся от смерти, Джим Холл, ненавидевший мир, который так круто обошелся с ним, вскочил со своего места и бесновался от ярости до тех пор, пока его враги, одетые в синие мундиры, не повалили его на пол. Он считал судью Скотта краеугольным камнем обрушившейся на него твердыни несправедливости и грозил ему местью. А потом Джима Холла заживо погребли в тюремной камере... и он убежал оттуда.

Обо всем этом Белый Клык ничего не знал. Но между ним и женой хозяина, Элис, существовала тайна. Каждую ночь, после того как вся Сиерра-Виста отходила ко сну, Элис вставала с постели и впускала Белого Клыка на всю ночь в холл. А так как Белый Клык не был комнатной собакой и ему не полагалось спать в доме, то рано утром, до того как все встанут, Элис тихонько сходила вниз и выпускала его во двор.

В одну такую ночь, когда весь дом покоился во сне, Белый Клык проснулся, но продолжал лежать тихо. И так же тихо он повел носом и сразу поймал несшуюся к нему по воздуху весть о присутствии в доме незнакомого бога. До его слуха доносились звуки шагов. Белый Клык не залаял. Это было не в его обычае. Незнакомый бог ступал

очень тихо, но еще тише ступал Белый Клык, потому что на нем не было одежды, которая шуршит, прикасаясь к телу. Он двигался бесшумно. В Северной глуши ему приходилось охотиться за пугливой дичью, и он знал, как важно застать ее врасплох.

Незнакомый бог остановился у лестницы и стал прислушиваться. Белый Клык замер. Он стоял не шевелясь и ждал, что будет дальше. Лестница вела в коридор, где были комнаты хозяина и самых дорогих для него существ. Белый Клык ощетинился, но продолжал ждать молча. Незнакомый бог поставил ногу на нижнюю ступеньку; он стал подниматься вверх по лестнице...

И в эту минуту Белый Клык кинулся. Он сделал это без всякого предупреждения, даже не зарычал. Тело его взвилось в воздух и опустилось прямо на спину незнакомому богу. Белый Клык повис у него на плечах, и впился клыками ему в шею. Он повис на незнакомом боге всей своей тяжестью и в одно мгновение опрокинул его навзничь. Оба рухнули на пол. Белый Клык отскочил в сторону, но как только человек попытался встать на ноги, он снова кинулся на него и снова запустил зубы ему в шею.

Обитатели Сиерра-Висты в страхе проснулись. По шуму, доносившемуся с лестницы, можно было подумать, что там сражаются полчища дьяволов. Раздался револьверный выстрел, за ним второй, третий. Кто-то пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послышалось громкое рычание. И все эти звуки сопровождал звон стекла и грохот опрокидываемой мебели.

Но шум замер так же внезапно, как и возник. Все это длилось не больше трех минут. Перепуганные обитатели дома столпились на верхней площадке лестницы. Снизу, из темноты, доносились булькающие звуки, будто воздух выходил пузырьками на поверхность воды. По временам бульканье переходило в шипение, чуть ли не в свист. Но и эти звуки быстро замерли, и во мраке слышалось только тяжелое дыхание, словно кто-то мучительно ловил ртом воздух.

Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света залили лестницу и холл. Потом он и судья Скотт осторожно спустились вниз, держа наготове револьверы. Впрочем, осторожность их оказалась излишней: Белый Клык уже сделал свое дело. Посреди опрокинутой и переломанной мебели лежал на боку человек, лицо его было при-

крыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку и повернул человека лицом вверх. Зияющая на горле рана не оставляла никаких сомнений относительно причины его смерти.

— Джим Холл! — сказал судья Скотт.

Отец и сын многозначительно переглянулись, затем перевели взгляд на Белого Клыка. Он тоже лежал на боку. Глаза у него были закрыты, но, когда люди наклонились над ним, он приподнял веки, силясь взглянуть вверх, и чуть шевельнул хвостом. Уидон Скотт погладил его, и в ответ на эту ласку он тихонько зарычал. Но рычание прозвучало чуть слышно и сейчас же оборвалось. Веки у Белого Клыка дрогнули и закрылись, все тело както сразу обмякло, и он вытянулся на полу.

— Кончено твое дело, бедняга,— пробормотал хозяин.

— Ну, это мы еще посмотрим,— заявил судья и пошел к телефону.

— Откровенно говоря, у него один шанс на тысячу,— сказал хирург, полтора часа провозившись около Белого Клыка.

Первые солнечные лучи, глянувшие в окна, побороли электрический свет. Вся семья, кроме детей, собралась около хирурга, чтобы послушать, что он скажет о Белом Клыке.

— Перелом задней ноги,— продолжал тот.— Три сломанных ребра, и по крайней мере одно из них прошло в легкое. Большая потеря крови. Возможно, что имеются и другие внутренние повреждения, так как, по-видимому, его топтали ногами. Я уже не говорю о том, что все три пули прошли навылет. Да нет, один шанс на тысячу — это, пожалуй, слишком оптимистично. У него нет и одного на десять тысяч.

— Но нельзя терять и этого шанса! — воскликнул судья Скотт.— Я заплачу любые деньги! Надо сделать просвечивание — все, что понадобится... Уидон, телеграфируй сейчас же в Сан-Франциско доктору Никольсу. Вы не обижайтесь, доктор, мы вам верим, но для этой собаки надо сделать все, что можно.

— Ну, разумеется, разумеется! Я понимаю, собака этого заслуживает. За ней надо ухаживать, как за человеком, как за больным ребенком. И следите за температурой. Я загляну в десять часов.

И за Белым Клыком ухаживали действительно как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать опытную сиделку и взялись за это дело сами. И Белый Клык вырвал у жизни тот единственный шанс, в котором ему отказал хирург.

Но не следует осуждать хирурга за его ошибку. До сих пор ему приходилось лечить и оперировать изнеженных цивилизацией людей, потомков многих изнеженных поколений. По сравнению с Белым Клыком все они казались хрупкими и слабыми и не умели цепляться за жизнь. Белый Клык был выходцем из Северной глуши, которая никому не позволяет изнежиться и быстро уничтожает слабых. Ни у его матери, ни у его отца, ни у многих поколений их предков не было и признаков изнеженности. Северная глушь наградила Белого Клыка железным организмом и живучестью, и он цеплялся за жизнь и духом и телом с тем упорством, которое в былые времена было свойственно каждому живому существу.

Прикованный к месту, лишенный возможности даже шевельнуться из-за гипсовых повязок и бандажей, Белый Клык долгие недели боролся со смертью. Он подолгу спал, видел множество снов, и в мозгу его нескончаемой вереницей проносились видения Севера. Прошлое ожило и обступило Белого Клыка со всех сторон. Он снова жил в логовище с Кичи; дрожа всем телом, подползал к ногам Серого Бобра, выражая ему свою покорность; спасался бегством от Лип-Липа и завывающей своры щенков.

Белый Клык снова бегал по безмолвному лесу, охотясь за дичью в дни голода; снова видел себя во главе упряжки; слышал, как Мит-Са и Серый Бобр щелкают бичами и кричат: «Раа! Раа!», когда сани въезжают в ущелье и упряжка сжимается, как веер, на узкой дороге. День за днем прошла перед ним жизнь у Красавчика Смита и бои, в которых он участвовал. В эти минуты он скулил и рычал, и люди, сидевшие около него, говорили, что Белому Клыку снится дурной сон.

Но мучительнее всего был один повторяющийся кошмар: Белому Клыку снились трамваи, которые с грохотом и дребезгом мчались на него, точно громадные, пронзительно воющие рыси. Вот Белый Клык, притаившись, лежит в кустах, поджидая той минуты, когда белка решится наконец спуститься с дерева на землю. Вот он прыгает на свою добычу... Но белка мгновенно превращается в страш-

ный трамвай, который громоздится над ним, как гора, угрожающе визжит, грохочет и плюет на него огнем. Так же было и с ястребом. Ястреб камнем падал на него с неба и превращался на лету все в тот же трамвай. Белый Клык видел себя в загородке у Красавчика Смита. Кругом собирается толпа, и он знает, что скоро начнется бой. Он смотрит на дверь, поджидая своего противника. Дверь распахивается — и страшный трамвай летит на него. Такой кошмар повторялся день за днем, ночь за ночью, и каждый раз Белый Клык испытывал ужас во сне.

Наконец в одно прекрасное утро с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний бинт. Какое это было торжество! Вся Сиерра-Виста собралась около Белого Клыка. Хозяин почесывал ему за ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бесценный Волк» — назвала его жена хозяина. Это новое прозвище было встречено восторженными криками, и все женщины стали повторять: «Бесценный Волк! Бесценный Волк!»

Он попробовал было подняться на ноги, сделал несколько безуспешных попыток и упал. Выздоровление так затянулось, что мускулы его потеряли упругость и силу. Ему было стыдно своей слабости, как будто он провинился в чем-то перед богами. И, сделав героическое усилие, он встал на все четыре лапы, пошатываясь из стороны в сторону.

— Бесценный Волк! — хором воскликнули женщины.

Судья Скотт бросил на них торжествующий взгляд.

— Вашими устами глаголет истина! — сказал он.— Я твердил об этом все время. Ни одна собака не могла бы сделать того, что сделал Белый Клык. Он — волк.

— Бесценный Волк,— поправила его миссис Скотт.

— Да, Бесценный Волк,— согласился судья.— И отныне я только так и буду называть его.

— Ему придется сызнова учиться ходить,— сказал врач.— Пусть сейчас и начинает. Теперь уже можно. Выведите его во двор.

И Белый Клык вышел во двор, а за ним, словно за августейшей особой, почтительно шли все обитатели Сиерра-Висты. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лег на траву и несколько минут отдыхал.

Затем процессия двинулась дальше, и мало-помалу, с каждым шагом, мускулы Белого Клыка наливались силой, кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Дошли до ко-

нюшни, и там около ворот лежала Колли, а вокруг нее резвились на солнце шестеро упитанных щенков.

Белый Клык посмотрел на них с недоумением. Колли угрожающе зарычала, и он предпочел держаться от нее подальше. Хозяин подтолкнул к нему ногой ползавшего по травке щенка. Белый Клык ощетинился, но хозяин успокоил его. Колли, которую сдерживала Бэт, не спускала с Белого Клыка настороженных глаз и рычанием предупреждала, что успокаиваться еще рано.

Щенок подполз к Белому Клыку. Тот навострил уши и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись друг друга носами, и Белый Клык почувствовал, как теплый язычок щенка лизнул его в щеку. Сам не зная, почему так получилось, он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку.

Боги встретили это рукоплесканиями и криками восторга. Белый Клык удивился и недоуменно посмотрел на них. Потом его снова охватила слабость; он опустился на землю и, поглядывая на щенка, нагнул голову набок. Остальные щенки тоже подползли к нему, к великому неудовольствию Колли, и Белый Клык с важным видом позволял им карабкаться себе на спину и скатываться на траву.

Рукоплескания смутили его и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки продолжали свою возню, а Белый Клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.



НА РОДИНЕ ДЖЕКА ЛОНДОНА

Отчаянно тарахтя и мелькая на солнце винтом, геликоптер поднял меня и понес над Сан-Франциско, мимо многомильного моста через огромный залив — к Окленду и Беркли. Вот под нами островок Алькатрас с опустевшими коробками зданий тюрьмы. Это его два года назад захватили и много месяцев удерживали индейцы. Исконные жители Америки потребовали прекратить дискриминацию индейского народа.

И вот, наконец, протарахтев у самых волн, геликоптер опустил нас на посадочной площадке у кромки берега, в Эмервиле — пригороде Окленда.

Я — в Калифорнии, на родине Джека Лондона. Мне тревожно и радостно. Ровно пятнадцать лет назад я был здесь — аспирантом, когда изучал жизнь и творчество этого выдающегося писателя. На этот раз я прибыл в Калифорнийский университет, продолжая свой путь по Соединенным Штатам, в соответствии с соглашением о научном обмене между нашими странами. Еще в Мэдисоне мне сообщили, что для меня приготовлена комната в университетском городке, в «ай-хаузе». «Ай-хауз» — это общежитие для студентов, преимущественно иностранных. Итак, в Окленд, на площадь Джека Лондона. Иду по Телеграф-авеню. Где-то здесь, в доме № 1216, проживал писатель в 1904—1905 годах. Тот дом не сохранился. Некоторое время Лондон жил неподалеку, на 27-й улице. Это было перед уходом в плавание на «Снарке». А в доме № 1321 по 22-й авеню — это на юго-восток, ближе к водам залива,— был им написан первый рассказ, «Тайфун у берегов Японии». В Окленде можно бы насчитать с десяток домиков, где жил писатель и его семья. Сохранились из них единицы. В прошлый раз с помощью американских друзей мне удалось разыскать три из них. С этим городом связана судьба многих его героев. Где-то на Телеграф-авеню жил

и главный герой романа «Мартин Иден». По этой улице они шли вместе с Руфь Морз, это была их последняя встреча.

А вот здесь, на углу 14-й улицы и Бродвея, Мартин встретился с Марией, женщиной, поддержавшей его в трудную минуту. Сюда, на перекресток — центральную площадь Окленда,— выходит и Телеграф-авеню. Восьмиэтажный дом, как крейсер, плывет вдоль восточного края площади. Посередине ее — «дуб Джека Лондона». Дуб был посажен почитателями таланта писателя 16 января 1917 года, в годовщину его рождения, на том самом месте, где Лондон когда-то выступал с горячей антикапиталистической речью и был впервые арестован.

Издалека виден щит «площадь Джека Лондона». Я пересекаю железнодорожные пути и вступаю на площадь. Все сооружения ее — это поздние постройки, появившиеся много лет спустя после смерти писателя. Но есть здесь, в дальнем конце площади, постройка, «видевшая» Джека Лондона. Это салун «Первый и последний шанс Хейнолда» — небольшой, похожий на сарай кабачок. Всего два окна и дверь, выходящие на площадь. Домик почти по окна утонул в земле. Ему не менее восьмидесяти лет. Некогда отсюда начинался мост на остров Аламеда, где размещалась глубоководная сторона оклендского порта. Для моряков это был первый и последний шанс выпить. Завсегдатаями здесь были грузчики, извозчики и вернувшиеся из дальних плаваний «морские волки» — любители рассказывать удивительные истории, в которых неизвестно, чего больше — вымысла или правды. Сюда в поисках острого сюжета забредали журналисты и писатели. Любил бывать в салуне и Джек Лондон.

Имеется поблизости и еще одно строение, которое, по преданию, знало знаменитого писателя. Буквально в нескольких шагах от салуна «Первый и последний шанс» стоит бревенчатая хижина. Судя по ветхим бревнам, ей тоже не менее восьмидесяти лет. На самом же деле — это самая молодая постройка на площади. Ей всего лишь четыре года. И с нею связана романтическая история совсем в духе Джека Лондона.

В 1967 году одному канадскому поклоннику творчества Лондона, Дику Норту, стало известно, что существует автограф писателя на обломке дерева. Норт принялся за розыски. Он отправился в Доусон, на Аляску. Там ему уда-

лось выяснить у старожилов, что последний аляскинский почтальон Джек Маккензи, развозивший почту на собаках вверх по Юкону, давным-давно нашел подпись, сделанную Джеком Лондоном на бревне внутри хижины, что стояла на ручье Гендерсона, и будто бы он вырезал эту надпись.

Маккензи сообщил Норту, что автограф Лондона он подарил одному своему другу, несколько лет назад умершему. Старый почтальон понятия не имел, где теперь может быть кусочек дерева с подписью Лондона, но заверил, что хижина должна быть цела, так как сделана она была из крепких бревен. Правда, в последний раз Маккензи видел ее лет двадцать назад.

Норт взял собачью упряжку и устремился на поиски хижины. Ему пришлось пройти на собаках более ста миль, но хижину он все же нашел. Она стояла вблизи участка № 54, на который в Доусоне была сделана заявка Джеком Лондоном.

Вскоре нашелся и автограф Лондона. На кусочке, вырезанном из бревна, написано: «Джек Лондон, рудокоп, автор, 27 января 1898 года». Автограф показали дочери писателя Джоан Лондон, биографу Ирвингу Стоуну и экспертам по почерку. Все они единодушно заявили: подпись сделана рукой Лондона. Новая экспедиция подтвердила, что дощечка с подписью Лондона действительно вырезана из бревна хижины.

Хижина Джека Лондона стояла на левом притоке ручья Гендерсона, в восьми милях выше устья и в семидесяти пяти милях от Доусона. Внутри нашли сковороду для выпечки лепешек, юконскую печку, банку из-под ружейного масла и лопату.

После поездки экспертов на хижину Лондона стали претендовать сразу две страны: Канада, на территории которой она стояла, и Соединенные Штаты. Было найдено компромиссное решение: соорудить две копии, использовав в каждой половину оригинального материала. Одна была поставлена в Доусоне, другая — на родине писателя.

Я заглядываю внутрь. Две табуретки, стол. Прямо напротив — нары, на них брошена меховая шуба. У входа справа — печка из листового железа. Возле — дрова. На печке стоит кастрюля, сковорода, луженый чайник и горшок. Сзади в печку вмазан котел. Присмотревшись, на полу обнаруживаю кирку, лопату, топор, плетеные лыжи

для ходьбы по снегу. На стене висят северные мокасины и капканы. Под потолком — вставленная в железный подсвечник свеча. Вся эта утварь подлинная, она вывезена с Аляски. Устроители стремились воссоздать нехитрый быт золотоискателей Клондайка.

Вечером за мной заехал Барт Эбботт, внук Джека Лондона. У Лондона было две дочери. Барт — единственный ребенок старшей, Джоан. Я сразу нашел его в условленном месте у входа в «ай-хауз». Пышная седая шевелюра подчеркивает загар. Профиль римского легионера, голубые глаза, яркая цветная гавайская рубашка, завязанная на животе. Ему за пятьдесят.

Заочно мы уже знаем друг друга. Барт звонил мне в Москву, когда умерла его мать, а затем прислал приглашение приехать разобрать архив Джоан Лондон. С его матерью, замечательной женщиной, я встречался во время прошлого визита в США и с той поры до самой ее кончины вел переписку. А после смерти Джоан на мои письма отвечали Барт и его жена Элен.

— Ну что, сразу узнали? Я же говорил! — смеется Барт.

У него звучный баритон с бархатными глубокими полутонами. Он ведет меня к своей машине — это крохотный темно-красный немецкий «фольксваген» — и везет домой, в дальний край Окленда. Его дом стоит в самом конце ущелья, поросшего лесом и кустарником, у подножия крутой Берклийской горы.

У Барта пять дочерей. Вся семья участвовала в антивоенных демонстрациях в Окленде в 60-х годах. И в том шествии, что преградило путь поезду с военным снаряжением. Младшие дочери, Дэрси, Чени и Тэрнел,— активистки молодежно-студенческого движения. Они унаследовали интерес к прогрессивным идеям своего выдающегося прадеда. Несколько лет назад Дэрси и Тэрнел с бригадой «Венсеремос» («Мы победим») были на Кубе, помогали кубинцам убирать урожай. Этот поступок требовал мужества, так как поездка осуществлялась вопреки запрету Госдепартамента. Члены бригады встречались с Фиделем Кастро, с представителями демократической молодежи разных стран. Девушки вернулись вдохновленные, полные желания бороться за справедливый строй в Америке. Барт был восхищен решением дочерей поехать на Кубу. Выступления протестующей молодежи оказали огромное

влияние на общественное мнение и содействовали переменам в политике. Стойкости нужно учиться у вьетнамского народа, который сорок лет боролся за свободу, говорит Барт. «Наша семья всегда принимала участие в борьбе. Всегда нужно быть преданным делу освобождения человечества». В спокойных, уверенных словах Барта звучат мысли, высказанные семьдесят лет назад его великим дедом.

Барт хочет, чтобы дочери сказали о своем отношении к произведениям Джека Лондона. Тэрнел любит северные рассказы, «Белый Клык», «Зов предков». Книги Лондона трогали ее сердце. Он умеет увлечь. С интересом читала она «Мартина Идена» и поняла, глубоко прочувствовала трагедию героя. Барт — сам автор нескольких рассказов — считает, что Лондон великолепный мастер сюжета. Такие, например, его рассказы, как «Золотой каньон» и «Костер», являют читателю необыкновенно ясную картину. Начав эти рассказы, невозможно отложить их в сторону. «Мартин Иден» и «Межзвездный скиталец» — любимые книги Дэрси. Элен рассказывает о поездке Джоан в 30-х годах в СССР. Джоан привезла добрые воспоминания. Один из сувениров — огромное керамическое блюдо — Элен показывает мне.

На следующий день Барт вез нас в Лунную долину. Его малолитражка, кроме меня, вместила также Тэрнел, Джима и их сына Рейли. Мы въехали в Беркли, миновали Ричмонд и пересекли по мосту пролив, соединяющий Сан-Францисский залив с заливом Сан-Пабло (тут когда-то чуть не утонул Джек Лондон), и вдоль побережья залива Сан-Пабло мимо городков и полей люцерны устремились на север. После того как мы пересекли реку Петалума, местность стала холмистой, вначале слева, а затем и справа начинают проглядывать покрытые травой горы. Мы въезжаем в легендарную Лунную долину. Словно полумесяц, упирающийся нижним концом в залив, она лежит вдоль реки Сонома. Географическое название ее «долина Сономы». Это Джек Лондон, узнав, что «сонома» в переводе с одного из индейских наречий означает луну, возродил поэтичное ее имя.

Скоро мы будем в Глен-Эллене — тогда это была деревушка,— здесь снимал дачу Джек Лондон, а затем неподалеку отсюда он купил участок земли, построил дом, ферму, и здесь он прожил до конца дней.

Надпись на щите сообщает, что мы въезжаем в Глен-Эллен. Здесь есть «деревня Джека Лондона» — старый центр селения. Начинается «деревня» небольшим строением, на котором вывеска «мир Джека Лондона». Перед входом полка со старыми изданиями книг Лондона. За прилавком миловидная, аккуратно одетая пожилая женщина. Рассматриваем литературу на стойках. Последние издания романов и рассказов Лондона, книги о нем, открытки с портретом писателя. Фотографии Лондона и его родителей, на стенах афиши кинофильмов (их в США было снято сорок три). Это музей и магазин одновременно. Появляется владелец, Рус Кингман,— «лондоновед» и страстный почитатель писателя. Рус с гордостью показывает свое хозяйство: первые издания сочинений Лондона, книги с его автографами, газеты и журналы с первыми публикациями его рассказов. Рус проводит нас в заднее помещение. Оно-то и является музеем. Здесь по фотографиям и экспонатам можно проследить эпизоды жизни Лондона, составить представление о его окружении и о литературном мире того времени. Под стеклом — газеты с репортажами Джека Лондона о русско-японской войне, которые он присылал из Кореи и Маньчжурии, его письма, страницы рукописей; портреты знаменитых калифорнийцев — писателей Амброза Бирса, Джоакина Миллера, поэта Джорджа Стерлинга, журналиста Джима Уитейкера.

Вот издания на других языках. Но среди них я не вижу ни одного, опубликованного в Советском Союзе. Очень кстати привез я в подарок Русу Кингману свою монографию, посвященную Лондону, и выпущенный издательством «Прогресс» на английском языке томик повестей «Зов предков» и «Белый Клык». Обрадованный хозяин немедленно помещает томик с повестями на стенд под стекло.

Рус рассказывает об экспонатах музея. Бюст Джека Лондона. Его дал ему Барт. Он до конца дней находился у Джоан. Большой портрет матери писателя, Флоры Лондон, очень редкая фотография. А вот пишущая машинка, на которой более десяти лет, даже во время океанских плаваний, печатались все произведения Лондона. Здесь альбом с фотографиями, сделанными писателем в Корее и Маньчжурии: японские солдаты на марше, на привале, артиллеристы у орудия, корейская деревня, японские части, входящие в Пхеньян.

Не без гордости Рус рассказывает о том, что ему удалось раздобыть шкатулку Флоры с ее брачным свидетельством, очками и полицейским значком отчима писателя. Все это выставлено в музее. А вот книга Майнера Бруса «Аляска», ее брал с собой Джек Лондон, отправляясь за золотом на Клондайк. «Не эта точно,— добавляет Рус Кингман,— ту он оставил на Аляске, а точно такая же». В ней описано все: какие припасы взять с собой и как добраться, где найти тес и как соорудить лодку, дана карта маршрута, указано, каким способом преодолевать пороги, какого берега на данном участке реки держаться и с какой стороны огибать остров.

Малолитражка забирает в гору, несет нас в мемориальный парк Джека Лондона. Это часть ранчо Лондона, переданная племянником писателя Ирвингом Шепардом под музей. Поставив машину, мы направляемся к руинам «дома Волка» — величественным останкам сгоревшего в 1913 году дома писателя. Строительство только что было закончено. Джек Лондон не успел даже в него переехать. Когда он прискакал сюда, разбуженный глубокой ночью, дом весь был охвачен пламенем.

Дом трехэтажный. Стены слеплены из огромных валунов и обломков скал, собранных в округе. Пустые коробки комнат, широкие проемы окон. Камины висят на втором и третьем этажах. Там же остатки водопроводных труб. Время начинает разъедать эти трагические руины.

Барт объясняет:

— Джек был очень гостеприимен. Любой мог приехать сюда и сказать: «Эй, Джек, ты помнишь меня?» — «Нет,— отвечал Джек,— не помню, но ты можешь остановиться у меня». Поэтому и строил он такой просторный дом, чтобы всем хватило здесь места и всем было удобно — как друзьям, которых он знал, так и тем, кого он не узнал.

Мы идем к могиле Джека Лондона. Она в другой стороне парка. Спускаемся в овраг, пересекаем ручей. Кругом лес, но Барт помнит дорогу. Вот она, могила,— обломок скалы, на котором выбито всего два слова: «Jack London». Она обнесена деревянной оградой.

Мы снова в машине и через пять минут, взобравшись по склону, подъезжаем к владению Шепарда. Надпись на бронзовой доске, укрепленной на камне, сообщает, что это ранчо Джека Лондона. Едем по аллее посаженных Джеком Лондоном эвкалиптов. Стучим в окно. И через мину-

ту появляется Ирвинг Шепард, сухощавый, загорелое лицо в морщинах. Ему около восьмидесяти. Он выносит фотографии, запечатлевшие момент открытия мемориального парка-музея, выступающую на торжествах Анну Струнскую — друга и соавтора Джека Лондона. Рассказывает о планах кинематографистов начать работу над фильмом о жизни его выдающегося предка, о новых публикациях произведений Лондона в США. Говорит, что существует диктофонная запись голоса писателя, но она в плохом состоянии, что за двенадцать лет со дня открытия парка-музея его посетило более миллиона человек.

Мы выходим с застекленной террасы на улицу. С этого пригорка хорошо видно ранчо: хозяйственные постройки и знаменитый дом писателя с застекленными верандами и кабинетом-пристройкой. В нем, начиная с 1906 года, написано большинство его произведений. Там он и умер в ноябре 1916 года. Большая часть его вещей перекочевала оттуда в дом Чармиан, жены Лондона, построенный после смерти писателя. Ныне там музей. Библиотека же Джека Лондона и более половины его рукописей проданы Хантингтонской библиотеке, находящейся поблизости от Лос-Анджелеса.

...И вот мы на бетонной дамбе, построенной Джеком Лондоном. Она перегородила горный ручей и долину и создала небольшое водохранилище. В этом пруду купался Джек Лондон. Здесь удил рыбу. Сюда он приходил с друзьями.

Иду к хижине, которая стоит на берегу. Ее почти не видно, она в глубокой тени высоких секвой — почерневшие от времени бревна. Здесь есть где укрыться от непогоды и переодеться. Эти места изобразил Джек Лондон в романе «Лунная долина». Именно здесь где-то неподалеку укрываются революционеры в «Железной пяте».

У Джека Лондона было две дочери: Джоан и Бесс. С Джоан я встречался в прошлый раз. Ею написана прекрасная книга, пожалуй, лучшая работа о писателе — «Джек Лондон и его времена»,— анализ социальной значимости творчества и его истоков. Джоан удивительно верно определила суть писателя: «Ведущей темой всех его произведений была борьба — борьба человека за то, чтобы выжить во враждебной среде или одержать верх над ненавистными ему обстоятельствами, и кровавая борьба рабочих против класса капиталистов». С полным основанием

Джоан сказала о «Железной пяте»: «Без русской революции 1905 года этот роман Лондона не был бы написан».

Джоан — мать Барта. Теперь он вез меня к своей тете, младшей дочери Джека Лондона, Бесс Флеминг. У дочери Лондона седые волосы. Она похожа на отца, особенно в профиль. Ей семьдесят два года, но она энергична, подвижна, говорит быстро. Я не все успеваю понять, но со мною надежный спутник — магнитофон. Бесс поделилась своими воспоминаниями об отце:

— Был в Окленде большой парк развлечений. Когда мы были маленькими, папа брал нас туда с сестрой Джоан. Первое мое воспоминание — это катание на маленьком поезде. Имелся там также небольшой зверинец, но туда мы никогда не заглядывали. Папа не любил — и мы тоже — смотреть зверей в клетках. Был там такой аттракцион — вверх-вниз — дух захватывает! После катания Джоан с облегчением сказала: «Ну, наконец-то кончилось!»— «Тебе не понравилось? Почему?» — спросил отец. «Страшно».— «Мои дети ничего не должны бояться». Он купил много билетов, на все деньги. И мы снова начали кататься вверх-вниз, до изнеможения, пока Джоан не сказала: «Ох, теперь я не боюсь». А я полюбила этот аттракцион.

Папа обращался с нами, как с равными,— говорит Бесс.— Это было не так, как у других, и нам очень нравилось. Его интересовало, как мы учимся, в какие игры играем, какие книги читаем. Когда мы ходили с ним в театр или ресторан в Окленде или Сан-Франциско, его узнавали окружающие.

— Какая книга отца вам больше нравится? — спрашиваю я.

— Это очень трудно сказать. Мой любимый роман «Лунная долина». Люблю «Межзвездный скиталец». Хорош «Морской волк». Само собой — «Зов предков». Обожаю я его рассказы, и больше других о Калифорнии. «Железную пяту» я прочла еще ребенком. Особенно запомнился мне этот роман из-за примечаний. Они придают ему фантастический колорит. Джек Лондон написал много научно-популярных и фантастических произведений: «До Адама», «Любимцы Мидаса», «Сила сильных», «Тень и вспышка». Один профессор антропологии сказал мне, что «До Адама» — это лучшая научно-популярная книга по антропологии. «Маленькая хозяйка большого дома» — по существу тоже фантастика. В ней воплощена мечта отца

о преобразовании своего ранчо, об образцовых условиях жизни.

Я интересуюсь судьбой Мэйбл Эплгарт — это первая любовь Лондона, которую он так впечатляюще изобразил в «Мартине Идене».

— Джек Лондон обожал ее,— говорит Бесс,— но они были очень разные. Она — рафинированная интеллигентка, англичанка. А он — грубый парень, моряк.

— Они были из разных классов,— подсказывает Барт.

— Отец молодым очень много читал, но неправильно говорил, и Мэйбл давала ему уроки английского языка. «Мартин Иден» — реалистическая и автобиографическая книга. Мэйбл умерла совсем молодой, в 1914 году, от туберкулеза.

Бесс приносит семейный альбом с множеством снимков ее и Джоан. Фотографии, где они маленькие, сделаны отцом. Он отмечал каждый шаг любимых дочерей. На минуту в комнате воцаряется молчание.

А потом разговор заходит о приближающейся годовщине — столетии со дня рождения писателя. Я говорю о большой популярности Джека Лондона в Советском Союзе. Тот факт, что его романы и рассказы переведены на 32 языка народов СССР, вызывает удивленные восклицания моих собеседников.

Мы фотографируемся с Бесс на крыльце ее дома, тепло прощаемся. Она оживлена, шутит, машет нам с порога, когда малолитражка Барта набирает скорость по Флеминг-стрит.

Оклендская публичная библиотека недавно создала зал-музей Джека Лондона. Здесь развернута интересная экспозиция. Но самый драгоценный экспонат — документальная лента, снятая на ранчо при жизни писателя. Вот его кабинет, где он работает. А вот Лондон подсаживает на лошадь жену. В другом кадре он чистит скакуна. Джек Лондон оживлен, у него хорошее настроение, но выглядит он нездоровым. Титры свидетельствуют, что кинооператор делал съемки за три дня до смерти писателя. Навсегда остаются в памяти последние кадры. Джек Лондон, крупным планом, в белой рубашке, с галстуком, что-то говорит с экрана, смеется, машет рукой, потом сдергивает с головы шляпу и машет нам.

Виль Быков

СОДЕРЖАНИЕ

К читателям

Издательство просит отзывы об этой книге присылать по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Для средней школы

Джек Лондон

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

ИЗБРАННОЕ

Ответствен. редактор Н. С. Дроздова. Художественный редактор Т. М. Токарева. Технический редактор С. Г. Маркович. Корректоры Э. Н. Сизова и Е. И. Щербакова.

Сдано в набор 3/IX 1975 г. Подписано к печати 19/III 1976 г. Формат 84×108[1]/32. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 14,06. Усл. печ. л. 23,62. Уч.-изд. л. 24,7+1 вкл.=24,74. Тираж 200 000 (1—100 000) экз. Заказ № 1903. Цена 1 р. 01 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.



Лондон Д.

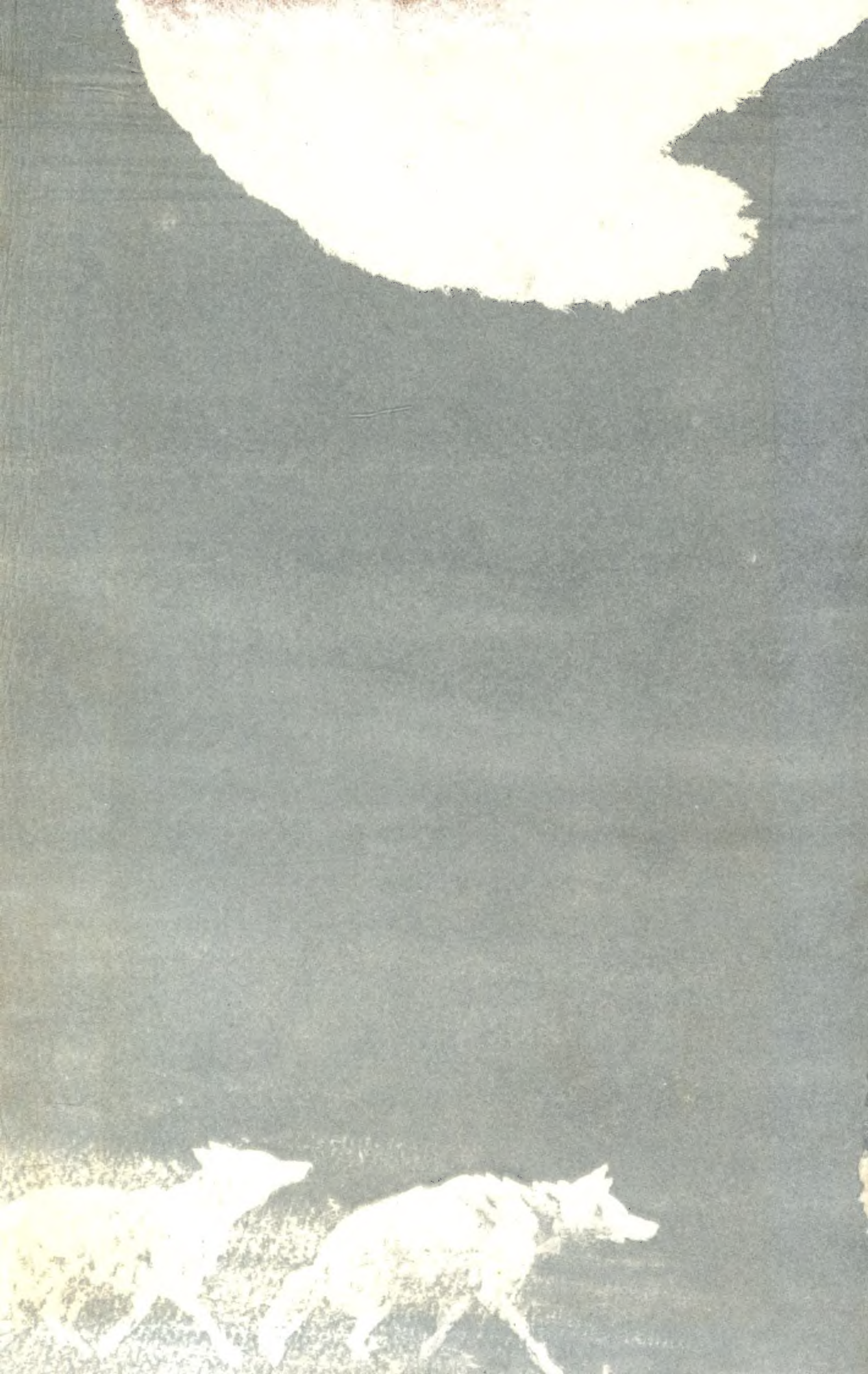
Л76 Любовь к жизни. Избранное. Пер. с англ. Предисл. Б. Полевого. Составл. и послесл. В. Быкова. Рисунки В. Цигаля. Второе, доп. издание. М., «Дет. лит.», 1976.

446 с. с ил. (Школьная б-ка).

В сборник вошли любимые юными читателями рассказы «Любовь к жизни», «Мексиканец» и другие, в которых прославляется мужество и отвага простых людей, а также повесть «Белый клык».

$Л \frac{70803-328}{М101(03)76}$ 405—76 И(Амер)





1р. 01к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»